



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ПЯТЫЙ



Zagoskii, M.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ПЯТЫЙ

РОСЛАВЛЕВЪ

ИЛИ

РУССКІЕ ВЪ 1812 ГОДУ



ИЗДАНИЕ

поставщикъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный дворъ, 18 | МОСКВА, Бульварный мостъ, 12

1901

РГ 3447

Z 2

1901

V, 5

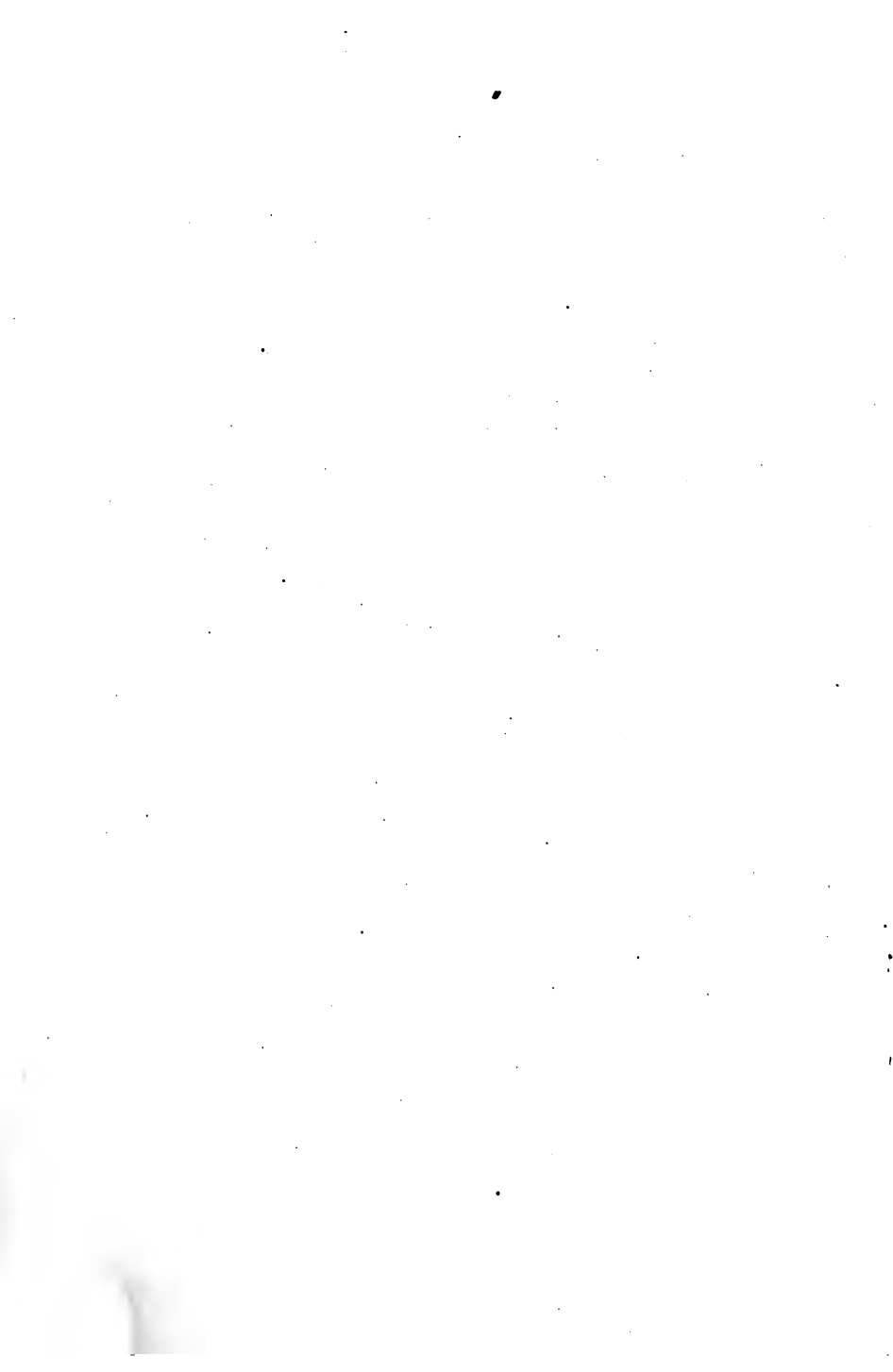
Дозволено цензурою. Спб. 1-го июня 1901 г.

Типография Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5—7.

РОСЛАВЛЕВЪ

или

РУССКІЕ ВЪ 1812 ГОДУ.



Печатаю мой второй историческій романъ, я считаю долгомъ принести чувствительнѣйшую благодарность моимъ соотечественникамъ за лестный пріемъ, сдѣланный ими «Юрію Милославскому». Предполагая сочинить сіи два романа, я имѣлъ въ виду описать русскихъ въ двѣ достопамятныя историческія эпохи, сходныя межъ собою, но раздѣленныя двумя столѣтіями; я желалъ доказать, что хотя наружныя формы и фізіономія русской націи совершенно измѣнились, но не измѣнились вмѣстѣ съ нимъ непоколебимая вѣрность къ престолу, привязанность къ вѣрѣ предковъ и любовь къ родимой сторонѣ. Не знаю, достигъ ли я сей цѣли, но во всякомъ случаѣ, полагаю необходимымъ просить моихъ читателей о нижеслѣдующемъ: 1) не досадовать на меня, что я въ семъ современномъ романѣ не упоминаю о всѣхъ достопамятныхъ случаяхъ, ознаменовавшихъ незабвенный для русскихъ 1812 годъ; 2) не забывать, что историческій романъ не исторія, а выдумка, основанная на истинномъ происшествіи; 3) не требовать отъ меня отчета, почему я описываю именно то, а не то происшествіе или для чего, упоминая объ одномъ историческомъ лицѣ, я не говорю ни слова о другомъ; и наконецъ, 4) представляя полное право читателямъ обвинять меня, если мои русскіе не походятъ на современныхъ съ нами русскихъ 1812 года, я прошу однако же не гнѣваться на меня за то, что они не всѣ добры, умны и любезны, или наоборотъ: не смѣяться надъ моимъ патріотизмомъ, если между моихъ русскихъ найдется много умныхъ, любезныхъ и даже истинно просвѣщенныхъ людей.

Тѣмъ, кои въ русскомъ молчаливомъ офицерѣ узнаютъ историческое лицо тогдашняго времени, признаюсь заранѣе въ небольшомъ анахронизмѣ: этотъ офицеръ дѣйствительно былъ, подъ именемъ флорентійскаго купца, въ Данцигѣ, но не въ концѣ осады, а при началѣ оной.

Интрига моего романа основана на истинномъ происшествіи; теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметомъ общихъ разговоровъ, и когда проклятія оскорбленныхъ россіянъ гремѣли надъ главою несчастной, которую я назвалъ Полною въ моемъ романѣ.







ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

«Природа въ полномъ цвѣтѣ; зеленѣющія поля обѣщаютъ богатую жатву. Все наслаждается жизнію. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать въ общей радости творенія. Оно не смѣетъ развернуться, подобно листьямъ и цвѣтамъ. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущаетъ насъ предъ сильною лѣтнею грозою, сжимаетъ его. Предчувствіе какого-то отдаленнаго несчастія меня пугаетъ!.. Недаромъ, говорятъ простолюдины, недаромъ прошлаго года такъ долго ходила въ небесахъ невиданная звѣзда; недаромъ горѣли города, села, лѣса, и во многихъ мѣстахъ земля выгорала. Не къ добру это все! Быть великой войнѣ!»

Такъ говоритъ краснорѣчивый сочинитель «Писемъ русскаго офицера», приступая къ описанію отечественной войны 1812 года. Привыкшій считать себя видимою судьбою народовъ, представителемъ всѣхъ силъ, всего могущества Европы, императоръ французовъ долженъ былъ ненавидѣть Россію. Казалось, она одна еще, не отдѣленная ни моремъ, ни безлюдными пустынями отъ земель, ему подвластныхъ, не трепетала его имени. Сильный любовію подданныхъ, твердый въ вѣрѣ своихъ державныхъ предковъ, царь русскій отвергалъ

всѣ честолюбивыя предложенія Наполеона; переговоры длились, и ничто, повидимому, не нарушало еще общаго спокойствія и тишины. Одни, не сомнѣваясь въ могуществѣ Россіи, смотрѣли на сію отдаленную грозу съ равнодушіемъ людей, увѣренныхъ, что буря промчится мимо. Другіе, и къ сожалѣнію также русскіе, трепеща предъ сей воплощенной судьбою народовъ, желали мира, не думая о гибельныхъ его послѣдствіяхъ. Кипящіе мужествомъ юноши ожидали съ нетерпѣніемъ войны. Старики покачивали сомнительно головами и шопотомъ поговаривали о безсмертномъ Суворовѣ. Но будущее скрывалось для всѣхъ подъ какимъ-то таинственнымъ покровомъ. Народъ не толпился еще вокругъ храмовъ Господнихъ; еще не раздавались вопли несчастныхъ вдовъ и сиротъ, и, несмотря на турецкую войну, которая кипѣла въ Молдавіи, ничто не измѣнилось въ шумной столицѣ Сѣвера. Какъ всегда, богатые веселились, бѣдные работали, по Невѣ гремѣли народныя русскія пѣсни, въ театрахъ пѣли французскіе водевили, парижскія модистки продолжали обирать русскихъ барынь; словомъ, все шло попрежнему. На западѣ Россіи собирались грозныя тучи; но громъ еще молчалъ.

Въ одинъ прекрасный лѣтній день, въ концѣ мая 1812 года, часу въ третьемъ по-полудни, длинный бульваръ Невского проспекта, начиная отъ Полицейскаго моста до самой Фонтанки, былъ усыпанъ народомъ. Какъ яркій цвѣтникъ, пестрѣлись толпы прекрасныхъ женщинъ, одѣтыхъ по послѣдней парижской модѣ. Зашитые въ галуны лакеи, неся за ними ихъ зонтики и турецкія шали, посматривали спесиво на проходящихъ простолюдиновъ, которые, пробираясь бочкомъ по краямъ бульвара, смиренно уступали имъ дорогу. Въ промежуткахъ сихъ разноцвѣтныхъ группъ, мелькали отъ-времени-до-времени бѣленькія щеголеватыя платица русскихъ швей, образовавшихъ свой вкусъ въ французскихъ магазинахъ, и тафтяные капотцы красавицъ средняго состоянія, которыя, пообѣ-

давѣ у себя дома на Петербургской сторонѣ или въ Измайловскомъ полку, пришли погулять по Невскому бульвару и полюбоваться большимъ свѣтомъ. Молодые и старые щеголи, въ уродливыхъ шляпахъ à la sendrillon, — съ сучковатыми палками, обгоняли толпы гуляющихъ дамъ, заглядывали имъ въ лицо, любезничали и отпускали поминутно ловкія фразы на французскомъ языкѣ; но лучшее украшеніе гуляній петербургскихъ, блестящая гвардія царя русскаго, была въ походѣ, и только кой-гдѣ, среди круглыхъ шляпъ, мелькали бѣлые и черные султаны гвардейскихъ офицеровъ; но лица ихъ были пасмурны: они завидовали участи своихъ говариней и тосковали о полкахъ своихъ, которые, можетъ-быть, готовились уже драться и умереть за отечество.

Въ одной изъ боковыхъ аллей Невскаго бульвара сидѣлъ на лавочкѣ молодой человѣкъ лѣтъ двадцатипяти; онъ чертилъ задумчиво своей палочкой по песку, не обращалъ никакого вниманія на гуляющихъ и не подымалъ головы даже и тогда, когда проходили мимо него первостепенныя красавицы петербургскія, влеча за собою взоры и сердца вѣтренной молодежи и вынуждая невольныя восклицанія пожилыхъ обожателей прекраснаго пола. Но зато почти ни одна дама не проходила мимо безъ того, чтобъ явно или украдкой не бросить любопытнаго взгляда на сего задумчиваго молодого человѣка. Благородная наружность, черные какъ смоль волосы, длинныя, опущенныя книзу рѣсницы, унылый, задумчивый видъ, все придавало какую-то неизъяснимую прелесть его смуглому, но прекрасному и выразительному лицу. Извѣстный романъ: «Матильда или Крестовые походы» сводилъ тогда съ ума всѣхъ русскихъ дамъ. Онѣ бредили Малекъ-Адедемъ, искали его вездѣ и, находя что-то сходное съ своимъ идеаломъ въ лицѣ задумчиваго незнакомца, глядѣли на него съ примѣтнымъ участіемъ. По его узкому, туго застегнутому фраку, черному галстуку и небольшимъ усамъ, не трудно было догадаться, что онъ служилъ въ ка-

валеріи, недавно скинулъ эполеты и не совсѣмъ еще отсталъ отъ нѣкоторыхъ военныхъ привычекъ.

— Здравствуй, Рославлевъ!—сказалъ, подойдя къ нему, видный молодой человѣкъ, въ однобортномъ гороховомъ сюртукѣ, съ румянымъ лицомъ и голубыми, исполненными веселости, глазами.—Что ты такъ задумался?

— А, это ты, Александръ!—отвѣчалъ задумчивый незнакомецъ, протянувъ къ нему ласково свою руку.

— Слава Богу, что я встрѣтилъ тебя хоть на бульварѣ,—продолжалъ молодой человѣкъ.—Пойдемъ ходить вмѣстѣ.

— Нѣтъ, Зарѣцкій, не хочу. Я прошелъ раза два, и мнѣ такъ надоѣла эта пестрота, эта куча незнакомыхъ лицъ, эти непрерывныя фразы, эти...

— Ну, ну!.. захандрилъ! Полно, братецъ, пойдемъ!.. Вонъ, кажется, опять она... Точно такъ!.. Видишь ли вотъ этотъ лиловый капотецъ?.. Ахъ, топ шер, какъ хороша!.. Прелестъ!.. Что за глаза!.. Какая-то пріѣзжая изъ Москвы... А ножка, ножка!.. Да пойдемъ скорѣе!

— Повѣса, когда ты остепенишься?.. Подумаи, вѣдь тебѣ скоро тридцать.

— Такъ чтожъ, сударь? Не прикажете ли мнѣ, потому что я нѣсколькими годами васъ старѣе, не смѣть любоваться ничѣмъ прекраснымъ?

— Да ты только-что любишься; а тебѣ бы пора перестать любоваться всѣми женщинами, а полюбить одну.

— И смотрѣть такимъ же сентябремъ, какъ ты? Нѣтъ, душенька, спасибо!.. У меня вовсе нѣтъ охоты сидѣть, повѣсивъ носъ, когда я чувствую, что могу еще быть веселымъ и счастливымъ...

— Но кто тебѣ сказалъ, что я несчастливъ?—прервалъ съ улыбкою Рославлевъ.

— Кто?.. Да на что ты походишь съ тѣхъ поръ, какъ съѣздили въ деревню, влюбился, помолвленъ и зобрался жениться? И, братецъ! Чортъ ли въ этомъ

счастіи, которое сдѣлало тебя, изъ веселаго малаго, какимъ-то сентиментальнымъ меланхоликомъ.

— Такъ ты находишь, что я въ самомъ дѣлѣ перемѣнился?

— Удивительно!.. Помнишь ли, какъ мы воспитывались съ тобою въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ?..

— Какъ не помнить! Ты почти всегда былъ послѣднимъ въ классахъ.

— А ты первымъ въ шалостяхъ. Никогда не забуду, какъ однажды ты вздумалъ передразнить одного изъ нашихъ учителей, вскарабкался на каѳедру и началъ: «Мы говорили до сего о Вавилонскомъ столпотвореніи, государи мои; теперь, съ позволенія сказать, обратимся къ основанію Ассирійской имперіи».

— Ахъ, мой другъ!—прервалъ Рославлевъ,—тогда насъ все забавляло!

— Да меня и теперь забавляетъ,—продолжалъ Зарѣцкій.—Вольно же тебѣ видѣть все подъ какимъ-то чернымъ крепомъ.

— Ты, вѣрно, бы этого не сказалъ, Александръ, еслибъ увидѣлъ меня вмѣстѣ съ моею Полиною. А впрочемъ, нѣтъ, что толку! Ты и тогда не понялъ бы моего счастія. Чувство, которое дѣлаетъ меня блаженнѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ, быть-можетъ, показалось бы тебѣ смѣшнымъ. Да, мой другъ! Не прогнивайся! Оно недоступно для людей съ твоимъ характеромъ.

— Покорно благодарю!.. То-есть, я неспособенъ любить, я человѣкъ бездушный... Не правда ли?.. Но дѣло не о томъ. Ты тоскуешь о своей Полинѣ. Кто жъ тебѣ мѣшаетъ летѣть въ ея страстныя объятія?.. Ужъ выпускаютъ ли тебя изъ Петербурга? Не задолжалъ ли ты, степенный человѣкъ?.. Меня этакъ однажды продержали недѣльки двѣ лишнихъ въ Москвѣ... Послушай! Если тебѣ надобно тысячи двѣ, три...

— Нѣтъ, мой другъ! Мнѣ деньги не нужны.

— Такъ о чемъ же ты грустишь?

— Но развѣ ты полагаешь, что влюбленный человекъ не думаетъ ни о чемъ другомъ, кромѣ любви своей? Нѣтъ, Зарѣцкій! Прежде, чѣмъ я влюбился, я былъ уже русскимъ...

— Такъ чтожь?

— Какъ, мой другъ? А буря, которая собирается надъ нашимъ отечествомъ?

— И, милый! Это дождевая туча: проглотитъ солнышко, и ея какъ не бывало.

— Чтобъ угодить будущей моей тещѣ, я вышелъ въ отставку; а можетъ-быть, скоро вспыхнетъ ужасная война, можетъ-быть, вся Европа...

— Пожалуетъ къ намъ въ гости? Пустое, mon cher! Поговорятъ между собою, пострадаютъ другъ друга, да тѣмъ дѣло и кончится.

— Ты думаешь?

— Россія не Италія, мой другъ! И далеко и холодно; да и народъ-то постоятъ за себя. Не безпокойся, Наполеонъ уменъ; повѣрь, онъ знаетъ, что мы народъ непросвѣщенный, сѣверные варвары, и терпѣть не можемъ незваныхъ гостей. А, признаюсь, мнѣ почти досадно, что дѣло обойдется безъ ссоры. L'homme du destin и его великая нація такъ зазнались, что способа нѣтъ. Вотъ, посмотри! Видишь ли этихъ двухъ господчиковъ? Это лавочники изъ одного французскаго магазина. Посмотри, какъ важно они поглядываютъ на всѣхъ съ высоты своего величія... Тьфу, чортъ возьми! Ни дать, ни взять французскіе маршалы!.. А! вотъ опять лиловый капотецъ... Послушай: если ты не хочешь гулять, такъ я... Ахъ, Боже мой! Она сходитъ съ бульвара... сѣла въ карету... Эхъ, mon cher! какъ досадно, что я съ тобой заболтался... Ну, дѣлать нечего... Да, кстати!.. Гдѣ ты сегодня обѣдаешь?

— Я хотѣлъ ѣхать къ Радугиной.

— И, полно, не ѣзди; обѣдай со мною.

— Нельзя: мнѣ надобно съ ней проститься.

— А когда ты ѣдешь отсюда?

— Завтра непременно.

— Ну, вотъ изволишь видѣть! Когда мы съ тобой увидимся? Пожалуйста, mon cher, обѣдаемъ вмѣстѣ. Ты можешь ѣхать къ Радугиной вечеромъ.

— Эхъ, Александръ! Еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ неприятно бывать по вечерамъ у Радугиной! Вечеромъ, почти всякій разъ, я встрѣчаю у нея кого-нибудь изъ чиновниковъ французскаго посольства, а это для меня ножъ вострый! Ужъ это не лавочки изъ французскаго магазина; послушалъ бы ты, какъ они поговариваютъ о Россіи!.. Нѣсколько разъ я ошибался и думалъ, что дѣло идетъ не объ отечествѣ нашемъ, а о какой-нибудь французской провинціи. Ну, повѣришь ли? Вотъ такъ кровь и кипитъ въ жилахъ — терпѣнья нѣтъ! А хозяйка... Боже мой!.. Только-что не крестится при имени Наполеона. Клянусь честію, еслибъ не родственныя связи, то нога бы моя не была въ ея домѣ.

— И ты сердишься? Да отъ этого надобно умереть со смѣху. Вотъ то-то и бѣда, ты не умѣешь ничѣмъ забавляться. Еслибъ я былъ на твоемъ мѣстѣ, то подоспѣлъ бы къ какому-нибудь совѣтнику посольства, сталъ бы ему подличать и преуниженно попросилъ бы, наконецъ, помѣстить меня при первой вакансіи супрефектомъ въ Тобольскъ или Иркутскъ. Онъ бы сталъ ломаться, и я сдѣлалъ бы изъ него настоящаго Жокриса!.. А, кстати!.. Вчера Талонъ ¹⁾ былъ какъ ангелъ въ этой роли... Ты видѣлъ когда-нибудь французскій водевиль: «Отчаяніе Жокриса?»

— Нѣтъ! Я ѣзжу только въ русскій театръ.

— Да бишь, виновать! Ты любишь чувствительныя драмы. Ну, чтожъ? Обѣдаемъ ли мы вмѣстѣ?

— Если ты непременно хочешь...

— Послушай, мой милый, я не приглашаю тебя къ себѣ: ты знаешь, у меня нѣтъ и повара. Мы отоѣдаемъ въ ресторациі.

¹⁾ Комическій актеръ тогдашней французской труппы въ Петербургѣ.

— У Жискара?

— И, нѣтъ, mon cher! Надобно разнообразить свои удовольствія. У Жискара и Тарлифа мы увидимъ все знакомыя лица. Одно да одно—это скучно. Знаешь ли что? Обѣдаемъ сегодня у Франзеля?

— По мнѣ, все-равно, гдѣ хочешь. А что это за Франзель?

— Это ресторація, въ которой платятъ за обѣдъ по рублю съ человѣка. Тамъ увидимъ мы презабавныя фizioноміи: прегордыхъ писцовъ изъ министерскихъ департаментовъ, глубокомысленныхъ политиковъ въ изорванныхъ сюртукахъ, художниковъ безъ работы, учителей безъ мѣстъ, а иногда и журналистовъ безъ подписчиковъ. Что за разговоры мы услышимъ! Всѣ обѣдаютъ за общимъ столомъ; должность официантовъ отправляютъ двѣ толстыя служанки и, когда гости откусываютъ супъ, у всѣхъ, безъ исключенія, отбираютъ серебряныя ложки. Умора да и только!

— Что же тутъ смѣшного? Это обидно.

— И, полно, mon cher! Представь себѣ, что и у насъ отберутъ ложки — для того, чтобъ мы ошибкою не положили ихъ въ карманъ. Развѣ это не забавно? Ну, право, я иногда очень люблю эту милую простоту. Однажды, въ Москвѣ, мнѣ вздумалось, изъ шалости, пообѣдать съ Ленскимъ въ одномъ русскомъ трактирѣ, и когда я спросилъ: что возмуть съ насъ двоихъ за обѣдъ, то трактирщикъ отвѣчалъ мнѣ преважно: «По тридцати копѣекъ съ рыла! *«Съ рыла!..* Мы оба съ Ленскимъ чуть не умерли со смѣху. Пойдемъ къ Франзелю, мой милый. Не вѣчно же быть въ хорошемъ обществѣ; надобно иногда потолкаться и въ народѣ.

— Что съ тобою дѣлать, повѣса!—сказалъ Рославлевъ, вставая съ скамьи.—Пойдемъ въ твою рублевую ресторацію.

II.

Не доходя до Казанскаго моста, Зарѣцкій сошелъ съ бульвара и, пройдя нѣсколько шаговъ вдоль лѣвой

стороны улицы, повелъ за собою Рославлева по крутой лѣстницѣ во второй этажъ довольно опрятнаго дома. Въ передней сидѣлъ за дубовымъ прилавкомъ толстый нѣмецъ. Они отдали ему свои шляпы.

— Видишь ли, — сказалъ Зарѣцкій, входя съ пріятелемъ своимъ въ первую комнату, — какъ здѣсь все обдуманно? Ну, какъ уйдешь, не заплатя за обѣдъ? Вѣдь шляпа-то стоитъ дороже рубля.

Въ первой комнатѣ, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, въ синемъ поношенномъ фракѣ, разговаривалъ съ двумя молодыми людьми, которые слушали его съ большимъ вниманіемъ.

— Да, милостивые государи! — говорилъ важнымъ голосомъ синій фракъ, — повѣрьте мнѣ, старику; я дѣлалъ по сему предмету различные опыты и долгомъ считаю сообщить вамъ, что принятый способъ натирать по скобленному мѣсту сандаракомъ есть самый удобнѣйшій: никогда не расплывется. Я сегодня въ настольномъ регистрѣ цѣлую строку выскоблить, и смѣю васъ увѣрить, что самый зоркій столоначальникъ не замѣтитъ никакъ этой поскобки. Всѣ другіе способы, какъ-то: насаленая бумажка, натираніе сукномъ, лощеніе ногтемъ и прочія мелкія средства никуда не годятся.

— Это канцелярскіе чиновники! — сказалъ Зарѣцкій. — Ихъ разговоры вообще очень поучительны, но совсѣмъ не забавны. Пойдемъ въ залу; тамъ что-то громко разговариваютъ.

Въ залѣ, во всю длину которой былъ накрытъ узкій столъ, человѣкъ двадцать, раздѣляясь на разныя группы, разговаривали между собою. Въ одномъ углу съ полдюжины студентовъ педагогическаго института толковали о послѣдней лекціи профессора словесныхъ наукъ; въ другомъ — учитель-французъ разсуждалъ съ дядькою-нѣмцемъ о трудностяхъ ихъ званія; у окна стоялъ, оборотясь ко всѣмъ спиною, офицеръ въ мундирномъ сюртукѣ съ чернымъ воротникомъ. Съ перваго взгляда можно было подумать, что онъ смотрѣлъ

на гуляющих по бульвару; но стоило только взглянуть ему въ лицо, чтобъ увѣриться въ противномъ. Глаза его, устремленные на противоположную сторону улицы, выражали глубокую задумчивость; онъ постукивалъ машинально по стекламъ пальцами, выбивалъ тревогу, сборъ, разные марши и какъ-будто бы не видѣлъ и не слышалъ ничего. Этотъ молчаливый офицеръ былъ средняго роста, бѣлокуръ, круглолицъ и вообще пріятной наружности; но что-то дикое, безчувственное и даже нечеловѣческое изображалось въ сѣрыхъ глазахъ его. Казалось, ни радость, ни горе не могли одушевить этотъ неподвижный взоръ, и только изрѣдка улыбка, выражающая какое-то холодное презрѣніе, появлялось на устахъ его.

Въ двухъ шагахъ отъ него, краснощекій съ багровымъ носомъ толстякъ разговаривалъ съ худощавымъ старикомъ. Зарѣцкій и Рославлевъ сѣли подлѣ нихъ.

— Нѣтъ, почтеннѣйшій!—говорилъ старикъ, покачивая головою, — воля ваша, я не согласенъ съ вами. Ну, разсудите милостиво: здѣсь берутъ по рублю съ персоны и подаютъ только по четыре блюда; а въ рестораціи Мысь Доброй Надежды...

— Такъ, батюшка! — прервалъ толстый господинъ, — что правда, то правда! Тамъ подаютъ пять блюдъ, а берутъ только по семидесяти-пяти копѣекъ съ человѣка. Такъ-съ! Но позвольте доложить: блюда блюдамъ рознь. Конечно, пять блюдъ — больше четырехъ; да не въ счетѣ дѣло: блюда-то, сударь, тамъ больно незатѣйливыя.

— Кто и говорить, батюшка! Конечно, столъ не ахти мнѣ; но не погнѣвайтесь: я и въ здѣшнемъ обѣдѣ большого деликатеса не вижу. Нѣтъ, воля ваша! Френзель зазнался. Развѣ не замѣчаете, что у него съ каждымъ днемъ становится меньше посѣтителей? Вотъ, напримѣръ, Степанъ Кондратьевичъ: я ужъ его не дѣли двѣ не вижу.

— Въ самомъ дѣлѣ,—подхватилъ толстякъ, — онъ давно здѣсь не обѣдалъ. А знаете ли, что безъ него

скучно? Что за краснобай!.. Какъ начнетъ разсказывать, такъ есть, что послушать; гусли, да и только! А новостей-то всегда принесетъ, новостей — Господи Боже мой!.. Ну, что твои газеты... Э! да какъ легкоѣ на поминѣ!.. Вотъ и онъ!.. Здравствуйте, батюшка, Степанъ Кондратьевичъ! — продолжалъ толстый господинъ, обращаясь къ входящему челоуѣку среднихъ лѣтъ, въ кофейномъ фракѣ и зеленыхъ очкахъ, который выступалъ, прихрамывая и опираясь на лакированную трость съ костянымъ набалдашникомъ.

Появленіе сего новаго гостя, казалось, произвело на многихъ сильное впечатлѣніе, которое удвоилось при первомъ взглядѣ на его таинственную и нахмуренную фizioномію. Поклонясь съ разсѣяннымъ видомъ на всѣ четыре стороны, онъ сѣлъ молча на стулъ, нахмурился еще болѣе, наморщилъ лобъ и, посвистывая себѣ подъ носъ, началъ преважно протирать свои зеленые очки. Въ одну минуту прекратились почти всѣ отдѣльные разговоры. Учитель-французъ, дядька-нѣмецъ, студенты и большая часть другихъ гостей столпились вокругъ Степана Кондратьевича, который, устремивъ глаза въ потолокъ, продолжалъ протирать очки и посвистывать весьма значительнымъ образомъ. Одинъ только молчаливый офицеръ, казалось, не замѣтилъ сего общаго движенія и продолжалъ попрежнему смотрѣть въ окно.

— Ну, что, почтеннѣйшій! — сказалъ толстый господинъ, — что скажете намъ новенькаго?

— Что новенькаго?.. — повторилъ Степанъ Кондратьевичъ, надѣвая свои очки. — Гмъ, гмъ!.. что новенькаго?.. И старенькаго довольно, государь мой!

— Такъ-съ!.. Да старое-то мы знаемъ; не слышно ли чего-нибудь поновѣе?

— Поновѣе?.. Гмъ, гмъ!.. Мало ли что болтаютъ, всего не переслушаешь, да и не наше дѣло, батюшка!.. Вотъ, изволите видѣть, разсказываютъ, будто бы турки... куда бойко стали драться.

— Право!

— Говорять такъ, а, впрочемъ, не наше дѣло. Слухъ также идетъ, что будто-бъ насъ... то-есть ихъ, побили подъ Бухарестомъ. Тысячъ тридцать нашихъ легло.

— Какъ? — вскричалъ Рославлевъ, — большая часть молдавской арміи?

— Видно, что такъ. Вѣдь нашего войска и сорока тысячъ тамъ не было.

— Извините! Въ молдавской арміи пятьдесятъ тысячъ подъ ружьемъ.

Степанъ Кондратьевичъ взглянулъ съ насмѣшливой улыбкою на Рославлева и повторилъ сквозь зубы:—Подъ ружьемъ!.. гмъ, гмъ!.. Можетъ-быть; вы, вѣрно, лучше моего это знаете: да не о томъ дѣло. Я вамъ передаю то, что слышалъ: нашихъ легло тридцать тысячъ, а много ли осталось, объ этомъ мнѣ не сказывали.

— Однако, мы все-таки выиграли сраженіе? — спросилъ худощавый старикъ.

— Разумѣется. Когда жъ мы проигрываемъ, батюшка? Мы, изволите видѣть, государь мой, всегда побиваемъ другихъ; а насъ — Боже сохрани! — насъ никто не бьетъ!

— Тридцать тысячъ! — повторилъ краснощекій толстякъ. — Проклятые турки! А неизвѣстно ли вамъ, какъ происходило сраженіе?

— Да, смѣю доложить, — сказалъ важнымъ тономъ Степанъ Кондратьевичъ, — я вамъ могу сообщить всѣ подробности. Позвольте: видите ли на половицѣ этотъ сучокъ?.. Представьте себѣ, что это Бухарестъ.

— Такъ-съ!

— Ну, вотъ, изволите видѣть, — продолжалъ Степанъ Кондратьевичъ, проводя по полу черту своей тростью, — вотъ тутъ стояло наше войско.

— Такъ-съ, батюшка, то-есть здѣсь, по лѣвую сторону сучка?

— Именно; а на этой сторонѣ расположенъ былъ турецкій лагерь. Вотъ, сударь, въ сумерки или передъ разсвѣтомъ, — не могу вамъ сказать навѣрное, — только втихомолку турки двинулись впередъ.

— Такъ-съ.

— Выстроили противъ нашего центра маскированную батарею въ двѣсти пушекъ.

— Въ двѣсти пушекъ!.. Такъ-съ, батюшка, такъ-съ...

— Надобно вамъ сказать, что у нихъ теперь артиллерія отличная: тяжелая дѣйствуетъ скорѣе нашей конной, а конная не по-нашему, государь мой, вся на верблюдахъ. Изволите видѣть, какъ умно придумано?..

— Такъ-съ, такъ-съ!

— Ну, вотъ, сударь, наши и думать не думаютъ, какъ вдругъ, батюшка, они грянутъ изо всѣхъ пушекъ! Пошла потѣха. И пѣхота, и конница, и артиллерія, и, Господи Боже мой!.. Вотъ янычары заѣхали съ флангу: Алла! да со всѣхъ четырехъ ногъ на нашу кавалерію..

— Позвольте!—прервалъ одинъ изъ студентовъ.— Янычары не конное, а пѣхотное войско.

— Эхъ, сударь! То прежніе янычары, а это нынѣшніе.

— Конечно, конечно! — подхватилъ толстякъ; — у нихъ все по новому. Но, сударь! Янычары ударили на нашу кавалерію?..

— Да, батюшка, что дѣлать? Пѣхота не подоспѣла; а ужъ извѣстное дѣло: противъ ихъ конницы наша пастъ...

— Такъ-съ, такъ-съ.

— Главнокомандующій, генералъ Кутузовъ, видя что дѣло идетъ худо, выѣхалъ самъ на конѣ и закричалъ: «Ребята, не выдавай!» Наши солдаты ободрились, въ штыки, началась рѣзня—и турокъ понятили назадъ.

— Слава Богу!..—вскричалъ худошавый старикъ.

— Пойдите, пойдите! — продолжалъ Степанъ Кондратьевичъ.—Этимъ дѣло не кончилось. Все наше войско двинулось впередъ, конница бросилась на неприятельскую пѣхоту, и чтожъ?.. Какъ бы вы думали?..

Турки построились въ каре!.. Слышите ли, батюшка? Въ каре!.. Что, сударь, когда это бывало?

— Такъ-съ, такъ-съ! Умны стали проклятые!

— Вотъ, наши туда, сюда, и справа, и слѣва, — нѣтъ, сударь! Турки стоятъ и дерутся, какъ на маневрахъ!.. Подошли наши резервы, къ нимъ также подоспѣлъ секурсъ, и, какъ слышно, сраженіе продолжалось непрерывно четверо сутокъ; на пятый...

— Вѣрно, всѣмъ захотѣлось поѣсть — прервалъ Зарѣцкій.

— Поѣсть? Нѣтъ сударь, не пойдетъ ѣда на умъ, когда съ нашей стороны, — какъ я уже имѣлъ честь вамъ докладывать, — легло тридцать тысячъ, и не осталось ни одного генерала: кто безъ руки, кто безъ ноги. А главнокомандующаго, — прибавилъ Степанъ Кондратьевичъ вполголоса, — перешибло пополамъ ядромъ, вмѣстѣ съ лошадыю.

— Геръ Езусъ!.. — вскричалъ нѣмецъ - дядька: — вмѣстѣ съ лошадыю!

— Diable! C'est un fier coup de canon! — промолвилъ учитель-французъ.

— Господи, Боже мой! — сказалъ худощавый старикъ, — какія потери! Легко вымолвить — всѣ генералы! тридцать тысячъ рядовыхъ! — Да вѣдь это цѣлая армія!

— Конечно, цѣлая армія, — повторилъ Степанъ Кондратьевичъ. — Въ старину Суворовъ и съ двадцатью тысячами бивалъ по сту тысячъ турокъ. Да то былъ Суворовъ! — Когда подъ Кагуломъ онъ разбилъ визиря...

— Не онъ, а Румянцевъ, — прервалъ Рославлевъ.

— И, сударь! Румянцевъ, Суворовъ — все едино: не тотъ, такъ другой; дѣло въ томъ, что тогда умѣли бить и турокъ и поляковъ. Конечно, мы и теперь пожаловаться не можемъ, у насъ есть и генералы и генераль-аншефы... гмъ, гмъ!.. Впрочемъ, и то сказать, нынѣшніе турки не прежніе — что грѣхъ таить! Учители-то у нихъ хороши! — промолвилъ рассказчикъ, взглянувъ значительно на французскаго учителя, который улыбнулся и гордо поправилъ свой галстукъ.

— Говорятъ, — продолжалъ Степанъ Кондратьевичъ, — что у турецкаго султана вся гвардія набрана изъ французовъ, такъ дивится нечему, если насъ... то-есть, если мы теряемъ много людей. Слышно также, что будто бы султанъ не больно поддается на мировую и требуетъ отъ насъ Одессу... Конечно, не наше дѣло... а жаль... городъ торговый... портовой... и чего намъ стоила эта скороспѣлка Одесса! Сколько посажено въ нее денегъ!.. Да дѣлать нечего! Какъ не подъ силу придетъ барахтаться, такъ вспомнишь поневолѣ русскую пословицу: худой миръ лучше доброй брани.

Тутъ молчаливый офицеръ медленно повернулся и, взглянувъ пристально на рассказчика, сказалъ:

— Подъ Бухарестомъ не было сраженія; не мы, а турки просятъ мира. Французы служатъ своему императору, а не турецкому султану, и одни подлецы предпочитаютъ постыдный миръ необходимой войнѣ.

Всѣ взоры обратились на незнакомаго офицера. Степанъ Кондратьевичъ хотѣлъ что-то сказать, заикнулся, выронилъ изъ рукъ трость, нагнулся ее поднимать и сронилъ съ носа свои зеленые очки. Студенты засмѣялись, и въ то же время, одна изъ служанокъ, внеся въ залу огромную миску съ супомъ, объявила, что кушанье готово. Всѣ сѣли за столъ. Противъ Зарѣцкаго и Рославлева, между худощавымъ старикомъ и толстымъ господиномъ, помѣстился присмирѣвшій Степанъ Кондратьевичъ; прочіе гости разсѣлись также рядомъ, одинъ подлѣ другого, выключая офицера; онъ сѣлъ поодаль отъ другихъ, на концѣ стола, за которымъ оставалось еще много порожнихъ мѣстъ. Проворныя служанки въ одну минуту разнесли тарелки съ супомъ. Наступила глубокая тишина, и только изрѣдка восклицанія: бутылку пива!.. кислыхъ щей!.. бѣлаго хлѣба!.. прерывали общее молчаніе.

— Душенька! — сказалъ Зарѣцкій одной изъ служанокъ, — бутылку шампанскаго.

При семъ необычайномъ требованіи, всѣ головы,

опущенныя книзу, приподнялись; у многихъ ложки выпали изъ рукъ отъ удивленія, а служанка остолбѣнѣла и, перебирая одной рукой свой фартукъ, повторила почти съ ужасомъ: бутылку шампанскаго!

— Да, душенька.

— Настоящаго шампанскаго?

— Да, душенька.

— То-есть французскаго, сударь?

— Да, душенька.

Служанка вышла вонъ и, черезъ минуту, воротясь назадъ, сказала, что вино сейчасъ подадутъ. — Вѣдь оно стоитъ восемь рублей, сударь! — прибавила она, поглядывая недовѣрчиво на Зарѣцкаго.

— Знаю, миленькая.

Еслибъ Зарѣцкій былъ хорошимъ фizioномистомъ, то безъ труда бы замѣтилъ, что, выключая офицера, всѣ гости смотрѣли на него съ какимъ-то невольнымъ почтеніемъ. Толстый господинъ, который только-что уснѣлъ прегордо и громогласно прокричать: «бутылку сантуринскаго!» вдругъ притихъ и почти шопотомъ повторилъ свое требованіе. Въ ту минуту, какъ Зарѣцкій, дождавшись, наконецъ, шампанскаго, за которымъ хозяинъ бѣгалъ въ ближайшій погребъ, наливалъ первый бокалъ, чтобъ выпить за здоровье невесты своего пріятеля,—вошелъ въ залу мужчина высокаго роста, съ огромными черными бакенбардами, въ щеголеватомъ однобортномъ сюртукѣ, въ одной петлицѣ котораго была продѣта ленточка ярко пунцоваго цвѣта. Лицо его было бы довольно пріятно, еслибъ не выражало какую-то дерзкую самонадѣянность, какое-то безстыдное наянство, которыя при первомъ взглядѣ возбуждали въ каждомъ невольное негодованіе. Вопреки принятому въ сей рестораціи обычаю, онъ вошелъ въ столовую, не снимая шляпы, бросилъ ее на окно и, не удостоивая никого взглядомъ, сѣлъ за столъ подлѣ Рославлева. Подозвавъ одну изъ служанокъ, онъ сказалъ, что не хочетъ ничего ѣсть, кромѣ жаркаго, и велѣлъ себѣ подать бутылку шатолафиту. По иностран-

ному его выговору и по самой физиономіи, не трудно было отгадать, что онъ французъ.

При появленіи сего новаго лица, легкій румянецъ заигралъ на щекахъ молчаливаго офицера; онъ устремилъ на француза свой безчувственный леденѣлый взоръ, и едва замѣтная, но исполненная непріязни и глубокаго презрѣнія улыбка одушевила на минуту его равнодушную и неподвижную физиономію.

— Жареные рябчики! — вскричалъ толстый господинъ, провожая жаднымъ взоромъ служанку, которая на большомъ блюдѣ начала разносить жаркое. — Ну, вотъ, почтеннѣйшій! — продолжалъ онъ, обращаясь къ худощавому старику, — не говорилъ ли я вамъ, что блюда блюдамъ розъ. Въ Мысѣ Доброй Надежды и пять блюдъ, но подадутъ ли тамъ за общимъ столомъ вотъ это? — промолвилъ онъ, подхвата на вилку жаренаго рябчика.

— Что правда, то правда, — отвѣчалъ старикъ, принимаясь за свою порцію. — Тамъ изъ жареной телятины шагу не выступатьъ.

Черезъ нѣсколько минутъ обѣдъ кончился. Офицеръ закурилъ сигарку и сѣлъ опять возлѣ окна. Степанъ Кондратьевичъ, поглядывая на него исподлобья, вышелъ въ другую комнату; студенты остались въ столовой, а Зарѣцкій, предложивъ бокалъ шампанскаго французу, который въ свою очередь потчевалъ его лафитомъ, завелъ съ нимъ разговоръ о политикѣ. — Я слышалъ, — сказалъ Зарѣцкій, — что ваши дѣла не такъ-то хорошо идутъ въ Испаніи?

Французъ улыбнулся. — Не потому ли вы это думаете, — отвѣчалъ онъ, — что Веллингтону удалось взять обманомъ Бадаіосъ? Не беспокойтесь, онъ дорого за это заплатитъ.

— Однакожъ, вѣрно, не дороже того, что заплатили французы, когда брали Сарагоссу — возразилъ Рославлевъ.

— Я совѣтую вамъ спросить объ этомъ у сарагосскихъ жителей, — отвѣчалъ французъ, бросивъ гордый

взглядъ на Рославлева. — Впрочемъ, — продолжать онъ, — я не знаю, почему называютъ войною простую экзекуцію, посланную въ Испанію для усмиренія бунтовщиковъ, которыхъ, къ стыду всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, англійское правительство поддерживаетъ единственно изъ своихъ торговыхъ видовъ?

— Бунтовщиковъ! — сказалъ Рославлевъ. — Но мнѣ кажется, что законный ихъ государь...

— Іосифъ, братъ императора французовъ, — по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока Испанія не названа еще французской провинціею.

— Я не думаю, — возразилъ Зарѣцкій, — чтобы Европа согласилась признать это древнее государство французской провинціею.

— Европа! — повторилъ съ презрительной улыбкою французъ. — А знаете ли, въ какомъ тѣсномъ кругу заключается теперь ваша Европа?.. Это небольшое мѣстечко, недалеко отъ Парижа; его называютъ Сень-Клу.

— Какъ, сударь! и вы думаете, что всѣ европейскіе государи...

— Да, мы, французы, привыкли звать ихъ всѣхъ однимъ общимъ именемъ: Наполеонъ. Это гораздо короче.

Лицо Рославлева покрылось яркимъ румянцемъ; онъ хотѣлъ что-то сказать, но Зарѣцкій предупредилъ его. — Итакъ, вы полагаете, — сказалъ онъ французу, — что воля Наполеонова должна быть закономъ для всей Европы?

— Этотъ вопросъ давно уже рѣшенъ, — отвѣчалъ французъ.

— Однакожъ, если вы считаете Англію въ числѣ европейскихъ государствъ, то, кажется... но, впрочемъ, можетъ-быть и англичане также бунтуютъ? Только, я думаю, вамъ трудно будетъ послать къ нимъ экзекуцію; для этого нуженъ флотъ; а по милости бунтовщиковъ - англичанъ, у васъ не осталось ни одной лодки.

— Англія!—вскричалъ французъ. — Да что такое Англія? И можно ли назвать европейскимъ государствомъ этотъ ничтожный островъ, населенный торгашами! Этотъ христіанскій Алжиръ, который скоро не будетъ имѣть никакого сообщенія съ Европою. Нѣтъ, милостивый государь! Англія не въ Европѣ: она въ Азіи; но и тамъ владычество ея скоро прекратится. Индія ждетъ своего освободителя, и при первомъ появленіи французскихъ орловъ на берегахъ Гангеса раздастся кликъ свободы на всемъ Индійскомъ полуостровѣ.

— Но Россія,—сказалъ Рославлевъ, — Россія, сударь?

— О! Россія вѣрно не захочетъ ссориться съ Наполеономъ. Не трогая ни мало вашей національной гордости, можно сказать утвердительно, что всякая борьба Россіи съ Франціею была бы совершеннымъ безуміемъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—прервалъ Зарѣцкій. — Ну, а если мы, на бѣду, сойдемъ съ ума и вздумаемъ съ вами поссориться?

— Отъ всей души желаю, — сказалъ французъ, — чтобъ этого не было; но если, къ несчастію, ваше правительство, ослѣпленное минутнымъ фанатизмомъ нѣкоторыхъ безпокойныхъ людей или обманутое происками британскаго кабинета, рѣшится возстать противъ колоса Франціи, то...

— Ну, сударь! Чтожъ тогда съ нами будетъ?—спросилъ улыбаясь Зарѣцкій.

— Что будетъ? Забавный вопросъ! Кажется, не нужно быть пророкомъ, чтобъ отгадать послѣдствія сего необдуманнаго поступка. Я спрашиваю васъ самихъ: что останется отъ Россіи, если Польша, Швеція, Турція и Персія возьмутъ назадъ свои области, если всѣ портовые города займутся нашими войсками, если...

— Бы забыли, — вскричалъ Рославлевъ, вскочивъ съ своего мѣста, — что въ Россіи останутся русскіе;

что тридцать милліоновъ русскаго народа, говорящихъ однимъ языкомъ, исповѣдывающихъ одну вѣру, могутъ легко истребить многочисленныя войска вашего Наполеона, составленныя изъ всѣхъ народовъ Европы!

— Помплуйте! да что такое народъ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значитъ ничего въ военномъ отношеніи; и Боже васъ сохрани отъ народной войны! Наполеонъ умѣетъ быть великодушнымъ побѣдителемъ. Но гере той землѣ, гдѣ народъ мѣшается не въ свое дѣло! Половина Испаніи покрыта пепломъ, та же участь можетъ постигнуть и ваше отечество. Солдатъ выполняетъ свою обязанность, когда дерется съ непріятелемъ; но мирный гражданинъ долженъ оставаться дома. Въ противномъ случаѣ, онъ разбойникъ, бунтовщикъ, и не заслуживаетъ никакой пощады.

— Разбойникъ! — повторилъ Рославлевъ прерывающимся отъ нетерпѣнія и досады голосомъ. — И вы смѣете называть разбойникомъ того, кто защищаетъ своего государя, отечество, свою семью...

— Чтожъ вы горячитесь?—прервалъ французъ.— Я не мѣшаю вамъ хвалить образъ войны, приличный однимъ варварамъ и отвратительный для каждаго просвѣщеннаго человѣка; но позвольте и мнѣ также остаться при моемъ мнѣніи. Я повторяю вамъ, что народная война не спасла бѣ Россіи, а ускорила бѣ ея погибель. Мы, французы, любимъ пожить весело, сыплемъ деньгами; мы щедры, великодушны, и тамъ, гдѣ насъ принимаютъ съ ласкою, никто не пожалуется на бѣдность; но если мы вынуждены употреблять мѣры строгости, то цѣлыя государства исчезаютъ при нашемъ появленіи. Впрочемъ, все то, что мы говорили, одно только предположеніе, и хотя мнѣніе мое основано на здравомъ смыслѣ...

— И еще на кой-чемъ другомъ,—прибавилъ молчаливый офицеръ, подойдя къ французу. — Позвольте спросить, — продолжалъ онъ спокойнымъ голосомъ,—дорого ли вамъ платять за то, чтобъ проповѣдывать

вездѣ безусловную покорность къ вашему великому Наполеону?

— Что это значить?—спросилъ французъ, вставая съ своего стула.

— И надобно вамъ отдать справедливость,—продолжалъ офицеръ,—вы исполняете вашу, не слишкомъ завидную должность во всѣхъ рублевыхъ трактирахъ съ такимъ же похвальнымъ усердіемъ, съ какими исполняютъ ее другіе въ гостиныхъ комнатахъ хорошаго общества.

— Государь мой! я васъ не понимаю.

— А, кажется, очень понятно. Я васъ давно уже знаю; вы мнѣ надѣли. Скажите, зачѣмъ у васъ въ петлицѣ эта ленточка? Орденъ Почетнаго Легиона прилично носить храбрымъ французскимъ воинамъ, а вы...

Тутъ офицеръ сказалъ что-то на-ухо французу.

— Какъ вы смѣете?—вскричалъ онъ, отступивъ два шага назадъ.

— Извините! На нашемъ варварскомъ языкѣ этому ремеслу нѣтъ другого названія. Впрочемъ, господинъ... какъ бы сказать повѣжливіе, господинъ агентъ, если вамъ это не нравится, то... не угодно ли сюда, къ сторонкѣ: намъ такъ ловчѣе будетъ познакомиться.

— Да, сударь, я хочу, я требую!..

— Тише, не шумите; а не то я подумаю, что вы трусь, и хотите отдѣлаться однимъ крикомъ. Послушайте!..

Онъ взялъ за руку француза и, отойдя къ окну, сказалъ ему вполголоса нѣсколько словъ. На лицѣ офицера незамѣтно было ни малѣйшей перемѣны; можно было подумать, что онъ разговариваетъ съ знакомымъ человѣкомъ о хорошей погодѣ или дождѣ. Но пылающія щеки защитника европейскаго образа войны, его безпокойный, хотя гордый и рѣшительный видъ, все доказывало, что дѣло идетъ о назначеніи мѣста и времени для объясненія, въ которомъ краснорѣчивыя фразы и логика ни къ чему не служатъ.

— Вотъ какъ трудно быть увѣрену въ будущемъ,—

сказалъ Рославлевъ, выходя съ своимъ пріятелемъ изъ трактира. — Думалъ ли этотъ офицеръ, что онъ встрѣтитъ въ рублевой рестораціи человѣка, съ которымъ, можетъ-быть, завтра долженъ рѣзаться.

— И, полно, mon cher! дѣло обойдется безъ кровопролитія. Если бы каждая трактирная ссора кончалась поединкомъ, то давно бы всѣ рестораторы померли съ голода. И кто дерется за политическія мнѣнія?

— Но если это мнѣніе обижаетъ цѣлую націю?

— Да развѣ нація человѣкъ? Развѣ ее можно обидѣть? Французы и до сихъ поръ не признаютъ насъ за европейцевъ и за нашу хлѣбъ-соль величаютъ варварами; а отечество наше, въ которомъ соединены климаты всей Европы, называютъ землею бѣлыхъ медвѣдей, и, что всего досаднѣе, говорятъ и печатаютъ, что наши дамы пьютъ водку и любятъ, чтобы мужья ихъ били. Такъ чтожъ, сударь! не прикажете ли за это вызывать на дуэль каждаго парижскаго лоскутника, который изъ насущнаго хлѣба пишетъ и печатаетъ свои бредни? Да Богъ съ ними, на здоровье! Пускай себѣ врутъ, что имъ угодно. Мы отъ ихъ словъ татарами не сдѣлаемся; въ Крыму не будетъ холодно; мужья не станутъ бить своихъ женъ, и, вѣрно, наши дамы, въ угодность французскимъ вояжерамъ, не разрѣшатъ на водку, которую, впрочемъ, мы могли бы называть ликеромъ, точно такъ же, какъ называется рестораціею харчевня, въ которой мы обѣдали.

Походя нѣсколько времени по опустѣвшему бульвару, наши молодые друзья растались. Зарѣцкій обѣщалъ чѣмъ-свѣтъ пріѣхать проститься съ Рославлевымъ, который спѣшилъ домой, чтобъ отдохнуть и, переодѣвшись, отправиться на вечеръ къ княгинѣ Радугиной.

III.

Въ девятомъ часу вечера, карета Рославлева остановилась въ Большой Милліонной, у подъѣзда дома принадлежащаго княгинѣ Радугиной. Входя въ передъ,

ною, Рославлевъ, съ примѣтнымъ неудовольствіемъ, замѣтилъ въ числѣ слугъ богато одѣтаго егеря, который, развалившись на стулѣ, игралъ своею треугольной шляпою съ зеленымъ султаномъ и поглядывалъ свысока на другихъ лакеевъ, сидѣвшихъ отъ него въ почтенной дистанціи и вполголоса разговаривавшихъ между собою. Пройдя пріемную и двѣ гостиныя комнаты, онъ встрѣченъ былъ офиціантомъ, который, растворя дверь въ роскошную диванную, доложилъ о немъ громкогласно хозяйкѣ дома.

Родственница Рославлева, богатая вдова, княгиня Радугина, могла служить образцомъ хорошаго тона (къ счастью) тогдашняго времени. Она говорила по-русски дурно, по-французски прекрасно, умирала съ тоски, живя въ Петербургѣ, презирала все русское, жила два года въ Парижѣ, два мѣсяца въ Лозаннѣ и третій уже годъ собиралась ѣхать въ Италію. Окруженная иностранцами, она привыкла слышать, что Россія и Лапландія почти одно и то же; что отечество наше должно рабски подражать всему чужеземному и быть сколкомъ съ другихъ націй, а особливо съ французской, для того, чтобъ быть чѣмъ-нибудь; что намъ не должно и нельзя мыслить своей головою, говорить своимъ языкомъ, носить издѣлье своихъ фабрикъ, имѣть свою словесность и жить по-своему. Бѣдная Радугина въ простотѣ души своей была увѣрена, что высочайшая степень просвѣщенія, до которой Россія могла достигнуть, состояла въ совершенномъ отсутствіи оригинальности, собственного характера и національной фizioноміи; однимъ словомъ: заслужить названіе обезьянъ Европы, была, по мнѣнію ея, одна возможная и достигаемая цѣль для насъ, несчастныхъ сѣверныхъ варваровъ. Ея всегдашнее общество составлялось предпочтительно изъ чиновниковъ французскаго посольства и изъ нѣсколькихъ русскихъ молодыхъ литераторовъ, которые вслухъ называли ее Коринною, потому что она писала иногда французскіе стишки, а потихоньку смѣялись надъ ней вмѣстѣ съ французами, которые, въ свою очередь, на-

смѣхались и надъ ней, и надъ ними, и надъ всѣмъ, что казалось имъ забавнымъ и смѣшнымъ въ семъ домѣ, въ коемъ, по словамъ ихъ, каждый день разыгрывали презабавныя пародіи европейскаго просвѣщенія.

Княгиня Радугина была нѣкогда хороша собою; но безпрестанные праздники, балы, ночи, проведенныя безъ сна, словомъ, все, что сокращаетъ вѣкъ нашихъ модныхъ дамъ, не оставило на лицѣ ея и признаковъ прежней красоты, несмотря на то, что нѣкогда кричали о ней даже и въ Москвѣ,

... которал и въ древни времена
Прелестными была обильна и славна.

Одни исполненные томности черные глаза ея напоминали еще о семъ, давно - прошедшемъ времени, и позволяли иногда молодымъ поэтамъ въ миленькихъ французскихъ стишкахъ, по большей части вѣкраденныхъ изъ конфектной лавки Молinari, сравнивать ее по уму съ одною изъ музъ, а по красотѣ — со всѣми тремя граціями..

Комната, въ ксторой Рославлевъ нашелъ хозяйку дома, освѣщалась нѣсколькими восковыми свѣчами, поставленными въ прозрачныхъ фарфоровыхъ вазахъ, и яркимъ огнемъ, пылающимъ въ прекрасномъ мраморномъ каминѣ. На кругломъ столѣ, изъ карельской березы, стоялъ серебряный чайный приборъ; передъ нимъ, на диванѣ, покрытомъ богатой турецкой матеріею, сидѣла княгиня Радугина, облокотясь на вышитую по канвѣ подушку, украшенную изображеніемъ Азора, любимой ея москы, которая, по-своему отвратительному безобразію, могла назваться совершенствомъ въ своемъ родѣ. Возлѣ окна, закинувъ назадъ голову, сидѣлъ на модной козеткѣ одинъ изъ домашнихъ ея поэтовъ; глаза его, устремленные кверху, искали на расписномъ плафонѣ комнаты вдохновенія и четвертой рифмы къ экспромту, заготовляемому на всякій случай. У камина какой-то художавый французскій путешественникъ поилъ съ блюдечка простывшимъ чаемъ

толстаго Азора, а подлѣ дивана, одинъ изъ главныхъ чиновниковъ французскаго дипломатическаго корпуса, развалился въ огромныхъ вольтеровскихъ креслахъ, разговаривалъ съ хозяйкою.

— А, здравствуйте, mon cousin!—сказала Радугина, разумѣется, по-французски, кивнувъ привѣтливо головою входящему Рославлеву.—Не хотите ли чаю?

— Нѣтъ, княгиня, я не пью чаю послѣ обѣда,—отвѣчалъ Рославлевъ, сядя на одинъ изъ порожнихъ стульевъ.

— Я васъ цѣлый вѣкъ не видала. Ужъ не прощаться ли вы приѣхали со мною?

— Вы отгадали. Я завтра ѣду.

— За-границу?

— Извините! въ Москву, а потомъ въ деревню.

— Въ деревню! Ахъ, какъ вы мнѣ жалки!.. Азоръ! viens ici, mon ami!.. Онъ васъ беспокоитъ, monsieur le comte?

— О, нѣтъ! напротивъ, княгиня!—отвѣчалъ путешественникъ.—Il est charmant! Пей, мой другъ, пей!

— И такъ, вы ѣдете завтра, mon cousin? Когда же вы воротитесь?

— Не знаю; но, вѣрно, не прежде моей свадьбы.

— Ахъ, Боже мой! представьте себѣ, какая дистракція! Я совсѣмъ забыла, что вы помолвлены. Теперь понимаю: вы ѣдете къ вашей невѣстѣ. О, это другое дѣло! Вамъ будетъ весело и въ Москвѣ, и въ деревнѣ, и на краю свѣта. L'amour embellit tout ¹⁾.

— Жаль только, — прервалъ путешественникъ, — что любовь не грѣетъ у васъ въ Россіи: это было бы очень кстати. Скажите, княгиня, бываетъ ли у васъ когда-нибудь тепло? Боже мой! — прибавилъ онъ, подвигаясь къ камину, — въ маѣ мѣсяцъ! Quel pays!

— Чтожъ дѣлать, графъ? — сказала съ глубокимъ вздохомъ хозяйка. — Никто не выбираетъ себѣ отечества!

— Да, сударыня! — подхватилъ дипломатъ. — Еслибъ

¹⁾ Любовь все украшаетъ.

этотъ выборъ зависѣлъ отъ насъ, то, вѣрно, въ Россіи было бы еще просторнѣе, а во Франціи такъ тѣсно, какъ въ большой парижской оперѣ, когда давали въ первый разъ «Торжество Траяна»!

— И когда самъ Траянъ присутствовалъ при своемъ торжествѣ,—прибавилъ путешественникъ.

— Скажите, *mon cousin*,—сказала Радугина,—вѣдь вы женитесь на Лидиной?

— Да, княгиня.

— На той самой, которая прошлаго года была въ Парижѣ?

— То-есть на ея дочери.

— Надѣюсь, на старшей?

— Да, княгиня, на старшей.

— Ее, кажется, зовутъ Полинью? *Charmant personnage!*.. О чемъ мы съ вами говорили, баронъ?—продолжала Радугина.—Ахъ, да!.. Знаете ли, *mon cousin*, что вы очень кстати пріѣхали? Мнѣ нужна ваша помощь. Представьте себѣ! *Monsieur le baron* увѣряетъ меня, что мы должны желать, чтобъ Наполеонъ пришелъ къ намъ въ Россію. Боже мой! какъ это страшно! Скажите, неужели мы въ самомъ дѣлѣ должны желать этого?

Рославлевъ едва усидѣлъ на стулѣ. — Какъ, сударыня!—вскричалъ онъ...

— Да, да! Онъ мнѣ это почти доказалъ.

— *Pardon, princesse!*—сказалъ хладнокровно дипломатъ:—вы не совсѣмъ меня поняли. Я не говорю, что русскіе должны положительно желать прихода нашихъ войскъ въ ихъ отечество; я объяснялъ только вамъ, что если силою обстоятельствъ Россія сдѣлается поприщемъ новыхъ побѣдъ нашего императора, и русскіе будутъ имѣть благоразуміе удержаться отъ народной войны, то послѣдствія этой кампаніи могутъ быть очень полезны и выгодны для вашей націи.

— Извините, баронъ, мое невѣжество, — сказалъ Рославлевъ,—я, право, не понимаю...

— Не понимаете? Такъ спросите объ этомъ у

голландцевъ, у всего Рейнскаго союза; поѣзжайте въ Швейцарію, въ Италію; взгляните на утесистыя, непроходимыя горы, нѣкогда отчаяніе несчастныхъ путешественниковъ, а теперь прорѣзанныя широкими дорогами, по которымъ вы можете, княгиня, прогуливаться въ своемъ ландо спокойнѣе, чѣмъ по Невскому проспекту; спросите въ Террачинѣ и Неаполѣ, куда дѣвались безчисленныя шайки бандитовъ, отъ которыхъ не было проѣзда въ южной Италіи; сравните нынѣшнее просвѣщеніе Европы съ прежними предрасудками и невѣжествомъ, и послѣ этого не понимайте, если хотите, какія безчисленныя выгоды влечетъ за собою присутствіе сего генія, колоссальнаго, какъ міръ, и неизбѣжнаго, какъ судьба.

— Прекрасное сравненіе! — воскликнулъ молодой поэтъ. — Какое у васъ цвѣтущее воображеніе, баронъ!

— Неизбѣжный, какъ судьба!.. — повторила почти набожнымъ голосомъ хозяйка дома, поднявъ къ небесамъ свои томные глаза. — Ахъ, какъ долженъ быть величественъ видъ вашего Наполеона!.. Мнѣ кажется, я его вижу передъ собою!.. Какой *грандіозо* долженъ быть въ этомъ орлиномъ взглядѣ, въ этомъ...

— Не глядите такъ высоко, княгиня! — прервалъ съ принужденною улыбкою Рославлевъ. — Наполеонъ невысокаго роста.

— Да, ростомъ онъ меньше вашего великаго Петра, — сказалъ насмѣшливо путешественникъ.

— И ростомъ, и душою! — возразилъ Рославлевъ, устремивъ пылающій взоръ на француза, который почти до половины уже влѣзъ въ каминъ. — Если вы, графъ, читали когда-нибудь исторію...

— *Fi, fi! mon cousin!* — вскричала Радугина, — вы горячитесь. Развѣ нельзя спорить и разсуждать хладнокровно?

— Вы правы, княгиня, — сказалъ Рославлевъ, стараясь удержаться. — Графъ не можетъ понимать всю великость генія преобразователя Россіи — онъ не русскій; также какъ я, не будучи французомъ, никакъ не

могу постигнуть, какимъ образомъ просвѣщеніе преподается помощію штыковъ и пушекъ. Нѣтъ, господинъ баронъ! если мы и нуждаемся въ профессорахъ, то, вѣроятно, не въ тѣхъ, коихъ всѣ достоинства состоятъ въ личной храбрости, а познанія—въ умѣннѣ скоро заряжать ружье и мѣтко попадать въ цѣль. Позвольте вамъ напомнить, что въ этомъ отношеніи Россія не имѣетъ причины никому завидовать, и легко можетъ доказать на самомъ дѣлѣ—даже и побѣдителямъ полувселенной.

Дипломатъ улыбнулся и, не говоря ни слова, вынулъ изъ кармана брауншвейгскую бумажную табакерку съ прекраснымъ пейзажемъ. Попотчевавъ табаккомъ Рославлева, онъ сказалъ:—Посмотрите, какъ хорошо дѣлаютъ нынче эти бездѣлки. Какой правильный рисунокъ!.. Это видъ Аустерлица.

— Да, —отвѣчалъ спокойно Рославлевъ, —я видѣлъ почти такую же табакерку; не помню хорошенько, кажется, съ видомъ Прейсишъ - Ейлау, или Нови. Она еще лучше этой.

Господинъ баронъ смутился и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ: Какъ жаль, что подъ Нови вашъ Суворовъ дрался не съ Наполеономъ. Это былъ бы одинъ изъ лучшихъ листовъ въ лавровомъ вѣнкѣ нашего императора.

— Да, еслибъ французы не были разбиты.

— Но неужели вы думаете, что это могло случиться, когда бы нашимъ войскомъ командовалъ самъ Наполеонъ.

— Извините! я не думаю, а увѣренъ въ этомъ.

— *Bienheureux ceux qui croient* ¹⁾, пробормоталъ путешественникъ, подкладывая дровъ въ потухающій каминъ.

Поэтъ улыбнулся, а хозяйка съ сожалѣніемъ посмотрѣла на Рославлева.

— Но мы отбились отъ нашей матеріи, — продол.

¹⁾ Блаженны вѣрующіе.

жалъ дипломатъ. — Вамъ кажется страннымъ просвѣщеніе, распространяемое помощію оружія; согласитесь, по крайней мѣрѣ, что порядокъ, устройство и общепользныя работы, которыя гигантскимъ своимъ объемомъ напоминаютъ почти баснословныя дѣла древнихъ римлянъ, должны быть необходимымъ слѣдствіемъ твердой воли, неразлучной съ силою. Для приведенія въ дѣйствіе высокихъ предначертаній, коихъ польза постигается только впослѣдствіи, нужно всемогущество, коимъ обладаетъ Наполеонъ; необходимы его безчисленныя войска... И если Россія желаетъ подвинуться впередъ...

— И, господинъ баронъ! — прервалъ съ улыбкою Рославлевъ, — что вамъ за радость просвѣщать насильно націю, которая одна, по своей силѣ и самобытности, можетъ сдѣлаться современемъ счастливой соперницею Франціи. Предоставьте это времени и собственному ея желанію — сравниться въ просвѣщеніи съ остальною частію Европы: Россія и безъ вашей насильственной помощи идетъ скорыми шагами къ сей высокой цѣли всѣхъ народовъ. Поглядите вокругъ себя! Скажите, произвели ли ваши предки, въ теченіе многихъ вѣковъ, то, что создано у насъ въ одно столѣтіе? Не походитъ ли на быструю перемѣну декорацій вашей парижской оперы это появленіе великолѣпнаго Петербурга среди непроходимыхъ болотъ и безлюдныхъ пустынь сѣвера?

— Да неужели вы думаете, сударь, что вашъ Петербургъ можетъ назваться европейскимъ городомъ? И, полноте!.. Въ немъ все начато, и ничто не кончено. Ваши широкія улицы походятъ на площади; ваши площади — на какія-то незастроенныя пустопорожнія мѣста; ваши длинные, невысокіе дома — на фабрики... Набережныя у васъ не дурны; но чѣмъ можно назвать эти расписные деревянные мостики? Есть ли въ Петербургѣ хоть одна порядочная церковь? Что такое ваша Казанская? Огромная куча матеріаловъ, подъ которою зарыты нѣкоторыя, опрятно

отдѣланныя части, не выкупающія ни мало всю нестройность и безобразіе цѣлаго. О, будьте спокойны, господа русскіе! Если французы придутъ въ Петербургъ, то, вѣрно, не позавидуютъ вашему Казанскому собору, а увезутъ, можетъ-быть, съ собой его гранитныя колонны.

— Бога ради, баронъ! — сказала хозяйка, — не говорите этого при родственникѣ моемъ, князѣ Радугинѣ. Онъ безъ памяти отъ этой церкви, и знаете ли, почему? Потому что въ построеніи ея участвовали одни русскіе художники.

— О, это очень замѣтно! — подхватилъ путешественникъ.

— Князь Радугинъ! — повторилъ съ примѣтной досадою дипломатъ. — Какъ жаль, княгиня, что вы родня этому фанатику, этому необразованному камчадалу, этому...

— Ахъ! что вы, monsieur le baron! Конечно, я не спорю, онъ морякъ, его формы нѣсколько странны, тонъ очень дуренъ, а бѣшенный патріотизмъ отмѣнно смѣшонъ; но, несмотря на это, онъ, право, добрый и честный человѣкъ.

— Согласенъ, княгиня! Я не понимаю только, чего смотреть ваше правительство? Человѣкъ, который можетъ заразить многихъ своимъ безумнымъ и вреднымъ фанатизмомъ, который не скрываетъ даже своей ненависти къ французамъ, можетъ ли быть терпимъ въ русской столицѣ?

— А въ какой же, сударь? — спросилъ насмѣшливо Рославлевъ. — Ужъ не въ французской ли?

— Нигдѣ, сударь, нигдѣ! Такіе опасные люди не должны быть терпимы во всей Европѣ. Пусть они ѣдутъ въ Англію или Восточную Индію; пусть проповѣдываютъ тамъ возмутительныя свои правила; по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока на берегахъ Темзы не развѣваются еще знамена Франціи.

— Не скоро же они уймутся говорить, — сказалъ Рославлевъ.

— Вы думаете? Нѣтъ, сударь, скоро наступитъ послѣдній часъ владычеству этихъ морскихъ разбойниковъ; принятая всей Европою континентальная система не выполнялась до сихъ поръ въ Россіи, съ той непреклонной настойчивостію, какую требуютъ пользы Франціи и ваши собственныя. Но теперь, когда вашему двору извѣстна рѣшительная воля императора, когда никакія дипломатическія увертки не могутъ имѣть мѣста, когда нѣтъ середины, и русскіе должны вступить въ бой столь неравный или повиноваться...

— Повиноваться?—повторилъ Рославлевъ.—Вы забыли сударь, что мы повинемся только законному государю нашему, а русскій царь — одному Богу и своей совѣсти! Послушайте, баронъ! Вы, кажется, довольно и даже слишкомъ откровенно говорили съ русскимъ дворяниномъ; позвольте же и мнѣ въ мою очередь быть также откровеннымъ. Скажите, для чего эти безпрестанныя угрозы, этотъ невыносимый, повелительный тонъ, эта увѣренность, съ которой вы говорите о будущихъ побѣдахъ вашихъ? Или вы не чувствуете, что, унижая всѣ прочія націи, вы дѣлаете вашу ненавистною для всѣхъ? Торжествуйте дома ваши побѣды, наслаждайтесь плодами ихъ, будьте сильнѣйшей націею въ Европѣ; но, Бога ради! не душите всѣхъ вашей славою. Оскорбляя безпрестанно самолюбіе другихъ народовъ, вы заставите, наконецъ, ихъ очнуться отъ ихъ непонятнаго и позорнаго сна. Къ чему все то, что вы говорили о Россіи? Если вы думаете застращать насъ, то очень ошибаетесь, господинъ баронъ! Чувство, которое съ нѣкотораго времени сдѣлалось общимъ въ Россіи,—нѣтъ сударь!.. это чувство не походитъ на страхъ. Мы нѣкогда любили васъ, какъ друзей; теперь начинаемъ ненавидѣть, какъ злѣйшихъ непріятелей. Повѣрьте, на обширныхъ поляхъ нашихъ, усѣянныхъ костями литовцевъ и татаръ, найдется еще довольно мѣста и для новыхъ незваныхъ гостей!.. Извините, баронъ! такъ думаю я, такъ думаютъ всѣ русскіе!

— Вы очень краснорѣчиво защищаете вашу національную славу, — сказалъ съ улыбкою дипломатъ. — Жаль только, что вы ошибаетесь въ одномъ: выключая нѣкоторыхъ заносчивыхъ патріотовъ, всѣ русскіе любятъ насъ точно также, какъ любили прежде. Не спорю, можетъ-быть, правительство ваше... но народъ, а особливо дворяне... О! въ нихъ мы совершенно увѣрены. Не правда ли? Вы попрежнему предпочитаете нашъ языкъ вашему собственному, перенимаете всѣ наши обычаи, одѣваетесь по-нашему; словомъ, стараетесь во всемъ походить на насъ. Признайтесь, что это презабавныя доказательства національной ненависти. Нѣтъ, сударь, добрые русскіе, несмотря ни на какія политическія отношенія, останутся всегда друзьями французовъ. Почтеніе, которое они показываютъ къ нашему дипломатическому корпусу, ихъ уваженіе даже къ одному имени Франціи, любовь къ писателямъ нашимъ, все доказываетъ эту неоспоримую истину...

— Князь Дмитрій Павловичъ Радугинъ! — сказалъ вошедшій слуга.

— Мой зять! — вскричала хозяйка.

— Не принимайте этого готтентота, — шепнулъ дипломатъ. — Ахъ, Боже мой! — продолжалъ онъ, отодвигая свое кресло отъ дивана, — какая тоска! Вотъ онъ!

Двери настежъ растворились, и мужчина высокаго роста, лѣтъ пятидесяти, въ морскомъ вицъ-мундирѣ и съ георгіевскимъ крестомъ въ петлицѣ, вошелъ въ комнату. — Здравствуй, сестра! — сказалъ онъ. — Здорово, Рославлевъ! Bonjour messieurs!

— Здравствуйте, князь! — проговорила тихимъ голосомъ и по-русски хозяйка дома. — Я сегодня очень нездорова: ужасно болитъ голова; и если вы, по вашему обыкновенію, станете кричать...

— Не беспокойся! — прервалъ князь Радугинъ, сядя на диванъ. — Я заѣхалъ къ тебѣ на минутку, рассказать одну презабавную исторію, и очень радъ, что

засталъ у тебя этихъ господъ. Такъ и быть!.. Дурно ли, хорошо ли, а расскажу этотъ анекдотъ по-французски: пускай и они посмѣются вмѣстѣ со мною... *Escoutez, messieurs!* — промолвилъ Радугинъ по-французски. — Хотите ли, я вамъ расскажу презабавную новость?

— Мы васъ слушаемъ, князь!—отвѣчалъ съ вѣжливой улыбкою дипломатъ.

Вояжеръ пересталъ также раздувать огонь въ каминѣ и придвинулся къ дивану.

— Вотъ, господа! съ часъ тому назадъ, — продолжалъ князь Радугинъ, — въ Большой Морской повстрѣчались двѣ кареты; въ одной изъ нихъ сидѣлъ вашъ посланникъ, а въ другой какой-то гвардейскій прапорщикъ, разумѣется, малый молодой. По неосторожности кучеровъ, колесо одной кареты зацѣпилось за колесо другой; къ счастью, оба кучера успѣли остановить лошадей. Вотъ, его превосходительство обидѣлся, зашумѣлъ, закричалъ; офицеръ сталъ извиняться; но посланникъ не хотѣлъ слышать никакихъ извиненій и поднялъ такой штурмъ, какъ будто-бъ дѣло шло о чести всей Франціи. Между тѣмъ, кругомъ каретъ столпились сотни двѣ зѣвакъ. Лакеи суетились вокругъ экипажей; но, несмотря на помощь проходящихъ, не могли никакъ ихъ расцѣпить. Офицеръ высунулся въ окно и, продолжая извиняться, сказалъ его превосходительству, что должно непременно подвинуть назадъ его карету. — Французы никогда не двигаются назадъ! — отвѣчалъ гордо посланникъ. — И русскіе также!—возразилъ офицеръ. — Пошелъ! — Кучеръ ударилъ по лошадямъ; онѣ рванулись... кракъ! — у посланника одного колеса какъ не бывало. Офицерская карета помчалась вдоль улицы, и весь народъ закричалъ: Славно! ай да молодецъ!

— *Quelle horreur!*—вскричала Радугина.

— *Quelle audace!*—воскликнулъ дипломатъ.

— *Ça n'a pas de nom!* — прибавилъ путешественникъ.

Глаза Рославлева заблестали удовольствіемъ, а бѣдный поэтъ испугался, поблѣднѣлъ и, казалось, готовъ былъ закричать: — Ей-Богу! я незнакомъ съ этимъ офицеромъ!

— А что всего любопытнѣе, — продолжалъ Радугинъ, такъ это то, что, по рассказамъ, громче всѣхъ кричали: ай да молодецъ! спасибо ему! — какъ вы думаете, кто? Мужики? Нѣтъ, сударь! порядочные и очень порядочные люди!

— Быть не можетъ! — сказалъ дипломатъ. — Такая дерзость!..

— Дерзость или нѣтъ, этого мы не знаемъ; дѣло только въ томъ, что карета, я думаю, лежитъ и теперь еще на-боку!

— Но не ушибся ли господинъ посланникъ? — спросилъ торопливо путешественникъ.

— Нѣтъ, графъ! Говорятъ, что онъ поизмязлъ только свою прическу à la Titus и разбилъ себѣ носъ.

— Поѣдьте скорѣй узнать — справедливо ли это! — сказалъ путешественнику испуганный дипломатъ. — О, если это правда, то должно примѣрно наказать, надобно потребовать une réparation éclatante! Честь Франціи... честь нашего императора!.. Ыдемте, графъ! Ыдемте!

— Какъ вы думаете, — спросила хозяйка на русскомъ языкѣ князя Радугина, — не послать ли и мнѣ? не ѣхать ли самой?..

— А что ты думаешь, сестра? Конечно! ты молодая вдова, русская барыня, онъ французъ, любезень, человекъ не старый; въ самомъ дѣлѣ, это очень будетъ прилично. Ступай, матушка, ступай!

— Но точно ли это правда?

— Дай то, Господи! молебень бы отслужилъ.

— Отъ кого вы слышали?

— Вотъ то-то и бѣда! мнѣ рассказывалъ объ этомъ одинъ всесвѣтный лгуны. Да, Богъ милостивъ, быть-можетъ, на этотъ разъ онъ сказалъ и правду.

Французы, спѣша узнать о здоровьѣ своего посла,

откланялись хозяйкѣ. Рославлевъ воспользовался симъ случаемъ, чтобъ распрощаться также съ своей кузиною, обнявъ дружески князя Радугина и отправился домой.

IV.

Вдали, сквозь утренній туманъ, сверкали верхи позлащенныхъ спицовъ адмиралтейства и высокой колокольни Петропавловскаго собора; но солнце еще не показалось изъ-за частой сосновой рощи, и густая тѣнь лежала на кровлѣ двухъ-этажнаго дома старинной архитектуры, въ которомъ помѣщался трактиръ, извѣстный подъ названіемъ: Руки или Средней Рогатки. Все было тихо на большой Московской дорогѣ, скучной и однообразной, въ сравненіи съ другими окрестностями Петербурга. Вдругъ послышался вдали звонкій валдайскій колокольчикъ; онъ умолкалъ на минуту, и раздавался опять: то тише, то громче; частилъ, перербивалъ, заливался и снова переставалъ звенѣть. Вдоль дороги отъ Петербурга, разстилая направо и налево густыя облака пыли, неслась на лихой шестернѣ почтовыхъ открытая коляска, за которою едва успѣвали скакать дрожки, запряженные щегольской парой разношерстныхъ лошадей. Коляска остановилась у дверей трактира; изъ нея выпрыгнулъ Рославлевъ въ дорожномъ платьѣ и фуражкѣ, а вслѣдъ за нимъ сталъ вылѣзать, зѣвая и потягиваясь, Зарѣцкій, закутанный въ гороховую шинель, съ пятью или шестью воротниками. Слуга побѣждалъ будить трактирщика. а наши пріатели сѣли на скамью, подлѣ дверей.

— Ну, mon cher!—сказалъ Зарѣцкій,—теперь, надѣюсь, ты не можешь усомниться въ моей дружбѣ. Я легъ спать во второмъ часу и всталъ въ четвертомъ для того, чтобъ проводить тебя до Средней Рогатки, до которой мы, я думаю, часа два ѣхали. Съ чего взяли, что этотъ скверный трактиръ на восьмой верстѣ отъ Петербурга? Ужъ я дремалъ, дремалъ! Ну, право,

мы верстъ двадцать отѣхали. Ахъ, батюшки! какъ я исковерканъ!

— Скажи, пожалуйста, Александръ, — спросилъ Рославлевъ, — давно ли ты сдѣлался такой нѣженкой? Когда мы служили съ тобой вмѣстѣ, ты не зналъ устали и готовъ былъ по цѣлымъ суткамъ не сходить съ коня.

— Тогда я носилъ мундиръ, *mon cher*! А теперь во фракѣ хочу посибаритничать. Однакожъ, знаешь ли, мой другъ? Хотя я не очень скучаю теперешнимъ моимъ положеніемъ, а все-таки мнѣ было веселѣе, когда я служилъ. Почему знать? Можетъ-быть, скоро понадобятся офицеры; стоитъ намъ поссориться съ французами... Признаюсь, люблю я этотъ милый и веселый народъ; что и говорить, славная нація. А какъ подумаешь, такъ надобно съ ними порѣзаться: зазнались разбойники! Послушай, Вольдемаръ, если у насъ будетъ война, я пойду опять въ гусары.

— И я также, — сказалъ Рославлевъ.

— Давай руку! Что, въ самомъ дѣлѣ! служить, такъ служить вмѣстѣ; а когда кампанія кончится и мы опять поладимъ съ французами, такъ знаешь ли что?.. Качнемъ въ Парижъ! То-то бы пожили и повеселились! Эхъ, милый! Что ни говори, а вѣдь у насъ, право, скучно!

— Я этого не вижу.

— Да полно, *mon cher*! что за патріотизмъ, когда дѣло идетъ о весельѣ? Я не менѣе твоего люблю наше отечество, и готовъ за него драться до послѣдней капли крови; а если заберетъ зѣвота, такъ прошу не погнѣваться, не останусь ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ, а махну прямехонько въ Парижъ, и даже съ условіемъ: не просыпаться ни разу дорогою, а особливо проѣзжая черезъ ученую Германію.

— Нѣтъ, мой другъ! Если ты узнаешь скуку, то не разстанешься съ нею и въ Парижѣ. Когда мы кружимся въ вѣчномъ чадѣ, живемъ безъ всякой цѣли; когда чувствуемъ въ душѣ нашей какую-то несносную пустоту...

— Ахъ, виноватъ, мой другъ! Я вѣдь и забылъ,

что душа твоя полна любви; а въ той странѣ, гдѣ живетъ наша любезная, разумѣется, круглый годъ цвѣтутъ розы и воздухъ дышитъ ароматомъ. Но кстати, я и не подумалъ, какъ же ты сдержишь свое слово и пойдешь опять въ гусары? Если ты успѣешь обвѣнчаться, такъ жена за тебя уцѣпится; если будешь женихомъ, то самъ не захочешь покинуть своей невѣсты. Вотъ я—такъ вольный казакъ: что хочу, то и дѣлаю. У меня точно такъ же, какъ у тебя, нѣтъ ни отца, ни матери; старая моя тетушка, вѣрно, не будетъ меня удерживать. Правда, у меня есть и кузины, въ пятомъ или шестомъ колѣнѣ; но клянусь тебѣ честію, я люблю ихъ всѣхъ, какъ родныхъ сестеръ—такъ онѣ больно плакать обо мнѣ не станутъ. Однакожь послушай, Вольдемаръ: если ужъ мы объ этомъ заговорили, такъ Расскажи-ка мнѣ, какъ ты влюбился, и что такое эта проклятая любовь, отъ которой умные люди сходятъ съ ума, а дураки иногда становятся умнѣе?

— Ты знаешь, Александръ, что я все прошлое лѣто жилъ въ деревнѣ, верстахъ въ пятидесяти отъ Москвы. Около середины лѣта пріѣхала въ мое сосѣдство богатая вдова Лидина, съ двумя дочерьми; она только-что воротилась изъ Парижа и должна была, для приведенія въ порядокъ дѣлъ своихъ, прожить нѣсколько лѣтъ въ деревнѣ. Я былъ уже давно знакомъ съ городничимъ нашего уѣзднаго города, маіоромъ Ильменевымъ. Какъ образчикъ нѣкоторыхъ закоренѣлыхъ невѣждъ прошедшаго поколѣнія, этотъ Ильменевъ могъ бы занять не послѣднее мѣсто въ комедіи Недоросль, еслибъ въ числѣ первыхъ комическихъ лицъ сей пьесы были люди добрые, честные и забавные только своимъ невѣжествомъ. Онъ познакомилъ меня съ роднымъ братомъ Лидиной, Николаемъ Степановичемъ Ижорскимъ, также изряднымъ чудакомъ, который на другой же день отрекомендовалъ меня своей сестрѣ. Ты можешь себѣ представить, какъ я обрадовался, найдя въ моихъ сосѣдкахъ милыхъ, любезныхъ и просвѣщенныхъ женщинъ.

— Да, мой другъ, въ провинціи ты могъ себя поздравить съ этой находкою.

— Маменька имѣетъ свою смѣшную сторону; но дочери...

— Что и говорить—прелесть, совершенство!.. А которое изъ этихъ двухъ совершенствъ свело тебя съ ума?

— Оленька, меньшая сестра, понравилась мнѣ съ перваго раза болѣе старшей сестры своей, Полины.

— Съ перваго раза? Слѣдовательно, ты влюбленъ въ старшую? Да чтожь тебѣ сначала въ ней понравилось? Что она блондинка или брюнетка?

— У обѣихъ сестеръ голубые глаза; онѣ обѣ прекрасны и даже очень походятъ другъ на друга; но, несмотря на это... право, не знаю, какъ тебѣ объяснить различіе, передъ которымъ исчезаетъ совершенно это наружное сходство. Оленька добра, простодушна, привѣтлива, почти всегда весела, стыдлива и скромна, какъ застѣнчивое дитя, а разсудительна и благоразумна, какъ опытная женщина; но при всѣхъ сихъ достоинствахъ, никакой поэтъ не назвалъ бы ее существомъ небеснымъ; она просто—прелестный земной цвѣтокъ, украшеніе здѣшняго міра. Но сестра ея... ахъ! какое неземное чувство горитъ въ ея вѣчно-томныхъ, унылыхъ взорахъ; все, что сближаетъ землю съ небесами, все высокое, прекрасное доступно до этой чистой, пламенной души! Оленька, съ согласія своей матери, выйдетъ замужъ, сдѣлается доброй, нѣжной матерью; но никогда не будетъ умѣть любить какъ Полина! Въ нѣсколько дней нашего знакомства, я сталъ почти домашнимъ человѣкомъ у Лидиной. Оленька перестала меня дичиться; не прошло двухъ недѣль, и она бѣгала уже со мной по саду, гуляла по полямъ, по рощѣ, однимъ словомъ, обращалась какъ съ роднымъ братомъ. Съ дѣтской откровенностью милаго ребенка она высказывала мнѣ все, что приходило ей въ голову, и часто удивляла меня своимъ незатѣйливымъ, но яснымъ и вѣрнымъ понятіемъ о свѣтѣ. Съ Полиною я не скоро

познакомился. Сначала мнѣ казалось даже, что она убѣгаетъ всѣхъ случаевъ быть вмѣстѣ со мною; наконецъ, мало-по-малу, мы сблизились, и только тогда, когда я узналъ всю красоту души этого воплощеннаго ангела, я понялъ причину ея задумчивости и всегдашняго унынія. Да, другъ мой! Полина слишкомъ совершенна для здѣшняго міра! Ея живое, цвѣтущее воображеніе облекаетъ все въ какую-то неземную одежду. Однажды я читалъ обѣимъ сестрамъ только-что вышедшій романъ: Матильда или Крестовые походы. Когда мы дошли до того мѣста, гдѣ врагъ всѣхъ христіанъ, врагъ отечества Матильды, невѣрный мусульманинъ, Малекъ Адель, умираетъ на рукахъ ея—добрая Оленька, обливаясь слезами, сказала: «Бѣдняжка! зачѣмъ она любила этого турка! Вѣдь онъ не могъ быть ея мужемъ!» Но Полина не плакала;—нѣтъ, на лицѣ ея сіяла радость! Казалось, она завидовала жребію Матильды и раздѣляла вмѣстѣ съ ней эту злосчастную, безкорыстную любовь, въ которой не было ничего земного.

— Воля твоя, Вольдемаръ! — прервалъ Зарѣцкій, покачивая головою: — это что-то ужъ больно хитро! Какъ же ты, не будучи ни врагомъ ея, ни татаринѣмъ, успѣлъ ей понравиться и рѣшился изъясниться въ любви?

— Я долго колебался, и хотя замѣчалъ, что частыя мои посѣщенія были вовсе не противны Лидиной, но, не смѣя самъ предложить мою руку ея дочери, рѣшился однимъ утромъ открыться во всемъ Оленькѣ; я сказалъ ей, что все мое счастье зависитъ отъ нея. Какъ теперь гляжу: она испугалась, поблѣднѣла; но когда услышала, что я влюбленъ въ Полину, то лицо ея покрылось живымъ румянцемъ, глаза заблестали радостію.—Боже мой! Боже мой! — вскричала она; — вы хотите жениться на Полинѣ? Какъ я рада!.. Вы будете моимъ братомъ!.. Не правда ли? Вы станете называть меня сестрою? О! теперь я никогда не выйду замужъ! Нѣтъ, я вѣчно буду жить вмѣстѣ съ вами! Ахъ, Боже мой, какъ я рада!—Добрая Оленька и пла-

кала и улыбалась въ одно время. Слезы градомъ ка-
тились изъ глазъ ея; но, казалось, въ эту минуту она
была такъ счастлива!.. Весь этотъ день я провелъ въ
ужасной неизвѣстности. Полина не выходила изъ своей
комнаты, а Оленька примѣтнымъ образомъ старалась
не оставаться со мною наединѣ. Другой день прошелъ
точно также; наконецъ, на третій...

— Слава Богу! — вскричалъ Зарѣцкій. — Ну, мой
другъ! терпѣливъ ты!

— На третій день, по-утру, — продолжалъ Ро-
славлевъ, — Оленька сказала мнѣ, что я не противенъ ея
сестрѣ; но что она не отдастъ мнѣ своей руки до тѣхъ
поръ; пока не увѣрится, что можетъ составить мое
счастіе, и требуетъ, въ доказательство любви моей,
чтобъ я цѣлый годъ не говорилъ ни слова объ этомъ
ея матери и ей самой.

— Цѣлый годъ! И ты, рыцарь Амадисъ, на это
согласился?

— Ахъ, мой другъ! я согласился бы на все! Одна
надежда назвать ее когда-нибудь моею — была уже для
меня неизъяснимымъ счастіемъ. Въ первые три мѣ-
сяца моего испытанія, сосѣдство наше умножилось
пріѣздомъ отставного полковника Сурскаго, котораго
небольшая деревенька была въ двухъ верстахъ отъ
моего села. Я скоро подружился съ симъ почтеннымъ
человѣкомъ, умѣвшимъ соединить въ себѣ откровен-
ность прямодушнаго воина съ умомъ истинно просвѣ-
щеннымъ и обширными познаніями. Дружба его была
для меня одной отрадою; я говорилъ съ нимъ о По-
линѣ, и хотя онъ часто покачивалъ головою и назы-
валъ ее мечтательницею, но, несмотря на это, полю-
билъ всей душою, однакоже гораздо менѣе, чѣмъ
Оленьку, которая межъ тѣмъ употребляла все, чтобъ
сократить время моего испытанія. Наконецъ, просьбы
ея и краснорѣчіе друга моего Сурскаго побѣдили упор-
ство Полины. Три недѣли тому назадъ, я назвалъ ее
моей невѣстою, и когда черезъ нѣсколько дней послѣ
этого, отправляясь для окончанія необходимыхъ дѣлъ

въ Петербургъ, я сталъ прощаться съ нею, когда, въ первый разъ, она позволила мнѣ прижать ее къ моему сердцу, и кроткимъ, очаровательнымъ своимъ голосомъ шепнула мнѣ: «Пріѣзжай скорѣй назадъ, мой другъ!» тогда—о! тогда всѣ мои трехмѣсячныя страданія, всѣ ночи, проведенныя безъ сна, въ тоскѣ, въ мучительной неизвѣстности,—все изгладилось въ одно мгновеніе изъ моей памяти!.. Ахъ, Александръ! Если бы ты любилъ когда-нибудь, если бы ты зналъ, что такое: «мой другъ» въ устахъ обожаемой женщины, если бы ты могъ понять, какой міръ блаженства заключаютъ въ себѣ эти два простые слова...

— Тѣфу, чортъ возьми! — прервалъ Зарѣцкій, — такъ этотъ-то бредъ называется любовью? Ну, подлинно, есть отъ чего сойти съ ума! Мой другъ! Да какъ же прикажешь ей тебя называть? Мусью Рославлевъ, что ль?

— Перестань, братецъ! Твоя душа настоящій ледникъ.

— Но только не для дружбы, Вольдемаръ! Я отъ всей души радуюсь твоему благополучію; надѣюсь, ты будешь счастливъ съ Полиною; но мнѣ кажется, я больше бы порадовался, если бы ты женился на Оленькѣ.

— Почему же, мой другъ?

— Вотъ, изволишь видѣть: твоя Полина слишкомъ... какъ бы тебѣ сказать?... слишкомъ... небесна; а я слыхалъ, что эти неземныя дѣвушки рѣдко дѣлаютъ своихъ мужей счастливыми. Мы всѣ люди, какъ люди, а имъ подавай идеалъ. Пока ты еще женихъ и страстный любовникъ...

— Я буду имъ вѣчно!

— Такъ, mon cher, такъ! Но теперь ты у ногъ ея; теперь, нѣтъ сомнѣнія, и твой образъ облачаютъ въ одежду неземную; а какъ потомъ ты облечешься самъ въ халатъ, да закуришь трубку... Охъ, милый! что ни говори, а мужъ—плохой идеалъ!

— Полно, Зарѣцкій! Ты судишь обо всемъ по собственнымъ своимъ чувствамъ.

— Конечно, мой другъ! тебѣ все-таки приличнѣе быть ея мужемъ, чѣмъ всякому другому: ты блѣденъ, задумчивъ, въ глазахъ твоихъ есть также что-то туманное, неземное. Вотъ я, съ моей румяной и веселой рожей, вовсе бы для нея не годился. Но, кажется, за нами пришли. Что? Завтракъ готовъ?

— Готовъ, сударь! — отвѣчалъ трактирный слуга, протирая свои заспанные глаза.

— Пойдемъ, Рославлевъ. Мы досыта наговорились о небесномъ; займемся-ка теперь земнымъ.

Позавтракавъ и выпивъ бутылку шампанскаго, наши друзья простились. — Ну! — сказала Зарѣцкій, садясь на свои дрожки, — то-то дамъ теперь высылку! Прощай, mon cher! — Ванька! до самой заставы во всю рысь. — Adieu, mon cher ami! Дай Богъ тебѣ счастья, а право жаль, что ты женишься не на Оленькѣ!.. Пошелъ!

Когда Рославлевъ сталъ садиться въ коляску, мимо него, по дорогѣ къ Царскому Селу, промчались двое дрожекъ, запряженныхъ парами. Ему показалось, что на однихъ сидѣлъ французъ, съ которымъ наканунѣ онъ обѣдалъ въ рестораціи. Извозчикъ, оправивъ сбрую, взлѣзъ на козлы, присвистнулъ, махнулъ кнутомъ, колокольчикъ зазвенѣлъ, и по обѣимъ сторонамъ дороги замелькали высокія сосны и зеленые поля; изрѣдка показывались среди деревьевъ скромныя дачи, выстроенныя въ довольномъ разстояніи одна отъ другой, по сей дорогѣ, ни мало не похожей на Петергофскую, которая представляетъ почти безпрерывный и великолѣпный рядъ загородныхъ домовъ, плѣняющихъ своей красотой и разнообразіемъ. Чрезъ нѣсколько минутъ коляска поднялась на Пулковскую гору, и вскорѣ за обширнымъ звѣринцемъ покраснѣлся вдали колоссальный дворецъ Царскаго Села, нѣкогда удивлявшій путешественниковъ своей позлащенной кровлею и азіатскимъ великолѣпіемъ. Подѣзжая къ звѣринцу, одна изъ лошадей переступила постромку, начала бить; другія лошади также испугались и понесли вдоль дороги.

Послѣ многихъ бесполезныхъ усилій, извозчику удалось, наконецъ, при помощи Рославлева, остановить лошадей. Коляска уцѣлѣла, но большая часть веревочной сбруи изорвалась, и надобно было, по крайней мѣрѣ, съ полчаса времени для приведенія въ порядокъ упряжи. Рославлевъ, оставя при коляскѣ своего слугу, пошелъ пѣшкомъ по дорожкѣ, пробитой вдоль стѣны звѣринца. Онъ замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ небольшой проломъ, отъ котораго узенькая тропинка, извиваясь, вела въ глубину лѣса. Желая погулять нѣсколько времени въ тѣни деревьевъ, Рославлевъ пустился по тропинкѣ. Не прошло пяти минутъ, какъ вдругъ ему слышались близкіе голоса; онъ сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ, и подлѣ него за кустомъ прогремѣлъ отрывистый вопросъ: — Ну, что?.. Хорошо ли? — Нѣтъ, братецъ! — отвѣчалъ кто-то голосомъ не вовсе ему знакомымъ. — Что это за барьеръ? Еще на три шага ближе! — Рославлевъ пораздвинулъ сучья густаго куста, который скрывалъ отъ него говорящихъ, и увидѣлъ на небольшой полянѣ четырехъ человекъ. Двое были ему совершенно незнакомы; а въ остальныхъ онъ тотчасъ узналъ молчаливаго офицера и француза, съ которымъ обѣдалъ наканунѣ въ рублевомъ трактирѣ. Не трудно было отгадать, для чего эти господа пріѣхали такъ рано въ звѣринецъ. Повинуясь первому движению, Рославлевъ сдѣлалъ шагъ назадъ; но какое-то непреодолимое любопытство побѣдило это человѣческое чувство. Съ сильно бьющимся сердцемъ, едва переводя духъ, онъ притаился за кустомъ и остался невидимымъ свидѣтелемъ кровавой сцены, которая должна была оправдать слова, сказанныя имъ наканунѣ: — о ненависти русскихъ къ французамъ.

— Ну, кончилъ ли ты? — закричалъ молчаливый офицеръ своему товарищу, который вколачивалъ въ землю двѣ палки, въ двухъ шагахъ одна отъ другой.

— Кончилъ! — отвѣчалъ молодой человекъ высокаго роста, въ военномъ сюртукѣ и кавалерійской фуражкѣ. — Только, воля твоя, по моему лучше стрѣ-

латься на плащѣ. Два шага!.. по крайней мѣрѣ, надобно четыре.

— Эхъ, полно, братецъ! что за ребячество. На, возьми, подсыпь на полку.

— Позвольте спросить,—сказалъ секундантъ француза, человѣкъ среднихъ лѣтъ, который, судя по выговору, былъ также иностранецъ.—Я желалъ бы знать, по крайней мѣрѣ, причину вашей дуэли.

— А на что вамъ это?—спросилъ офицеръ, подавая своему товарищу другой пистолетъ.—Приколоти покрѣпче пулю, братецъ! Да обей кремьнь: я осячекъ не люблю.

— Мнѣ кажется,—возразилъ иностранецъ,—что я, будучи секундантомъ, имѣю полное право знать...

— За что мы деремся?..—прервалъ офицеръ.—Да такъ,—мнѣ надоѣла фizioномія вашего пріятели. Отмѣривай пять шаговъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ кавалеристу.— Не угодно ли и вамъ потрудиться?

— Но, милостивый государь! мнѣ кажется, что если вы не имѣете другой причины...

— Имѣю, сударь! Вашъ пріятели—французъ. Прошу отмѣривать пять шаговъ.

— Еще одно слово, господинъ офицеръ. Мнѣ кажется...

— А долго ли, сударь, вамъ будетъ казаться? Я вижу, вы любите болтать; а я не люблю, и мнѣ некогда. Извольте становиться!—прибавилъ онъ громовымъ голосомъ, обращаясь къ французу, который молчалъ въ продолженіе всего разговора.

— Въ самомъ дѣлѣ!—вскричалъ кавалеристъ,—что за болтовня! Дратся, такъ драться. Вотъ твое мѣсто, братецъ. Смотри, цѣлься хорошенько, да не торопись стрѣлять.

— Оба противника отошли по пяти шаговъ отъ барьера, и, повернувшись въ одно время, стали медленно подходить другъ къ другу. На второмъ шагу, французъ спустилъ курокъ—пуля свистнула, и про-

битая на вылетъ фуражка слетѣла съ головы офицера.

— Чортъ возьми! этотъ французъ мѣтитъ хорошо!—сказалъ сквозь зубы кавалеристъ.—Смотри, братъ, не промахнись!

Раздался второй выстрѣлъ, и вмигъ вся лѣвая рука француза облилась кровью.

— Эхъ, братецъ!—сказалъ кавалеристъ:—немножко бы полѣвѣе. Я говорилъ тебѣ взять мои пистолеты. Какая, чортъ, стрѣльба безъ шнелера!

Прошло еще нѣсколько секундъ: сердце Рославлева почти перестало биться. Разстояніе между поединщиками становилось все менѣе; вотъ уже оставалось не болѣе шести или семи шаговъ... вдругъ раздался третій выстрѣлъ.

— Ты раненъ?—вскричалъ кавалеристъ.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ офицеръ, взглянувъ хладнокровно на правое плечо свое, съ котораго пулею сорвало эполетъ. — Теперь милости прошу сюда, къ барьеру!—продолжалъ онъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на француза.

— Je suis mort! — промолвилъ вполголоса раненый:

— Боже мой! онъ истекаетъ кровью!—сказалъ его секунданта, вынимая бѣлый платокъ изъ кармана.

— Не трудитесь!—прервалъ офицеръ,—онъ доживетъ еще до послѣдняго моего выстрѣла. Ну, чтожь сударь? Да подходите смѣлѣе! Вѣдь я не стану стрѣлять, пока вы не будете у самаго барьера.

— Господинъ офицеръ!—вскричалъ иностранецъ.—Подумайте! въ двухъ шагахъ! Это все равно...

— Еслибъ я приставилъ ему мой пистолетъ ко лбу? Разумѣется. Еще одинъ шагъ, господинъ кавалеръ Почетнаго Легіона! Прошу покорно!

— Eh bien! soit! — сказалъ французъ, бросивъ въ сторону свой пистолетъ. Онъ подошелъ, шатаясь, къ барьеру и, сложивъ крестъ-на-крестъ руки, сталъ прямо грудью противъ своего соперника. Кровь ручьемъ текла

изъ его раны; смертная блѣдность покрывала лицо; но онъ смѣло смотрѣлъ въ глаза офицеру, и только едва замѣтная судорожная дрожь пробѣгала отъ-времени-до-времени по всѣмъ его членамъ. Офицеръ прицѣлился, конецъ его пистолета почти упирался въ лобъ француза. Вся кровь застыла въ жилахъ Рославлева. Онъ хотѣлъ закричать; но ужасъ оковалъ языкъ его. Межъ тѣмъ офицеръ спустилъ курокъ, на полкѣ вспыхнуло; но пистолетъ не выстрѣлилъ.

— Ты живъ еще, мой другъ! — вскричалъ секундантъ француза.

— Не надолго! — промолвилъ хладнокровно офицеръ.—Подсыпь на полку, братецъ.

— Ради самаго Бога! — сказалъ отчаяннымъ голосомъ иностранецъ,—пощадите этого несчастнаго!.. У него жена и шестеро дѣтей.

Вмѣсто отвѣта, офицеръ улынулся и, взглянувъ спокойно на блѣдное лицо своей жертвы, устремилъ глаза свои въ другую сторону. Ахъ! еслибъ они пылали бѣшенствомъ, то несчастный могъ бы еще надѣяться,—и тигръ имѣетъ минуты милосердія; но этотъ безчувственный, неумолимый взоръ, выражающій одно мертвое равнодушіе, не обѣщалъ никакой пощады.

— Господинъ офицеръ! — продолжалъ иностранецъ,—если жалость вамъ неизвѣстна, то подумайте, по крайней мѣрѣ, что вы хотите отправлять въ эту минуту должность палача.

— Да, я желалъ бы быть палачомъ, чтобъ отсѣчь однимъ ударомъ голову всей вашей націи. Посторонитесь!

— Одно слово, сударь!—прошепталъ едва слышнымъ голосомъ раненый.—Прощай, мой другъ!—продолжалъ онъ, обращаясь къ своему секунданту.—Не забудь разсказать всѣмъ, что я умеръ какъ храбрый и благородный французъ; скажи ей...—Онъ не могъ докончить и упалъ безъ чувствъ въ объятія своего друга.

— Жаль!—сказалъ кавалеристъ:—онъ не трусъ! И, признаюсь, еслибъ я былъ на твоёмъ мѣстѣ...

— И, полно, братецъ! Все-таки однимъ меньше. Теперь, кажется, ошѣчки не будетъ,—прибавилъ офицеръ, взглянувъ на полку пистолета. Онъ взвелъ курокъ...

— Остановитесь!—вскричалъ Рославлевъ, выбѣжавъ изъ-за куста и заслонивъ собою француза.—Это ужасно! Это не поединокъ, а смертоубійство!

— Кто вы?—спросилъ офицеръ, опустивъ свой пистолетъ.

— Такой же русскій, какъ вы.

— Въ самомъ дѣлѣ? Чтожъ вамъ здѣсь надобно?

— Спасти этого несчастнаго отца семейства!

— Право! То-есть вамъ угодно стать на его мѣсто?

— Да!—вскричалъ Рославлевъ.—И если вы хотите быть чѣмъ-нибудь убійцею...

— Хочу, сударь! Но прежде мнѣ надобно кончить съ этимъ кавалеромъ Почетнаго Легиона!

— Стыдитесь, господинъ офицеръ! Развѣ вы не видите—онъ безъ чувствъ!

— Но живъ еще. Позвольте!..

— Нѣтъ,—сказалъ Рославлевъ, взглянувъ съ ужасомъ на офицера,—вы не человѣкъ, а демонъ! Возьмите отсюда вашего пріятеля,—продолжалъ онъ, относясь къ иностранцу,—и оставьте мнѣ его пистолеты. А вы, сударь! вы безчеловѣчіемъ вашимъ срамите наше отечество—и я, отъ имени всѣхъ русскихъ, требую отъ васъ удовлетворенія.

— О, если вы непременно хотите... Помогите ему, братецъ, дотащить до дрожекъ этого храбреца. А съ вами, сударь, мы сейчасъ раздѣлаемся. Русскій, который заступаетъ за француза, ничѣмъ его не лучше. Вотъ порохъ и пули. Потрудитесь зарядить ваши пистолеты.

Иностранецъ перевязалъ наскоро руку своего товарища, и при помощи кавалериста понесъ его вонъ изъ лѣса. Межъ тѣмъ, пока Рославлевъ заряжалъ оставленные французомъ пистолеты, офицеръ не спускалъ съ него глазъ.

— Не обѣдали ли вы вчера въ рестораціи у Френзеля?—спросилъ онъ, наконецъ.

— Да, сударь! Но къ чему это?..

— Не трудитесь заряжать ваши пистолеты—я не дерусь съ вами.

— Не деретесь?..

— Да. Это было бы слишкомъ неразсчитисто: оставить живымъ француза, а убить, можетъ-быть, русскаго. Вчера я слышалъ вашъ разговоръ съ этимъ самохваломъ: вы не полу-французъ, а русскій въ душѣ. Вы только черезчуръ чувствительны; да это пройдетъ.

— Нѣтъ, сударь, права человѣчества будутъ для меня всегда священны!

— Даже и тогда, когда эта нація хвастуновъ и нахаловъ зальетъ кровью наше отечество? Не думаете ли вы заслужить ихъ уваженіе, поступая съ ними какъ съ людьми? Не безпокойтесь! они покроютъ пепломъ всю Россію и станутъ хвастаться своимъ великодушіемъ; а если мы придемъ во Францію и будемъ вести себя смиреннѣе, чѣмъ собственныя ихъ войска, то они и тогда не перестанутъ называть насъ варварами. Неблагодарные! чѣмъ платили они до сихъ поръ за нашу ласку и хлѣбосольство?—продолжалъ офицеръ, и глаза его въ первый разъ еще заблестали какимъ-то нечеловѣческимъ огнемъ.—Прочтите, что пишутъ и печатаютъ у нихъ о Россіи; какъ насмѣхаются они надъ нашимъ простодушіемъ: доброту называютъ невѣжествомъ, гостепріимство — чванствомъ. Съ какимъ адскимъ искусствомъ превращаютъ всѣ добродѣтели наши въ пороки. Прочтите все это, подслушайте ихъ разговоры—и если вы не поймете и тогда моей ненависти къ этимъ европейскимъ разбойникамъ, то вы не русскій! Но что я говорю? Вы такъ же ихъ ненавидите, какъ я, и, можетъ-быть, скоро придетъ время, что и для васъ будетъ наслажденіемъ зарѣзать изъ своихъ рукъ хотя одного француза. Прощайте.

Офицеръ приподнялъ свою фуражку и пошелъ ско-

рыми шагами по тропинкѣ, которая шла къ противоположной сторонѣ звѣринца.

Съ невольнымъ трепетомъ смотрѣлъ Рославлевъ вслѣдъ за уходящимъ офицеромъ. Все, что ненависть имѣетъ въ себѣ ужаснаго, показалось бы добротою, въ сравненіи съ той адской злобою, которая пылала въ глазахъ его, одушевляла всѣ черты лица, выражалась въ самомъ голосѣ, въ то время, какъ онъ говорилъ о французахъ. Рославлевъ вышелъ изъ лѣса и догналъ свою коляску, которая ѣхала шагомъ вдоль звѣринца. — Боже мой! — думалъ онъ въ то время, какъ отдохнувшія лошади мчали его по большой Московской дорогѣ, — до какой степени можетъ ожесточиться сердце человѣческое! И какъ виновенъ тотъ, чье властолюбіе сдѣлало предметомъ всеобщей ненависти націю, столь благородную и нѣкогда столь любимую всѣми просвѣщенными народами Европы. — Не скоро прояснилось въ душѣ его, потрясенной ужасной сценою, которой онъ былъ свидѣтелемъ; но, наконецъ, образъ Полины, надежда скораго свиданія и усадительная мысль, что съ каждымъ шагомъ уменьшается странство, ихъ раздѣляющее, разсѣяли грусть его, и будущее предстало предъ нимъ во всемъ очаровательномъ своемъ блескѣ — обманчивомъ и ложномъ, но необходимомъ для насъ, жалкихъ дѣтей земли, почти всегда обманутыхъ надеждою и всегда готовыхъ снова надѣяться.

V.

На дворѣ было пасмурно. Крупныя дождевыя капли стучали въ окна почтоваго двора села Завидова, въ которомъ Рославлевъ уже болѣе двухъ часовъ дождался перемѣны лошадей. Всѣ проѣзжающіе вообще не любятъ сидѣть долго на станціяхъ; но для влюбленнаго жениха, который спѣшитъ увидѣться съ своею невѣстою, всякая остановка есть истинно наказаніе небесное. Ничто не можетъ сравниться съ этой пыткой: онъ нигдѣ не найдетъ мѣста, горитъ какъ на огнѣ; ему

вездѣ тѣсно, вездѣ душно: ему кажется, что каждая пролетѣвшая минута уноситъ съ собою цѣлый вѣкъ блаженства, что онъ состарѣтся въ два часа, не доживетъ до конца своего путешествія. Однимъ словомъ, несмотря ни на какую погоду, онъ пустился бы пѣшкомъ, если бы разсудокъ не говорилъ ему, что этимъ онъ не поможетъ своему горю, а только отдалить минуту свиданія. Пересмотрѣвъ давнымъ-давно прибитые къ стѣнамъ почтоваго двора — и Шемякинъ судъ, и Илью Муромца, и взятіе Очакова; прочитавъ въ десятый разъ, на знаменитой картинѣ: Погребеніе Кота, краснорѣчивую надпись: «котъ казанской, породы астраханской, имѣлъ разумъ сибирской», Рославлевъ въ сотый разъ спросилъ у зрителя въ изорванномъ мундирномъ сюртукѣ и запачканномъ галстукѣ: «скоро ли дадутъ ему лошадей?..» и хладнокровный зритель повторилъ также въ сотый разъ свое невыносимое: «всѣ, сударь, въ разгонѣ; извольте подождать!»

— Да нельзя ли найти вольныхъ?

— Я ужъ вамъ докладывалъ, что нельзя; пора рабочая.

— Я заплачу вдвое, если надобно — только Бога ради...

— И радъ бы радостью, сударь! Да чтожъ дѣлать! На нѣтъ и суда нѣтъ! Не прикажите ли чаю?

— Далеко ли отсюда до Москвы?

— Сто три версты съ половиною. А чай знатный, сударь, цвѣточный, самый лучшій.

— Сто три версты! А тамъ еще семьдесятъ! Какая досада! Я могъ бы завтра по-утру...

— У меня, сударь, есть и московскіе калачи; а если угодно, такъ и крендели.

— Проклятая станція! Въ этомъ Завидовѣ вѣчно нѣтъ лошадей!

— Чтожъ дѣлать, ваше благородіе! Вѣдь здѣсь не амъ, а разгонъ большой. Прикажите поставить самоваръ?

— Ну, хорошо. братецъ! Говорятъ, что у насъ

почта хороша. Боже мой! Да не приведи, Господи, никакому христіанину ѣздить на почтовыхъ! Что это?.. ѣдешь, ѣдешь...

— А давно ли вы, сударь, изъ Питера?..—спросилъ смотритель, приказавъ своей женѣ готовить чай.

— Стыдно сказать—третій день! И это называютъ почтою!

— То-есть слишкомъ по двѣсти верстъ въ сутки?—сказалъ смотритель, считая по пальцамъ.—Чтожь, сударь? Это ѣзда не плохая. Зимой можно ѣхать и скорѣе, а теперь дѣло весеннее... Чу! колокольчикъ! и, кажется, отъ Москвы!.. четверкою бричка...

— Ахъ, сдѣлай милость, любезный! я дамъ тебѣ, что хочешь, на водку...

— Пойдите, сударь!.. никакъ на вольныхъ!.. Нѣтъ! съ той станціи! Ну, вотъ вамъ, сударь, и попутчики! Счастливъ этотъ проѣзжій! ваши лошади, чай, ужъ отдохнули, такъ ему задержки не будетъ.

— Вели же скорѣй закладывать мою коляску.

— Нельзя, сударь! надобно выкормить лошадей; надобно ихъ напоить; надобно, чтобъ онѣ выстоялись; надобно...

— Надобно, чтобъ я ѣхалъ! Послушай, я заплачу двойные прогоны!

— Нѣтъ, сударь, ямщикъ ни за что не поѣдетъ. Вотъ этакъ часика черезъ полтора... Эхъ, сударь! кони знатные, мигомъ доставятъ на станцію; а вы межъ тѣмъ чайку накушаетесь.

Проѣзжій не вышелъ изъ своей брички, и черезъ нѣсколько минутъ отправился на лошадахъ, которыя привезли Рославлева. Съ полчаса еще нашъ влюбленный путешественникъ ходилъ молча взадъ и впередъ по избѣ; потомъ, отъ нечего дѣлать, напился чаю, и, наконецъ, отворивъ окно, сѣлъ возлѣ него, чтобъ видѣть, когда станутъ закладывать его коляску. На завалинѣ передъ избою сидѣлъ старикъ лѣтъ шестидесяти; онъ чертилъ по землѣ своимъ подошкомъ и слушалъ разговоры ямщиковъ, которые, собравшись въ

кружокъ, болтали всякую всячину, не замѣчая, что проѣзжій баринъ можетъ слышать всё ихъ слова.

— Что ты, братъ Андрюха, такъ насупился?— спросилъ одинъ ямщикъ въ сѣромъ армякѣ молодого дѣтину въ синемъ кафтанѣ и красномъ кушакѣ: — аль жена побила?

— Добро бы жена, — отвѣчалъ дѣтина, — а то чортъ знаетъ кто — нелегкая бы его взяла, проклятаго!

— Ой ли! такъ тебя, братъ, поколотили? Ужъ не почталіонъ ли, что ты вчера возилъ?

— Эхъ, Ваня! кабы почталіонъ, такъ куда бъ ни шло; а то какой-то проѣзжій баринъ — пострѣлъ бы его побралъ!

— Чай, сталъ погонять, а ты не слушался?

— Вѣстимо. Вотъ нынче ночью я повезъ на тройкѣ, въ Подсолнечное, какого-то барина; не успѣлъ еще за околицу выѣхать, а онъ и ну понукать; такъ, знашь ты, кримча и кричитъ, какъ за языкъ повѣшенный. Пошелъ, да пошелъ! — Какъ-ста не такъ, — подумалъ я про себя, — вишь какой прыткій! — Нѣтъ, баринъ, погоди! Животы-та не твои: какъ ихъ поморишь, такъ и почты не на чемъ справлять будетъ. — Онъ ну кричать громче, а я ну ѣхать тише!

— Вотъ то-то же! Вишь ты самъ какой задорный, Андрюха!

— Да, слышь ты, глупая голова! Вѣдь за моремъ извозчики и всё такъ дѣлають; мнѣ ужъ третьяго дня объ этомъ поразсказали. Ну, вотъ мы отѣхали этакъ верстъ пятокъ съ небольшимъ, какъ вдругъ — батюшки свѣты! мой сѣдокъ какъ подымется, да учнетъ ругаться: я, дескать, на тебя, разбойника, смотрителю пожалуюсь. — Эка-ста чѣмъ угрозилъ! — сказалъ я. — Нѣтъ, баринъ, смотрителемъ насъ не испугаешь. Я ему, ребята, на прошлой недѣлѣ снесъ гуся, да полсотни яицъ.

— Умень ты, братъ Андрюха! Ну, чтожъ твой сѣдокъ?

— Осерчалъ пуще прежняго. Ну меня позорить; а

я себѣ и въ усь не дую—ѣду себѣ шажкомъ да по-свиистываю. Вотъ онъ приподнялся, да и толкъ меня въ загорбокъ; я обернулся, поглядѣлъ: мужиченокъ небольшой, и слуги съ нимъ нѣтъ, — какъ не дать отпора?—Слушай, баринъ,—сказалъ я,—драться не велѣно; у меня смотри, я и самъ кнутомъ перепояшу.— Лишь только я это вымолвилъ, какъ онъ одной рукой хватъ меня за воротъ, пригнулъ къ себѣ, да и ну лудить по становой жилѣ. Я было побарахтаться—куды те! Ахъ, ты, Господи, Боже мой! взглянуть не на что, а какой здоровенный.—Ужъ онъ меня возилъ, возилъ, Чортъ бы его побралъ! Инда и теперь вздохнуть тяжело!

— Вотъ то-то, Андрюша!—сказалъ старый крестьянинъ,—зачѣмъ озорничать! Вѣдь наше дѣло таковское—за всякимъ тычкомъ не угоняешься. А ужъ если пришла охота подраться, такъ дрался бы съ своимъ братомъ: скулы-то равныя, — а то еще схватился съ бариномъ!..

— Да, съ бариномъ! Не долго этимъ барамъ-то надъ нами ломаться.

— А что такъ?—спросилъ извозчикъ въ армякѣ.

— Да такъ-ста. Мы знаемъ, что знаемъ.

— А что ты знашь, Андрюха? Расскажи, братъ.

— Да, расскажи! А какъ дойдетъ до исправника...

— И, полно! кому вынести? Небось, рассказывай!..

— Ну, то-то же! смотрите ребята! — сказалъ дѣтина, обращаясь къ другимъ извозчикамъ,—чуръ держать про себя. Вотъ, третьяго дня, повезъ я подъ вечеръ проѣзжаго—знашь ты, какой-то не русскій, не то ханцузъ, не то нѣмецъ — лѣшій его знаетъ, а по нашему-то баеть; и такой добрый, двугривенный далъ на водку. Вотъ дорогой мы съ нимъ поразговорились. — Что, дескать, братъ! — спросилъ онъ, — чай житье ваше плохое? — Ну, вѣстимо, не сказать же, что хорошо.—Да, баринъ, — молвилъ я, — подъ иной часъ тяжело бываетъ: кони дороги, кормы также, разгонъ большой, а на прогонахъ далеко не уѣдешь; тамъ,

глядишь, смотритель придерется, къ исправнику попадешь въ лапы — какое житье? Вотъ кабы еще проѣзжіе-та, какъ ваша милость, не понукали; а то наши бары, провалъ бы ихъ взялъ! ступай имъ по десяти верстѣ на часъ; а поѣхалъ въ волю рысцой или шагомъ, такъ наровятъ въ зубы. — И впрямь, — сказалъ проѣзжій, — что ваше за житье! То ли дѣло у насъ за моремъ; вотъ ужъ подлинно мужички-то живутъ припѣваючи. Во всемъ воля: что хочешь, то и дѣлай. У насъ ямщикъ прогоны-то беретъ не по вашему — по полтинѣ на версту; ѣдетъ какъ душѣ угодно: дадутъ на водку — пошелъ рысцой; нѣтъ — такъ и шагомъ; а проѣзжій, хоть генералъ будь какой, не смѣй до него и дотронуться. По нашимъ дорогамъ, что верста, то кабакъ; а ямщикъ воленъ у каждаго кабака останавливаться.

— Ну, Андрюха! — вскричалъ ямщикъ въ армякъ, — житье же тамъ нашему брату!

— Нишни, Ваня! — сказалъ старый крестьянинъ; — не мѣшай ему, пусть онъ доскажетъ.

— А что, батюшка? молвилъ я, — продолжалъ Андрей, — есть ли у васъ исправники? — Какіе исправники! У насъ мужикъ и шапки ни передъ кѣмъ не ломаетъ; знай себѣ одного Бонапарта, да и все тутъ! — А кто этотъ Бонапартъ, батюшка? — спросилъ я. — Вѣстимо, кто: нашъ францужскій царь. Слушай-ка, дѣтина, — примолвилъ проѣзжій, — я тебѣ скажу всю правду-истину, а ты своимъ товарищамъ рассказывай: нашъ царь Бонапартъ завоевалъ всю землю, да и къ вамъ скоро въ гости будетъ. — Ой ли? — сказалъ я; — да къ намъ-та зачѣмъ? — За тѣмъ, братъ, что онъ хочетъ, чтобъ и у васъ мужичкамъ было такое же льготное и привольное житье, какъ у насъ. Барамъ-то вашимъ это вовсе не по-сердцу; да вы на нихъ не смотрите: они, пожалуй, наговорятъ вамъ турусы на колесахъ: и то и се, и басурманы-та мы... — не вѣрьте! а встрѣчайте-ка насъ, какъ мы придемъ, съ хлѣбомъ да съ солью.

— А о поборахъ-та бояль что ль онъ? — спросилъ одинъ пожилой извозчикъ.

— Какъ же; слышь ты, никакой тяги не будетъ: что хошь, то и давай. У нашего, дескать, царя и безъ васъ всего довольно.

— Ну, Андрюша! — сказалъ старый крестьянинъ, — слушалъ я, братъ, тебя: не въ батюшку ты пошелъ! Тотъ былъ мужикъ умный; а ты, глупая голова, всякой нехристи вѣришь! Счастливъ этотъ краснобай, что не я его возилъ: побывалъ бы онъ у меня въ городскомъ острогѣ. Экъ онъ подѣхалъ съ какимъ подвохомъ, проклятый! Да нѣтъ, ребята! стараго воробья на мякинѣ не обманешь: — вѣдь этотъ проѣзжій шпионъ.

— Неужто, дядя Савельичъ? — сказалъ ямщикъ въ армякѣ.

— Ну да! А ты, Андрей, сдуру-то уши и развѣсилъ. Бонапартъ! Да знаете ли, православные, кто такой этотъ Бонапартъ? Иль никто изъ васъ не помнитъ, что о немъ по всѣмъ церквамъ читали? Вѣдь онъ антихристъ.

— Ой ли? Такъ это онъ? — вскричалъ пожилой ямщикъ.

— Онъ и есть. Вѣдь онъ-та все и подсылаетъ подбивать нашу братю; такъ, слышь ты, лисой и лисить, да не на тѣхъ напалъ. Нѣтъ, ребята! чтобъ мы поддались иновѣрцамъ?.. Ба, ба, ба! да за что такъ! Что Бога гнѣвить, братцы! развѣ у насъ нѣтъ батюшки православнаго русскаго царя? Развѣ мы хуже живемъ другихъ прочихъ? Что намъ, перекусить что ль нечего? Слава Тебѣ, Господи! По праздникамъ пустыхъ щей не хлебаемъ, одежонка есть, браги не покупать statt! А еслибъ и худо-то было? Такъ чтожъ? Знай про то царь-государь: ему челомъ; а Бонапарту-то какое до насъ дѣло? Развѣ мы его?

— Вѣдь дядя-то Савельичъ правду говоритъ, ребята! — сказалъ одинъ изъ ямщиковъ, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

— Да, дѣтушки! Я подолѣе васъ живу на бѣломъ

свѣтъ; въ пугачевщину я былъ ужъ парень матерой Тяжко, ребята, и тогда было—такой былъ по всей святой Руси погромъ, что и, Боже, упаси! И Пугачъ также прельщаль народъ, да умнѣй былъ этого Бонапарта: назвался государемъ Петромъ Ѳеодоровичемъ: такъ не диво, что перемутилъ всѣхъ православныхъ; а этотъ что за выскочка? Смотри пожалуй! вишь, ему жалъ насъ стало! Экій милостивецъ выискался! Нѣтъ, ребята! если ужъ Господь Богъ наслетъ на насъ какую невзгону, такъ пускай же свои собаки грызутся, а чужія не мѣшайся.

— Такъ, вѣстимо, такъ, Савельичъ! Правда, Савельичъ!—заговорили всѣ извозчики, кромѣ Андрея.

— Чтожъ ты, братъ Андрюха, язычекъ-та прикусилъ, а?—спросилъ пожилой ямщикъ.

— Что, братъ, — отвѣчалъ Андрей, почесывая въ головѣ, — оно бы и такъ, да, слышь ты, онъ баялъ, что исправниковъ не будетъ, и бары-то не стануть надъ нами ломаться.

— Ахъ, ты, дурачина, дурачина! — прервалъ старикъ;—да развѣ безъ старшихъ жить можно? Мы покорны судьямъ да господамъ; они губернатору, губернаторъ царю—такъ испоконъ вѣку ведется. Глупая голова! какъ некого будетъ слушаться, такъ и дѣла-то дѣлать никто не станетъ.

— Что правда, то правда, — сказалъ одинъ изъ ямщиковъ; — нашему брату нельзя жить безъ грозы; кабы только прогоны-то были у насъ также по полтинѣ на версту...

— А овесъ по два рубля четверть? Вотъ то-то и есть, ребята, вы заритесь на большіе прогоны, а поспрошайте-ка, чего стоятъ за моремъ кормы? Какъ рублей по тридцати четверть, такъ и прогоны не взмилятся! Нѣтъ, Ѳедотушка! гдѣ дорого берутъ, тамъ дорого и платятъ!

— Вѣстимо, такъ, — сказалъ извозчикъ въ армякѣ. — Да вотъ что, дядя Савельичъ, кабы поборовъ-та съ насъ не было.

— Эхъ, Ваня, Ваня! Да есть ли земля, гдѣ бѣ поборовъ не было? Что вы вѣрите этимъ нехристямъ; теперь-то они такъ говорятъ, а дай Бонапарту до насъ добраться, такъ послѣднюю рубаху стащить; да еще заберетъ всѣхъ молодыхъ парней и ушлетъ ихъ за тридевять земель, въ тридесятое государство.

— Что ты, дядя Савельичъ, насъ морочишь!.. — прервалъ съ примѣтной досадою Андрей. — На что ему забирать чужой народъ: у него и своего довольно.

— Довольно, да не совсѣмъ. Вотъ что, ребятушки, мнѣ рассказывалъ одинъ проѣзжій: этотъ Бонапартъ воюетъ со всѣми народами; у него, что годъ, то наборъ. Своихъ-то всѣхъ перехваталъ въ некруты, такъ и набираетъ, гдѣ попало.

— И я тоже слышалъ, — сказалъ одинъ пожилой извозчикъ. — Вишь какой неугомонный, все таскается съ войскомъ по чужимъ землямъ! Что это, Савельичъ, этимъ ханцузамъ дома не сидится?

— Видно, братъ, земля голодная — ѣсть нечего. Кабы не голодъ, такъ чортъ ли кого потащить на чужую сторону! а посмотри-ка, сколько ихъ къ намъ наѣхало: чутьемъ знаютъ, проклятые, гдѣ хлѣбецъ есть.

— Да, они на это куда смѣтливы, — сказалъ одинъ извозчикъ въ изорванномъ кафтанѣ: — знаютъ, гдѣ раки зимуютъ. Слышь ты, у насъ все дурно, а все-таки къ намъ лѣзутъ!

— Да, да! толкуй себѣ! — прервалъ Андрей; — что, чай, у насъ хорошо!.. Отъ одной гонки свѣту Божьяго не взвидишь. Ну, пусть у нихъ кормы дороже, да зато и ѣзда-то какая? А у насъ?.. скажи себѣ, сломя голову.

— Кой прахъ! — вскричалъ старикъ, — наладилъ одно да одно! Развѣ дѣды наши не держали почты? Развѣ я самъ не вожу подчасъ проѣзжихъ? Господи, Боже мой! — продолжалъ онъ, вскочивъ съ завалины, — да что ты за ямщикъ, коли десяти верстъ въ часъ не уѣдешь? Эхъ! не прежніе мои годы!.. Бывало, въ

старину, какъ заложить тройку ухарскихъ, такъ только держись... пыль столбомъ!.. Куды понукать! Бывало, сѣдокъ взмолился да учить милости просить; такъ нѣтъ! сердце не терпитъ! Даль роднымъ вздохнуть, да и пошелъ по всѣмъ по тремъ! съ горки на горку!.. Эхъ, вы, милыя, закатывай, да и только!.. Вотъ это ѣзда! А селомъ-то бывало—селомъ!.. попридержишь у околицы, а какъ въѣдешь въ улицу — шапку на-бокъ, свистнулъ, гаркнулъ да и слѣдъ простылъ... и самому весело, и красны дѣвицы удалымъ парнемъ любятъ; а васъ, прости, Господи, за что и невѣстамъ любить? Какіе вы ямщики? Волось бы вамъ гонять, да по клюкву ягоду!

— Что ты, дядя?—прервалъ ямщикъ въ армякѣ;— не всѣ въ Андрея: и мы прокатимъ не хуже другого.

— Катай себѣ, катай! — проворчалъ сквозь зубы Андрей;—а я своихъ коней поморить не хочу.

— Моренаго морить нечего,—сказалъ старикъ. — Корми ихъ одной соломой, такъ они и безъ ѣзды ото-щаютъ. То-то, братъ Андрюша! Вишь, ты и по буд-нямъ ходишь въ синемъ кафтанѣ да въ красномъ кушакѣ. Мы держимся старины: взялъ прогоны, выпилъ на гривнягу, да и будетъ; а ты, такъ нѣтъ, какъ баринъ — норовишь все въ трактиръ: давай чаю, заморской водки, того-сего, всякой лихой болѣсти; а тамъ хватъ, хватъ, анъ и сѣнца не на что купить. А какъ въ мошнѣ пусто, да и дома-то не густо, такъ поне-волѣ дурь полѣзетъ въ голову: теперь ты слушаешь розсказни иноземцевъ, а тамъ пожалуй и на большую дорогу выйдешь. Нѣтъ, братъ Андрей, некому тебя бить: замотался ты.

— Да чтожъ ты, Савельичъ, взѣлся въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ съ досадой Андрей. — Что ты родной или хрестный мнѣ батька, что ль?

— Полно, Андрюха, ершиться-то, — прервалъ ямщикъ въ армякѣ. — Савельичъ баеъ правду. Вѣ-стимо, ты мотыга; вотъ ужъ съ мѣсяцъ, какъ взялъ у меня три рубля, а и въ поминѣ о нихъ нѣтъ...

— Такъ чтожь?—Отдамъ.

— То-то отдамъ! Я и самъ бы умѣлъ синій кафтанъ носить по буднямъ. Знаемъ мы васъ—отдамъ.

— А осьмину-то овса, что у меня занялъ, — промолвилъ пожилой извозчикъ, — отдашь ли хоть къ Петрову дню?

— А за кушакъ-то когда заплатишь? — закричалъ ямщикъ въ изорванномъ кафтанѣ; — вѣдь ты его купилъ у меня ужъ третій мѣсяцъ. Эй, осрамлю, Андрюшка! при всѣхъ въ церкви сниму.

— Видно, братъ Андрюха, — прибавилъ одинъ молодой дѣтина, — исправникъ-то мало тебя, на прошлой недѣлѣ, уму-разуму училъ.

— Какъ такъ?—спросилъ старикъ.

— Да такъ!—продолжалъ молодой парень. — Онъ возилъ со мной проѣзжихъ въ Подсолнечное, да и ну тамъ буянить въ трактирѣ; и съ смотрителемъ-то схватился—вотъ такъ къ рожѣ и лѣзеть. На грѣхъ проѣзжалъ исправникъ; засталъ все, какъ было, да и ну его жаловать изъ своихъ рукъ. Ужъ онъ его маялъ, маялъ..:

— Э! э!—вскричалъ ямщикъ въ худомъ кафтанѣ. — Такъ вотъ что, ребята! Вотъ за что онъ на исправниковъ-то осерчалъ. Эки пострѣлы въ самомъ дѣлѣ! и поозорничать не дадутъ. Нѣтъ-нѣтъ—да и плетью!

Всѣ ямщики засмѣялись, и пристыженный Андрей не зналъ ужъ, куда дѣваться отъ насмѣшекъ, которыя на него посыпались, какъ вдругъ со стороны Петербурга зазвенѣлъ колокольчикъ.

— Еще Богъ даетъ проѣзжихъ! — сказалъ ямщикъ въ армякѣ.—Экой разгонъ!

— Глядь-ка! — вскричалъ старикъ. — Ну, молодецъ! какъ деретъ!.. Знать, курьеръ или фельтегарь!.. Смотри-ка, смотри! Ай да коренная! Вотъ, братъ, конь!.. Пристяжные насилу постромки уносятъ.

— Нѣтъ, дядя Савельичъ, — сказалъ одинъ изъ ямщиковъ, — это не курьеръ, да и кони не почтовые... Ну, такъ и есть! Это Ерема на своей гнѣдой тройкѣ. Что это такъ его черти несутъ?

Кибитка, запряженная тройкой лихихъ коней, покрытыхъ пылью и потомъ, примчалась къ почтовому двору. Въ ней сидѣли двое купцовъ: одинъ лѣтъ семи-десяти, и сѣдой, какъ лунь; другой лѣтъ подь сорокъ, съ свѣтлорусой окладистой бородой. Если нельзя было смотрѣть безъ уваженія на патріархальную фizioномію перваго, то и наружность второго была не менѣ замѣчательна: она принадлежала къ числу тѣхъ, кои соединяють въ себѣ всѣ отдѣльныя черты національнаго характера. Радущіе, природный умъ, досужество, сметливость и русскій толкъ отпечатаны были на его выразительномъ и открытомъ лицѣ. Старикъ пошелъ въ избу къ смотрителю, а товарищъ его остался у кибитки.

— Ну, что, братъ Ерема?—спросилъ пріѣхавшаго ямщика старый крестьянинъ,—по добру ли, по здорову?

— Богъ грѣхамъ терпитъ, Савельичъ! Живемъ по-немногу.

— Эхъ, какъ у тебя кони-то припотѣли!—сказалъ ямщикъ въ армякѣ;—видно, братъ, больно шибко ѣхалъ?

— Да, Ваня!—отвѣчалъ ямщикъ, принимаясь выпрягать лошадей,—взялся на часы, такъ не поѣдешь шагомъ.

— А что? за двойные, что ль?

— Нѣтъ, братъ! по двадцати копѣекъ на версту, да цѣлковый на водку!..

— Знатная работа! Да что они такъ торопятся?

— Знать, нужда пристигла; спѣшать въ Москву. Сѣдой-то больно тоскуетъ: всю дорогу проохалъ. А кто у васъ ѣдетъ?

— Да никто, братъ; кромѣ курьерской тройки, ни одной лошади нѣтъ.

Межъ тѣмъ купецъ, взойдя на почтовый дворъ, подаль смотрителю свою подорожную. Взглянувъ на нее и прочтя: давать изъ почтовыхъ, смотритель, молча, положилъ ее на столъ.

— Что, батюшка?—сказалъ купецъ,—или лошадей нѣтъ?

— Всѣ въ разгонѣ.

— Нѣтъ ли вольныхъ?

— Нѣтъ.

— А попутчиковъ?

— Есть четверня, да вотъ его благородіе ужъ часа три дожидается.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! что мнѣ дѣлать?— вскричалъ отчаяннымъ голосомъ купецъ. — Я готовъ дать все на свѣтѣ, только Бога ради, господинъ смотритель, отпустите меня скорѣе.

Смотритель пожалъ плечами и не отвѣчалъ ни слова.

— Вы, кажется, очень торопитесь? — спросилъ Рославлевъ, который не могъ безъ состраданія видѣть горя этого почтеннаго старика.

— Ахъ, сударь!—отвѣчалъ купецъ,—не подь лѣта бы мнѣ этакъ скакать; и добро бъ спѣшилъ на радость, а то... но дѣлать нечего; не мнѣ роптать, окаянному грѣшнику... Его святая воля!—Старикъ закрылъ глаза рукою, и крупныя слезы закапали на его сѣдую бороду.

— Извините мое любопытство,—сказалъ послѣ короткаго молчанія Рославлевъ,—какой несчастный случай заставляетъ васъ спѣшить въ Москву?

— Да, сударь!—отвѣчалъ старикъ, утирая глаза,—подлинно, несчастный! Господь посѣтилъ меня на старости. Я былъ по торговымъ дѣламъ въ Твери; въ Москвѣ у меня оставались жена и сынъ, а меньшей былъ вмѣстѣ со мною. Вчера онъ занемогъ горячкою, а сегодня по-утру я получилъ письмо отъ приказчика, въ которомъ онъ увѣдомляетъ, что старшаго сына моего разбила лошади, что онъ чуть живъ, а старуха моя со страстей такъ занемогла, что, того и гляди, отдастъ Богу душу. И докторовъ призывали, и Иверскую подымали, все нѣтъ легче. Третьяго дня ее соборовали масломъ; и если я сегодня не поспѣю въ Москву, то навѣрно не застану ее въ живыхъ. Эхъ, сударь! вы молоды, такъ не знаете, каково разставаться

съ тѣмъ, съ кѣмъ прожилъ сорокъ лѣтъ душа въ душу. Не тотъ сирота, батюшка, у кого нѣтъ только отца и матери, а тотъ, кто пережилъ и родныхъ и пріятелей, кому словечка не съ кѣмъ о старинѣ перемолвить, кто горемычный и на своей родинѣ, какъ на чужой сторонѣ. Живой въ могилу не ляжешь, батюшка! Кто знаетъ? Можетъ-быть, я еще годовъ десять промаюсь. Съ моей старухой я не вовсе еще былъ сиротою, а теперь... голубушка ты моя, родная!.. хоть бы еще разочекъ на тебя взглянуть, моя сердечная!..

Рыданія прервали слова несчастнаго старика. До души тронутый Рославлевъ колебался нѣсколько времени; онъ не зналъ, что ему дѣлать. Рѣшиться ждать новыхъ лошадей и уступитъ ему своихъ, скажетъ, можетъ-быть, хладнокровный читатель; но если онъ былъ когда-нибудь влюбленъ, то, вѣрно, не обвинитъ Рославлева за минуту молчанія, приведенную имъ въ борьбѣ съ самимъ собою. Наконецъ, онъ готовъ уже былъ принести сію жертву, какъ вдругъ ему прошло въ голову, что онъ можетъ предложить старику мѣсто въ своей коляскѣ.—Скажите мнѣ, — спросилъ онъ, — можете ли вы разстаться съ своимъ товарищемъ?

— Могу, сударь! Онъ ѣхалъ на перекладныхъ; а какъ на послѣдней станціи была также задержка, то я взялъ его съ собою.

— Такъ чего же лучше? Пусть онъ дожидается лошадей и пріѣдетъ завтра; а вы не хотите ли доѣхать до Москвы вмѣстѣ со мною?

— Ахъ, мой благодѣтель!.. Я не смѣлъ васъ просить объ этомъ; но не стѣсню ли я васъ?

— Не беспокойтесь; намъ обоимъ будетъ просторно.

— Иванъ Архиповичъ! — сказалъ другой купецъ, войдя въ избу. — Всѣ лошади въ разгонѣ; что будешь дѣлать? ни за какія деньги нельзя найти. Пришлось поневолѣ дожидаться.

— Нѣтъ, Андрей Васьяновичъ! Вотъ этотъ баринъ,—

награди его Господь!—изволить везти меня, вплоть до самой Москвы, въ своей коляскѣ.

— Дай Богъ вамъ здоровья, батюшка! — сказалъ купецъ, поклонясь вѣжливо Рославлеву. — Онъ спѣшитъ въ Москву по самой экстренной надобности, и по-длинно вы изводили ему сдѣлать истинное благодѣяніе. Я подожду здѣсь лошадей, и если не нынче, такъ завтра доставлю вамъ, Иванъ Архиповичъ, вашу по-возку. Мнѣ помнится, вашъ домъ за Серпуховскими воротами?

— Да, батюшка, въ переулкѣ, въ приходѣ Вознесе-нія Господня. Теперь, сударь, — продолжалъ стари-къ, обращаясь къ Рославлеву, и не смѣю васъ про-сить остановиться у меня...

— Мнѣ и самому было бы некогда къ вамъ за-ѣхать, — прервалъ Рославлевъ. — Я только-что пере-мѣню лошадей въ Москвѣ.

— Но неравно вамъ прилучится проѣзжать опять чрезъ нашу Бѣлокаменную, то порадуите старика, вѣзжайте прямо ко мнѣ, и если я буду еще живъ.. Да нѣтъ! коли не станетъ моей Мавры Андреевны, такъ Господь Богъ милостивъ... услышитъ мои мо-литвы и приберетъ меня горемычнаго.

— Эхъ, Иванъ Архиповичъ! — сказалъ купецъ, — на что заранѣ такъ крушиться? — Отчаяніе смертный грѣхъ, батюшка! Почему знать, можетъ-быть, и со-жительница и сыновья ваши выздоровѣютъ. А если Господь пошлетъ горе, такъ Онъ же дастъ силу и перенести его. А вы покамѣсть все надежды не те-райте: никто, какъ Богъ.

Старикъ тяжело вздохнулъ и, склонивъ на грудь свою сѣдую голову, не отвѣчалъ ни слова.

— Осмѣлюсь спросить, сударь, — сказалъ купецъ послѣ короткаго молчанія: — откуда изволите ѣхать?

— Изъ Петербурга.

— Изъ Петербурга? А что, сударь, тамъ слышно о войнѣ?

— Вѣроятно, турецкая война скоро будетъ кончена.

— Объ этомъ у насъ и въ Москвѣ давно говорятъ. Но есть также слухи, что будто бы французы... избави, Господи!..

— Чтожъ тутъ страшнаго? Развѣ намъ въ первый разъ драться съ Наполеономъ?

— Да то, сударь, бывало за-границею, а теперь, если правда, что болтають, и Наполеонъ собирается къ намъ... помилуй, Господи!.. Да это не легче будетъ татарскаго погрома. И за что бы, подумаешь, французамъ съ нами ссориться? Ихъ ли мы не чествуемъ? Имъ ли не житье, хоть, примѣромъ сказать, у насъ, въ Москвѣ? Бояръ нашихъ, не погнѣвайтесь, сударь, учать они уму-разуму, а нашу братью, купцовъ, въ грязь затоптали; васъ, господа, не осудите, батюшка! — кругомъ обирають, а насъ, беззащитныхъ, въ разоръ разорили! Ну, какъ бы послѣ этого имъ не жить съ нами въ ладу?

— Но развѣ вы думаете, что съ нами желаютъ драться французскія модныя торговки и учителя? Повѣрьте, они не менѣе вашего боятся войны.

— Конечно, батюшка-съ, конечно; только—не взыщите на мою простоту—мнѣ сдается, что и Наполеонъ-то не затѣялъ бы къ намъ идти, еслибъ не думалъ, что его примутъ съ хлѣбомъ да съ солью. Ну, а какъ ему этого не подумать, когда первые люди въ Россіи, родовые дворяне, только-что, прости, Господи, не молятся по-французски? Спору нѣтъ, батюшка! Если дѣло до чего дойдетъ, то благородное русское дворянство себя покажетъ — постоитъ за матушку святую Русь, и даже ради Кузнецкаго моста французовъ не помилуетъ; да они-то проклятые, успѣютъ у насъ накутить въ одинъ мѣсяцъ столько, что и годами не поправить!.. Отъ мала до велика, батюшка! Если, напри-мѣръ, въ овчарнѣ растворять ворота, и дворовыя собаки стануть выть по-волчьи, такъ дивиться нечему, когда волкъ забредетъ въ овчарню. Конечно, собаки его задавятъ и хозяинъ дубиною пришибетъ; а все-таки, можетъ статья, онъ успѣетъ много овецъ пере-

рѣзать. Такъ не лучше ли бы, сударь, и ворота держать на запорѣ, и собакамъ-та не прикидываться волками; волкъ бы жилъ да жилъ у себя въ лѣсу, а овцы были бы цѣлы! Не взыщите, батюшка! — примолвилъ купецъ съ низкимъ поклономъ; — я вѣдь это такъ, спроста говорю.

— Я могу васъ увѣрить, что много есть дворянъ, которые думаютъ почти то же самое.

— Какъ не быть, батюшка! И всѣ такъ станутъ думать, какъ тяжело придется; а, впрочемъ, и теперь, что Бога гнѣвить, есть русскіе дворяне, которые не совсѣмъ еще обжиноземнились. Вотъ хоть и ваша милость: вы не погнушались ѣхать вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ, хоть онъ не французскій магазинщикъ, а русскій купецъ, носить бороду и прозывается просто Иванъ Сеземовъ, а не какой-нибудь мусье Чертополохъ. Да вотъ еще вы, вѣрно, изволили читать: *Мысли вслухъ на Красномъ крыльцѣ Силы Андреевича Богатырева*. Книжка не великонька, а куды въ ней много дѣла и, говорятъ, будто бы сложилъ какой-то знатный русскій бояринъ, дай, Господи, ему много лѣтъ здравствовать! Помните ль, батюшка, какъ Сила Андреевичъ Богатыревъ изволилъ говорить о нашихъ модникахъ и модницахъ: ихъ-де отечество на Кузнецкомъ мосту, а царство небесное Парижъ. И потомъ — охъ, тяжело прибавляетъ онъ — дай, Боже, сто лѣтъ царствовать государю нашему, жаль дубинки Петра Великаго — взять бы ее хоть на недѣльку изъ кунсткамеры, да выбить дурь изъ дураковъ и дурь... Не погнѣвайтесь, батюшка, вѣдь это не я, а вашъ братъ, дворянинъ, русскихъ барынь и господъ такъ честить изволилъ.

— Не безпокойтесь! — сказалъ Рославлевъ, — я за дуръ и дураковъ вступаться не стану. Впрочемъ, не надобно забывать, что въ нашъ просвѣщенный вѣкъ смѣшно и стыдно чуждаться иностранцевъ.

— Кто и говорить, батюшка! Чуждаться и носить на рукахъ—два дѣла разные. Чтобъ намъ не держаться

русской пословицы: какъ аукнется, такъ и откликнется!.. Какъ насъ въ чужихъ земляхъ принимаютъ, такъ и намъ бы чужеземцевъ принимать... Ну, да что объ этомъ говорить... Скажите-ка лучше, батюшка, точно ли правда, онъ, Бонопартій, собирается на насъ войною?

— Это еще не рѣшено.

— А какъ рѣшится, такъ чтожъ онъ—на Москву что ли пойдетъ?

— Можетъ-быть. Онъ избалованъ счастіемъ и привыкъ заключать миръ въ столицахъ своихъ непріятелей.

— Вотъ что! Да чтожъ онъ въ нихъ дѣлаетъ?

— Веселится, отдыхаетъ, беретъ съ обывателей контрибуціи, то-есть деньги.

— И ему платятъ?

— Поневоля: противъ силы дѣлать нечего.

— Какъ нечего? Что вы, сударь! По нашему вотъ какъ. Если дѣло пошло на переکورъ, такъ не доставайся мое доброе ни другу, ни недругу. Господи, Боже мой! У меня два дома, да три лавки въ Панскомъ ряду, а если Божиимъ попущеніемъ врагъ придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой запалю. На, вотъ тебѣ! Не хвались же, что моимъ владѣешь! Нѣтъ, батюшка, Русскій народъ упрямъ; веди только нашъ Царь - Государь, такъ мы этому Наполеону такую хлѣбъ-соль поднесемъ, что онъ хоть и семи пядей во лбу, а—вотъ-те Христосъ! подавится.

— Нѣтъ, это не хвастовство! — подумалъ Рославль, — смотря на благородную и исполненную души физиономію купца.

— Дай мнѣ свою руку, почтенный гражданинъ!—сказалъ онъ.—Ты истинно русскій, и еслибъ всѣ такъ думали, какъ ты...

— И, сударь! придетъ бѣда, такъ всѣ заговорятъ однимъ голосомъ, и дворяне и простой народъ! То ли еще бывало въ старину: и триста лѣтъ татары владѣли землею Русскою, а развѣ мы стали отъ этого сами татарами? Вѣдь все, въ чемъ насъ упрекаетъ Сила Андреевичъ Богатыревъ, прививное, батюшка; а

корень - то все русскій. . Дремлемъ до-поры-до-времени; а какъ очнемся, да страхнемъ съ себя чужую пыль, такъ насъ и не узнаешь!

— Угодно вамъ ѣхать, сударь? — сказалъ Егоръ, слуга Рославлева, войдя въ избу. — Лошади готовы.

Рославлевъ пожалъ еще разъ руку молодому купцу и сѣлъ съ Иваномъ Архиповичемъ въ коляску. Ямщикъ тронулъ лошадей, затянулъ пѣсню, и когда услышалъ, что купецъ дастъ ему цѣлковый на водку, присвистнулъ и помчался такимъ молодцомъ вдоль улицы, что старый ямщикъ не усидѣлъ на завалинѣ, вскочилъ и закричалъ ему вслѣдъ:

— Ай да Прощка! Вотъ это по-нашенски! Лихо!! Эй, ты, закатывай!..

VI.

— Егоръ!

— Чего изволите, сударь?

— Гдѣ жъ поворотъ налѣво?

— А вонъ, сударь, за тѣмъ лѣскомъ.

— Не можетъ - быть; мы, вѣрно, проѣхали мимо.

— Никакъ нѣтъ, сударь! До поворота версты двѣ еще осталось.

— Ты врешь! Вотъ ужъ съ часъ, какъ мы выѣхали съ послѣдней станціи.

— Помилуйте, Владиміръ Сергѣевичъ, и полчасъ не будетъ.

— Ты опять пьянъ, бездѣльникъ!

— Никакъ нѣтъ, сударь! Въ Москвѣ старикъ-купецъ, котораго вы довели до дому, на радостяхъ, что его женѣ стало лучше, хотѣлъ было поднести мнѣ чарку водки; да вы такъ изволили спѣшить, что онъ, вмѣсто водки, успѣлъ только сунуть мнѣ полтинникъ въ руку.

— А какъ ты смѣлъ взять? Ты знаешь, что я этого терпѣть не могу.

— Воля ваша, сударь, некогда было спорить: вы такъ изволили торопиться.

— Эй, ямщикъ, да полно, знаешь ли ты дорогу въ село Утѣшино?

— Какъ не знать, ваша милость. Я не разъ важивалъ Прасковью Степановну Лидину въ городъ. Ну, ты, одеръ, посматривай по сторонамъ-то.

— Мнѣ помнится, что поворотъ съ большой дороги былъ на восьмой верстѣ отъ станціи.

— Да, баринъ, да восьмая-то верста вонъ за этимъ лѣскомъ. Эй, вы, милыя!..

Рославлевъ замолчалъ. Минутъ черезъ пять березовая роща осталась у нихъ позади; коляска своротила съ большой дороги на проселочную, которая шла посреди полей, засѣянныхъ хлѣбомъ; справа и слѣва мелькали небольшіе лѣсочки и отдѣльныя группы деревьевъ; вдали чернѣлась густая дубовая роща, изъ-за которой подымались высокія деревянныя хоромы, построенныя еще дѣдомъ Полины, храбрымъ секунд-майоромъ Лидинымъ, убитымъ при штурмѣ Измаила. Подѣхавъ къ крутому спуску, извозчикъ остановилъ лошадей и слѣзъ съ козелъ, чтобъ подтормозить колеса.

— Посмотрите-ка, сударь! — сказалъ Егоръ: — никакъ это идетъ по дорогѣ дуручка Ѳедора?.. Ну, такъ и есть—она.

Крестьянская дѣвка, лѣтъ двадцати-пяти, въ изорванномъ сарафанѣ, съ распущенными волосами и босикомъ, шла къ нимъ навстрѣчу. Длинное, худощавое лицо ея до того загорѣло, что казалось почти чернымъ; свѣтло-сѣрые глаза сверкали какимъ-то дикимъ огнемъ; она озиралась и посматривала во всѣ стороны съ безпокойствомъ; то шла скоро, то останавливалась, разговаривала потихоньку сама съ собою, и вдругъ начала хохотать, такъ громко и такимъ отвратительнымъ образомъ, что Егоръ вздрогнулъ и сказалъ съ примѣтнымъ ужасомъ:

— Ну, встрѣча! чортъ бы ее побралъ!.. Терпѣть не могу этой дуры... Помните, сударь! у насъ въ селѣ жила полоумная Аксинья?.. Та вовсе была не

страшна; все, бывало, поетъ пѣсни да пляшетъ; а эта, безумная, по ночамъ бродить по кладбищу, а днемъ только и рѣчей, что о похоронахъ да о покойникахъ... Да и сама-то, ни дать, ни взять, мертвецъ: только что не въ саванѣ.

Межъ тѣмъ полоумная, поровнявшись съ коляской, остановилась, захохотала во все горло и сказала охриплымъ голосомъ:

— Здравствуй, баринь!

— Здравствуй, Ѳедорушка! Куда идешь?

— Вѣстимо, куда—на похороны. А ты куда ѣдешь?

— Въ Утѣшино.

— Ой ли? Да развѣ барышня-то ужъ умерла?

— Что ты врешь, дура?—закричалъ Егоръ.

— Смотри, не дерись!—сказала полоумная;—а не то вѣдь я сама камнемъ хвачу.

— А давно ли ты видѣла барышню?—спросилъ Рославлевъ.

— Барышню?.. какую?.. невѣсту-та что ль твою?

— Да, Ѳедорушка!

— Аномнясь, на барскомъ дворѣ, она дала мнѣ краюшку хлѣба, да такой бѣлый, словно просвира.

— Ну, что?.. Она здорова?

— Нѣтъ, слава Богу, худа: скоро умереть. То-то наймся куты на ея похороны!

— Какъ?.. Она больна?..

— Эхъ, сударь!—прервалъ Егоръ,—что вы ее слушаете? Она весь свѣтъ хоронить.

— погоди, голубчикъ, и ты протянешься!

— Типунъ бы тебѣ на языкъ, вѣдьма!.. Эко воронье пугало! Надъ тобой и бы тряслось, проклятая! Ну, что зѣваешь? Пошелъ!

Коляска двинулась подъ гору, а сумасшедшая пошла по дорогѣ и запѣла во все горло:—со святыми упокой! Проѣхавъ версты двѣ большой рысью, они поровнялись съ мелкимъ сосновымъ лѣсомъ. Въ близкомъ разстояніи отъ большой дороги слышались охотничьи рога; вдругъ изъ-за лѣса показался одинъ охотникъ,

одѣтый черкесомъ, за нимъ другой, и вскорѣ человѣкъ двадцать верховыхъ, окруженныхъ множествомъ борзыхъ собакъ, выѣхали на опушку лѣса. Впереди всѣхъ, въ сопровожденіи двухъ стремянныхъ, ѣхалъ на сѣромъ горскомъ конѣ толстый баринъ, въ полевомъ кафтанѣ изъ чернаго бархата, съ огромными корольковыми пуговицами; на шелковомъ персидскомъ кушакѣ, которымъ онъ былъ подпоясанъ, висѣлъ небольшой охотничій ножъ, въ дорогой турецкой оправѣ. Рядомъ съ нимъ ѣхалъ высокій и худощавый человѣкъ, въ зеленомъ скюртукѣ, подпоясанный также кушакомъ, за которымъ заткнутъ былъ широкій черкесскій кинжалъ. Вслѣдъ за охотниками выѣхали изъ лѣса, окруженные стаею гончихъ, человѣкъ десять ловчихъ, доѣзжачихъ и псарей. Когда коляска поровнялась съ охотою, толстый баринъ пріостановилъ свою лошадь и закричалъ:

— Что это? Ба, ба, ба! Рославлевъ! Стой, стой!

Ямщикъ остановилъ лошадей.

— А! это вы, Николай Степановичъ?—сказалъ Рославлевъ.

— Милости просимъ, будущій племянникъ! Здорово, моя душа! Ну, мы сегодня тебя не ожидали! Да вылезай, братъ, изъ коляски.

— Извините, я спѣшу!..

— Въ Утѣшино? Не безпокойся: ты тамъ не найдешь своей невѣсты.

— Ахъ, Боже мой!.. гдѣ жъ она?

— Христосъ съ тобой!.. что ты испугался? Всѣ, слава Богу, здоровы. Онѣ поѣхали въ городъ съ визитомъ—вотъ къ его женѣ.

— Здравствуйте, Владиміръ Сергѣевичъ!—сказалъ худощавый старикъ въ зеленомъ скюртукѣ.—На силу мы васъ дождались!

— Такъ я пройду прямо въ городъ.

— Хуже, братъ! какъ разъ разъѣдитесь. Онѣ часа черезъ полтора сюда будутъ. Я угощаю ихъ охотничьимъ обѣдомъ здѣсь, въ лѣсу, на чистомъ воздухѣ. Да вылезай же!

Рославлевъ выпрыгнулъ изъ коляски.

— Ну, здравствуй еще разъ, любезный женихъ!— сказалъ Николай Степановичъ Ижорскій, пожимая руку Рославлева.— Знаешь ли что? Пока еще наши барыни не пріѣхали, мы успѣемъ двухъ, трехъ русаковъ за-
травить. Ей, Терешка! долой съ лошади!

Одинъ изъ стремянныхъ слѣзъ съ лошади и подвелъ ее Рославлеву.

— Садись-ка, братъ!— продолжалъ Ижорскій;— а вы съ коляской ступайте въ Утѣшино.

Рославлеву вовсе не хотѣлось травить зайцевъ; но дѣлать было нечего: онъ зналъ, что дядя его невѣсты человѣкъ упрямый и любить дѣлать все по-своему.

— Ну, братъ!— сказалъ Ижорскій, когда Рославлевъ сѣлъ на лошадь,—смотри, держись крѣпче: конь черкесскій, настоящій Шалохъ. Прошлаго года мнѣ его привели прямо съ Кавказа:—звѣрь, а не лошадь! Да ты старый кавалеристъ, такъ со всякимъ чортомъ сладишь. Ей, Шурловъ! кинь гончихъ вонъ въ тотъ островъ; а вы, дурачье, ступайте на всѣ лазы; ты, Заливной, стань у той перемычки, что къ песочному оврагу. Да чуръ не зѣвать! Поставьте прямо на насъ милаго дружка, чтобы было, чѣмъ потѣшить пріѣзжаго гостя.

— Ужъ не извольте опасаться, батюшка!— сказалъ Шурловъ, посѣдѣвшій въ отъѣзжихъ поляхъ ловчій, который имѣлъ исключительное право говорить, и даже иногда перебраниваться съ своимъ бариномъ.— У насъ косою не отвертится—поставимъ прямехенько на васъ; извольте только стать вонъ къ этому отъемному острову.

— Ну, то-то же, Шурловъ, не ударъ лицомъ въ грязь.

— Помилуйте, сударь! да если я не потѣшу Владиміра Сергѣевича, такъ не прикажите меня цѣлый мѣсяцъ къ корыту подпускать. Смотрите, молодцы! Держать ухо востро! Сбирай стаю. Да всѣ ли довалились?.. Гдѣ Гаркало и Будило? Ну, чтожъ зѣваешь, Андрей,—подай въ рогъ. Ванька! возьми своего полва-

пѣгова-то кобеля на свору; вишь, какъ онъ избаловался—все опушничаетъ. Ну, ребята, съ Богомъ!—прибавилъ ловчій, снявъ картузъ и перекрестясь съ набожнымъ видомъ,—въ добрый часъ! Забирай лѣвѣе!

Въ одну минуту охотники разѣхались по разнымъ сторонамъ; а псарь, съ стаею гончихъ, отправились прямо къ небольшому лѣску, поросшему низкимъ кустарникомъ.

— Терешка!—сказалъ Ижорскій стремянному, который отдалъ свою лошадь Рославлеву,—ступай въ липовую рощу, посмотри, раскинутъ ли шатеръ и пришла ли въ липовую рощу музыка, да скажи, чтобъ черезъ часъ обѣдъ былъ готовъ. Ну, любезные!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Рославлеву,—не думалъ я сегодня заповевать такого звѣря. Вчера Оленька раскладывала карты, и все выходило, что ты прежде недѣли не будешь. Какъ онѣ обрадуются!

— Да точно ли онѣ сюда пріѣдутъ?

— Экой ты, братецъ! Ужъ я сказалъ тебѣ, что онѣ обѣдаютъ здѣсь, вонъ въ этой рощѣ. Да не отставай, Ильменевъ! Что ты? иль въ стремянные ко мнѣ хочешь?

— Лошаденка-то устала, батюшка Николай Степановичъ!—отвѣчалъ господинъ въ зеленомъ сюртукѣ.

— Молчи, братъ, будешь съ лошадыю. Я велѣлъ для тебя выѣздить чалаго донца, знаешь, что въ каретѣ подъ рукой ходить?

— Охъ, боекъ, отецъ мой! Не по мнѣ: какъ разъ слечу нѣземъ!

— И, полно, братецъ, вздоръ! Не кверху полетишь! Да тебѣ же не въ диковинку,—прибавилъ Ижорскій, толкнувъ локтемъ Рославлева. —Ты и съ мѣста слетѣлъ, да не ушибся!

— Какъ, Прохоръ Кондратьевичъ?—спросилъ Рославлевъ; —такъ не вы ужъ городничимъ въ нашемъ городѣ?

— Да, сударь, злые люди обнесли меня передъ начальствомъ.

— Разспроси-ка, какую онъ терпитъ напраслину, — сказалъ Ижорскій, мигнувъ потихоньку Рославлеву. — Поклепали малаго, будто бы онъ грамотѣ не знаетъ.

— Неужели?

— Не грамотны, батюшка, — имя-то свое мы подчеркнемъ не хуже другихъ прочихъ, а вотъ въ чемъ дѣло: съ мѣсяцъ тому назадъ, наслали ко мнѣ указъ изъ губернскаго правленія, чтобъ я донесъ, сколько квадратныхъ саженой въ нашей площади. Я было хотѣлъ посовѣтоваться съ уѣзднымъ стряпчимъ: чело-вѣкъ онъ ученый, изъ семинаристовъ; но на ту пору онъ уѣхалъ производить слѣдствіе. Вотъ я подумалъ, подумалъ, да и отпрапоровалъ, что у меня въ городѣ квадратной сажени не имѣется, и чтобъ благоволили мнѣ изъ губерніи доставить образцовую. Чтожъ, сударь? Ждать-пождать, слышу — нашъ губернаторъ и рветъ и мечетъ! И неучъ — то я, и безграмотный — и какъ, дескать, быть городничимъ такому невѣжѣ: а помилуйте! какое я сдѣлалъ невѣжество?.. Вдругъ на прошлой недѣлѣ брякъ указъ, — я отставленъ; а на мое мѣсто какой-то нѣмецкій фонъ. А такъ какъ онъ еще не прибылъ, такъ сдать мнѣ должность старшему приставу. Что дѣлать, батюшка? Плетью обуха не перешибешь!

— И васъ за одно это отставили? — спросилъ Рославлевъ.

— Да, сударь! Вотъ такъ-то всегда бываетъ: прикажутъ безъ толку, а тамъ нашъ братъ, подчиненный, и отвѣчай. Безъ вины виноватъ!

— Жаль, что нашъ губернаторъ поторопился васъ отставить. Если вы не знали, что такое квадратная сажень, зато не знали также, какъ берутъ взятки съ обывателей.

— Видитъ Богъ, нѣтъ, батюшка! И ко мнѣ, случилось, забѣгали съ кулечками: кто голову сахару, кто фунтикъ чаю; да я, бывало, такъ турну со двора, что на-силу ноги уpletутъ.

— Впрочемъ, охота вамъ горевать, Прохоръ Ко-

дятьевичъ! Вы жили не службою: у васъ есть собственное состояніе.

— Конечно, есть посильное мѣсто, сударь! Съ голоду не умремъ. Да вѣдь я служилъ изъ чести, Владиміръ Сергѣевичъ! Что ни говори, а городничій у себя въ городѣ велико дѣло. Бывало, идешь гоголемъ по улицѣ, побрякиваешь себѣ шпорами да постукиваешь саблею; кто ни попался, шапку долой да въ поясъ! А въ табельные-то дни, батюшка! пріѣдешь въ соборъ — у дверей встрѣчаетъ частный приставъ, народъ разступается; идешь по церкви баринъ — бариномъ! Становишься впереди всѣхъ, у самого амвона, къ кресту подходишь первый... а теперь?.. Ну, да дѣлать нечего, — была и намъ честь.

— А какъ пріѣдетъ, бывало, въ городъ губернаторъ? — спросилъ съ улыбкою Рославлевъ.

— Ну, конечно, батюшка, подчасъ напляшешься. Не только губернаторъ, и слуги-то его начнутъ тебя пырять да гонять изъ угла въ уголъ, какъ лягавую собаку. Чего бъ ни потребовали къ его превосходительству, хоть птичьяго молока, чтобъ тутъ же родилось и выросло. Бывало, съ ногъ собьютъ, разбойники! А какъ еще, на бѣду, губернаторъ пріѣдетъ съ супругою... Ну! совсѣмъ молодца замотаютъ! Хоть вовсе спать не ложись!

— Вотъ то-то же, братецъ! Я слышалъ, что губернаторъ объѣзжаетъ губернію: теперь тебѣ и горюшка мало; а онъ вѣрно въ будущемъ мѣсяцѣ заѣдетъ въ нашъ городъ и у меня будетъ въ гостяхъ, — чромолвилъ съ примѣтной важностію Ижорскій. — Онъ много наслышался о моей больницѣ, о моемъ конскомъ заводѣ и о прочихъ другихъ заведеніяхъ. Ну, чтожъ? Праздниковъ давать не станемъ, а запросто, милости просимъ!

Въ продолженіе сего разговора, они проѣхали съ полверсты полемъ и остановились подлѣ частаго кустарника. Съ одной стороны онъ отдѣлялся отъ лѣса узкой поляною, а съ другой былъ окруженъ обшир-

ными дугами, которые спускались пологимъ скатомъ до небольшой, но отменно быстрой рѣчки; по ту сторону оной начиналось возвышенныя мѣста, и по крутому косогору изгибались большая дорога, ведущая въ городъ. Прямо противъ нихъ не было никакой переправы; но внизъ по теченію рѣки, версты полторы отъ того мѣста, гдѣ они остановились, перекинутъ былъ чрезъ нее бревенчатый и узкій мостикъ безъ перилъ.

Прошло нѣсколько минутъ въ глубокомъ молчаніи. Ижорскій не спускалъ глазъ съ медкаго лѣса, въ который кинули гончихъ. Ильменевъ, боясь развлечь его вниманіе, едва смѣлъ переводить духъ, стремянный стоялъ неподвижно, какъ истуканъ; одинъ Рославлевъ повертывалъ часто свою лошадь, чтобъ посмотреть на большую дорогу. Онъ рѣшился, наконецъ, прервать молчаніе и спросилъ Ижорскаго: здоровъ ли ихъ съѣдъ, Ѳеодоръ Андреевичъ Сурскій?

— Здоровъ, братецъ, — отвѣчалъ Ижорскій; — что ему дѣлается?.. Постою - ка?.. Слышишь?.. Никакъ тыфкнула?.. Нѣтъ, нѣтъ!.. Онъ будетъ сюда съ нашими барынями... Чудакъ!.. Повѣришь ли? не могу его уговорить поохотиться со мною!.. Бродить иѣшкомъ да ѣздить верхомъ по своимъ полямъ, какъ будто бы некому, кромѣ его, присмотрѣть за работою; а ужъ читаетъ, читаетъ!..

— Съ утра до вечера, батюшка! — прервалъ Ильменевъ. — Какъ это ему не надоѣстъ, подумаешь? Третьяго дня я заѣхалъ къ нему... Господи, Боже мой! и на столѣ-то, и на окнахъ, и на стульяхъ — все книги! И охота же, подумаешь, жить чужимъ умомъ? Человѣкъ, кажется, неглупый, а, повѣрите ль, зарылся по уши въ эту дрянъ!..

— Слышишь, Владиміръ? — сказалъ Ижорскій. — Вотъ умный-то малый! Книги — дрянъ! Ахъ, ты, безграмотный!.. Посмотри-ка, сколько у меня этой драни!

— Помилуйте, батюшка! да у васъ дѣло другое — за стеклышкомъ, книга къ книгѣ, такъ онѣ и красу дѣлаютъ!

— Да, братъ, на мою бібліотеку полюбоваться можно.

— И вы, сударь, иногда отъ бездѣлья книжку возьмете, да вы человѣкъ разсудительный: прочли страничку, другую, и будетъ; а вѣдь онъ мѣры не знаетъ. Недѣли двѣ тому назадъ...

— Молчи - ка, братъ... Чу! никакъ добираются?.. Такъ и есть!.. Натекли!.. Ого-го! какъ приняли!.. Ну! свалились!.. Пошли писать!.. Помчали!..

— Никакъ по горячему слѣду, батюшка?

— Нѣтъ, братецъ! иль не слышишь? по зрячему... Владиміръ, смотри, смотри!.. Да не туда, куда ты смотришь. Рославлевъ! что ты, братецъ?

Но Рославлевъ не видѣлъ и не слышалъ ничего. Вдали за рѣчкой показался на большой дорогѣ ландо, заложенный шестью лошадьми.

— Вотъ онъ, вотъ онъ! — закричалъ вполголоса Ижорскій.

— Да, это онъ! — повторилъ Рославлевъ, узнавъ экипажъ Лидиной.

— А-а-ту его!..—затянулъ протяжнымъ голосомъ стремянный, показывая собакамъ русака, который отдѣлился отъ лѣса.

— Береги, Рославлевъ, береги,—закричалъ Ижорскій.—Вотъ онъ!.. А-ту его!.. Постой, братецъ! Куда ты, пострѣлъ? Постой!.. Не туда, не туда!

Но Рославлевъ былъ уже далеко. Онъ пустился, какъ изъ лука стрѣла, внизъ по теченію рѣки; собаки Ижорскаго бросились вслѣдъ за нимъ; другіе охотники были далеко, и заяцъ началъ преспокойно пробираться лугами къ большому лѣсу, который былъ у нихъ позади. Ижорскій бѣсился, кричалъ, но вскорѣ крикъ его заглушили отчаянные вопли ловчаго Шурлова, который, выскакавъ вслѣдъ за гончими изъ острова, увидѣлъ сію непростительную ошибку. Онъ рвалъ на себѣ волосы, вылъ, ревелъ, осыпалъ проклятіями Рославлева; какъ полоумный пустился скакать по полю за зайцемъ, наскакалъ на пенекъ, перекувыркнулся

вмѣстѣ съ своею лошадью, и, лежа на землѣ, продолжалъ кричать: А-ту его, а-ту! береги, береги!..

Межъ тѣмъ Рославлевъ въ нѣсколько минутъ доскакалъ на своемъ черкесскомъ конѣ до рѣки. Ахъ, какъ билось сердце влюбленнаго жениха! Казалось, оно готово было вырваться изъ груди его!.. Такъ, это онѣ!.. онѣ ѣдутъ шибкой рысью по крутому противоположному берегу. Рославлевъ поровнялся съ ними, его узнали, ему кричатъ; но онъ видитъ одну Полину... Вотъ она!.. Бѣлый платокъ ея развѣвается по воздуху. О! еслибъ лошадь его имѣла крылья, еслибъ онъ могъ перескочить черезъ эту несносную рѣку, которая, какъ будтобъ радуясь, что раздѣляетъ двухъ любовниковъ, крутилась, бушевала и, покрытая пѣной, мчалась между крутыхъ береговъ своихъ. Рославлевъ хочетъ ѣхать берегомъ, но обширное болото перерѣзываетъ ему дорогу. Чтобъ добраться до моста, ему надобно сдѣлать большой объѣздъ лѣсомъ. Онъ понукаетъ свою лошадь, продирается сквозь частый кустарникъ, перепрыгиваетъ черезъ колоды и пеньки, летитъ и — вотъ онъ опять въ полѣ, опять видитъ вдали карету, которая, спускаясь съ крутого берега, вѣхала на узкій мостъ. Кто-то въ бѣломъ платьѣ высунулся до половины изъ окна и смотритъ ему навстрѣчу... Это, вѣрно, Полина. Вдругъ дверцы растворились, раздался громкій крикъ, бѣлое платье мелькнуло по воздуху, вода разступилась, закипѣла—и все исчезло. Боже мой!.. Рославлевъ ахнулъ, сердце его перестало биться, въ глазахъ потемнѣло, онъ не видѣлъ даже, что вслѣдъ за бѣлымъ платьемъ какой-то мужчина бросился въ воду. Почти безъ чувствъ примчался онъ къ берегу рѣки, которая въ семъ мѣстѣ, стѣсняемая двумя островами, текла съ необычайной быстротою. Мужчина пожилыхъ лѣтъ употреблялъ почти нечеловѣческія усилія, чтобъ отплыть отъ берега, къ которому его прибило быстрымъ теченіемъ; шагахъ въ двадцати отъ него, то показывалось поверхъ воды, то исчезало бѣлое платье. Рославлевъ на всемъ

скаку бросился въ воду. Черкесскій конь, привыкшій переплывать горные потоки, съ перваго размаха вынесъ его на середину рѣки; онъ повернулъ его по теченію, но не успѣлъ бы спасти погибающую, еслибъ, къ счастью, ей не удалось схватиться за одинъ кустъ, растущій на небольшомъ островѣ, вокругъ котораго вода кипѣла и крутилась ужаснымъ образомъ. Въ ту самую минуту, какъ она, совершенно обезсилѣвъ, переставала уже держаться за сучья, Рославлевъ успѣлъ обхватить ее рукою и выплыть вмѣстѣ съ нею на берегъ. Онъ соскочилъ съ лошади, бережно опустилъ ее на траву, и тутъ только увидѣлъ, что спасъ не невѣсту, а сестру ея, Оленьку. — Это вы?... — сказала она слабымъ голосомъ. — Это ты... избавитель мой!.. — повторила она, обвивъ руками его шею; но вдругъ глаза ея закрылись, и она безъ чувствъ упала на грудь Рославлева.

VII.

Въ началѣ іюля мѣсяца, спустя нѣсколько недѣль послѣ несчастнаго случая, описаннаго нами въ предыдущей главѣ, часу въ седьмомъ послѣ обѣда, Прасковья Степановна Лидина, братъ ея, Ижорскій, Рославлевъ и Сурскій сидѣли вокругъ постели, на которой лежала больная Оленька; нѣсколько поодаль сидѣлъ Ильменевъ, а у самаго изголовья постели стояла Полина и домовый лѣкарь Ижорскаго, къ которому Лидина не имѣла вовсе вѣры, потому что онъ былъ русскій и учился не за моремъ, а въ Московской академіи. Онъ держалъ за руку больную, и хотя не говорилъ еще ни слова, но не трудно было отгадать по его веселому и довольному лицу, что опасность миновалась.

— Поздравляю васъ, сударыня! — сказалъ онъ наконецъ, обращаясь къ Лидиной; — жару вовсе нѣтъ, пульсъ спокойный, ровный. Ольга Николаевна совершенно здорова, и только одна слабость... но это въ нѣсколько дней совсѣмъ пройдетъ.

— Точно ли вы увѣрены въ этомъ?—спросила недоувѣрчиво Лидина.

— Да, сударыня, и такъ увѣренъ, что прошу васъ приказать убрать всѣ эти лѣкарства: теперь Ольгѣ Николаевнѣ нужны только покой и умѣренность въ пищѣ.

— Умѣренность въ пищѣ!.. Да она ничего не ѣстъ, сударь!

— Не беспокойтесь, будетъ кушать. А вамъ, сударыня!—продолжалъ лѣкаръ, относясь къ Полинь, — я совѣтовалъ бы отдохнуть и подышать чистымъ воздухомъ. Вотъ ужъ мѣсяцъ, какъ вы не выходите изъ комнаты вашей сестрицы. Вы ужасно похудѣли: посмотрите, вы блѣднѣе нашей больной.

— Это правда,—прервала Лидина,—она такъ измучилась, *chère enfant!* Представьте себѣ: бѣдняжка почти всѣ ночи не спала!.. Да, да, *mon ange*, ты никогда не бережешь себя. Помнишь ли, когда мы были въ Парижѣ, и я занемогла? Хотя опасности никакой не было... Да, братецъ, тамъ не такъ, какъ у васъ въ Россіи: тамъ нѣтъ болѣзни, которой бы не вылѣчили...

— Видно, оттого-то въ Парижѣ такъ много и жителей,—сказалъ, шутя, Федоръ Андреевичъ Сурскій.

— И, полно, сестра!—подхватилъ Ижорскій;—да развѣ въ Парижѣ никто не умираетъ?

— Конечно, умираютъ; но только тогда, когда уже нѣтъ никакихъ средствъ вылѣчить больного.

— Извините!—сказалъ лѣкаръ,—мнѣ надобно ѣхать въ городъ, я ворочусь сегодня же домой.

Когда онъ вышелъ изъ комнаты, Лидина спросила Оленьку: точно ли она чувствуетъ себя лучше.

— Да, маменька!—отвѣчала тихимъ голосомъ больная;—я чувствую только какую-то усталость.

— Вы еще слабы,—сказалъ Сурскій;—и это очень натурально, послѣ такого сильного потрясенія...

— Да, любезный! — прервалъ Ижорскій, — васъ всѣхъ перетряхнуло порядкомъ; и меня со страстей въ лихорадку бросило. Боже мой! вспомнить не могу!..

Дуракъ Сенька прибѣжалъ ко мнѣ, какъ шальной, и сказалъ, что Оленька упала съ моста, что ты, Сурскій, вытаскивая ее изъ воды, пошелъ ко дну, и что Рославлевъ, стараясь васъ спасти обоихъ, утонулъ съ вами вмѣстѣ. Не знаю, какъ я усидѣлъ на лошади!.. Ну, вотъ, прошу загадывать впередъ! Охота, обѣдъ, музыка, всѣ мои затѣи пошли къ чорту. А я такъ радовался, что задамъ вамъ сюрпризъ; вы лишь только бы въ палатку, а женихъ и тутъ!.. Роговая музыка грянула бы: желанья наши совершились; а тамъ новую увертюру изъ Діанина древа! И чтожъ? Вмѣсто этого всего, русакъ ушелъ, Шурловъ вывихнулъ ногу, и Оленька чуть-чуть не утонула. Экій выдался денекъ!

— Я вамъ докладывалъ, Николай Степановичъ! — сказалъ Ильменевъ, — что поле будетъ незадачное. Извольте-ка припомнить: лишь только мы выѣхали изъ околицы, такъ намъ и пырь въ глаза батька Василій; а вѣдь, извѣстное дѣло, какъ съ попомъ повстрѣчаешься, такъ не жди ни въ чемъ удачи.

— Полно врать, братецъ! Все это глупыя примѣты. Ну, что имѣетъ общаго попъ съ охотою? Конечно, и я не люблю, когда тринадцать сидятъ за столомъ, да это другое дѣло. Три раза въ моей жизни случилось, что изъ этихъ тринадцати человѣкъ, кто черезъ годъ, кто черезъ два, кто черезъ три, а непременно умереть; такъ тутъ поневолѣ станешь вѣрить.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ улыбаясь Сурскій, — это странно! И всѣ эти умирающіе были люди молодые?

— Ну, нѣтъ! Одинъ-то былъ ужъ лѣтъ семидесяти — такой старикъ здоровый! Вдругъ свернуло, году не прожилъ послѣ обѣда, на которомъ онъ былъ тринадцатымъ.

— А я такъ думаю, — сказала Лидина, — что это несчастіе случилось отъ того, что у васъ въ Россіи нѣтъ ничего порядочнаго: дороги скверныя, а мосты!.. Dieu quelle abomination! Еслибъ вы были во Франціи и посмотрѣли...

— Полно, сестра! Что, развѣ мостъ подломился подъ вашей каретою? Прошу не погнѣваться — мостъ славный и строенъ по моему рисунку; а вотъ, еслибъ въ твоей парижской каретѣ дверцы притворялись плотнѣе, такъ дѣло-то было бы лучше. Нѣтъ, матушка, я увѣренъ, что нашъ губернаторъ полюбуется на этотъ мостикъ... Да, кстати! Меня увѣдомляютъ, что онъ завтра прїѣдетъ въ нашъ городъ; слѣдовательно, послѣзавтра будетъ у меня обѣдать.

— Пелагея Николаевна! — сказалъ Сурскій, — лѣкарь говорилъ правду: вы такъ давно живете затворницей, что можете легко и сами занемочь. Время прекрасное, чтобъ вамъ погулять?

— А онъ пойдетъ вмѣстѣ съ тобою, — шепнула Оленька. — Вѣдь вы еще не успѣли двухъ словъ сказать другъ другу.

— Поди, мой ангелъ! — сказала Лидина. — Владиміръ Сергѣевичъ, ступайте съ нею въ садъ.

— Ну, чтожъ ты задумалась, племянница? — закричалъ Ижорскій. — Полно, матушка, ступай! Вѣдь смерть самой хочется погулять съ женихомъ. Охъ, вы, барышни! А ты что смотришь, Владиміръ? Подъ руку ее, да и маршъ!

— Возьми, мой другъ, съ собой зонтикъ, — сказала Лидина Полинь, которая рѣшилась, наконецъ, оставить на нѣсколько времени больную. — Вотъ тотъ, что я купила тебѣ, помнишь, въ Пале-Роялѣ? Онъ больше другихъ, и лучше закроетъ тебя отъ солнца.

— Знаешь ли, сестра! — промолвилъ вполголоса Ижорскій, смотря вслѣдъ за Рославлевымъ, который вышелъ вмѣстѣ съ Полиною, — знаешь ли, кто больше всѣхъ пострадалъ отъ этого несчастнаго случая? Вѣдь это онъ! Свадьба была назначена на прошлой недѣлѣ, а бѣдняжка Владиміръ только сегодня въ первый разъ поговоритъ на свободѣ съ своею невѣстою. Не въ добрый часъ онъ выѣхалъ изъ Питера!

— Мнѣ нельзя согласиться съ вами, дядюшка! — сказала больная. — Еслибъ онъ выѣхалъ однимъ часомъ

позже изъ Петербурга, то, вѣроятно, меня не было бы на свѣтѣ.

— Да, онъ подоспѣлъ впору.

— Такъ въ самомъ дѣлѣ,—спросила Лидина,—онъ одинъ спасъ Оленьку?

— А съ нею и меня, — отвѣчалъ Сурскій, — судя по тому, какъ трудно мнѣ было одному выбраться на берегъ. Нѣтъ сомнѣнія, что я не спасъ бы Ольгу Николаевну, а утонулъ бы съ нею вмѣстѣ.

— Добрый Рославлевъ!.. Я, право, люблю его, какъ родного сына, — промолвила Лидина. — Одно мнѣ только въ немъ не нравится: этотъ несносный патріотизмъ; и не странно ли видѣть, что человѣкъ образованный сходить съума отъ всего русскаго!.. *Comme c'est ridicule!* Скажите мнѣ, *monsieur* Сурскій, *d'où vient cela?* Онъ, кажется, хорошо воспитанъ?

— Да, сударыня! — отвѣчалъ съ улыбкой Сурскій; — онъ очень хорошо воспитанъ; а если имѣетъ слабость любить Россію, такъ это, вѣрно, потому, что онъ не французъ.

— Да не вовсе и русскій, братецъ! — подхватилъ Ижорскій. — Вы оба съ нимъ порядкомъ обжиноземились. Я самъ, благодаря Бога, не невѣжда, и знаю кой-что, а не стану вопить, какъ вопите вы и ваша заморская челядь, противъ нашей дворянской роскоши. Нѣтъ, братецъ, не походите вы оба на русскихъ бояръ. Ты, любезный, зарылся въ книги какъ профессоръ, живешь какимъ-то философомъ; да и Владиміръ не лучше тебя. Ну, повѣришь ли, сестра, какъ я ему сказалъ, что у меня безъ малаго четыреста душъ дворовыхъ, такъ онъ ахнулъ?.. Ахъ, батюшки, четыреста душъ!.. Помилуйте, вѣдь они ничего не дѣлаютъ, а только даромъ хлѣбъ ѣдятъ.—Какъ, ничего, а развѣ меня не тѣшатъ? — Да на что вамъ такая орава? — Вотъ забавно! Стану я считать, сколько у меня людей! Что я, нѣмецкій баронъ что ль какой-нибудь? Нѣтъ, сударь, я русскій столбовой дворянинъ, и прошу не

прогнѣваться, колокольчика къ моимъ дверямъ привѣшивать не стану.

— Подлинно, сударь, вы столбовой русскій бояринъ, — сказалъ Ильменевъ, взглянувъ съ подобострастіемъ на Ижорскаго. — Чего у васъ нѣтъ! Гости ли найдутъ — на сто человѣкъ готовы постели; грунтовый сарай на цѣлой десятинѣ; оранжереямъ конца нѣтъ; персиковъ, абрикосовъ, дуль, всякихъ фруктъ... Господи, Боже мой!.. Ёшь — не хочется! Истинно, куда ни обернись, все барское! Въ лакейскую что ль заглянешь? такъ, нечего сказать, глаза разбѣгутся — цѣлая барщина; да что за народъ?.. молодець къ молодцу!

Ижорскій гордо улыбнулся, призадумался, потомъ, вынувъ огромную золотую табакерку, понюхалъ съ разстановкою табаку и, взглянувъ ласково на Ильменава, сказалъ: — Послушай, Прохоръ Кондратьевичъ, въ самомъ дѣлѣ, чалаа донская не по тебѣ. Знаешь мою гнѣдую, съ бѣлой лысиной?

— Какъ не знать, батюшка, лошадь богатая: тысячи полторы стоитъ!

— Такъ по рукамъ, братецъ! Она твоя!

— Какъ, сударь?

— Ну да, твоя! Ёзди себѣ на здоровье, да смотри, похваливай нашъ заводець!

Ильменевъ онѣмѣлъ отъ восторга и удивленія; а когда опомнился, то отъ избытка благодарности заговорилъ такую нескладицу, что Ижорскій, захохотавъ во все горло, закричалъ: — Полно, любезный, полно, заврался!.. Да будетъ, братецъ, доскажешь въ другое время!

Въ продолженіе сего разговора, Рославлевъ, ведя подъ руку свою невѣсту, шелъ тихими шагами вдоль широкой аллеи, которая перерѣзывала на двѣ равныя половины обширный регулярный садъ, разведенный еще отцомъ Лидиной. Есть минуты блаженства, въ которыя языкъ нашъ нѣмѣетъ отъ избытка сердечной радости. Рославлевъ не говорилъ ни слова, но онъ не сводилъ глазъ съ своей невѣсты; онъ былъ вмѣстѣ съ

нею; рука его касалась ея руки; онъ чувствовалъ каждое біеніе ея сердца, и когда тихій вздохъ, вылетая изъ груди ея, сливался съ воздухомъ, которымъ онъ дышалъ, когда взоры ихъ встрѣчались... О! въ эту минуту онъ не желалъ, онъ не могъ желать другого блаженства! То, что въ свѣтѣ называютъ страстію, это бурное, мятежное ощущеніе, всегда болтливо; но чистая, самимъ небомъ благословляемая любовь, сіе чувство величайшаго земного наслажденія, не изъясняется словами.

Пройдя во всю длину аллеи, которая оканчивалась густою рощею, Полина остановилась. — Я что - то устала, — шепнула она тихимъ голосомъ.

— Сядемте, — сказалъ Рославлевъ.

— Только, Бога ради, не здѣсь, подлѣ этихъ грустныхъ, обезображенныхъ липъ! Пойдемте въ рощу. Я люблю отдыхать вотъ тамъ, подъ этой густой черемухой. Не правда ли, — продолжала Полина, когда они, войдя въ рощу, сѣли на дерновую скамью, — не правда ли, что здѣсь и дышишь свободнѣе? Посмотрите, какъ весело растутъ эти березы, какъ пушисты эти ракитовые кусты; съ какою роскошью подымается этотъ высокій дубъ! Онъ не боится, что придетъ садовникъ и сравняетъ его съ другими деревьями.

— И я также не люблю этихъ подстриженныхъ деревьевъ, — сказалъ Рославлевъ. — Они такъ однообразны, такъ живо напоминаютъ намъ стѣны домовъ, въ которыхъ мы должны поневолѣ запирацца зимою. Какая разница!.. Здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, и дышишь свободнѣе! Эта густая зелень, эта дикая, простая природа—все наполняетъ душу какой-то тихой радостью и спокойствіемъ. Мнѣ кажется... да, Полина, мнѣ кажется, что здѣсь только, сокрытые отъ всѣхъ взоровъ, мы совершенно принадлежимъ другъ другу, и только тогда, когда я могу мечтать, что мы одни въ цѣломъ мірѣ, тогда только я чувствую вполнѣ все мое счастье!

— Такъ вы очень меня любите? — спросила Полина, чертя задумчиво по песку своимъ зонтикомъ. — Очень?..

— Болѣе всего на свѣтѣ!

— И сталибъ любить даже и тогда, еслибъ я была несправедлива, еслибъ заплатила за любовь вашу одной неблагодарностью?

— Да, Полина, и тогда! Не въ моей власти не любить васъ. Это чувство слилось съ моей жизнію. Дышать и любить Полину—для меня одно и то-же!

— А если бы, для счастья моего, было необходимо, чтобъ вы навсегда отъ меня отказались?..

— Навсегда?..

— Да, еслибъ я потребовала отъ васъ этой жертвы?

— Какая ужасная шутка!

— Но что бы вы сдѣлали, еслибъ я говорила не шутя? Еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, отъ этого зависѣло все счастье моей жизни?

— Все ваше счастье?.. И вы можете меня спрашивать!

— Вы отказались бы добровольно отъ руки моей?

— Я сдѣлалъ бы болѣе, Полина! Чтобъ совѣсть ваша была спокойна, я постарался бы пережить эту потерю.

— Добрый Вольдемаръ! — сказала Полина, взглянувъ съ нѣжностію на Рославлева. — Ахъ! какую тягость вы сняли съ моего сердца! Итакъ, вы, вѣрно, согласитесь...

— На что? — вскричалъ Рославлевъ, поблѣднѣвъ, какъ приговоренный къ смерти.

— Отсрочить еще на два мѣсяца нашу свадьбу.

— На два мѣсяца!!

— Другъ мой! — сказала Полина, прижавъ къ своему сердцу руку Рославлева, — не откажи мнѣ въ этомъ! Я не сомнѣваюсь, не могу сомнѣваться, что буду счастлива; но дай мнѣ увѣриться, что и я могу составить твое счастье; дай мнѣ время привязаться къ тебѣ всей моей душою, привыкнуть мыслить объ одномъ тебѣ,

жить для одного тебя, и если можно,—прибавила она такъ тихо, что Рославлевъ не могъ слышать словъ ея,—если можно забыть все, все прошедшее!

— Но два мѣсяца, Полина!..

— Ахъ, мой другъ, почему знать, можетъ-быть, ты спѣшишь сократить лучшее время въ твоей жизни! Не правда ли? Ты согласишься отсрочить нашу свадьбу?

— Я не стану обманывать тебя, Полина!—сказалъ Рославлевъ послѣ короткаго молчанія. — Одна мысль, что я не прежде двухъ мѣсяцевъ назову тебя моею, приводитъ меня въ ужасъ. Чего не можетъ случиться въ два мѣсяца?.. Но если ты желаешь этого, могу ли я не согласиться:

— Благодарю тебя, мой другъ! О, будь увѣренъ, любовь моя вознаградитъ тебя за эту жертву. Мы будемъ счастливы... да, мой другъ! — повторила она сквозь слезы,—совершенно счастливы!

Вдругъ позади нихъ загремѣлъ громкій, отвратительный хохотъ. Полина вскрикнула; Рославлевъ также невольно вздрогнулъ и поглядѣлъ съ безпокойствомъ вокругъ себя. Ему показалось, что въ близкомъ разстояніи продираются сквозь чащу деревьевъ; черезъ нѣсколько минутъ шорохъ сталъ отдаляться, раздался снова безумный хохотъ, и кто-то дикимъ голосомъ запѣлъ: со святыми упокой.

— Это сумасшедшая Федора, — сказала Полина. — Какъ чудно,—прибавила она, покачавъ печально головою, — что въ ту самую минуту, какъ я говорила о будущемъ нашемъ счастьи...

— Зачѣмъ эту сумасшедшую пускаютъ къ вамъ въ садъ?—прервалъ Рославлевъ.

— Роща не огорожена; впрочемъ, эта несчастная не дѣлаетъ никому вреда.

— Но она можетъ испугать; ея сумасшествіе такъ ужасно!..

— Ахъ, она очень жалка! Пять лѣтъ тому назадъ, она сошла съ ума отъ того, что женихъ ея умеръ наканунѣ ихъ свадьбы.

— Наканунъ свадьбы!—повторилъ вполголоса Рославлевъ.—Одинъ день и вѣчная разлука!.. А два мѣсяца, мой другъ?..

— Вотъ дядюшка и маменька,—прервала Полина;—пойдемте къ нимъ навстрѣчу.

— Ну, что, страстные голубки, наговорились что ль?—закричалъ Ижорскій, подходя къ нимъ вмѣстѣ съ своей сестрой и Ильменевымъ.—Что, Прохоръ Кондратьичъ, ухмыляешься? Небось, любишься на жениха и невѣсту? То-то же! А что, чай, и ты встарицу гулялъ этакъ по саду съ твоей теперешней суругою?

— Что вы, батюшка! Ея родители были не нынѣшняго вѣка—люди строгіе, дай Богъ имъ царство небесное! Куда гулять по саду! Я до самой почти свадьбы и голоса ея не слышалъ. За день до вѣнца, она перемолвила со мной въ окно два словечка... такъ чтожъ? Матушка ея подслушала, да ну-ка ее съ щекина-щеку—такъ разругала, что Боже упаси. Не тѣмъ помянута, куда крута была покойница!

— А гдѣ Федоръ Андреевичъ?—спросила Полина у своего дяди.

— Сурскій? Уѣхалъ домой.

— Такъ Оленька одна? Я пойду къ ней; а вы,—шепнула она Рославлеву,—останьтесь здѣсь и погуляйте съ дядюшкой.

Больная не замѣтила, что Полина вошла къ ней въ комнату. Облокотясь одной рукой на подушку, она сидѣла задумавшись на кровати: передъ ней на небольшомъ столикѣ стояла зажженная свѣча; лежалъ до половины исписанный листъ бумаги, сургучъ, и все, что нужно для письма.

— Ну, что, какъ ты себя чувствуешь?—спросила Полина.

— Ахъ, это ты?—сказала Оленька.—Какъ ты меня испугала! Я думала, что ты гуляешь по саду съ твоимъ женихомъ.

— Онъ остался тамъ съ дядюшкой.

— Но ему, вѣрно, было бы пріятнѣе гулять съ тобою. Зачѣмъ ты ушла?

— Къ кому ты пишешь?—спросила Полина, не отвѣчая на вопросъ своей сестры.

— Въ Москву, къ кузинѣ Еме. Она, вѣрно, думаетъ, что ты уже замужемъ.

— Можетъ-быть.

— Я не знаю, что мнѣ написать о твоей свадьбѣ? Вѣдь, кажется, на будущей недѣлѣ?

— Нѣтъ, мой другъ!

— А когда же?

— Ты станешь бранить меня. Я уговорила Рославлева отложить свадьбу на два мѣсяца.

— Какъ!—вскричала больная,—еще на два мѣсяца?

— Сначала это его огорчило...

— А потомъ онъ согласился?

— Да, мой другъ! Онъ такъ меня любитъ!

— Слишкомъ, Полина, слишкомъ! Ты не стоишь этого.

— Ну, вотъ! я знала, что ты разсердишься.

— Можно ли до такой степени употреблять во зло власть, которую ты имѣешь надъ этимъ добрымъ, милымъ Рославлевымъ? Надъ этимъ... Чему жъ ты смѣешься?

— Знаешь ли, Оленька? Мнѣ иногда кажется, что ты его любишь больше, чѣмъ я. Ты всегда говоришь о немъ съ такимъ восторгомъ!

— А ты всегда говоришь глупости,—сказала Оленька съ примѣтной досадою.

— То-то глупости!—продолжала Полина, погрозивъ ей пальцемъ.—Ужъ не влюблена ли ты въ него?—смотри!

Оленька поглядѣла пристально на сестру свою; губы ея шевелились; казалось, она хотѣла улыбнуться; но вдругъ вся блѣдность исчезла съ лица ея, щеки запылали, и она, схвативъ съ необыкновенною живостію руку Полины, сказала:—Да, я люблю его какъ мужа сестры моей, какъ надежду, подпору всего нашего се-

мейства, какъ родного моего брата! А тебя почти ненавижу за то, что ты забавляешься его отчаніемъ. Послушай, Полина! Если ты меня любишь, не откладывай свадьбы, прошу тебя, мой другъ! Назначь ее на будущей недѣлѣ.

— Такъ скоро? Ахъ, нѣтъ! Я никакъ не рѣшусь.

— Скажи мнѣ откровенно, любишь ли ты его?

— Да!—отвѣчала вполголоса Полина.

— Такъ зачѣмъ же ты это дѣлаешь? Для чего заставляешь жениха твоего думать, что ты своенравна, прихотлива, что ты забавляешься его досадою и огорченіемъ? Подумай, мой другъ! онъ не всегда останется женихомъ, и если мужъ не забудетъ о томъ, что сносилъ отъ тебя женихъ; если современемъ онъ захочетъ такъ же, какъ ты, употреблять во зло власть свою...

— О, не безпокойся, мой другъ! Ты не услышишь моихъ жалобъ.

— Но развѣ тебѣ отъ этого будетъ легче? Нѣтъ, Полина! Нѣтъ, мой другъ! Ради Бога, не огорчай добраго Вольдемара! Почему знать, можетъ-быть будущее твое счастье... счастье всего нашего семейства зависить отъ этого.

Полина задумалась, и послѣ минутнаго молчанія сказала тихимъ голосомъ:

— Но это уже рѣшено, мой другъ!

— Между тобой и женихомъ твоимъ. Не думаешь ли, что онъ будетъ досадовать, если ты переѣмнишь твое рѣшеніе? Я, право, не узнаю тебя, Полина; ты съ нѣкотораго времени стала такъ странна, такъ причудлива!.. Не упрямься, мой другъ! Подумай, какъ ты огорчишь этимъ маменьку; какъ это непріятно будетъ Сурскому, какъ разсердится дядюшка...

— Боже мой, Боже мой,—сказала Полина почти съ отчаяніемъ;—какъ я несчастлива! Вы всѣ хотите...

— Твоего благополучія, Полина!

— Моего благополучія!.. Но почему вы знаете... и время ли теперь думать о свадьбѣ? Ты больна, мой другъ...

— О, если ты желаешь, чтобъ я выздоровѣла, то согласишься на мою просьбу. Я не буду здорова до тѣхъ поръ, пока не назову братомъ жениха твоего; я стану безпрестанно упрекать тебя... да, мой другъ! я причиною, что ты еще не замужемъ. Еслибъ я была осторожнѣе, то ничего бы не случилось: вы были бы уже обвиняемы; а теперь... Боже мой! сколько переменъ можетъ быть въ два мѣсяца!.. и если почему-нибудь ваша свадьба разойдется, то я вѣчно не прощу себѣ. Полина!—продолжала Оленька, покрывая поцѣлуями ея руки,—со согласишься на мою просьбу! Подумай, что твое упрямство можетъ стоить мнѣ жизни! Я не буду спокойна днемъ, не стану спать ночью; я чувствую, что болѣзнь моя возвратится, что я не перенесу ея... согласишься, мой другъ!

Полина молчала; всѣ черты лица ея выражали нерѣшимость и сильную душевную борьбу. Трепеща, какъ преступница, которая должна произнести свой собственный приговоръ, она нѣсколько разъ готова была что-то сказать... и всякій разъ слова замирали на устахъ ея.

— Такъ! я должна это сдѣлать,—сказала она, наконецъ, рѣшительнымъ и твердымъ голосомъ: — рано или поздно—все-равно!—Съ безумной живостью несчастливца, который спѣшитъ однимъ разомъ прекратить всѣ свои страданія, она не сняла, а сорвала съ шеи черную ленту, къ которой привѣшенъ былъ небольшой золотой медальонъ. Хотѣла раскрыть его, но руки ея дрожали. Вдругъ съ судорожнымъ движеніемъ она прижала его къ груди своей, и слезы ручьемъ потекли изъ ея глазъ.

— Что это значитъ?.. Что съ тобой? — вскричала Оленька.

— Ничего, мой другъ,—ничего!—отвѣчала, всхлипывая, Полина; — успокойся, это повлѣднія слезы. — Ахъ, мой другъ! онъ исчезъ, этотъ очаровательный... нѣтъ, нѣтъ! этотъ тяжкій, мучительный сонъ! Теперь ты можешь сама назначить день моей свадьбы

Полина раскрыла медальонъ и вынула изъ него нарисованное на бумагѣ грудное изображеніе молодого человѣка; но прежде, чѣмъ она успѣла сжечь на свѣчѣ этотъ портретъ, Оленька бросила на него быстрый взглядъ и вскричала съ ужасомъ:

— Возможно ли?

— Да, мой другъ!

— Какъ! ты любишь?..

— Молчи! ради Бога, не называй его!

— И я не знала этого!

— Прости меня!—сказала Полина, бросившись на шею къ сестрѣ своей: — я не должна была скрывать отъ тебя... Безумная!.. Я думала, что эта тайна умретъ вмѣстѣ со мною... Что никто въ цѣломъ мірѣ... Ахъ, Оленька! Я боялась даже тебя!..

— Но скажи мнѣ?..

— Послѣ, мой другъ! послѣ. Дай мнѣ привыкнуть къ мысли, что это былъ бредъ, сумасшествіе; что я видѣла его во снѣ. Ты узнаешь все, все, мой другъ! Но если его образъ никогда не изгладится изъ моей памяти: если онъ, какъ неумолимая судьба, станетъ между мной и моимъ мужемъ?.. О! тогда молись вмѣстѣ со мною, молись, чтобъ я скорѣй переселилась туда, гдѣ сердца умѣютъ любить, и гдѣ любовь не можетъ быть преступленіемъ!

Полина склонила голову на грудь больной, и слезы ея смѣшались со слезами доброй Оленьки, которая, обнимая сестру свою, повторяла:

— Да, да, мой другъ! это былъ одинъ сонъ! Забудь о немъ, и ты будешь счастлива!

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

Двухъ-этажный домъ Николая Степановича Ижорскаго, построенный по его плану, стоялъ на возвышенномъ мѣстѣ, въ концѣ обширнаго села, которое отдѣлялось отъ деревни сестры его, Лидиной, небольшимъ лугомъ и узенькой рѣчкою. Испещренный всѣми возможными цвѣтами китайскій мостикъ, перегибаясь чрезъ рѣчку, упирался въ круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла отъ воротъ башни до самаго дома. Трудно было бы рѣшить, къ какому ордену архитектуры принадлежало это чудное зданіе: всѣ роды древніе и новѣйшіе были въ немъ перемѣшаны, какъ языки при вавилонскомъ столпотвореніи. Низенькія и толстыя колонны, похожія на египетскія, поддерживали греческій фронтонъ; четырёхугольныя готическія башни, прилѣпленныя ко всѣмъ угламъ дома, прорѣзаны были широкими италіанскими окнами; а изъ середины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорскій называлъ своимъ бельведеромъ. Съ одной стороны примыкалъ къ дому обширный садъ съ оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, въ которые накачивали воду изъ двухъ колодцевъ, замаскирован-

ныхъ деревьями. Внутренность дома не уступала въ разнообразіи наружности; но всего любопытнѣе былъ кабинетъ хозяина и его собраніе рѣдкостей. Вмѣстѣ съ золотыми, вышедшими изъ моды табакерками, лежали рѣзные берестовыя тавлинки; подлѣ серебряныхъ старинныхъ кубковъ стояли глиняные размалеванные горшки—подъ именемъ этрусскихъ вазъ; образчики всѣхъ рудъ, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядомъ; подлѣ чучель бѣлаго медвѣдя и пеликана стояли чучелы обыкновеннаго кота и лягавой собаки; за стекломъ хранились: челюсть слона, мамонтовыя кости и лошадиное ребро, которое Ижорскій называлъ человѣческимъ, и доказывалъ имъ справедливость мнѣнія, что земля была нѣкогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; всѣ стѣны были завѣшаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдававшемуся впередъ карнизу разставлены рядышкомъ чучелы: куликовъ, пѣтуховъ, куропатокъ, галокъ, грачей и прочихъ, весьма обыкновенныхъ птицъ. Глядя на эту коллекцію безвинныхъ жертвъ, хозяинъ часто восклицалъ съ гордостію: кому другому, а мнѣ Бюффонъ не надобенъ. Вотъ онъ въ лицахъ!

Спустя два дня послѣ описаннаго нами разговора двухъ сестеръ, часу въ десятомъ утра, въ домѣ Ижорскаго шла большая суматоха. Дворецкій бѣгалъ изъ комнаты въ комнату, шумѣлъ, бранился и щедрой рукою раздавалъ тузы лакеямъ и дворовымъ женщинамъ, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всемъ домѣ. Самъ баринъ, въ пунцовомъ атласномъ шлафрокѣ, смотрѣлъ изъ окна своего кабинета, какъ цѣлая барщина занималась уборкой сада. Вездѣ усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезною водою; однимъ словомъ, все доказывало, что хозяинъ ожидаетъ къ себѣ необыкновеннаго гостя. Нѣсколько уже минутъ онъ морщился, смотря на работающихъ.—Ну, такъ и есть!—сказалъ онъ, наконецъ, съ досадою; — я не вижу и половины

мужиковъ! Эй, Трошка, бѣги скорѣй въ садъ, посмотри, всю ли барщину выгнали на работу?

Слуга, спѣша исполнить данное ему приказаніе, бросился опрометью вонъ изъ дверей, и чуть не сшибъ съ ногъ Сурскаго и Рославлева, которые входили въ кабинетъ. — А, любезные! милости просимъ! — закричалъ Ижорскій. — Кстати пожаловали: вы мнѣ поможете! Умъ хорошо, а два лучше!

— Да что у тебя такое сегодня? — спросилъ Сурскій.

— Какъ что? Я получилъ записку изъ города: сегодня обѣдаетъ у меня губернаторъ.

— Вотъ что! Да вѣдь ты хотѣлъ принять его за просто?

— Эхъ, милый! ну, конечно, запросто; а угостить все-таки надобно. Вѣдь я не кто другой — не Ильменевъ же, въ самомъ дѣлѣ! — Ну, что, Трошка? — спросилъ онъ входящаго слугу.

— Староста, сударь, выгналъ въ садъ только половину барщины.

— Ахъ, онъ мерзавецъ! Да какъ онъ смѣлъ? Вотъ я его проучу! Давай его сюда!.. Эка бестія! Все умничаетъ! Ужъ и на прошлой недѣлѣ онъ мнѣ насолил; да счастливъ, разбойникъ!.. Погода была такъ сыра, что электрическая машина вовсе не дѣйствовала.

— Электрическая машина! — повторилъ съ удивленіемъ Сурскій.

— Да, братецъ! Я бить не люблю, и въ нашъ вѣкъ какой порядочный человѣкъ станетъ драться? У меня, вотъ какъ провинился кто-нибудь — на машину! Завалилъ ему ударовъ пять, шесть, такъ впредь и будетъ умнѣе; оно и памятно и здорово. Чему жъ ты смѣешься, Сурскій? конечно, здорово. Когда еще у меня не было больныхъ и домашнего лѣкаря, такъ я отъ всѣхъ болѣзней лѣчилъ машиною.

— Смотри пожалуй!.. И, вѣрно, многихъ вылѣчивалъ?

— Случалось, братецъ! Да вотъ, напримѣръ, года

два тому назадъ, привели ко мнѣ однажды Антона скотника; взглянуть было жалко! Ревматизмъ что ль, подагра ли—право, не знаю; только вовсе обезножилъ. Вотъ я наvertѣлъ, наvertѣлъ!.. время было сухое—машина такъ и трещить! Велѣлъ ему взяться за цѣпочку, благословился да какъ щелкъ!.. Гляжу, мужикъ мой закачался. Я еще... онъ и съ ногъ долой. Глядь-поглядь — ахти худо! языкъ отнялся, глаза закатились; ну, умеръ, да и только! Другой бы испугался, а я такъ нѣтъ. Благодарю моего Создателя—не сробѣлъ! Ну - ка его лежачаго ударъ за ударомъ. Чтожъ, сударь? Очнулся! Да какъ вскочить, батюшка!.. Господи, Боже мой! откуда ноги взялись.

— Какъ! побѣжалъ?

— Да такъ, сударь, что и догнать не могли.

— Подлинно, диковинка!—сказалъ Сурскій.—И онъ совсѣмъ выздоровѣлъ?

— Какъ же, братецъ! Какъ рукой сняло! И теперь еще здоровѣхонекъ... А, голубчикъ! — закричалъ Ижорскій, увидя входящаго старосту.—Поди-ка сюда! Такъ-то ты выполняешь мои приказанія? Отчего не вся барщина въ саду?

— Виноватъ, батюшка!—отвѣчалъ староста, отвѣсивъ низкій поклонъ. — Я другую половину барщины выслалъ на вашу же господскую работу.

— На какую работу?

— На сѣнокосъ, батюшка!

— На сѣнокосъ!.. Нашелъ время косить, скотина! Ну, вотъ, братецъ! — продолжалъ хозяинъ, обращаясь къ Сурскому, — толкуй съ этимъ народомъ! Ты думаешь о дѣлѣ, а онъ косить. Сейчасъ выслать всю барщину въ садъ. Слышишь?

— Слушаю, батюшка! Только воля ваша, если мы эдакъ день за день...

— Прошу покорно!.. Ахъ, ты, дуралей! Что ты, учить что ль меня вздумалъ?..

— Да не сердись на него. — прервалъ Сурскій:— вѣдь онъ заботится о твоей же пользѣ.

— Не его дѣло разсуждать, въ чемъ моя польза. Ну, что стоишь? Пошелъ!

Староста, поклонясь въ поясъ, вышелъ изъ комнаты.

— Да чтожъ я не дождусь лѣкаря?—продолжалъ Ижорскій. — Трошка! ступай, скажи ему, что я его два часа ужъ дожидаясь... А вотъ и онъ... Помилуй, батюшка, Сергѣй Ивановичъ! Тебя не дозовешься.

— Извините!—сказалъ лѣкарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву;—я позамѣшкался: осматривалъ больницу.

— Я за этимъ-то тебя и спрашивалъ. Ну, что, все ли въ порядкѣ.

— Кажется, все.

— Ну, то-то же! О моей больницѣ много толковъ было въ губерніи. Смотри, чтобъ намъ при его превосходительствѣ себя лицомъ въ грязь не ударить. Все ли разставлено въ порядокъ и прибрано въ аптекѣ?

— Точно такъ же, какъ и всегда, Николай Степановичъ!

— Какъ и всегда! Ну, такъ и есть—я зналъ! Эхъ, братецъ! Вѣдь я тебѣ толкомъ говорилъ: сегодня будетъ губернаторъ, такъ надобно... ну, знаешь, любезный!.. товаръ лицомъ показать.

— Я вамъ докладываю, что все въ порядкѣ.

— А въ больницѣ?

— Окна и полы вымыты, бѣлье чистое...

— А прибиты ли дощечки съ надписями ко всѣмъ отдѣленіямъ?

— Хоть это бы и не нужно: у насъ больница всего на десять кроватей; но такъ какъ вамъ это угодно, то я прибилъ мѣстахъ въ трехъ надписи.

— На латинскомъ языкѣ?

— На латинскомъ и русскомъ.

— Хорошо, братецъ, хорошо! А сколько у насъ больныхъ?

— Теперь ни одного.

— Какъ ни одного?—вскричалъ съ ужасомъ Ижорскій.

— Да, сударь! Третьяго дня я выпиcалъ послѣд-
няго больного—Плюшку кучера.

— Зачѣмъ?

— Онъ выздоровѣлъ.

— Да кто тебѣ сказалъ, что онъ выздоровѣлъ? Съ
чего ты взялъ?.. Возможно ли — ни одного больного!
Ну, вотъ, господа, заводи больницы!.. Ни одного боль-
ного!

— Такъ чтожъ, мой другъ? — сказалъ Сурскій.

— Какъ, чтожъ? Да слышишь: — ни одного боль-
ного! Чтожъ я буду комнаты однѣ показывать? Ну,
батюшка, Сергѣй Ивановичъ! дай Богъ вамъ здоровья,
потѣшили меня... ни одного больного!

— Помилуйте! чтожъ мнѣ дѣлать?

— Что дѣлать? А позвольте васъ спросить: за что
я плачу вамъ жалованье? Вы получаете тысячу рублей
въ годъ, квартиру, столъ, экипажъ—и ни одного боль-
ного! Что это за порядокъ? На что это походить? Эхъ!
правду говорить сестра: вотъ вамъ и русскій докторъ—
ни одного больного? Ахъ, Боже мой! Ну, батюшка,
спасибо вамъ—поднесли мнѣ красное яичко—ни одного
больного! Да, конечно, господинъ русскій докторъ,
кончено! Во чтобъ ни стало, заведу нѣмца... да, су-
дарь, нѣмца! У него будутъ больные! Господи, Боже
мой!—ни одного больного?.. Смѣйтесь, господа, смѣй-
тесь. Вамъ что за горе! Не вы станете показывать
больницу губернатору.

— А что, Рославлевъ,—сказалъ шутя Сурскій, —
не выкупить ли намъ его изъ бѣды? Прикинемся-ка
больными!

— Эхъ, братецъ, что за шутки!

— Какія шутки? Вѣдь губернаторъ не станетъ
больныхъ осматривать, только бы постели-то не были
пусты.

— А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... въ
самомъ дѣлѣ!.. Эй, Трошка! Дворецкаго, проворнѣй!

— Что вы хотите дѣлать?—спросилъ Рославлевъ.

— Постой, братецъ, постой!.. авось какъ-нибудь...

Что въ самомъ дѣлѣ? Не велика фигура полежать денекъ.

— Какъ?.. вы хотите?..

— Эхъ, братецъ, не мѣшай! Добро, такъ и быть! ступай домой, Сергѣй Ивановичъ; да смотри, чтобъ впередъ этого не было. Теперь у насъ будутъ и безъ тебя больные. Слушай, Парфень!—продолжалъ Ижорскій, идя навстрѣчу къ дворецкому, — у насъ теперь въ больницѣ нѣтъ никого больныхъ...

— Да, сударь, слава Богу!

— Врешь, дуракъ! осель! слава Богу!.. Что я губернатору-то пустыя стѣны стану показывать? Мнѣ надобно больныхъ—слышишь?

— Слушаю, сударь! Да гдѣ жъ я ихъ возьму?

— И знать не хочу. Чтобъ были!

— Слушаю, сударь!

— Да постой-ка, Парфень! Ты что-то больно измѣнился въ лицѣ,—ужъ здоровъ ли ты?

— Слава Богу-съ!

— То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, какъ у тебя глаза ввалились. Эхъ, Парфень! ты точно разнемогаешься. Не полѣчиться ли, братъ?

— Нѣтъ ужъ, батюшка Николай Степановичъ, помилуйте! Авось въ дворнѣ и безъ меня найдутся хворые.

— Да какъ не быть. Ступай же проворнѣе.

— А на всякій случай, что прикажете, если охотниковъ не найдется?

— Ну, что тутъ спрашивать, дурачина! Вышелъ на улицу, да и хватай перваго, кто попадется: въ больницу, да и все тутъ! Что, въ самомъ дѣлѣ, баринъ я или нѣтъ?

— Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить съ семьи по брату?

— И то дѣло! Смотри, отбери тѣхъ, которые пощедушнѣе. Правда, въ отдѣленіе водяной болѣзни надобно кого-нибудь потолще, да подюжѣе...

— Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: вѣдь

онъ распретолстый-толстый, а рожа-то такъ и расплылась.

— Въ самомъ дѣлѣ, уговори его, братецъ.

— Дать ему рубля полтора, такъ онъ цѣлыя сутки пролежитъ какъ убитый.

— Брось ему цѣлковый. Да нѣтъ ли у тебя на примѣтѣ кого-нибудь этакъ похуже, чтобъ, знаешь, годился для чахоточнаго отдѣленія?

— Похуже?.. Постой-ка, сударь! Да чего жъ лучше? Сапожникъ Андрюшка. Сухарь! Ужъ худощавѣе его не найдешь во всемъ селѣ: однѣ кости да кожа.

— Точно, точно! Ай да Парфень! Спасибо, братъ! Ну, ступай же поскорѣй. Двое больныхъ есть, а остальныхъ подберешь. Да строго накажи имъ, какъ придутъ осматривать больницу, чтобъ всѣ лежали смирно.

— Слушаю, сударь!

— Не шевелились, колпаковъ не снимали и погромче охали.

— Слушаю, сударь!

— Ну, ступай! Ты смѣешься, Сурскій. Я и самъ знаю, что смѣшно, да чтожъ дѣлать? Вѣдь надобно жъ чѣмъ-нибудь похвастаться. У сосѣда Буркина конный заводъ не хуже моего; у княгини Зориной оранжерея больше моихъ; а есть ли у кого больница? Нут-ка, пріятель, скажи? Къ тому жъ это въ модѣ... нѣтъ, не въ модѣ...

— Вы хотите сказать: въ духъ времени, — прервалъ Рославлевъ.

— Да, въ духъ времени. Это ужъ, братецъ, не экономическое заведеніе, а какъ, бишь, постой...

— Человѣколюбивое, — сказалъ Сурскій.

— Да, да! человѣколюбивое! а эти заведенія нынче въ ходу, любезный. Почему знать?.. Отъ губернатора пойдетъ и выше, а тамъ... Да что загадывать; что будетъ, то и будетъ... Ну, теперь, разсуди милостиво! Еслибъ я сталъ показывать пустую больницу, кого бы удивилъ? Вѣдь домъ всякій выстроить можетъ, а надпись сдѣлать не фигура.

— Да у тебя, какъ я вижу, большіе планы, любезный!—сказалъ съ улыбкою Сурскій. — Ты хочешь прослыть филантропомъ.

— Полно, братъ, по-латыни-то говорить! Не объ этомъ рѣчь: я слышу хлѣбосоломъ, и надобно сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не ѣдутъ? Я разослалъ ко всѣмъ сосѣдямъ приглашенія: того и гляди, станутъ наѣзжать гости; одному мнѣ не управиться, такъ сестра бы у меня похозяйничала. А ужъ на будущей недѣлѣ я сталъ бы у нея хозяйничать,—прибавилъ Ижорскій, потрепавъ по плечу Рославлева.—Что, братъ, дождался, наконецъ? Вѣдь свадьба твоя рѣшительно въ воскресенье?

— Да, Полина согласилась не откладывать далѣе моего счастья.

— Порядкомъ же она тебя помаяла. Да и ты, братъ!—не погнивайся — зѣвака! Извѣстное дѣло, не вѣста сама не скажетъ: пора-де подъ вѣнецъ! Повернулъ бы покруче, такъ дѣло давно бы было въ шляпѣ. Да вотъ никакъ онѣ ѣдутъ. Ну, что стоишь, Владимиръ? Ступай, братецъ! вынимай изъ кареты свою не вѣсту.

Хотя здоровье Оленьки не совсѣмъ еще поправилось, но она выходила уже изъ комнаты, и потому Лидина пріѣхала къ Ижорскому съ обѣими дочерьми. При первомъ взглядѣ на свою не вѣсту, Рославлевъ замѣтилъ, что она очень разстроена.—Что съ вами случилось, Полина?—спросилъ онъ.—Здоровы ли вы?

— *C'est une folle!*—сказала Лидина. — Представьте себѣ, я сейчасъ получила письмо изъ Москвы отъ кузины; она пишетъ ко мнѣ, что говорятъ о войнѣ съ французами. И какъ вы думаете? Ей пришло въ голову, что вы пойдете опять въ военную службу. Успокойте ее, Бога ради!

— Я надѣюсь, — отвѣчалъ Рославлевъ, — что Наполеонъ не рѣшится идти въ Россію; и въ такомъ случаѣ, даю вамъ честное слово, что не надѣну опять мундира.

— А если онъ рѣшится на это?

— Тогда эта война сдѣлается національною, и каждый русскій обязанъ будетъ защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность...

— О, обо мнѣ не беспокойтесь! Мы уѣдемъ въ наши тамбовскія деревни. Россія велика; а сверхъ того развѣ Наполеонъ не былъ въ Германіи и Италіи? Войска дерутся, а жителямъ какое до этого дѣло? Неужели мы будемъ перенимать у этихъ варваровъ-испанцевъ?

— Но наша національная честь, сударыня... наша слава?..

— И, полноте! Вы ни въ какомъ случаѣ не пойдете въ военную службу.

— Даже и тогда, когда вся Россія вооружится?

— Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей недѣлѣ, то и не думайте о службѣ; въ противномъ случаѣ, оставайтесь женихомъ до окончанія войны. Я не хочу, чтобъ Полина рисковала сдѣлаться вдовою, или, что еще хуже, чтобъ мужъ ея воротился безъ руки или ноги!.. Но вотъ братъ; перестанемте говорить объ этомъ. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте увѣрены, что ни за что не перемѣню моего рѣшенія. *Quelle folie!* Во Франціи женятся для того, чтобъ не попасть въ конскрипты, а вы наканунѣ вашей свадьбы хотите идти въ военную службу.

— Насилу ты, сестра, приѣхала!—закричалъ Ижорскій, идя навстрѣчу къ Лидиной.—Ступай, матушка, въ гостиную хозяйничать; вонъ кто-то ужъ ѣдетъ.

— Что за экипажъ! — сказала Лидина. — Неужели это карета?

— Не погнѣвайтесь, сударыня! домашней работы. Это ѣдетъ Ладушкинъ.

— Ахъ, Боже мой!.. и въ восемь лошадей!

— Разумѣется, онъ человѣкъ расчетливый: вѣдь онъ будутъ цѣлый день на чужомъ корму.

— А это кто? Посмотрите, съ правой стороны—какъ будто бѣ въ дилижансѣ?

— Это катить въ своей восьмимѣстной линей книгя Зорина со всѣмъ семействомъ.

— Какой ридикульный экипажъ!

— Не щеголевать, да покоенъ, матушка. А вонъ, никакъ, летить на удалой тройкѣ сосѣдь Буркинъ. Экіе кони!.. Ну, нечего сказать, славный заводъ. И откуда, разбойникъ, досталъ матокъ? Всѣ чистой арабской породы. Вотъ еще кто-то... однако, мнѣ пора приодѣться; а вы, барыни, ступайте-ка въ гостиную, да принимайте гостей.

Рославлевъ взялъ подъ руку Сурскаго и, отведя его къ сторонѣ, рассказалъ ему свой разговоръ съ Лидиной.

— Чтожъ ты намѣренъ дѣлать? — спросилъ Сурскій, помолчавъ нѣсколько времени.

— А что сдѣлаете вы, если у насъ будетъ народная война?

— Я не жевихъ, мой другъ. Мое положеніе совершенно не сходно съ твоимъ.

— Однакожъ, что вы сдѣлаете?

— Сниму со стѣны мою заржавленную саблю и пойду драться.

— И послѣ этого вы можете меня спрашивать!.. Когда вы, прослуживъ сорокъ лѣтъ съ честью, отдавъ вполнѣ свой долгъ отечеству, готовы снова приняться за оружіе, то можетъ ли молодой человекъ, какъ я, оставаться простымъ зрителемъ сей отчаянной и, можетъ-быть, послѣдней борьбы русскихъ съ цѣлой Европою? Нѣтъ, Федоръ Андреевичъ, еслибъ я навсегда долженъ былъ отказаться отъ Полины, то и тогда пошелъ бы служить; а постарался бы только, чтобъ меня убили въ первомъ сраженіи.

— Я не сомнѣвался въ этомъ, — сказалъ Сурскій, пожавъ руку Рославлеву. — Да, мой другъ! всякая частная любовь должна умолкнуть передъ сей общей и священной любовью къ отечеству!

— Но, можетъ-быть, это одни пустые слухи, и войны не будетъ.

— Нѣтъ, мой другъ! — сказалъ Сурскій, покачавъ сомнительно головою; — мы дошли до такого положенія, что даже не должны желать мира. Наполеонъ не можетъ имѣть друзей, ему нужны рабы; а, благодаря Бога, нашъ царь не захочетъ быть ничѣмъ рабомъ; онъ чувствуетъ собственное свое достоинство, и не посрамить чести великой націи, которая при первомъ его словѣ двинется вся навстрѣчу врагамъ. У насъ нѣтъ крѣпостей, но русскія груди стоятъ ихъ. Я также получилъ письмо изъ Москвы, и хотя война еще не объявлена, а врядъ ли уже мы не деремся съ французами.

Широкоплечій, вершковъ десяти ростомъ, господинъ, въ коричневомъ длинномъ фракѣ, изъ кармана котораго торчалъ чубукъ съ янтарнымъ мундштукомъ, войдя въ комнату, прервалъ разговоръ нашихъ пріятелей. — Здравствуйте, батюшка Ѳеодоръ Андреевичъ! — заревѣлъ онъ толстымъ басомъ. — Боже вамъ судья! Я недѣлю провалился въ постели, а вы, нѣтъ чтобъ провѣдать, живъ ли, дескать, мой сосѣдъ Буркинъ.

— Я, право, не зналъ, что вы были нездоровы, — сказалъ Сурскій.

— Да, сударь, чуть было не прыснулъ въ Елисейскія. Вы знаете моего персидскаго жеребца Султана? Я сталъ показывать конюху, какъ его выводить — чортъ знаетъ, что съ нимъ сдѣлалось! Заигралъ, да какъ хлысть меня подъ самое дыханье! Повѣрите ль, свѣта Божьяго не взвидѣлъ! Какъ меня подняли, какъ раздѣли, какъ Сенька коноваль пустилъ мнѣ кровь, ничего не помню! Насилу на другой день очнулся.

— Напрасно вы такъ неосторожны.

— И, батюшка, на грѣхъ мастера нѣтъ! Какъ убережешься? Да вотъ спросите Владиміра Сергѣевича: онъ былъ кавалеристомъ, такъ знаетъ, какъ обращаться съ лошадьми, а вѣрно и его бивали — нельзя безъ этого. Да кстати, Владиміръ Сергѣевичъ!.. взгляните-ка на мою тройку! вѣдь вы знатокъ.

— Позвольте мнѣ послѣ ея полюбоваться. Хозяинъ

просилъ меня принимать гостей, а вотъ, кажется, приѣхалъ Ладушкинъ.

— И ея сіятельство, княгиня Зорина. За версту узнаю ея шестерню. Охота же кормить овсомъ такихъ одровъ! Эки клячи—одна другой хуже!

Часа черезъ два, весь дворъ Николая Степановича Ижорскаго наполнился дормезами, откидными кибиточками, линейми, таратайками и каретами, изъ которыхъ многіе, по древности своей могли бы служить украшеніемъ собранія рѣдкостей хозяина. Въ ожиданіи обѣда, дамы чиннехонько сидѣли на канapé въ гостиной, разговаривали межъ собою вполголоса, бранили отсутствующихъ, и, стараясь перенимать парижскія манеры Лидиной, потихоньку насмѣхались надъ нею. Барышни прогуливались по саду; однѣ говорили о новыхъ московскихъ модахъ, другія спрашивали Полину и Оленьку о Франціи, и, желая показать себя передъ парижанками, коверкали безъ милосердія несчастный французскій языкъ. Въ числѣ сихъ гостей, первое мѣсто занимали двѣ институтки, милыя, образованныя дѣвицы, съ которыми Лидины были очень дружны, и княжны Зорины, три взрослые невѣсты, страстныя любительницы изящныхъ художествъ. Старшая не могла говорить безъ восторга о живописи, потому что сама копировала головки *en pastel*; средняя приходила почти въ изступленіе при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепіанахъ его увертюры, а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой пѣвицы Мары, до того была чувствительна къ собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца *ombra adorata* безъ того, чтобъ съ ней не сдѣлалось дурно. Эти три сестры, которыхъ въ стихахъ нельзя было назвать тремя граціями, прогуливались вмѣстѣ и поодаль отъ другихъ. Сдѣлавъ нѣсколько замѣчаній насчетъ украшеній сада, посмѣясь надъ деревяннымъ раскрашеннымъ китаємъ, который съ огромнымъ зонтикомъ стоялъ посреди одной куртины, и надъ алебастровой коровою, которая паслась

на небольшомъ лугу, онѣ сѣли на скамейку противъ террасы дома, уставленной померанцовыми деревьями. Въ эту самую минуту сошелъ съ нея Рославлевъ.

— Какъ смѣшонъ этотъ женихъ!—сказала средняя сестра.—Онъ только и видитъ свою невѣсту. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ влюбленъ въ нее? Какой странный вкусъ!

— Il est pourtant bel homme!—возразила старшая.—Посмотрите, какой греческій профиль, какая правильная фигура, какъ всѣ позы его граціозны!..

— Да, онъ недурень собою, — прибавила меньшая княжна.—Замѣтили ль, какой у него густой и пріятный органъ? Я увѣрена, у него долженъ быть или басъ, или баритонъ, и если онъ поетъ ombra adorata...

— Я слышала, что онъ играетъ хорошо на скрипкѣ, прервала средняя,—и признаюсь, желала бы испытать, можетъ ли онъ аккомпанировать музыку Моцарта.

— У него тысяча душъ,—сказала старшая.

— Et il est maître de sa fortune!! — прибавила средняя.

— Для чего маменька не пригласить его на наши музыкальные вечера? — промолвила меньшая. — Ему должно быть здѣсь очень скучно.

— Разумѣется,—подхватила старшая.—Эта Лидина нагонитъ на всякаго тоску своимъ Парижемъ; брать ея такъ глупъ! Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего: Полина...

— О, Полина должна быть для него божествомъ!—прервала меньшая.

— Не вѣрю,—продолжала старшая:—его завели: и что тутъ удивительнаго? въ деревнѣ, каждый день вмѣстѣ...

— Конечно, конечно!—подхватила меньшая.—Ахъ, какъ чудна маменька! Почему она не хочетъ знакомиться съ своими сосѣдями?

— Посмотрите,—шепнула старшая,—онъ на насъ глядитъ. — Бѣдняжка! не смѣетъ подойти. О! да эта сентиментальная Полина преревнивая!

— И пренесносная! вѣчно груститъ. А Богъ знаетъ о чемъ.

— Хочетъ казаться интересною.

— Ахъ, Боже мой! Вотъ еще какія претензіи.

Совсѣмъ другого рода шли разговоры въ столовой, гдѣ мужчины толпились вокругъ сытнаго завтрака. Буркинъ, выпивъ четвертую рюмку зорной водки, рассказывалъ со всѣми подробностями, какъ персидскій жеребецъ отшибъ у него память. Ладушкинъ, Ильменевъ и нѣсколько другихъ второстепенныхъ помѣщиковъ молча трудились кругомъ жирнаго окорока и доканчивали вторую бутылку мадеры. Въ одномъ углу Сурскій говорилъ съ дворянскимъ предводителемъ о политикѣ; въ другомъ, нѣсколько страстныхъ псовыхъ охотниковъ разговаривали объ отѣзжихъ поляхъ, хвастались другъ передъ другомъ подвигами своихъ борзыхъ собакъ и лгали безъ всякаго зазрѣнія совѣсти. Но хозяину было не до разговоровъ: онъ горѣлъ какъ въ огнѣ; давно уже пробило два часа, а губернаторъ не ѣхалъ; вотъ кукушка въ лакейской прокуковала три раза; вотъ, наконецъ, въ столовой часы съ курантами проиграли: *выйду я на ртченьку*, и колокольчикъ прозвенѣлъ четыре раза, а объ губернаторѣ и слуха не было. — Чтожъ это, въ самомъ дѣлѣ? — сказалъ хозяинъ, когда еще прошло полчаса: — его превосходительство шутить что-ль? Вѣдь я не навязывался къ нему съ моимъ обѣдомъ.

— Николай Степановичъ! — сказалъ дворецкій, войдя торопливо въ столовую, — кто-то скачетъ по большой дорогѣ.

— Слава тебѣ, Господи, насилу! Скорѣй кушать. Да готовы ли музыканты?.. Лишь только губернаторъ изъ кареты, тотчасъ и начинать: *громъ победы раздавайся!* Иль нѣтъ... лучше маршъ...

— Да это ѣдетъ кто-то въ телѣжкѣ, сударь, а не въ каретѣ.

— Какъ въ телѣжкѣ? Э, дуракъ! чтожъ ты прибіжалъ какъ шальной!.. Такъ это не губернаторъ... по-

стой-ка... кажется, такъ и есть—нашъ исправникъ. Проси его скорѣй сюда: онъ, вѣрно, присланъ отъ его превосходительства.

Черезъ минуту вошелъ небольшого роста мужчина съ огромными рыжими бакенбардами, въ губернскомъ мундирѣ военнаго покроя, подпоясанный широкой портупеею, къ которой прицѣплена была сабля съ серебрянымъ темлякомъ. Не кланяясь никому, онъ подошелъ прямо къ хозяину и сказалъ:—Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Ну, что, Иванъ Пахомычъ, — прервалъ Ижорскій,—скоро ли онъ будетъ?

— Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Да говори скорѣй, ѣдетъ онъ, или нѣтъ?

— Сейчасъ доложу. Его превосходительство изволилъ прислать меня увѣдомить васъ, что онъ по встрѣтившимся обстоятельствамъ...

— Не можетъ у меня убѣдать?

— Позвольте!.. Его превосходительство изволилъ прислать меня...

— Да тѣфу пропасть! говори безъ околичностей, будетъ онъ или нѣтъ!

— Сейчасъ... Изволилъ прислать меня увѣдомить васъ, что по встрѣтившимся обстоятельствамъ онъ не можетъ сегодня у васъ кушать.

— Отчего?.. Почему?..

— Онъ получилъ сейчасъ важныя депеши и отправился немедля въ губернскій городъ.

— Какъ! не пообѣдавши?

— Точно такъ-съ.

— Ай, ай, ай! что такое?.. Видно, дѣло нешуточное?

Исправникъ пожалъ плечами, наморщилъ лобъ и, погладивъ съ важностію свои бакенбарды, сказалъ протяжно и значительнымъ голосомъ: да-съ.

Всѣ гости съ примѣтнымъ любопытствомъ окружили исправника.

— Не знаете ли вы, что такое?—спросилъ Сурскій.

— Формально доложить не могу, — отвѣчалъ исправникъ; — а, кажется, большая экстра.

— Да когда онъ получилъ эти бумаги? — спросилъ предводитель.

— Аккуратъ въ три часа.

— И вамъ неизвѣстно ихъ содержаніе?

— Почему жъ мнѣ знать-съ? — отвѣчалъ исправникъ съ улыбкою, которая доказывала совершенно противное.

— Полно, любезный, секретничать!.. — заревѣлъ Буркинъ. — Какъ тебѣ не знать? Ты дѣтина пролазь — все знаешь.

— Помилуйте-съ! наше дѣло исполнять предписанія высшаго начальства, а въ государственныя дѣла мы не мѣшаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мнѣ съ руки; но, осмѣлюсь доложить, еслибъ я что-нибудь и зналъ, то и въ такомъ случаѣ служба... долгъ присяги...

— Что вы съ нимъ хлопочете, господа? — прервалъ Ижорскій. — Я знаю этого молодца: на тощакъ отъ него толку не добьешься. Пойдемте-ка обѣдать, авось за рюмкою шампанскаго онъ выболтаетъ намъ свою государственную тайну. Эй, малый! ступай въ садъ, проси барышень къ столу. Водки! Господа, милости просимъ!

Хозяинъ повелъ княгиню Зорину; прочіе мужчины повели также дамъ къ столу, который былъ накрытъ въ длинной галлерей, увѣшанной картинами знаменитыхъ живописцевъ — такъ, по крайней мѣрѣ, увѣрялъ хозяинъ, и большая часть сосѣдей вѣрили ему на честное слово; а нѣкоторые знатоки, въ томъ числѣ княжны Зорины, не смѣли сомнѣваться въ этомъ, потому что на всѣхъ рамахъ написаны были четкими буквами имена: Греза, Вандика, Рембранта, Албана, Корреджія, Салваторъ Розы и другихъ извѣстныхъ художниковъ. Гости сѣли; оркестръ грянулъ: *громъ победы раздавайся* — и двѣ огромныя кудебяки развлекли на нѣсколько минутъ вниманіе гостей, устремленное на великолѣпное зеркальное плато, края котораго были

установлены фарфоровыми китайскими куклами, а середина занята горкою, слѣпленною изъ раковинъ и изрытою небольшими впадинами; въ каждой изъ нихъ поставленъ былъ или фарфоровый пастушокъ, въ французскомъ кафтанѣ, съ флейтою въ рукахъ, или пастушка въ фижамахъ, съ овечкою у ногъ. Многимъ изъ гостей чрезвычайно понравился этотъ образчикъ Швейцаріи; но появленіе янтарной ухи изъ аршинной стерляди, а вслѣдъ за ней двухъ-аршиннаго осетра под соусомъ, сосредоточило на себѣ все удивленіе пирующихъ. Деревенскіе гастрономы ахнули. Отрывокъ альпійской горы, зеркальное море, саксонскія куклы, китайскіе уродцы—все было забыто; разговоры прекратились, и тихій ангелъ пріосѣнилъ своими крыльями все общество.

Пользуясь правомъ жениха, Рославлевъ сидѣлъ за столомъ подлѣ своей невѣсты; онъ могъ говорить съ нею свободно, не опасаясь нескромнаго любопытства сосѣдей, потому что съ одной стороны подлѣ нихъ сидѣлъ Сурскій, а съ другой Оленька. Въ то время, какъ всѣ, или почти всѣ, заняты были ѣдою, симъ важнымъ и едва ли не главнѣйшимъ дѣломъ большей части деревенскихъ помѣщиковъ, Рославлевъ спросилъ Полину: согласна ли она съ мнѣніемъ своей матери, что онъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ вступать снова въ военную службу?

— Вы знаете, чего отъ васъ требуетъ маменька,—отвѣчала Полина.

— Но я желаю бы также знать, что думаете вы!

— Я обязана ей повиноваться.

— Но скажите, что долженъ я дѣлать?

— Вамъ ли меня объ этомъ спрашивать, Вольдемаръ! Что могу сказать я, когда собственное сердце ваше молчитъ?

— Итакъ, я долженъ оставаться хладнокровнымъ свидѣтелемъ ужасныхъ бѣдствій, которыя грозятъ нашему отечеству; долженъ жить спокойно въ то время, когда кровь всѣхъ русскихъ будетъ литься не за славу,

не за величіе, но за существованіе нашей родины; когда, можетъ-быть, отецъ станетъ сражаться рядомъ со своимъ сыномъ и дѣдъ умирать подлѣ своего внука. Нѣтъ, Полина, или я совсѣмъ васъ не знаю, или любовь ваша должна превратиться въ презрѣніе къ человѣку, который въ сію рѣшительную минуту будетъ думать только о собственномъ своемъ счастьи и о личной своей безопасности.

— Но зачѣмъ тревожить себя заранѣе этой мыслію?— сказала Полина послѣ короткаго молчанія. — Быть-можетъ, это одни пустые слухи.

— Можетъ-быть! Но по всему кажется, что эта война неизбѣжна.

— Война! — повторила Полина, покачавъ печально головою. — Ахъ! когда люди станутъ думать, что она всѣмъ братьямъ, что слава, честь, лавры, всѣ эти пустые слова не стоятъ и одной капли человѣческой крови. Война! Боже мой! И, вѣрно, эта война будетъ самая безчеловѣчная?..

— О! что касается до этого, — отвѣчалъ Рославлевъ, — то французы должны пенять на самихъ себя: они заставили себя ненавидѣть; а ненависть не знаетъ состраданія и жалости. Испанцы доказали это.

— Но неужели и русскіе также, какъ испанцы, не станутъ падать никого?.. Будутъ рѣзать беззащитныхъ плѣнныхъ?—спросила съ примѣтнымъ безпокойствомъ Полина.

— Кто можетъ предузнать, — отвѣчалъ Рославлевъ, — до чего дойдетъ ожесточеніе русскихъ, когда въ глазахъ народа убійство и мщеніе превратятся въ добродѣтели, и всякое сожалѣніе къ французамъ будетъ казаться предательствомъ и измѣною. Когда война становится національною, то всѣ права народныхъ терпятъ свою силу. Стараться истреблять всѣми способами непріятеля, убивать до тѣхъ поръ, пока не убьютъ самого, вотъ въ чемъ состоитъ народная война, и вотъ чего добиваются Наполеонъ и его французы. Переступивъ однажды за нашу границу, они не должны уже

и думать о мирѣ. Да, Полина, въ этой войнѣ середины быть не можетъ: они должны или превратить всю Россію въ обширное кладбище, или всѣ погибнуть.

Полина поблѣднѣла.—Это ужасно!—сказала она,—Несчастные! но виноваты ли они?.. Всѣ погибнуть!.. Боже мой!.. Если...

Оленька схватила за руку сестру свою; она замолчала, опустила глаза книзу и блѣдныя щеки ея запылали.

— Э, племянничекъ!—закричалъ Ижорскій,—говорить-то съ невѣстою можно, а ѣсть все-таки надобно. Что ты, Поленька! вѣдь этакъ женихъ твой умереть голодной смертію. Да возьми, братецъ! вѣдь это дупельшнепы! Эй, шампанскаго! Здоровье его превосходительства, нашего гражданскаго губернатора. Тушъ!

Трубачи протрубили, шампанское обнесли. — Здоровье хозяина! — кричалъ Буркинъ, и снова затрепало въ ухахъ у блѣдныхъ дамъ. Трубачи дули, мужчины пили; и какъ дѣло дошло до домашнихъ наливокъ, то разговоры сбѣлались до того шумны, что почти никто уже не понималъ другъ друга. Наконецъ, когда обнесли двѣнадцатую тарелку съ сахарнымъ вареньемъ, хозяинъ привсталъ и, совершенно увѣренный, что говоритъ неправду, сказалъ: — Не осудите, дорогіе гости, если встаете голодные изъ-за стола, не погнѣвайтесь! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады!

Всѣ поднялись въ одно время. Мужчины отвели прежнимъ порядкомъ дамъ въ гостиную; а сами, выпивъ по чашкѣ кофе, отправились, вмѣстѣ съ хозяиномъ, осматривать его оранжереи, конскій заводъ, псарню и больницу.

II.

Сурскій и Рославлевъ, обойдя съ другими гостями всѣ оранжереи и не желая осматривать прочія заведенія хозяина, остались въ саду. Пройдя нѣсколько времени, молча, по крытой липовой аллеѣ, Сурскій замѣтилъ, наконецъ, Рославлеву, что онъ вовсе не

походить на жениха. — Ты такъ грустенъ и задумчивъ,—сказалъ онъ,—что какъ будто бы въ самомъ дѣлѣ долженъ сегодня же, и навсегда, разстаться съ твоей невѣстою.

— Почему знать? — отвѣчалъ со вздохомъ Рославлевъ.—По крайней мѣрѣ, я почти увѣренъ, что долго еще не буду ея мужемъ. Скажите, могу ли я общать, что не пойду служить даже и тогда, когда французы внесутъ войну въ сердце Россіи?

— Нѣтъ, не можешь; но почему ты увѣренъ, что Наполеонъ рѣшится...

— На что не рѣшится этотъ баловень фортуны, этотъ надменный завоеватель, ослѣпленный собственной своей славою? Куда не пойдутъ за нимъ французы, привыкшіе видѣть въ немъ свое второе Привидѣніе? Французы!.. Я знаю человѣка, котораго ненависть къ французамъ казалась мнѣ отвратительною: теперь я начинаю понимать его.

— Не вѣрю, мой другъ! ты это говоришь въ минуту досады. Просвѣщенный человѣкъ и христіанинъ не долженъ и не можетъ ненавидѣть никого. Какъ русскій, ты станешь драться до послѣдней капли крови съ врагами нашего отечества, какъ вѣрноподданный—умрешь, защищая своего государя; но если безоружный непріятель будетъ имѣть нужду въ твоей помощи, то кто бы онъ ни былъ, онъ вѣрно найдетъ въ тебѣ человѣка, для котораго состраданіе никогда не было чуждой добродѣтелью. Простой народъ почти вездѣ одинаковъ; но французы называютъ насъ всѣхъ варварами. Постараемся же доказать имъ не фразами,—на словахъ они насъ загоняютъ,—а на самомъ дѣлѣ, что они ошибаются.

— Но можно ли смотрѣть хладнокровно на эту націю?..

— Можно, мой другъ, тому, кто знаетъ ее больше, чѣмъ ты. Во-первыхъ, тотъ, кто не былъ самъ во Франціи, едва ли имѣетъ право судить о французахъ. Никто не можетъ быть милѣе, любезнѣе, вѣжливѣе

француза, когда онъ дома; но лишь только онъ переступилъ за границу своего отечества, то становится совершенно другимъ человѣкомъ. Онъ смотритъ на все съ презрѣніемъ; все то, что не походитъ на обычаи и нравы его родины, кажется ему варварствомъ, невѣжествомъ и безвкусіемъ. Но и въ этомъ смѣшномъ желаніи увѣрять весь міръ, что въ одной только Франціи могутъ жить порядочные люди, я вижу чувство благородное: безпредѣльную любовь къ отечеству. Извѣстное слово одного француза, который на вопросъ, какой онъ націи, отвѣчалъ, что имѣетъ честь быть французомъ— не самохвальство, а самое истинное выраженіе чувствъ каждаго изъ его соотечественниковъ, и если это порокъ, то признаюсь, отъ всей души желаю, чтобъ многіе изъ насъ, рабски перенимая всѣ иностранные моды и обычаи, заразились бы, наконецъ, и этимъ иноземнымъ порокомъ.

— Но согласитесь, что чванство, самонадѣянность и гордость французовъ невыносимы.

— Чтожъ дѣлать, мой другъ? Всѣ народы имѣютъ свои національныя слабости; и если говорить правду, то подчасъ наша скромность, право, не лучше французскаго самохвальства. Они потеряютъ сраженіе, и каждый изъ нихъ будетъ стараться увѣрить и другихъ и самого себя, что оно не проиграно; намъ удастся разбить непріятеля, и тотъ-же часъ найдутся охотники доказывать, что мы или не остались побѣдителями, или, по крайней мѣрѣ, побѣда наша весьма сомнительна. Да вотъ, на примѣръ, если у насъ будетъ война, и Богъ поможетъ намъ не только отразить, но истребить французскую армію, если изъ этого ополченія всей Европы уцѣлѣютъ только нѣсколько тысячъ... Но что я говорю? если одна только рота французскихъ солдатъ выйдетъ изъ Россіи, то и тогда французы станутъ говорить и печатать, что эта горсть безстрашныхъ, этотъ священный легіонъ не бѣжалъ, а спокойно отступилъ на зимнія квартиры, и что, во время безсмертной своей ретирады, безпрестанно билъ

большую русскую армію; и нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ хвастовствѣ имъ помогутъ русскіе, которые стануть повторять вслѣдъ за ними, что климатъ, недостатокъ, стеченіе различныхъ обстоятельствъ, однимъ словомъ, все, выключая русскихъ штыковъ, заставило отступить французскую армію.

— Перестаньте! Я не хочу вѣрить, чтобъ нашлись между русскими такія презрительныя низкія души...

— Но эти же самые русскіе, мой другъ, стануть драться, какъ львы, защищая свою родину. Все это въ порядкѣ вещей, и мы не должны сердиться ни на французовъ за ихъ хвастовство, ни на русскихъ за ихъ несправедливость къ самимъ себѣ. Безпрерывный рядъ побѣдъ, двадцать-пять лѣтъ колоссальной славы... о, мой другъ! отъ этого закружатся и не французскія головы! А мы... насъ также можно извинить. Вотъ изволишь видѣть: по мнѣнію моему, исторія просвѣщенія всѣхъ народовъ раздѣляется на три эпохи. Въ первую, то-есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всѣхъ иностранцевъ, но даже презираемъ ихъ. Иноземецъ, въ глазахъ нашихъ, почти не человѣкъ; онъ долженъ считать за милость, если мы дозволяемъ ему жить между нами и обогащать насъ своими познаніями. Мало-по-малу, привыкая думать, что эти пришлецы созданы также, какъ и мы, по образу и по подобию Божію, мы постепенно доходимъ до того, что начинаемъ перенимать не только ихъ познанія, но даже и обычаи; и тогда наступаетъ для насъ вторая эпоха. Презрѣніе къ иностранцамъ превращается въ безусловное уваженіе; мы видимъ въ каждомъ изъ нихъ своего учителя и наставника; все чужеземное кажется намъ прекраснымъ, все свое—дурнымъ. Мы думаемъ, что только одно рабское подражаніе можетъ насъ сблизить съ просвѣщенными народами, и если въ это время между насъ родится гений, то не мы, а развѣ иностранцы отдадутъ ему справедливость; это эпоха полупросвѣщенія. Наконецъ, вѣкъ скороспѣлокъ и

обезьянства проходить. Плодъ многихъ годовъ, безчисленныхъ опытовъ—прекрасный плодъ не награжденныхъ ни славою, ни почестями безкорыстныхъ трудовъ, великихъ геніевъ—созрѣваетъ; истинное просвѣщеніе разливается по всей странѣ; мы не презираемъ и не боготворимъ иностранцевъ; мы сравнились съ ними; не желаемъ уже знать кое-какъ все, а стараемся изучить хорошо то, что знаемъ; народный характеръ и фізіономія образуются; мы начинаемъ любить свой языкъ, уважать отечественные таланты и дорожить своей національной славою. Это третья и послѣдняя эпоха народнаго просвѣщенія. Для большей части русскихъ первая, кажется, миновалась; но послѣдняя, по крайней мѣрѣ для многихъ, еще не наступила.

— Но развѣ это можетъ служить оправданіемъ для тѣхъ, кои злословятъ свое отечество?

— А какъ же, мой другъ? Безпристрастіе есть добродѣтель людей истинно просвѣщенныхъ; и вотъ почему нѣкоторые русскіе, желающіе казаться просвѣщенными, стараются всячески унижать все отечественное, и чтобъ доказать свое европейское безпристрастіе, готовы спорить съ иностранцемъ, если онъ вздумаетъ похвалить что-нибудь русское. Конечно, для чести нашей націи, не мѣшало бы этихъ господъ, какъ запрещенный товаръ, не выпускать за границу, но сердиться на нихъ не должно. Они срамятъ себя въ глазахъ иностранцевъ и позорятъ свою родину, не потому что не любятъ ея, а для того только, чтобъ казаться безпристрастными, и слѣдовательно просвѣщенными людьми. Вотъ съ мѣсяцъ тому назадъ, я былъ вмѣстѣ съ сосѣдомъ нашимъ Ильменевымъ у Волгиныхъ, которые на нѣсколько недѣль пріѣзжали въ свою деревню изъ Москвы. Съ перваго взгляда мнѣ очень понравился ихъ единственный сынъ, ребенокъ лѣтъ двѣнадцати—и подлинно необыкновенный умъ и доброта отпечатаны на сего миловидномъ лицѣ; но черезъ нѣсколько минутъ, это первое впечатлѣніе уступило мѣсто чувству со-

вершенно противному. Этотъ мальчишка умничалъ, мѣшался преважно въ разговоры, находилъ, что въ деревнѣ все дурно, что мужики такъ глупы, и желая казаться совершеннымъ человѣкомъ, такъ часто кричалъ и шумѣлъ на людей безъ всякой причины, подражая своему папенькѣ, который иногда журилъ ихъ за дѣло, что подъ конецъ мнѣ стало гадко на него смотреть. Я сказалъ объ этомъ Ильменеву, который отвѣчалъ мнѣ весьма хладнокровно: — И, сударь, что еще на немъ взыскивать: глупенекъ, батюшка—дитя! какъ подрастетъ, такъ поумнѣетъ. Какъ ты думаешь, Рославлевъ? не лучше ли и намъ не сердиться на нашихъ полупросвѣщенныхъ умницъ, а говорить про себя: что еще на нихъ взыскивать — дѣти! какъ подрастутъ, такъ поумнѣютъ! Но вотъ, кажется, идетъ хозяинъ. Что такое? Посмотри-ка, на немъ лица нѣтъ. Что съ тобой сдѣлалось, мой другъ? — продолжалъ Сурскій, идя къ нему навстрѣчу.

— Что сдѣлалось? — повторилъ глухимъ голосомъ Ижорскій. — Ничего... Осрамили, зарѣзали, живого въ гробъ положили, вотъ и все!..

— Какъ?

— Да такъ... Ухъ, батюшки!.. Дайте духъ перевести!.. Дурачье! Животные! Разбойники!..

— Ты пугаешь меня. Да что сдѣлалось?

— Бездѣлица!.. Всѣ труды, заботы, расходы, все пошло къ чорту!.. Да ужъ я же его! И что онъ за докторъ?.. Цырюльникъ!.. Нынче же съ двора долой!

— Ага! такъ дѣло идетъ о твоей больницѣ.

— О больницѣ? О какой больницѣ? У меня нѣтъ больницы! Завтра же велю сломать эту проклятую больницу, чтобъ и праху ея не осталось.

— Помилуйте! За что такой гнѣвъ?

— Что, братецъ, сняли голову съ плечъ, да и только. Представь себѣ: я повелъ гостей осматривать мои заведенія; дѣло дошло и до больницы. Вотъ вошли сначала въ аптеку; гости ахнули!.. что за порядокъ!.. Банка къ банкѣ, склянка къ склянкѣ—ну, любо-дорого

смотря! Предводитель такъ и рассыпался: и благодѣтель-то я нашего уѣзда, и просвѣщенный помѣщикъ, и какую честь дѣлаетъ всей губерніи это заведеніе, и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: «Погоди, пріятель! какъ взглянешь на больницу, такъ не то еще заговоришь». Вотъ вошли; коридоръ чистый, свѣтлый, нечего сказать — славно! — Отдѣленіе хроническихъ болѣзней! — прокричалъ лѣкарь. — Камера, нумеръ первый: водяная болѣзнь. Растворяю дверь — глядь на постель! ахти!.. такъ меня и обдало морозомъ: щедушный Андришка сухарь! Я поскорѣй вонъ, да въ другія двери. Предводитель читаетъ надпись: Камера вторая — чахотка. Вхожу, всё за мной. Ну!!! ноги подкосились! Боже мой!.. толстый пономарь!.. — Давно ли у тебя чахотка? — спросилъ, улыбаясь, предводитель. — Около года, сударь! — отвѣчалъ пономарь. — Оно и замѣтно! — заревѣлъ дурачина Буркинъ. — Смотри-ка, сердечный, какъ ты зачахъ! — Зачахъ!.. а рожато у него, братецъ, съ пивной котель! Предводитель прыснулъ, гости померли со смѣху, а я ужъ и самъ не помню, какъ бросился вонъ изъ дверей, какъ ударился лбомъ о притолку, какъ наткнулся теперь на васъ — ничего не знаю!

— Помилуй, братецъ, чтожъ это за бѣда?

— Какъ что за бѣда? Да какъ мнѣ теперь глаза показать?.. Ну, если догадаются?..

— И, мой другъ, кому придетъ въ голову, что у тебя больные по наряду? Перемѣшали надписи, вотъ и все тутъ.

— Такъ ты думаешь, что я могу сказать?

— Разумѣется. Долго ли вмѣсто одной дощечки прибить другую. Да вотъ, кстати, всё гости идутъ сюда; ступай къ нимъ навстрѣчу, скажи, что это ошибка, и, чтобъ они перестали смѣяться, начни хотать громче ихъ.

Ижорскій, успокоенный сими словами, пошелъ навстрѣчу къ гостямъ, и, поговоря съ ними, повелъ ихъ въ большую китайскую бесѣдку, въ которой пригото-

влены были трубки и пуншъ. Одинъ только исправникъ отдѣлился отъ толпы и, подойдя къ Рославлеву, сказалъ:—Извините, Владиміръ Сергѣевичъ, совсѣмъ изъ ума вонъ. Вѣдь у меня есть къ вамъ письмо.

— Отъ кого?—спросилъ Рославлевъ.

— Не могу доложить. Оно пришло по почтѣ. Я занлъ, что найду васъ здѣсь, такъ захватилъ его съ собою. Вотъ оно.

— Отъ Зарѣцкаго! — вскричалъ Рославлевъ, взглянувъ на адресъ.—Какъ я радъ!

Исправникъ отправился вслѣдъ за другими гостями въ бесѣдку, а Рославлевъ, распечатавъ письмо, началъ читать слѣдующее:

«Ну, мой другъ, отгадывай, что я? гдѣ я? и что дѣлалъ сегодня по-утру? Да что тебя мучить по пустому: вѣкъ не отгадаешь. Я, гусарскій ротмистръ, стою теперь на бивакахъ недалеко отъ Бѣлостока, и сегодня по-утру дрался съ французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай; я расскажу тебѣ все по-порядку. Прощаясь съ тобой, я уже намекалъ тебѣ, что мнѣ становится скучно жить въ Петербургѣ. Когда ты уѣхалъ, мнѣ стало еще скучнѣе. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю: задумалъ, рѣшился, надѣлъ мундиръ; тетушка благословила меня образомъ, а кузины... вѣдь я отгадалъ, mon cher! ни одна изъ нихъ не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакалъ въ Вильну, нашелъ тамъ почти всѣхъ нашихъ сослуживцевъ. Намъ давали балы, мы веселились; но и среди танцевъ горѣли нетерпѣніемъ встрѣтить скорѣе гостей, которые стояли за Нѣманомъ, церемонились и какъ будто бы дожидались приглашенія. Наконецъ, 12-го числа іюня они переправились на нашу сторону, и пошла потѣха — только не для насъ, а для однихъ казаковъ. Я выпросился въ авангардъ, который сталъ теперь аріергардомъ, потому что наши войска ретируются. Одни говорятъ, для того, чтобъ соединиться съ молдавской арміею, которая спѣшитъ намъ навстрѣчу; другіе, чтобъ заманить Наполеона поглубже въ Россію

и угостить его точно такъ же, какъ, блаженной памяти, шведскаго короля подъ Полтавою. Не знаю, чему вѣрить, но не сомнѣваюсь въ одномъ — *pour m'eux sauter*. Кажется, непріятель втрое насъ сильнѣе; только мы дома, а онъ на чужой сторонѣ. Франція далеко, а нѣмцамъ любить его не за что. Все это должно ободрять насъ; однакоже, я думаю, что безъ народной войны дѣло не обойдется. Тебѣ кланяется твой бывшій начальникъ, генераль Б. У него недостаетъ одного адъютанта, но онъ не торопится замѣстить эту ваканцію, и просилъ меня объ этомъ тебя увѣдомить. Послушай, Рославлевъ! Я никогда не хвастался моимъ патріотизмомъ; всегда любилъ и даже теперь люблю французовъ, а ужъ успѣлъ съ ними подраться. Ты зарекся говорить по-французски, бредишь всѣмъ русскимъ—и ходишь еще во фракѣ. Женатъ ли ты или нѣтъ, все-равно. Если ты только здоровъ, скажи къ намъ на курьерскихъ; если боленъ, ступай на долгихъ; если умираешь, то вели, по крайней мѣрѣ, похоронить себя въ мундирѣ. Да, мой другъ, эта война не походить на прежнія; дѣло идетъ о томъ, чтобъ рѣшить навсегда: есть ли въ Европѣ русское царство или нѣтъ? Сегодня, чѣмъ свѣтъ, французская военная музыка играла такъ близко отъ нашихъ биваковъ, что я подлаживалъ ей на моемъ флажолетѣ; а около двѣнадцатаго часа у насъ завязалось жаркое аванпостное дѣло. Мы потихоньку подвигались назадъ; французы лѣзли впередъ, и надобно сказать правду — молодцы, славно дерутся! Одинъ изъ нихъ съ эскадрономъ конныхъ егерей врѣзался въ самую средину нашихъ казаковъ; но я подоспѣлъ съ гусарами. Коннымъ егерямъ отпѣли вѣчную память, а начальника ихъ мнѣ удалось своими руками взять въ плѣнъ, или, лучше сказать, спасти отъ смерти, потому что онъ не сдавался и дрался какъ отчаянный. Теперь онъ въ моемъ шалашѣ спитъ прекрѣпкимъ сномъ. Что за молодець, братецъ! Ему нѣтъ тридцати лѣтъ, а онъ ужъ полковникъ; а какъ любезенъ, какой хорошій тонъ! Впро-

чемъ, это ни мало не удивительно: *ce n'est pas un officier de fortune*. Фамилія его одна изъ самыхъ древнихъ во Франціи. Онъ графъ Адольфъ Сеникуръ. Завтра, чѣмъ свѣтъ, его отправляютъ, вмѣстѣ съ другими плѣнными, въ средину Россіи и, повѣришь ли? онъ такъ обворожилъ меня своею любезностію, что мнѣ грустно будетъ съ нимъ разстаться. Прощай, мой другъ!.. или нѣтъ: до свиданья! Я увѣренъ, что ты, прочитавъ мое письмо, велишь укладывать свой чемоданъ, пошлешь за курьерскими — и если какая-нибудь французская пуля не вычеркнетъ меня изъ списковъ, то я скоро угощу тебя на моемъ бивакѣ и пуншемъ, и музыкою. Да, мой другъ! и музыкою. Отъ нечего дѣлать, я такъ набилъ руку на моемъ флажолетѣ, что и самъ себя надивиться не могу. Итакъ, до свиданья!

Твой другъ Александръ Зарѣцкій. Іюня 19-го. Бивакъ близъ Бѣлостока.

— Итакъ, все кончено! — вскричалъ Рославлевъ. — Я долженъ разстаться съ Полиною, и можетъ-быть — навсегда!

— Ужъ и навсегда, мой другъ! — сказалъ Сурскій. — Конечно, за жизнь военнаго человѣка ручаться нельзя; но почему же думать, что непременно ты?..

— Ахъ, я ничего не думаю! Въ головѣ моей нѣтъ ни одной мысли; а здѣсь, — продолжалъ Рославлевъ, положивъ руку на грудь, — здѣсь все замерло. Такъ! если вѣрить предчувствіямъ, то въ здѣшнемъ мірѣ я никогда не назову Полину моею. Я долженъ разстаться и съ вами...

— Не надолго, мой другъ, мы скоро увидимся. Но вотъ, кажется, Лидина съ дочерьми. Онѣ идутъ сюда. Ты скажешь имъ?..

— Да, я хочу, я долженъ!.. Я на этихъ дняхъ отправлюсь въ армію, Полина, — продолжалъ Рославлевъ, подойдя къ своей невѣстѣ. — Вотъ письмо, которое я сейчасъ получилъ отъ пріятеля моего Зарѣцкаго. Прочтите его. Мы должны разстаться.

— Какъ, сударь!—вскричала Лидина. — Такъ вы рѣшительно хотите вступить въ военную службу?

— Читайте, Полина!—продолжалъ Рославлевъ,—и скажите вашей матушкѣ, могу ли я поступить иначе.

Полина начала читать письмо. Грудь ея сильно волновалась, руки дрожали; но, несмотря на это, казалось, она готова была перенести съ твердостью ужасное извѣстіе, которое должно было разлучить ее съ женихомъ. Она дочитывала уже письмо, какъ вдругъ вся помертвѣла; невольное восклицаніе замерло на посинѣвшихъ устахъ ея; глаза сомкнулись, и она упала безъ чувствъ въ объятія своей сестры.

Съ воплемъ отчаянія бросилась Лидина къ своей дочери.—*Chère enfant!*...—вскричала она,—что съ тобой сдѣлалось?.. Ахъ, она ничего не чувствуетъ!.. Полюбуйтесь, сударь!.. вотъ слѣдствія вашего упрямства... Полина, другъ мой!.. Боже мой! она не приходитъ въ себя!.. Нѣтъ, вы не человѣкъ, а чудовище!.. Стоите ли вы любви ея!.. О, еслибъ я была на ея мѣстѣ!.. *Ah, mon Dieu!*.. Она не дышитъ... Она умерла!.. Пойдите прочь, сударь, пойдите!.. Вы злодѣй, убійца моей дочери!..

— Успокойтесь, сударыня! — сказалъ Сурскій.— Посмотрите, она приходитъ въ себя. Это пройдетъ.

— Ахъ, еслибъ прошла и любовь ея къ этому человѣку! — прервала Лидина, взглянувъ на убитого горестию Рославлева.

Полина открыла глаза, поглядѣла вокругъ себя довольно спокойно; но когда взоръ ея остановился на письмѣ, которое замерло въ рукѣ ея, то она вскрикнула и, подавая его торопливо Оленькѣ, сказала: прочти, мой другъ, прочти!

— Не печалься, мой ангелъ! — сказала Лидина:— онъ не поѣдетъ.

— Нѣтъ, маменька,—отвѣчала твердымъ голосомъ Полина, — онъ не долженъ и не можетъ остаться съ нами.

Оленька, читая письмо, не могла также удержаться отъ невольнаго восклицанія. Поѣдѣте скорѣй домой, маменька—сказала она.—Вы видите, какъ Полина разстроена: ей нуженъ покой. А вы, Владиміръ Сергѣевичъ, черезъ часъ или черезъ два пріѣзжайте къ намъ. Поѣдѣте!

Лидина, уѣзжая съ своими дочерьми, сказала въ гостиную нѣсколько словъ женѣ предводителя, та шепнула своей пріятельницѣ Ильменевоѣ, Ильменова побѣжала въ бесѣдку разсказать обо всемъ своему мужу, и чрезъ нѣсколько минутъ всѣ гости знали уже, что Рославлевъ ѣдетъ въ армію, и что мы деремся съ французами.

— Ну, господа! — сказалъ исправникъ, — теперь таится нечего: вѣдь и его превосходительство за этимъ извоили ускорить въ губернской городъ.

— Такъ вотъ что! — вскричалъ хозяинъ. — Вѣрно, рекрутскій наборъ?

— Какой рекрутскій наборъ! Осмѣлюсь доложить, того и гляди, что поголовщина будетъ.

— Добрался таки до насъ этотъ проклятый Бонапартій! — сказалъ Буркинъ. — Чего добраго, онъ этакъ, пожалуй, сдуру-то въ Москву полѣзетъ.

— А что ты думаешь? — промолвилъ Ижорскій: — его на это станеть.

— Избави, Господи! — воскликнулъ жалобнымъ голосомъ Ладушкинъ. — Что съ нами тогда будетъ?

— А что Богъ велитъ, — подхватилъ Буркинъ. — Живые въ руки не дадимся. Поголовщина, такъ поголовщина.

— Да, — прибавилъ предводитель, — если французы не остановятся на границѣ, всеобщее ополченіе необходимо.

— Помилуйте! — сказалъ Ладушкинъ: — что мы съ кулаками что ль поѣдемъ?

— Да съ чѣмъ понало, — отвѣчалъ Буркинъ. — У кого есть ружье, тотъ съ ружьемъ; у кого нѣтъ, тотъ съ рогатиной. Что въ самомъ дѣлѣ!.. Французы-то а

двухъ что ль головахъ? Дай-ка я любого изъ нихъ хвачу дубиной по лбу—небось не встанетъ.

— Я не думаю, однакожъ, чтобъ французы рѣшились идти въ средину Россіи, — замѣтилъ предводитель. — Карлъ XII испыталъ подъ Полтавою, какъ можно въ одно сраженіе погубить всю свою военную славу.

— Да вѣдь Наполеонъ тащитъ за собой всю Европу, — подхватилъ Ижорскій. — Нѣтъ, господа, онъ доберется и до Москвы.

— А мы его встрѣтимъ, — промолвилъ Буркинъ, — да зададимъ такой банкетъ, что ему и домой не захочется.

— Воля ваша, — сказалъ со вздохомъ Ладушкинъ, — а тяжело намъ будетъ! Я помню милицію: чего намъ, дворянамъ, стоило одѣть, обуть, да прокормить этихъ ратниковъ.

— Да, братъ Ладушкинъ! — закричалъ Буркинъ, — починай свою кубышку - то. Вѣдь денегъ у тебя накоплено не по нашему.

— Помилуйте! Да откуда?

— Чего тутъ миловать — распоясывайся, любезный.

— Конечно, какъ велятъ...

— Велятъ!.. плохой ты, братъ, дворянинъ! Чего тутъ дожидаться приказу — самъ давай! Господи, Боже мой! мы что ль русскіе, дворяне, не живемъ припѣваячи? А пришла бѣда, такъ и въ кустъ?.. Сохрани, Владыко!.. Послѣднюю денежку ставъ ребромъ.

— Конечно! — сказалъ хозяинъ. — Если понадобятся ратники, такъ я и музыкантовъ моихъ не пожалѣю... А народъ - то, братцы, какой!.. Наметанный, лихой — пострѣлы! Любой на пушку полѣзетъ!

— А я, — заревѣлъ Буркинъ, — всѣмъ моимъ коннымъ заводомъ бью челомъ Его Царскому Величеству. Изволь, батюшка Государь, бери, да припасай только людей; а ужъ эскадронъ лихихъ гусаръ поставимъ на ноги.

— Какъ? — спросилъ Ижорскій, — ты отдашь и персидскаго жеребца?

— Султана?.. и его отдамъ!.. Нѣтъ, Николай Степановичъ, нѣтъ! На немъ самъ пойду подъ француза. Умирать—такъ умирать обоимъ вмѣстѣ!

— Я увѣренъ, — сказалъ предводитель, — что все дворянство нашей губерніи не пожалѣетъ ни достоинства своего, ни самихъ себя для общаго дѣла. Стыдъ и срамъ тому, кто станетъ думать объ одномъ себѣ, когда отечество будетъ въ опасности.

— Да, да, стыдъ и срамъ! — повторили всѣ, не исключая Ладушкина, который, увлеченный примѣромъ другихъ, позабылъ на минуту о своей шкатулкѣ.

— Кто не можетъ идти самъ, — прибавилъ Буркинъ, — такъ пусть отдастъ все, что у него есть.

— Аминь! — закричалъ Ижорскій. — Ну-ка, господа, за здравіе Царя и на гибель французамъ! Гей, малый! Шампанскаго!

— Нѣтъ, братецъ, — прервалъ Буркинъ, — давай наливки: мы не хотимъ ничего французскаго.

— Въ томъ-то и дѣло, любезный! — возразилъ хозяинъ. — Выпьемъ сегодня все до капли, и чтобъ къ завтраму въ моемъ домѣ духу не осталось французскаго.

— Нѣтъ, Николай Степановичъ, пей, кто хочетъ, а я не стану — душа не приметъ. Вѣришь ли Богу, мнѣ все французское такъ опротивѣло, что и слышать-то о немъ не хочется. Разбойники!..

Дворецкій вошелъ съ подносомъ, уставленнымъ бокалами.

— Налей ему, Парфенъ! — закричалъ хозяинъ. — Добро, выпей, братецъ, въ послѣдній разъ...

— Эхъ, любезный!.. Ну, ну, такъ и быть; одинъ бокалъ куда ни шель. Да здравствуетъ Русскій Царь! Ура!.. Проклятый напитокъ: хуже нашего кваса... За здравіе русскаго войска!.. Подлей-ка, братъ еще... Ура!

— Да убирайся къ чорту съ рюмками! — сказалъ хозяинъ. — Подавай стаканы: скорѣй все выпьемъ!

— И то правда! — подхватилъ Буркинъ; — пить, такъ пить разомъ, а то это скверное питье въ горлѣ засядетъ. Подавай стаканы!..

III.

Двѣсти лѣтъ царство русское отдыхало отъ прежнихъ своихъ бѣдствій; двѣсти лѣтъ мирный поселянинъ не мѣнялъ сохи своей на оружіе. Россія, подъ самодержавнымъ правленіемъ потомковъ великаго Петра, возрастала въ силѣ и могуществѣ; южный вѣтеръ лелѣялъ русскихъ орловъ на берегахъ Дуная; наши волжскія пѣсни раздавались въ древней Скандинавіи, среди цвѣтущихъ полей Италіи и на вершинахъ Сент-Готарда сверкали русскіе штыки: мы пожинали лавры въ странахъ иноплеменныхъ; но болѣе столѣтія ни одинъ вооруженный врагъ не смѣлъ переступить за границу нашего отечества. И вдругъ раздался громъ оружія на западѣ Россіи, и прежде чѣмъ слухъ о семъ долетѣлъ до отдаленныхъ ея областей, древній Смоленскъ былъ уже во власти Наполеона. Случалось ли вамъ, проснувшись въ полночь, прислушиваться недоувѣрчиво къ глухимъ раскатамъ отдаленнаго грома, и, видя надъ собой свѣтлое небо, усѣянное звѣздами, засыпать снова съ утѣшительною мыслію, что вамъ слышалось, что это не гроза, а воетъ вѣтеръ въ сосѣдней дубравѣ? Точно то-же было съ болѣею частью русскихъ. — Французы въ Россіи!.. Нѣтъ, это невозможно! Это пустые слухи!..—говорили жители низовыхъ городовъ, и на минуту встревоженные симъ грознымъ извѣстіемъ, обращались спокойно къ обыкновеннымъ своимъ занятіямъ. Но слова того, кто одинъ могъ возбудить отъ сна дремлющую Россію, пронесли отъ береговъ Вислы во всѣ края обширной ея имперіи. — Такъ! французы въ Россіи! Я не положу оружія,—сказалъ онъ,—доколѣ ни единаго непріятеля не останется въ царствѣ моемъ... — и миллионы устъ повторили слова Царя Русскаго! Онъ воззвалъ къ вѣрному своему народу: «Да встрѣтитъ врагъ, — вѣщалъ Александръ, — въ каждомъ дворянинѣ Пожарскаго; въ каждомъ духовномъ Палицына; въ каждомъ гражданинѣ Минина...» и всѣ русскіе устремились къ ору-

жію. — Война! — воскликнулъ весь народъ, и потомки безстрашныхъ славянъ, какъ на брачное веселье, потекли на сей кровавый пиръ всей Европы.

О, какъ великъ, какъ благороденъ былъ сей общій энтузіазмъ народа русскаго! Въ какомъ обширномъ объемѣ повторилось то, что два вѣка тому назадъ извлекало слезы умиленія и восторга изъ глазъ всѣхъ жителей нижегородскихъ. Не малочисленный врагъ былъ въ сердцѣ Россіи; не граждане одного города поклялись умереть за свободу своей родины; — нѣтъ! Первый полководецъ нашего времени, влача за собой силы почти всей Европы, шелъ, по собственнымъ словамъ его, *раздавить* Россію. Но двѣсти лѣтъ назадъ, отечество наше, раздираемое междоусобіемъ, безмолвно преклоняло сиротствующую главу подъ ярмомъ иноплеменныхъ, а теперь безчисленные голоса отозвались на мощный голосъ Помазанника Божія; всѣ желанія, всѣ помышленія слились съ его волею. Русскіе возстали, и приговоръ Всевышняго свершился надъ сей главой, обремененной лаврами и проклятiями вселенной. Могучій, непобѣдимый, онъ ступилъ на землю русскую — и уже могила его была назначена на уединенной скалѣ безбрежнаго океана.

Кто опишетъ съ должнымъ безпристрастіемъ сію ужасную борьбу Россіи съ колоссомъ, который желалъ весь міръ имѣть своимъ подножіемъ, которому душно было въ цѣлой Европѣ? Мы слишкомъ близки къ происшествiямъ, а на все великое и необычайное должно смотрѣть издалека. Увлекаясь современной славой Наполеона, мы едва обращаемъ взоры на самихъ себя. Нѣтъ для русскихъ 1812-го года и для Наполеона — потомство еще не наступило!

Послѣ упорнаго и кровопролитнаго сраженія подъ Смоленскомъ, бывшаго 5 числа августа, наши войска стали отступать къ Дорогобужу. Направленіе большой непріятельской арміи доказывало рѣшительное

намѣреніе Наполеона завладѣть древней столицей Россіи; и въ то время, какъ войска наши, подъ командою храбраго графа Витгенштейна, громили Полоцкъ и истребляли корпусъ Удино, угрожавшій Петербургу, Наполеонъ быстро подвигался впередъ. 13-го числа августа, онъ былъ уже въ Дорогобужѣ. Нѣсколько часовъ сряду нашъ аріергардъ удерживалъ стремленіе непріятеля; наступающая ночь прекратила, наконецъ, военныя дѣйствія; пушечные выстрѣлы стали рѣже, и стрѣлки обѣихъ армій, протянувъ передовыя цѣпи, присоединились къ своимъ колоннамъ. Русскій аріергардъ расположился биваками по большой Московской дорогѣ, въ двухъ верстахъ отъ Дорогобужа. Запылалъ длинный рядъ огней, и усталые воины устылись вокругъ артельныхъ котловъ, въ которыхъ варилась сытная русская каша. Подлѣ одного ярко-пылающаго костра, прислонивъ голову къ высокому казачьему сѣдлу, лежалъ на широкомъ потникѣ молодой офицеръ, въ бѣлой кавалерійской фуражкѣ; небрежно накинутая на плеча черкесская бурка не закрывала груди его, украшенной георгіевскимъ крестомъ; онъ наигрывалъ на карманномъ флажолетѣ французскій романсъ: *Jeune Troubadour*, и, казалось, все вниманіе его было устремлено на то, чтобъ брать чище и вѣрнѣе ноты на сей музыкальной игрушкѣ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ другой офицеръ въ сюртукѣ, съ золотымъ аксельбантомъ: онъ смотрѣлъ пристально на мѣдный чайникъ, который стоялъ на угольяхъ; но, вѣроятно, думалъ совершенно о другомъ, потому что вовсе не замѣчалъ, что чай давно кипѣлъ и нѣсколько уже разъ начиналъ выливаться изъ чайника.

— Рославлевъ!—сказалъ офицеръ въ буркѣ, переставъ играть на своемъ флажолетѣ,—каково я кончилъ это колыно? а?.. Ну, что ты молчишь, Владиміръ! да проснись, душенька!

— Что ты, братецъ? — спросилъ Рославлевъ, не глядя на своего товарища, въ которомъ читатели, вѣроятно, узнали уже пріятеля его, Зарѣцкаго.

— Я, mon cher? Ничего! Да съ тобой-то что дѣлается? Не удивительно, что ты оглохъ; мнѣ и самому кажется, что отъ сегодняшней проклятой канонады я сталъ крѣпокъ на-ухо; но отчего ты ослѣпъ?.. Гляди, гляди!.. Да чтожъ ты смотришь, братецъ? Вѣдь чай уйдетъ.

Рославлевъ, не отвѣчая ничего, отодвинулъ чайникъ отъ огня. Зарѣцкій вынулъ изъ выюка сахаръ, два серебряныхъ стакана, фляжку съ ромомъ, и черезъ минуту горячій пуншъ былъ готовъ.

Подавая одинъ стаканъ своему пріятелю, Зарѣцкій сказалъ:—Ну-ка, Владиміръ, запей свою кручину! Да полно, братецъ, думать о Подинѣ. Что въ самомъ дѣлѣ? Убьютъ, такъ и дѣло съ концомъ; а останешься живъ, такъ самому будетъ веселѣе явиться къ невѣстѣ, быть-можетъ, съ подвязанной рукою и георгіевскимъ крестомъ, къ которому за сраженіе подъ Смоленскомъ ты вѣрно представленъ.

— Ахъ, Александръ, вотъ уже болѣе мѣсяца, какъ я разстался съ нею! Не знаю, получаетъ ли она мои письма, но я не имѣю о ней никакого извѣстія.

— Да, мой другъ, это ужасно! Мы сами не знаемъ по-утру, гдѣ будемъ вечеромъ; а ты хочешь, чтобъ она знала, куда адресовать свои письма, и чтобъ они всѣ до тебя доходили. Ахъ, ты, чудакъ, чудакъ!

— Но если и мои письма пропадаютъ? Если она думаетъ, что я убитъ?

— А реляція-то на что, мой другъ? Дерись почаще такъ, какъ ты дрался сегодня по-утру, такъ невѣста твоя изъ каждаго газетъ узнаетъ, что ты живъ. Это, мой другъ, одна переписка, которую теперь мы можемъ вести съ нашими пріятелями. А впрочемъ, если она будетъ думать, что тебя убили, такъ и это не бѣда: больше обрадуется и крѣпче обниметъ, когда увидитъ тебя живого.

— Но почему ты думаешь, что одна эта мысль не убьетъ ее?

— Почему, почему... во-первыхъ, потому, что съгоря не умирають; во-вторыхъ...

— Ты не знаешь моей Полины, Александръ. Одно извѣстіе, что я снова иду въ военную службу, едва не стоило ей жизни. Она прочла письмо твое...

— А, такъ она его читала? Не правда ли, что оно бойко написано? Я увѣренъ былъ впередъ; что при чтеніи сего краснорѣчиваго посланія русское твое сердце забьетъ такую тревогу, что любовь и мѣста не найдетъ. Только въ одномъ ошибся: я думалъ, что ты прежде женишься, а тамъ ужъ пріѣдешь сюда провать подъ картечными выстрѣлами свою свадьбу: по крайней мѣрѣ, я на твоёмъ мѣстѣ непременно бы женился.

— Чтожъ дѣлать, мой другъ! Мать Полины не хотѣла объ этомъ и слышать. Я долженъ былъ или не вступать въ службу, или рѣшиться остаться женихомъ до окончанія войны.

— Ну, mon cher, хороша же твоя будущая маменька! Я зналъ, что она самая бонтонная барыня, парижанка, что отъ нея требовать большого патріотизма не можно; но, право, не полагалъ... Ахъ, знаешь ли что? Вѣдь она живетъ въ деревнѣ?.. Ну, такъ и есть! Бѣдняжка и не подозреваетъ, что въ столицахъ тонъ совершенно перемѣнился. Еслибъ она знала, въ какой теперь модѣ патріотизмъ, то вѣрно бы не стала съ тобой торговаться. Ты не можешь себѣ представить, какъ все перемѣнилось въ Петербургѣ: французскій театръ закрыли и—ни одна русская барыня не охнула. Всѣ наши дамы въ такомъ порядкѣ, что любо посмотреть: съ утра до вечера готовятъ для насъ корпію и перевязки, по-французски не говорятъ, и даже родственница твоя, княгиня Радугина, — повѣришь ли, братецъ?—пресквернымъ русскимъ языкомъ — вотъ такъ французовъ и позорить.

— Слава Богу! мы догадались, наконецъ, что у насъ есть отечество и свой собственный языкъ.

— О, что касается до нашего языка, то, конечно,

теперь онъ въ модѣ; а дай только войнѣ кончиться, такъ мы заболтаемъ пуще прежняго по-французски. Языкъ-то хорошъ, мой милый! Ври себѣ, что хочешь, говори сущій вздоръ, а все кажется умно. Но я прервалъ тебя. Итакъ, твоя Полина, прочтя, мое письмо...

— Слегла въ постель, мой другъ, и хотя послѣ ей стало легче, но когда я сталъ прощаться съ нею, то она ужасно меня перепугала. Представь себѣ: горестъ ей была такъ велика, что она не могла даже плакать; почти полумертвая она упала мнѣ на шею! Не помню, какъ я бросился въ коляску и доѣхалъ до первой станціи... А, кстати, я тебѣ еще не сказывалъ. Ты писалъ ко мнѣ, что взялъ въ плѣнъ французскаго полковника, графа, графа... какъ бишь?

— Сеникура.

— Да, вѣдь я съ нимъ повстрѣчался верстахъ въ тридцати отъ моей деревни. Въ то время, какъ я перемѣнялъ лошадей, привезли его и нѣсколько другихъ плѣнныхъ офицеровъ на почтовый дворъ. Зная твое пристрастіе къ французамъ, я не очень тебѣ вѣрилъ; но, признаюсь, на этотъ разъ твои похвалы были даже слишкомъ умѣренны. Подлинно, молодецъ!.. Разрубленная голова его была вся въ перевязкахъ, и, несмотря на это, я не могъ налюбоваться на его прекрасную и благородную фізіономію. Когда я узналъ, что онъ тотъ самый полковникъ, котораго ты угощалъ на своемъ бивакѣ, то, разумѣется, сталъ его разспрашивать о тебѣ, и хотя отъ боли и усталости онъ едва могъ говорить, но отвѣчалъ весьма подробно на всѣ мои вопросы. Положеніе его было ужасно: онъ чувствовалъ сильную лихорадку, которая могла превратиться въ смертельную болѣзнь, еслибъ его оставили безъ помощи. Я уговорилъ конвойнаго офицера сдать его на руки капитанъ-исправнику, который, по моей просьбѣ, взялся отвезти его въ деревню къ будущей моей тещѣ. Въ нашемъ уѣздномъ городкѣ было бы ему несравненно хуже.

— Разумѣется. Да знаешь ли что? Я позабылъ къ

тебѣ написать. Кажется, онъ знакомъ съ семействомъ твоей Полины; по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ сказывалъ, что года два тому назадъ, въ Парижѣ, познакомился съ какой-то русской барыней, также Лидиной, и ѣздилъ часто къ ней въ домъ. Тогда онъ былъ еще женатъ.

— Такъ онъ вдовецъ?

— Да, жена его умерла за нѣсколько мѣсяцевъ до этой кампаніи. Но кой чортъ?.. Что это?

Надъ головою Зарѣцкаго прожужжала пуля; вслѣдъ за нею свистнула въ двухъ шагахъ другая.

— Что это? Французы съ ума сошли!—сказалъ Росславлевъ.—Да въ кого они стрѣляютъ?.. Ну, видно, у нихъ много лишняго пороху.

— Это шалютъ на цѣпи,—прервалъ Зарѣцкій,—и вѣрно задираютъ наши. Пойдемъ, братецъ!—продолжалъ онъ, вставая,—посмотримъ, что тамъ эти озорники дѣлаютъ.

Отойдя нѣсколько шаговъ отъ своего бивака, они подошли къ мелкому кустарнику, въ которомъ протянута была наша передовая цѣпь; шагахъ въ пятидесяти отъ нея стояли французскіе часовые; позади нихъ пылали огни непріятельскаго авангарда, а вдали, вкругъ Дорогобужа, по всему пространству небосклона, разстилалось широкое зарево. Въ непріятельскомъ авангардѣ было все тихо; но тамъ, гдѣ безчисленные огни сливались въ одну необозримую пламенную полосу, гремѣла музыка, и, отъ времени-до-времени, раздавались веселые крики пирующаго непріятеля.

Когда они подошли къ передовой цѣпи, то все уже опять успокоилось. Почти всѣ часовые, разставленные попарно въ близкомъ разстояніи другъ отъ друга, наблюдали глубокое молчаніе. Ночь была пасмурна, и сѣрыя шинели солдатъ сливались совершенно съ темной зеленью кустовъ, среди которыхъ они стояли. Изрѣдка только непріятельскіе огни отражались на блестящихъ штыкахъ ихъ ружей и вызывали французскихъ часовыхъ на перестрѣлку, почти всегда бесполезную, но

которая не менѣе того тревожила иногда всю передовую линію нашего арьергарда.

Нѣсколько уже минутъ Зарѣцкій и Рославлевъ шли вдоль цѣпи, не говоря ни слова. Вдругъ Зарѣцкій приложилъ къ губамъ палецъ и сказалъ шопотомъ Рославлеву: «тсъ! тише, братецъ!»

— Что ты?—спросилъ Рославлевъ также вполголоса.

— Постой!.. Такъ точно... Вотъ, кажется, за этимъ кустомъ говорятъ межъ собой наши солдаты... Пойдемъ поближе. Ты не можешь себѣ представить, какъ иногда забавны ихъ разговоры, а особливо, когда они увѣрены, что никто ихъ не слышитъ. Мы привыкли видѣть ихъ во фронтѣ, и думаемъ, что они вовсе не разсуждаютъ. Послушай-ка, какіе есть между ними политики—умора да и только! Но тише!.. Не шуми, братецъ!

Они подошли потихоньку къ двумъ часовымъ, которые, опираясь на свои ружья, вполголоса разговаривали между собою.

— Смотри-ка, братъ!—сказалъ одинъ изъ нихъ.— Ну, что за народъ эти французы, и огонька-то разложить порядкомъ не умѣютъ. Видишь—тамъ, какой костеръ запалили?.. Экъ они навалили бревенъ-то, проклятые!

— Да вѣдь лѣсъ-то не ихъ, братецъ, — отвѣчалъ другой часовой,—такъ чего имъ жалѣть?

— Какъ чего? Не все жъ имъ идти впередъ: пойдутъ назадъ; а какъ теперь все выжгутъ, такъ и самимъ послѣ будетъ жутко.

— Да что это, Федотовъ, мы все идемъ назадъ, а они впередъ?..

— Видно, такъ надобно.

— Ужъ нѣтъ ли, братъ, измѣны какой?..

— Нѣтъ, братецъ! Ты этого дѣла не смыслишь: мы ратируемся.

— Вотъ что!

— Ну, да! пусть себѣ идутъ впередъ. Теперь они сгоряча такъ и лѣзутъ, а какъ проѣдутъ сотенки три-

четыре верстѣ, такъ уходятся. Ну, знаешь, отсталыхъ будетъ много, по сторонамъ разбредутся, а мы тутъ-то и нагрянемъ. Понимаешь?..

— То-есть врасплохъ?.. Разумѣю. А что, Федотовъ, вѣдь надо сказать правду: эти французы бравые ребята. Вотъ хоть сегодня, досталось намъ на орѣхи: правда, и мы пощелкали ихъ порядкомъ, да они себѣ и въ усь не дуютъ! Ахъ, чортъ побери! Что за диковинка! Люди мелкіе, поджарые, ну, взглянуть не на что, а какъ дерутся!..

— Да, братецъ, конечно; народъ азартный, а не сдобровать имъ.

— Право?

— Ужъ я тебѣ говорю. Да и чему быть?.. Порядку вовсе нѣтъ. Я былъ у нихъ въ полону, такъ насмотрѣлся. Ну, ужъ вольница! Въ грошъ не ставятъ своихъ командировъ; а передъ фельдфебелемъ и фуражки не ломаютъ. Нашъ братъ не спрашиваетъ: зачѣмъ то, зачѣмъ другое? Идетъ, куда ведутъ, да и дѣло съ концомъ; а они—такъ нѣтъ: у всякаго свой царь въ головѣ; да добро бы кто-нибудь? А то иной барабанщикъ, и тотъ норовитъ своего генерала за поясъ заткнуть. А ужъ скорохваты какіе... Батюшки свѣты! Алонъ, алонъ! вотъ такъ сначала и задорятся! И что говорить, конечно, накороткѣ хоть кого оборвутъ, а какъ дѣло пойдетъ въ оттяжку, такъ нѣтъ, братъ, не жди пути!..

— Правда ли, Федотовъ, — сегодня наши ребята болтали, — что Англія съ нами?

— Говорятъ, такъ. Вотъ это, братецъ, народъ!

— А ты почему знаешь!

— Я еще, любезный, до солдатства былъ съ моимъ баринкомъ въ ихъ главномъ городѣ. Ну, городокъ! больше Москвы; народъ крупный, здоровый; постоитъ за себя! А какъ, братъ, дерутся въ кулачки, такъ я тебѣ скажу!.. У барина былъ тамъ другой слуга, изъ тамошнихъ; онъ мароквалъ немного по-русски, такъ все мнѣ показывалъ и толковалъ. Вотъ, однажды, по-

вѣлъ онъ меня въ ихъ судъ—ужъ наглядѣлся я! Всѣ, знаешь, сидятъ такъ чинно, а судьи говорятъ. Товарищъ мнѣ все по-нашему пересказывалъ. Вотъ вдругъ одинъ судья—такой растрепанный, всталъ и сказалъ: «быть войнѣ». Какъ вскочить другой судья, да закричить: «такъ врешь, не быть войнѣ». И пошли, и пошли! То тотъ, то другой; ужъ они говорили, говорили, а другіе-то все слушаютъ, да вдругъ, нѣтъ, нѣтъ, и закричатъ: «гирь, гирь, гирь!..» Знато, братецъ!

— Куда ты, братъ Федотовъ, всего наглядѣлся, подумаешь!

— Да, любезный, дѣло бывалое: и тамъ и сямъ, и въ другихъ-прочихъ земляхъ бывали; кому другому, а намъ не въ диковинку... Ходили въ походъ и въ Нѣмцію. То-то сытная земля и народъ ласковый! По-разговоришься съ хозяиномъ, такъ все дастъ. Бывало, войдешь въ избу: «ну, здравствуй, камарадъ!» Онъ заговорить по-своему; ты скажешь: «добре, добре!» а тамъ и спросишь: бруту, биру, того, другого; станетъ отпѣкиваться, такъ закричишь: «капутъ!» Вотъ онъ тотчасъ и заговорить: «Русишь гуть!» А ты скажешь: «Нѣмецъ гуть!»—дѣло дойдетъ до шнапсу, и пошли пировать. Захотѣлось выпить по другой, такъ покажешь на рюмку, да скажешь: «нохъ!», анъ глядишь: тебѣ и подають другую, вѣдь языкъ-то ихъ не мудренъ, братецъ!

— Такъ ты по нѣмецкому-то знаешь?

— Мало ли что мы знаемъ! Эхъ, Ваня! какъ бы не чарочка сгубила молодца, такъ я давно бы былъ ужъ унтеромъ.

— Постой-ка, Федотовъ!—сказалъ другой часовой, поднимая свое ружье. — Посмотри, что это тамъ за французской цѣбью противъ огонька мелькнуло? Какъ будто бь верховой... Вонъ опять!.. видишь?

— Вижу, — отвѣчалъ Федотовъ. — Какой-нибудь французскій офицеръ объѣзжаетъ передовую цѣпь.

— Не спѣшить ли его?—шеннулъ второй часовой, взводя курокъ.

— Погоди, погоди!.. Его опять не видно. Что даромъ-то патроны терять! Дай ему поровняться противъ огонька.

Черезъ полминуты, кавалеристъ, въ драгунской каскѣ, враслонивъ собою огонь ближайшаго непріятельскаго бивака, остановился позади французской цѣпи, и всадникъ, вмѣстѣ съ лошадыю, явственно отпечатались на огненномъ полѣ пылающаго костра.

— Ну, вотъ теперь!—сказалъ, прикладываясь, второй часовой.

— Постой, постой, братецъ! Спугнешь!—прервалъ Федотовъ.—Ты и въ мишень плохо попадаешь; дай-ка мнѣ!

— Ну, ну, стрѣлай! посмотримъ твоей удали.

Федотовъ прицѣлился; вдругъ смуглыя лица обоихъ солдатъ освѣтились, раздался выстрѣлъ, и непріятельскій офицеръ упалъ съ лошади.

— Ай да молодецъ, — сказалъ Зарѣцкій, сдѣлавъ шагъ впередъ; но въ ту жъ самую минуту, вдоль непріятельской линіи, раздались ружейные выстрѣлы, пули засвистали межъ кустовъ, и кто-то, схвативъ за руку Рославлева, сказалъ:—не стыдно ли тебѣ, Владиміръ Сергѣевичъ, такъ дурачиться? Ну, что за радость, если тебя убьютъ, какъ простаго солдата? Офицеръ долженъ желать, чтобъ его смерть была на что-нибудь полезна отечеству.

— Кто вы?—спросилъ съ удивленіемъ Рославлевъ.—Вашъ голосъ мнѣ знакомъ: но здѣсь такъ темно...

— Пойдемъ къ твоему биваку.

Наши пріатели, не говоря ни слова, пошли вслѣдъ за незнакомымъ. Когда они стали подходить къ огнямъ, то замѣтили, что онъ былъ въ военномъ сюртукѣ съ штабъ-офицерскими эполетами. Подойдя къ биваку Зарѣцкаго, онъ повернулся и сказалъ веселымъ голосомъ:—Ну, теперь узнаешь ли ты меня?

— Возможно ли! Это вы, Федоръ Андреевичъ?—вскричалъ съ радостію Рославлевъ, узнавъ въ незнакомомъ пріателѣ своего Сурскаго.

— Ну, вотъ видишь ли, мой другъ!—продолжалъ Сурскій, обнявъ Рославлева,—я не обманулъ тебя, сказавъ, что мы скоро съ тобой увидимся.

— Такъ вы опять въ службѣ?

— Да, я служу при главномъ штабѣ. Я очень радъ, мой другъ, что могу первый тебя поздравить и порадовать твоихъ товарищей, — прибавилъ Сурскій, взглянувъ на офицеровъ, которые толпились вокругъ бивака, надѣясь услышать что-нибудь новое отъ подковника, пріѣхавшаго изъ главной квартиры.

— Поздравить? Съ чѣмъ? — спросилъ Рославлевъ.

— Съ георгіевскимъ крестомъ. Я сегодня самъ читалъ объ этомъ въ приказахъ. Но прощай, мой другъ! Мнѣ надобно еще поговорить съ твоимъ генераломъ и потомъ ѣхать назадъ. До свиданья! Надѣюсь, мы скоро опять увидимся.

Казалось, эта новость обрадовала всѣхъ офицеровъ; одинъ только молодой человѣкъ, закутанный въ короткий плащъ безъ воротника, не поздравилъ Рославлева; онъ поглаживалъ свои черные, съ большимъ искусствомъ закрученные сверху усы, и не старался нимало скрывать насмѣшливой улыбки, съ которою слушалъ поздравленія другихъ офицеровъ.

— Посмотри, братецъ!—шепнулъ Зарѣцкій своему пріятелю, — какъ весело князю Блесткину, что тебѣ дали Георгія: у него отъ радости языкъ отнялся.

— И, Александръ! — отвѣчалъ вполголоса Рославлевъ.—Какое мнѣ до этого дѣло!

— Куда, подумаешь, какъ зависть безобразить человѣка: онъ недуренъ собою, а смотри, какая теперь у него рожа.

— Да что тебѣ за охота разсматривать фizioномію этого фанфарона?

— Постой, братецъ, я пойду, погорюю съ нимъ вмѣстѣ. Что ты такъ нахмурился, князь?—продолжалъ Зарѣцкій, подойдя къ офицеру, закутанному въ плащъ.

— Кто? Я?—сказалъ князь Блесткинъ. — Ничего, братецъ, такъ!..

— Ужъ не досадно ли тебѣ?

— Что такое?.. Вотъ вздоръ какой! Я думалъ только теперь, какъ выгодно быть въ военное время адъютантомъ.

— Право?

— Какъ же, братецъ! Адъютантъ можетъ дать при случаѣ весьма полезный совѣтъ своему генералу; на-примѣръ: не стоять подъ картечными выстрѣлами, а какъ за полезный совѣтъ даютъ Георгія...

— То ты вѣрно его получишь,—прервалъ Зарѣцкій.—Ступай скорѣе въ адъютанты.

— Что ты хочешь этимъ сказать?—спросилъ гордо Блесткинъ.

— А то, что Рославлевъ не совѣтовалъ, а дрался, и подъ Смоленскомъ ходилъ въ атаку съ полкомъ, въ которомъ ты служишь.

— Я что-то этого не помню.

— Да какъ тебѣ помнить? Ты въ началѣ сраженія получилъ контузію и лежалъ замертво въ обозѣ.

— Послушай, Зарѣцкій! этотъ насмѣшливый тонъ!.. Ты знаешь, я шутокъ не люблю.

— Какъ не знать? Вѣдь ты ужасный дуэлистъ.

— Я надѣюсь, никто не осмѣлится сказать...

— Чтобъ ты не былъ прехрабрый офицеръ? Боже сохрани! Я скажу еще больше: ты ужасный патріотъ, и такъ сердитъ на французовъ, что видѣть ихъ не хочешь.

— Полноте, господа, остриться,—прервалъ бригадный адъютантъ Вельскій, который уже нѣсколько времени слушалъ ихъ разговоръ. — А сѣдлайте-ка лошадей: сейчасъ въ походъ.

— Вотъ тебѣ разъ!—вскричалъ Рославлевъ;—а мы не успѣли и поужинать.

— Охъ этотъ фанфарониска!—сказалъ вполголоса Зарѣцкій.—Какъ бы я желалъ поговорить съ нимъ въ восьми шагахъ...

— Перестань, братецъ! Какъ тебѣ не стыдно?—прервалъ Рославлевъ.—Развѣ въ военное время можно думать о дуэляхъ?

Всѣ офицеры, кромѣ Блесткина, разошлись по своимъ бивакамъ.

— Вы шутите очень забавно, — сказалъ онъ, подойдя къ Зарѣцкому; — но я не желалъ бы остаться у васъ въ долгу...

— А что угодно вашему сіятельству? — спросилъ съ низкимъ поклономъ Зарѣцкій.

— Кажется, этого пояснять не нужно...

— А, понимаю! Вамъ угодно со мною драться? Извините, ваше сіятельство! теперь, право, некогда; послѣ, если прикажете.

— Разсчитъ недуренъ, — сказалъ съ презрительной улыбкою Блесткинъ; — то-есть вы подождете, пока меня убьютъ?..

— И оплутите! да этого вѣкъ не дожدهшься.

— Я презираю ваши глупыя насмѣшки и повторяю еще разъ, что если вы знаете, что такое честь — въ чемъ, однакожъ, я очень сомнѣваюсь...

Лицо Зарѣцкаго вспыхнуло; онъ схватилъ Блесткина за руку, но Рославлевъ не далъ ему выговорить ни слова. — Пойдите, господа! — вскричалъ онъ. — Если ужъ непременно надобно кому-нибудь драться, такъ — извините, князь, — вы деретесь не съ нимъ, а со мною. Ваши дерзкія замѣчанія насчетъ полученной мною награды вызвали его на эту неприятность; но такъ какъ я обиженъ прежде...

— Нѣтъ, Владиміръ, — прервалъ Зарѣцкій, — я не уступлю тебѣ удовольствія проучить этого обознаго героя...

— Фи, Александръ, — приличенъ ли этотъ тонъ между офицерами!

— Но я хочу непременно.

— Послѣ меня, Зарѣцкій; прошу тебя!

— Позвольте мнѣ прекратить этотъ великодушный споръ, — сказалъ насмѣшливо Блесткинъ. — Я начну съ васъ, господинъ Рославлевъ... но когда же?

— При первомъ удобномъ случаѣ.

— То-есть не прежде окончанія кампаніи?

— О, не беспокойтесь! Это будетъ скорѣе, чѣмъ вы думаете.

— Посмотримъ, — сказалъ уходя Блесткинъ. — Не забудьте однакожъ, что я не люблю дожидаться, и найду, можетъ-быть, средство поторопить васъ весьма непріятнымъ образомъ.

— Наглець! — вскричалъ Зарѣцкій, схватившись за свою саблю.

— И, полно, Александръ! Не горячись! Ты увидишь, какъ я проучу этого фанфарона; а межъ тѣмъ велика сѣдлать нашихъ лошадей.

Черезъ нѣсколько минутъ приказали снимать потихоньку передовую цѣпь; огни были оставлены на своихъ мѣстахъ, и весь аріергардъ, наблюдая глубокую тишину, выступилъ въ походъ по большой Московской дорогѣ.

IV.

14-го числа августа, наши войска, преслѣдуемыя непріателемъ, шли, почти не останавливаясь, цѣлыя сутки. По всѣмъ предположеніямъ, большая русская армія должна была, несмотря на искусные маневры Наполеона, соединиться при Вязьмѣ съ молдавской арміею, которая слѣшила къ ней навстрѣчу. 15-го числа нашъ аріергардъ, въ виду непріятельскаго авангарда, остановился при деревнѣ Семехахъ. Позади одной русской колонны, прикрывавшей нашу батарею изъ шести полевыхъ орудій, стоялъ, прислонясь къ небольшому лѣску, гусарскій эскадронъ, которымъ командовалъ Зарѣцкій. Съ правой стороны, шаговъ сто отъ лѣса, въ низкихъ и поросшихъ кустарникомъ берегахъ, извивалась узенькая рѣчка; съ полверсты, вверхъ по ея теченію, видны были: плотина, водяная мельница и нѣсколько, разбросанныхъ безъ всякаго порядка, избъ.

— Тѣфу пропасть, какъ я усталъ! — сказалъ Зарѣцкій, слѣзая съ лошади. — Авось французы дадутъ намъ перевести духъ!

— Врядъ ли!—возразилъ краснощекій и видный собою гусарскій поручикъ, слѣзая также съ коня.—Мнѣ кажется, они берутъ позицію.

— Можетъ-быть для того, чтобъ отдохнуть; я думаю, они устали не меньше нашего. Да что ты такъ хмуришься, Пронскій?

— Чего, братецъ! Я вовсе исковерканъ, точно разбитая лошадь: насилу на ногахъ стою. И эти пѣхотинцы еще намъ завидуютъ! Попробовалъ бы кто-нибудь изъ нихъ не сходить съ коня цѣлыя сутки.

— Кто это несется съ праваго фланга?—спросилъ Зарѣцкій, показывая на одного офицера, который проскакалъ мимо передовой линіи на англезированной вороной лошади.

— Хорошъ же ты, братъ! — сказалъ съ улыбкою Пронскій; — не узналъ своего пріятеля: это князь Блесткинъ.

— Ахъ, батюшки! Что онъ такъ суетится?

— Такъ ты не знаешь? Нашъ бригадный генералъ взялъ его къ себѣ за адъютанта.

— Право? Ну, не съ чѣмъ поздравить его превосходительства!

— Да и Блесткинъ, я думаю, не больно себя поздравляетъ: генералъ-то вовсе не по немъ—молодецъ! Терпѣть не можетъ дуэлистовъ; а подъ картечью раскуриваетъ трубку, да любитъ, чтобъ и адъютанты его дѣлали то-же.

— Эй, Зашибаевъ!—вскричалъ Зарѣцкій,—подержи мою лошадь; а ты, Пронскій, побудь при эскадронѣ: я пройду немного впередъ и посмотрю, что тамъ дѣлается.

Широкоплечій вахмистръ принялъ лошадь Зарѣцкаго, который, пройдя шаговъ сто впередъ, подошелъ къ батарее. Канонеры, раздувая свои фитили, стояли въ готовности подлѣ пушекъ, а командующій орудіями артиллерійскій поручикъ и человѣка три пѣхотныхъ офицеровъ толпились вокругъ заряднаго ящика, изъ

котораго высокій фейерверкеръ вынималъ манерку съ водкою, сыръ и нѣсколько хлѣбовъ.

— Милости просимъ!—сказалъ одинъ толстый офицеръ въ капитанскомъ знакѣ. — Не хочешь ли выпить и закусить?

— А, это ты, Зарядьевъ? — отвѣчалъ Зарѣцкій. — Пожалуй, какъ не закусить! Да ты что тутъ хозяйничаешь. Помилуй, Ленскій! — продолжалъ онъ, обращаясь къ артиллерійскому офицеру, — за что онъ меня твоимъ добромъ потчуетъ?

— Нѣтъ, не его, а мой, — прервалъ Зарядьевъ. — Я бился съ нимъ о завтракъ, и выигралъ. Онъ спорилъ со мной, что мы здѣсь не остановимся.

— А почему ты думалъ, что должны мы здѣсь остановиться?

— Да посмотри-ка, какая славная позиція! Рѣчка, лѣсокъ, кустарникъ для стрѣлковъ. Небось, французы не вдругъ сунутся насъ атаковать, а мы межъ тѣмъ отдохнемъ.

— Врядъ ли! — сказалъ Зарѣцкій, покачивая головою. — Посмотри, какъ они тамъ за рѣчкой маневрируютъ... Вонъ, кажется, потянулась конница... а прямо противъ насъ... Ну, такъ и есть. Они ставятъ батарею.

— Зато взгляни направо къ мельницѣ... Видишь, задымился огонекъ? Вонъ другой...

— Такъ чтожъ?

— А то, что они собираются не атаковать насъ, а отдохнуть и пообѣдать; а пока они готовятъ свой супъ, и наши ребята успѣютъ сварить себѣ кашу. Ну-ка, братъ, выпей!

— Такъ ты думаешь, Зарядьевъ, что эту манерку изъ рукъ у меня ядромъ не вышибетъ?

— Небось, пей на здоровье!

— Слышали ль, господа! — сказалъ Ленскій, — что князь Блесткинъ попалъ въ адъютанты къ нашему бригадному командиру?

— Какъ же! — отвѣчалъ Зарядьевъ; — онъ и прежде

не хотѣлъ говорить съ нашимъ братомъ, а теперь, чай, къ нему и доступу не будетъ.

— Да какъ это ему вздумалось?—продолжалъ Ленскій.—Не знаю, у кого другого, а у нашего генерала шарканьемъ не много возьмешь. Да вотъ, кажется, его сіятельство сюда скачетъ. Ну, легокъ на поминѣ!

— Господа офицеры!—сказалъ Блесткинъ, подскакавъ къ батарее, — его превосходительство приказалъ намъ быть въ готовности, и если французы откроютъ по васъ огонь, то сейчасъ отвѣчать.

— Слушаю.

— Мнѣ кажется,—продолжалъ Блесткинъ, посмотрѣвъ съ важностію вокругъ себя, — зарядные ящики стоятъ слишкомъ близко отъ орудій.

— Это ужъ не ваша забота, господинъ Блесткинъ!—отвѣчалъ хладнокровно Ленскій, повернувшись къ нему спиною.

— О! если такъ,—вскричалъ Блесткинъ съ гордостію,—то я доложу генералу...

— Въ самомъ дѣлѣ? — прервалъ Ленскій. — Доложите ему, что его адъютантъ мѣшается тамъ, гдѣ его не спрашиваютъ.

— Господинъ офицеръ! Я совѣтую вамъ...

— Напрасно беспокоитесь, ваше сіятельство!—подхватилъ Зарѣцкій.—Вѣдь за этотъ совѣтъ вамъ Георгія не дадутъ.

Блесткинъ поблѣднѣлъ отъ досады; но, не отвѣчая ни слова, прищипорилъ свою лошадь и поскакалъ далѣе.

— Эхъ, Ленскій! — сказалъ толстый капитанъ, — что ты не далъ ему побариться? Тебя бы отъ этого не убыло, а мы бы посмѣялись.

— Прощу покорно!—прервалъ Ленскій,—вздумалъ меня учить! И добро бы зналъ самъ службу...

— Вѣрно не знаетъ! — подхватилъ Зарядьевъ. — Вотъ года три тому назадъ ко мнѣ въ роту попалъ такой же точно молодчикъ — всѣхъ такъ и загонялъ! Бывало на словахъ города беретъ, а какъ вышелъ въ первый разъ на ученъе, такъ и языкъ прилипъ къ

гортани. До штабсъ-капитанскаго чина все въ замкѣ ходилъ.

— Поглядите-ка, господа! — сказалъ Ленскій; — что тамъ за рѣчкою дѣлается? Французы что-то больно зашевелились.

Вдругъ густое облако дыма закрутилось на противоположномъ берегу; окрестность дрогнула, и одно ядро съ визгомъ пронеслось надъ головами нашихъ офицеровъ.

— Ну, что, Зарядевъ, — сказалъ Зарѣцкій, — видно, французы ужъ отобѣдали?

— По мѣстамъ, господа! — закричалъ Зарядевъ пѣхотнымъ офицерамъ, которые спокойно завтракали, сидя на пушечномъ лафетѣ. — Зарѣцкій, — продолжалъ онъ, — пойдемъ къ намъ въ колонну — до васъ еще долго дѣло не дойдетъ.

— Черезъ орудіе — ядрами! — скомандовалъ громкимъ голосомъ Ленскій. — Живѣй, ребята!

Зарѣцкій и Зарядевъ подошли къ колоннѣ; капитанъ сталъ на свое мѣсто. Ударили походъ. Одна рота отдѣлилась отъ прикрытія, выступила впередъ, рассыпалась по кустамъ вдоль рѣчки, и съ обѣихъ сторонъ началась жаркая ружейная перестрѣлка, заглушаемая по временамъ непріятельской и нашей канонадою, которая становилась часть-отъ-часу сильнѣе.

— Ну, видно, мы сегодня поработаемъ! — замѣтилъ Зарядевъ. — Посмотри-ка впередъ, какія тянутся густыя колонны по большой дорогѣ.

— Здравствуй, Александръ! — сказалъ Рославлевъ, подъѣхавъ къ Зарѣцкому. — Что ты здѣсь дѣлаешь?

— Да такъ, братецъ! Пришелъ посмотреть. Мой эскадронъ стоитъ вонъ тамъ, подлѣ лѣса, откуда ни чего не видно. А ты какъ сюда попалъ?

— Ъздилъ съ приказаніями на правый флангъ. Кажется, дѣло будетъ не на шутку.

— А что?

— Приказано не только удерживать позицію, но перебросить черезъ рѣчку нашихъ стрѣлковъ, и ста-

раться всячески опрокинуть первую непріятельскую линію.

— Слава Богу! насилу-то и мы будемъ атаковать. А то, повѣришь ли, какъ надоѣло? *Toujours sur défensive* — тоска да и только. Ого!.. кажется, приказаніе ужъ исполняется?.. Видишь, какъ подбавляютъ у насъ стрѣлковъ?.. Чортъ возьми, да это батальный огонь, а не перестрѣлка. Чтожъ это французы не усиливаютъ своей цѣпи?.. Смотри, смотри!.. Ихъ сбили... Они бѣгутъ... Вонъ ужъ наши на той сторонѣ... Ай да молодцы!

— Вся колонна впередъ — маршъ! — скомандовалъ полковникъ.

— Ну, прощай покамѣстъ, Александръ! — сказалъ Рославлевъ.

— Что за прощай, братецъ! До свиданья! Куда ты?

— На лѣвый флангъ, къ моему генералу.

Вся наша передовая линія подалась впередъ; батареи также подвинули, и сраженіе закипѣло съ новой силой.

— Ну, какая тамъ идетъ жарня! — сказалъ Зарядьевъ, смотря на противоположный берегъ рѣчки, подернутый густымъ дымомъ, сквозь который прорывались безпрестанно яркіе огоньки. — Не надолго нашихъ двухъ ротъ станетъ. Да что съ тобой, Сицкій, сдѣлалось? — продолжалъ онъ, обращаясь къ одному молодому прапорщику. — На тебѣ лица нѣтъ! Помилуй, развѣ ты въ первый разъ въ дѣлѣ!

— Мой братъ въ стрѣлкахъ, — отвѣчалъ молодой офицеръ.

— Такъ чтожъ?

— А наша рота еще нейдетъ.

— Не безпокойся, дойдетъ дѣло и до вашей роты.

— Но братъ мой...

— И, Сицкій! Богъ милостивъ — воротится.

— Врядъ ли воротится, — прервалъ грубымъ голосомъ одинъ высокій офицеръ съ непріятной и даже

отвратительной физиономіею. — Тамъ что-то больно жарко.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вы думаете?.. — спросилъ съ беспокойствомъ молодой офицеръ.

— Да что за диковинка? Натурально, его убьютъ скорѣе въ стрѣлкахъ, чѣмъ меня здѣсь въ колоннѣ.

— Какъ тебѣ не стыдно! — сказалъ вполголоса Зарядьевъ. — Ты знаешь, какъ онъ любитъ своего брата.

— Вотъ еще какія нѣжности!.. У меня и двухъ братьевъ убили, да я...

Высокій офицеръ не окончилъ начатой фразы: неприятельское ядро, вырвавъ два ряда солдатъ, раздробило ему черепъ.

— Сомнись! — скомандовалъ Зарядьевъ. Солдаты придвинулись другъ къ другу. Еще нѣсколько ядеръ пролетѣло черезъ колонну.

— Эй, вы! — закричалъ Зарядьевъ, — стоять смирно! Ну! начали кланяться, дурачье! Тотчасъ узнаешь рекрутъ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Зарѣцкому. — Обстрѣленный солдатъ отъ ядра не шевелится... Кто тамъ еще отвѣсилъ поклонъ?

— Нечедьевъ, ваше благородіе! — отиѣчалъ унтеръ-офицеръ.

— Такъ и есть — рекрутъ! Эй, ты, Нечедьевъ, зачѣмъ нагибаешь голову?

— Ядро, ваше благородіе.

— А какое тебѣ до него дѣло, болванъ? Чего ты боишься.

— Убьетъ, ваше благородіе!

— Убьетъ, дуралей! Слушай команды, а убьетъ — не твоя бѣда. Ахти! Никакъ это ведутъ капитана третьей роты? Ну, видно, его порядкомъ зацѣпило!

Два солдата подвели къ колоннѣ офицера, обрызганнаго кровью; онъ едва могъ переступить, и переводилъ духъ съ усиленіемъ.

— Вы ранены? — сказалъ полковникъ.

— И, кажется, смертельно! — отвѣчалъ едва слышимымъ голосомъ капитанъ.

— Прикажете подкрѣпить нашихъ стрѣлковъ: фран-
нузы одолѣваютъ.

— А что маіоръ.

— Убить.

— А капитанъ Бѣловъ.

— Убить.

— А братъ мой?—спросилъ робко Сидкій.

— Убить.

— Убить! — повторилъ молодой офицеръ, поблѣд-
нѣвъ какъ смерть. Съ полминуты онъ молчалъ; потомъ
вдругъ глаза его засверкали, румянецъ заигралъ въ
щекахъ; онъ оборотился къ полковнику и сказалъ:—
Степанъ Николаевичъ! Сдѣлайте милость—Бога ради!
позвольте мнѣ въ стрѣлки.

— Хорошо; ступайте съ первой ротою, — сказалъ
полковникъ, взглянувъ съ примѣтнымъ состраданіемъ
на молодого офицера. — Вторая и первая рота въ
стрѣлки!—Зарядьевъ! Вы примите команду надъ всей
нашей цѣпью... Барабаникиъ—походъ!

— Становись!—скомандовалъ Зарядьевъ.—Да смо-
три, у меня въ воробьевъ не стрѣлять! Мѣтитъ въ
полчеловѣка! Перекрестись! Ну, ребята, съ Богомъ—
маршъ!—Прощай, Зарѣцкій!

— Прощай, братецъ! Я также отправляюсь къ мо-
ему эскадрону. Можетъ-быть, и до насъ дѣло скоро
дойдетъ.

Уже болѣе пяти часовъ продолжалось сраженіе;
нѣсколько разъ стрѣлки наши то сбивали непріятель-
скую цѣпь и дрались на противоположномъ берегу
рѣчки, то, прогоняемые на нашу сторону, продол-
жали перестрѣлку въ нѣсколькихъ шагахъ отъ ко-
лоннъ своихъ. Канонада не умолкала ни на минуту съ
обѣихъ сторонъ; но наша и непріятельская конница
оставались въ бездѣйствіи. Въ то самое время, какъ
Зарѣцкій начиналъ думать, что на этотъ разъ эска-
дронъ его не будетъ въ дѣлѣ, которое, повидимому,
не могло долго продолжаться, подскакалъ къ нему
Рославлевъ.—Ну, Александръ!—сказалъ онъ,—съ Бо-

гомъ! Тебѣ велѣно переправиться черезъ рѣчку и атаковать съ фланга непріятельскихъ стрѣлковъ.

— Насилу о насъ вспомнили!.. Фланкеры! Осмотрѣть пистолеты, сабли вонъ!

— Ты долженъ прикрывать отступленіе стрѣлковъ третьей колонны,—продолжалъ Рославлевъ.—Имъ становится ужъ больно тяжело. Бѣдняжки дерутся часовъ пять сряду.

— Живъ ли нашъ пріятель Зарядьевъ! Вѣдь онъ, кажется, ими командуетъ?

— А вотъ сейчасъ узнаю: я ѣду къ нему съ приказаніемъ, чтобъ онъ понемногу отступалъ къ нашей передовой линіи. Смотри, Александръ, налети соколомъ, чтобъ эти французы не успѣли опомниться и дали время Зарядьеву убраться по-добру-по-здорову на нашу сторону.

— А вотъ, что Богъ дастъ. По три налѣво заѣзжай—рысью—маршъ!

Зарѣцкій съ своимъ эскадрономъ принялъ направо, а Рославлевъ пустился прямо черезъ плотину, вдоль которой свистѣли непріятельскія пули. Подъѣхавъ къ мельницѣ, онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что между ею и мучнымъ амбаромъ, построеннымъ также на плотинѣ, прижавшись къ стѣнкѣ, стоялъ какой-то кавалерійскій офицеръ на вороной лошади. Удивленіе его исчезло, когда онъ узналъ въ этомъ храбромъ воинѣ—князя Блесткина.

— Что вы, сударь, здѣсь дѣлаете?—спросилъ Рославлевъ, оставивъ свою лошадь.

— Ахъ! это вы?—вскричалъ Блесткинъ съ самой вѣжливой улыбкою.

— Да, сударь, это я. А вы зачѣмъ здѣсь?

— Меня послалъ генералъ взглянуть, что дѣлается въ передовой цѣпи.

— И вы для этого спрятались за этотъ амбаръ? Немного вы отсюда увидите.

— Чтожъ мнѣ дѣлать съ этой проклятой лошадыю?—сказалъ Блесткинъ.—Она не хочетъ ни впередъ идти, ни стоять на плотинѣ.

Онъ далъ шпоры своему англійскому жеребцу, который въ самомъ дѣлѣ запрыгалъ на одномъ мѣстѣ, и, казалось, не хотѣлъ никакъ отойти отъ стѣны

— Ну, вотъ видите!

— Да, я вижу, — прервалъ Рославлевъ, — что вы изо всей силы тянете ее за мундштукъ; но дѣло не въ томъ: я очень радъ, что васъ встрѣтилъ. Вы, кажется, вчера вызывали меня на дуэль?

— Неужели?.. Можетъ-быть, я погорячился... но я, право, не помню.

— Да я не забылъ. Выѣзжайте, сударь на плотину.

— Помилуйте! что вы хотите дѣлать?

— Ничего. Я хочу вамъ показать, какого рода дуэли позволительны въ военное время. Ну, чтожъ? долго ли мнѣ дожидаться? Да ослабьте поводья, сударь! Она пойдетъ... Послушайте, Блесткинъ! Если ваша лошадь не перестанетъ упрямиться, то я сегодня же скажу генералу, какъ вы исполняете его приказанія.

— Однакожъ, господинъ Рославлевъ, — сказалъ Блесткинъ, выѣхавъ на плотину, — позвольте вамъ замѣтить: этотъ начальнический тонъ...

— Не о тонѣ рѣчь, сударь. Вы посланы къ стрѣлкамъ, я также: не угодно ли вамъ прогуляться со мною по нашей цѣпи.

— Помилуйте! мы оба верхами.

— Такъ чтожъ?

— Всѣ непріятельскіе стрѣлки станутъ на васъ мѣтить.

— Въ томъ-то и дѣло. Вѣдь вы сами вызвали меня на дуэль. Правда, мы не будемъ стрѣлять другъ въ друга; но это ничего: за насъ постараются французы.

— Помилуйте! что это за дуэль?

— Мнѣ некогда вамъ доказывать, что этотъ поединокъ стоитъ того, который вы мнѣ вчера предлагали. Извольте ѣхать.

— Но, господинъ Рославлевъ...

— Ни слова болѣе или я стану вездѣ и при всѣхъ

называть васъ трусомъ. Мнѣ кажется, ваша лошадь не очень боится шпоръ. Позвольте!—Рославлевъ ударилъ нагайкою лошадь Блесткина и выскакалъ вмѣстѣ съ нимъ на другой берегъ рѣчки.

Передъ ними открылось обширное поле, усыпанное французскими и нашими стрѣлками; густыя облака дыма стлались по землѣ; вдали, на возвышенныхъ мѣстахъ, двигались непріятельскія колонны. Пули летали по всѣмъ направленіямъ, жужжали какъ пчелы, и не прошло полминуты, одна пробила на вылетъ фуражку Рославлева, другая оторвала часть воротника Блесткиной шинели.

— Впередъ, сударь, впередъ!—кричалъ Рославлевъ, понукая нагайкою лошадь несчастнаго князя, который, блѣдный какъ полотно, тянулъ изо всей силы за мундштукъ.—Прошу не отставать; вотъ и наша цѣпь. Эй, служба!—продолжалъ онъ, подзывая къ себѣ солдата, который заряжалъ ружье,—гдѣ капитанъ Зарядьевъ?

— Вотъ въ этихъ кустахъ, ваше благородіе!

— Позови его сюда. А мы съ вами, господинъ Блесткинъ, остановимся здѣсь, на этомъ бугоркѣ; отсюда и мы будемъ примѣтнѣе, и намъ будетъ все виднѣе.

— Помилуйте, Рославлевъ!—вскричалъ отчаяннымъ голосомъ Блесткинъ, — за что же вы хотите сдѣлать изъ насъ цѣль для французовъ?

— Ого, господинъ дуэлистъ, вы трусите? Постойте, я васъ отучу храбриться не кстати. Куда, сударь, куда? — продолжалъ Рославлевъ, схвативъ за поводъ лошадь Блесткина. — Я не отпущу васъ, пока не заставлю согласиться со мною, что одни ничтожные фанфароны говорятъ о дуэляхъ въ военное время.

— Я не спору... можетъ-быть...

— Нѣтъ, постойте! не можетъ-быть; я вамъ докажу это.

— Боже мой! посмотрите, въ насъ цѣляютъ!

— Такъ чтожъ? Пускай цѣляютъ. Не правда ли, что порядочный человѣкъ и храбрый офицеръ постыдится

вызывать на поединокъ своего товарища въ то время, когда быть раненымъ на дуэли есть безчестіе?..

— Ну, хорошо, положимъ, что правда...

— Постойте! Не правда ли, что одному только фанфарону, не понимающему, что такое истинная храбрость, позволительно насмѣхаться надъ тѣмъ, кто отказывается отъ дуэли за нѣсколько часовъ до сраженія?

— Конечно, конечно... я согласенъ... Боже мой! что это?..

— Ничего, это рикошетное ядро. Согласитесь, что тотъ, кто боится умереть въ дѣлѣ противъ непріятеля, ищетъ случая быть раненымъ на дуэли для того, чтобъ пролежать спокойно въ обозѣ во время сраженія...

Вдругъ, шагахъ въ пяти отъ нихъ, раздался пронзительный свистъ; что-то запрыгало по пенькамъ и кочкамъ, и обрызгало грязью обоихъ офицеровъ.

— Это что такое? — вскричалъ съ ужасомъ Блесткинъ.

— Ничего, это карточь. Согласитесь, что Зарѣцкій долженъ былъ отвѣчать однимъ презрѣніемъ на вашъ вызовъ, что ему вовсе не нужно...

— Ахъ, Боже мой! я раненъ! — вскричалъ Блесткинъ.

— Ничего. Вамъ оцарапало только щеку и оторвало половину уха. Согласитесь, что Зарѣцкому вовсе не нужно было доказывать надъ вами свою храбрость; что онъ...

— Ради Бога, Рославлевъ!.. Я на все согласенъ...

— Вотъ, кажется, идетъ Зарядьевъ? Ну, теперь вы можете ѣхать, только постарайтесь встрѣчаться со мною какъ можно рѣже. Я вамъ скажу откровенно: вы мнѣ гадки. Прощайте!

Рославлевъ выпустилъ изъ рукъ поводья; Блесткинъ прищипорилъ свою лошадь и помчался, какъ изъ лука стрѣла, къ нашимъ резервамъ.

— Эге! — сказалъ Зарядьевъ, подойдя къ Рославлеву; — кто это далъ отсюда такого стрелка? Посмотри-ка, словно птица летитъ.

— Это Блесткинъ.

— Нѣтъ, шутишь? И онъ здѣсь былъ, вмѣстѣ съ тобою? Да развѣ его на арканѣ сюда притащили?

— Разумѣется поневолѣ. Я расскажу тебѣ объ этомъ на просторѣ, а теперь изволь-ка убираться отсюда со своими стрѣлками.

— Да, нечего сказать, пора! Насъ порядкомъ побавилось. Эй! барабанщикъ, сборъ!

— Много убито офицеровъ?

— Да не осталось и половины.

— А что этотъ молодой прапорщикъ?.. Какъ бишь его зовутъ?.. Такой милый, скромный...

— Сицкій?

— Да.

— Вотъ здѣсь въ кустахъ, лежитъ рядышкомъ съ своимъ братомъ.

— Убить? Какъ жаль!

— Ну, братецъ, какъ-то Богъ и остальныхъ вынесетъ. Вѣдь какъ мы начнемъ ретироваться, такъ французы намъ кланяться не станутъ; посмотри, какіе будутъ проводы.

— Не безпокойся! Зарѣцкій съ своимъ эскадрономъ сдѣлаетъ диверсію, и станетъ прикрывать ваше отступление... Вонъ видишь? Онъ заѣзжаетъ во флангъ французскимъ стрѣлкамъ.

— Вижу. А видишь ли ты—немного полѣвѣ?..

— Что это? Никакъ непріятельская конница?

— Да, кажется, что такъ. Нѣтъ, братецъ! Зарѣцкому будетъ не до меня. Дѣлать нечего, придется одному отгрызаться.

Разсыпанные межъ кустовъ и по полю стрѣлки стали собираться вокругъ барабанщика, и Зарядьевъ, несмотря на сильный непріятельскій огонь, командуя какъ на ученьи, свернулъ челоѣкъ четыреста оставшихся солдатъ въ небольшую колонну.—Смотрите!—сказалъ онъ,—слушать команду, ровняться, идти въ ногу, а пуще всего не прибавлять шагу. Тихимъ шагомъ—маршъ!

Рославлевъ, который ѣхалъ въ головѣ ретирующей колонны, не спускалъ глазъ съ эскадрона Зарѣцкаго.

Ну, Зарядьевъ! — сказалъ онъ, — помоги Богъ нашему пріятелю! Смотри, смотри! Вонъ несутся на него французскіе латники. Боже мой! да ихъ, кажется, эскадрона два или три!

— Не бойся, братецъ! Бой будетъ равный. Видишь, одинъ эскадронъ принимаетъ направо, прямехонько на насъ. Милости просимъ, господа! мы васъ поподчуемъ! Смотри, ребята! Безъ приказа не стрѣлять; заднимъ шеренгамъ передавать передней заряженные ружья; не торопиться и слушать команды. Господа офицеры! Прошу быть внимательными. По первому взводу строй каре!

Въ одну минуту изъ небольшой густой колонны составилось порядочное каре, которое продолжало медленно подвигаться впередъ. Межъ тѣмъ непріятельская конница, какъ громовая туча, приближалась къ отступающимъ. Не доѣхавъ шаговъ полутораста до каре, она остановилась; раздалась громкая команда французскихъ офицеровъ, и весь эскадронъ латниковъ, подобно бурному потоку, ринулся на небольшую толпу безстрашныхъ русскихъ воиновъ.

— Погодите, голубчики! — сказалъ Зарядьевъ, — мы васъ шарахнемъ! Каре, стой! Въ пол-оборота налѣво... первый плутонгъ — клацъ-пли!

Густое облако дыма скрыло на минуту непріятельскую кавалерію; но, повидимому, сей первый залпъ не очень ее разстроилъ, и когда дымъ разсѣялся, то французскіе латники были уже не далѣе пятидесяти шаговъ отъ каре. — Третій плутонгъ, — скомандовалъ Зарядьевъ, — клацъ-пли! Пятый плутонгъ клацъ-пли! Я думаю, — продолжалъ онъ, — этого будетъ съ нихъ довольно.

Въ самомъ дѣлѣ, когда можно стало различать сквозь дымъ окружные предметы, Рославлевъ увидѣлъ, что непріятельскій эскадронъ, совершенно разстроенный, принялъ направо, оставивъ на одномъ мѣстѣ болѣе пятидесяти убитыхъ лошадей и солдатъ.

— Ну, это дѣло кончено! — сказалъ Зарядьевъ. — Теперь впередъ. Во фронтъ — маршъ!

— Ай да молодецъ! — вскричалъ Рославлевъ. — Славно отдѣлался.

— Отдѣлался, да не совсѣмъ, — прервалъ капитанъ съ примѣтнымъ неудовольствіемъ. — Посмотри-ка, кто это заѣзжаетъ къ намъ въ тылъ.

— Еще конница?

— То-то и дѣло, что нѣтъ — провалъ бы ее взялъ, проклятую! Такъ и есть! Конная артиллерія. Слушайте, ребята! Если кто хоть на волосъ высунется впередъ — Боже сохрани! Тихимъ шагомъ!.. Господа офицеры! Идти въ ногу!.. Лѣвой, правой!.. разъ, два!..

Три ядра, одно за другимъ, прогудѣли надъ головами солдатъ, четвертое попало въ самую средину каре. Не прибавляй шагу! — закричалъ Зарядьевъ. — Примкни! Передній фасъ ровняйся!.. Въ ногу!.. Заболтали;.. Вотъ я васъ... Стой!

Каре остановилось; еще нѣсколько ядеръ выхватило человѣкъ пять изъ задняго фронта, который примѣтнымъ образомъ началъ колебаться. — Не шевелиться! — закричалъ громовымъ голосомъ Зарядьевъ; — а не то два часа продержу подъ ядрами. Унтеръ-офицеры на линію... Впередъ — ровняйся! Стой!.. Тихимъ шагомъ — маршъ.

— Послушай, Зарядьевъ! — сказалъ вполголоса Рославлевъ, — ты, конечно, хочешь показать свою неустрашимость: это хорошо; но заставлять идти въ ногу, выравнивать фронтъ, дѣлать почти ученъе подъ выстрѣлами непріятельской батареи!.. Я не назову это фанфаронствомъ, потому что ты не фанфаронъ; но, воля твоя, это такой безчеловѣчный педантизмъ...

— Эхъ, братецъ, убирайся къ чорту съ твоими французскими словами! Я знаю, что дѣлаю. То-то любезный, ты еще молодецъ! Когда солдатъ думаетъ о томъ, чтобъ идти въ ногу да ровняться, такъ не думаетъ о непріятельскихъ ядрахъ.

— Положимъ, что такъ, но для чего вести ихъ тихимъ шагомъ?

— А ты бы, чай, повелъ скорымъ? Нѣтъ, ду-

шенька, отъ скорого шагу до бѣготни не далеко; а какъ побѣгутъ да нагрянетъ конница, такъ тогда уже поздно будетъ командовать. Однакожь, взгляни-ка налѣво: кажется, нашъ пріятель Зарѣцкій дѣлаетъ то же, что мы.

Въ самомъ дѣлѣ, Зарѣцкій, атакованный двумя эскадронами латниковъ, послѣ жаркой схватки, scomандовалъ уже: По три налѣво кругомъ, заѣзжай! какъ дивизіонъ русскихъ уланъ подоспѣлъ къ нему на помощь. Въ нѣсколько минутъ непріятельская кавалерія была опрокинута, но въ то же самое время Рославлевъ увидѣлъ, что одинъ русский офицеръ, убитый или раненый, упалъ съ лошади.—Боже мой! — вскричалъ онъ, — это, кажется, Зарѣцкій? Такъ точно, это его сѣрая лошадь...

— И, братецъ!—прервалъ Зарядьевъ,—мало ли сѣрыхъ лошадей... Да постой, куда ты?

Но Рославлевъ, не слушая его словъ, пріударилъ нагайкою свою лошадь и полетѣлъ въ ту сторону, гдѣ происходило кавалерійское дѣло.

Когда Рославлевъ сталъ приближаться къ нашей конницѣ, то непріятельская, подкрѣпленная свѣжими войсками, построилась снова въ боевой порядокъ, и между обѣихъ кавалерійскихъ колоннъ начали разѣзжаться и показывать свое удалъство фланкеры обѣихъ сторонъ. Одинъ французскій конный егеръ, спшибъ съ лошади сабельнымъ ударомъ русскаго гусара, подскакалъ шаговъ на десять къ Рославлеву и выстрѣлилъ по немъ изъ пистолета. Сгоряча Рославлевъ едва почувствовалъ, что ему какъ будто бы обожгло лѣвую руку; онъ подѣхалъ къ гусарамъ, и первый офицеръ, его встрѣтившій, былъ Зарѣцкій.

— Слава Богу!—вскричалъ Рославлевъ,—ты живъ. А мнѣ показалось издали...

— Да, Владиміръ! я живъ и даже не раненъ; но поручика моего французы отправили на тотъ свѣтъ. Жаль, славный былъ малый. Да постой-ка; что у тебя рука? Ты раненъ.

— Раненъ? Неужели?

— Да, и, кажется, не на шутку; надобно скорѣй перевязать твою руку.

— Сейчасъ прискакалъ съ приказомъ адъютантъ, — сказалъ уланскій ротмистръ, подъѣхавъ къ гусарамъ. — Намъ велѣно отретироваться за передовую нашу линію.

— Эй, Трощенко! — закричалъ Зарѣцкій, — труби аппель! Да, кажется, и французы устали ужъ драться, — продолжалъ онъ, поглядывая впередъ: — ихъ цѣпь начинаетъ очень рѣдѣть, и канонада почти совсѣмъ утихла.

— На нашемъ флангѣ утихла, — прибавилъ уланъ; — а слышите ли на лѣвомъ какая еще идетъ жарня?

Гусарскій эскадронъ, примкнувъ къ уланамъ, переправился, не будучи преслѣдуемъ непріателемъ, черезъ рѣчку, въ то самое время, какъ Зарядьевъ, потерявъ еще нѣсколько солдатъ, присоединился благополучно къ своей колоннѣ. Зарѣцкій, сдавъ на нѣсколько времени команду старшему по себѣ, проводилъ Рославлева до обоза, расположеннаго въ полувёрстѣ отъ нашихъ резервовъ. На каждомъ шагѣ встрѣчались имъ раненые; всѣ лѣкаря были заняты. Прождавъ около четверти часа подлѣ огонька, разложеннаго между фуръ, Зарѣцкій вскричалъ, наконецъ, съ нетерпѣніемъ: — Да чтожь это до сихъ поръ не отыщутъ нашего полковаго лѣкаря? Я боюсь, не раздроблена ли у тебя кость?

— А вотъ увидимъ-съ, — сказалъ, подходя къ нимъ, человекъ небольшого роста, съ широкимъ краснымъ лицомъ и прищуренными глазами. — Позвольте-съ!

— Насилу пришелъ! — сказалъ Зарѣцкій. — Мы съ пол часа тебя дожидаемся.

— Сейчасъ, сударь, сейчасъ! Что, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, и васъ зацѣпило? Эге-ге!.. Подлѣ самага локтя! Пойдите-ка... Ого-го... На вылетъ! Ну изрядно-съ! Да не извольте скидать скюртука; мы лучше распоремъ рукавъ. Эй, Швалева! — продолжалъ онъ, обращаясь къ полковому фельдшеру, который

стоялъ позади его съ перевязками,—разрѣжь рукавъ, а я межъ тѣмъ приготовлю инструменты.

— А что? — спросилъ Зарѣцкій, — развѣ ты думаешь, что надобно будетъ?..

— Не могу доложить-сь, — отвѣчалъ лѣкарь, перебирая свой хирургическій портфель; — а врядъ ли дѣло обойдется безъ ампутациі! Да не безпокойтесь, я взялъ новые инструменты: это минутное дѣло.

— Помилуй, братецъ! — вскричалъ Зарѣцкій, — что у тебя за страсть рѣзать руки? Будетъ съ тебя: я думаю, сегодня ты ихъ съ полдюжины отрѣзалъ.

— Съ полдюжины?.. Нѣтъ, сударь! прошу не прогнѣваться, — возразилъ съ гордостію обиженный хирургъ; — поболѣе будетъ полдюжины! Швалевъ! сколько мы сегодня отпилили рукъ?

— Одиннадцать, ваше благородіе!

— Врешь, дуракъ! Двѣнадцать рукъ и три ноги; всего пятнадцать операцій въ одинъ день. Нечего сказать, славная практика-сь! Ну, Владиміръ Сергѣевичъ, позвольте теперь... Да не бойтесь, я хочу только зондировать вашу рану.

Послѣ минутнаго молчанія, въ продолженіе котораго Зарѣцкій не спускалъ глазъ съ своего друга, лѣкарь объявилъ, что повидимому пуля не сдѣлала никакого важнаго поврежденія. — Ну, Владиміръ Сергѣевичъ, — прибавилъ онъ, — поздравляю васъ! Кажется, вы останетесь съ рукою, а еслибъ на волосокъ пониже, то пришлось бы пилить... Впрочемъ, это было бы короче — минутное дѣло; да оно же и вѣрнѣе.

— Спасибо, Иванъ Ивановичъ! — сказалъ улыбаясь Рославлевъ. — Такъ и быть, я ужъ рискну остаться съ рукою.

— Какъ угодно-сь. Только я совѣтую вамъ отсюда уѣхать. Во всякомъ случаѣ, рана ваша требуетъ частой перевязки, а мы двухъ дней не стоимъ на одномъ мѣстѣ, такъ трудненько будетъ-сь наблюсти аккуратность.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ Зарѣцкій, — ступай

лѣчиться къ своей невѣстѣ. Видишь ли, мое предсказаніе сбылось: ты явишься къ ней съ Георгіевскимъ крестомъ и съ подвязанной рукою. Куда ты счастливъ, разбойникъ! Ну, что за прибыль, если меня ранятъ? Къ кому явлюсь я съ распоротымъ рукавомъ? Передъ кѣмъ стану интересничать? Передъ кузнями и почтенной моей тетушкой? Большая радость!.. Но вотъ, кажется, и на лѣвомъ флангѣ угомонились. Пора: черезъ полчаса въ пяти шагахъ ничего не будетъ видно.

Сраженіе прекратилось, и нашъ арьергардъ, отступив версты двѣ, расположился на бивакахъ. На другой день Рославлевъ получилъ увольненіе отъ своего генерала и, найдя почтовыхъ лошадей въ Вязьмѣ, доѣхалъ благополучно до Серпухова; но тутъ онъ долженъ былъ поневолѣ остановиться: рука его такъ разболѣлась, что онъ не прежде двухъ недѣль могъ отправиться далѣе, и, наконецъ, 26-го августа, въ день знаменитаго Бородинскаго сраженія, Рославлевъ перемѣнилъ въ послѣдній разъ лошадей, не доѣзжая тридцати верстъ до села Утѣпина.

V.

Размытая проливными дождями проселочная дорога, по которой ѣхалъ Рославлевъ вмѣстѣ съ своимъ слугою, становилась часъ-отъ-часу тяжелѣе, и, несмотря на то, что они ѣхали въ легкой почтовой телѣжкѣ, усталыя лошади съ трудомъ тащились шагомъ. Солнце уже садилось, послѣдніе лучи его, догорая на ясныхъ небесахъ, золотили верхи холмовъ, покрытыхъ желтой нивою. Позади нашихъ путешественниковъ и надъ ихъ головами не было замѣтно ни одного облачка; но душный воздухъ стѣснялъ дыханіе, и впереди, изъ-за густого лѣса, подымались черныя тучи.

— Ну, сударь, будетъ гроза!—сказалъ Егоръ, поглядывая робко впередъ.—Посмотрите-ка, какія оттуда лѣзутъ тучи... Ухъ, батюшки!.. одна другой страшнѣе!

— Не даромъ сегодня такъ парило, — промолвилъ

извозчикъ. — Вонъ и ласточки низко летаютъ — быть грозѣ!

— А далеко ли еще до Утѣшина? — спросилъ Рославлевъ.

— Верстѣ пятнадцать — поболѣ будетъ.

— Только-то? — сказалъ Егоръ. — Такъ ступай скорѣе: долго ли промахнуть пятнадцать верстѣ.

— И радъ бы ѣхать, да, вишь, дорога-то какая. Чему и быть: ужъ съ недѣлю дождикъ такъ ливмъ и льетъ.

— Можетъ-быть, впереди дорога лучше.

— Куда лучше! Версты за три до села, слышь ты, такъ благо, что вовсе проѣзда нѣтъ.

— Да нѣтъ ли другой дороги? — спросилъ Рославлевъ.

— Баютъ, что лѣсомъ есть объѣздъ. Кабы было у кого поспросить, такъ можно бы; а то дѣло къ ночи: запропастишься такъ, что животу не радъ будешь.

— Постой! — вскричалъ Егоръ. — Вонъ тамъ, подлѣ лѣса, ѣдетъ кто-то верхомъ. Догоний-ка его: можетъ статься, онъ здѣшній.

Ямщикъ пріударилъ лошадей, и черезъ нѣсколько минутъ, подѣхавъ къ частому сосновому бору, они догнали верхового, который, въ сопровожденіи двухъ борзыхъ собакъ, ѣхалъ потихонько опушкой лѣса.

— Владиміръ Сергѣичъ! — сказалъ Егоръ, — да это никакъ ловчій Николая Степановича Ижорскаго? Ну, такъ и есть, онъ! Эй, Шурловъ! здравствуй, любезный!

Охотникъ оглянулся, повернулъ свою лошадь и, подѣхавъ къ телѣгѣ, — вскрикнулъ: — Что это? Ахъ, батюшка, Владиміръ Сергѣевичъ, это вы?

— Какъ ты сюда заѣхалъ, Архипычъ? Зачѣмъ? — спросилъ Егоръ.

— А вотъ видишь, зачѣмъ, — отвѣчалъ Шурловъ, показывая на двухъ зайцевъ, которые висѣли у него въ *торокахъ*.

— Ну, что, братецъ, все ли у васъ благополучно? —

спросилъ съ примѣтной робостію Рославлевъ. — Всѣ ли здоровы?..

— Всѣ, слава Богу, батюшка; то-есть Прасковья Степановна и объ барышни; а объ нашемъ баринѣ мы ничего не знаемъ. Онъ изволилъ пойти въ ополченіе, да и всѣ наши сосѣди—кто уѣхалъ въ дальнія деревни, кто также пошелъ въ ополченіе. Ну, повѣрите ль, Владиміръ Сергѣичъ, весь уѣздъ такъ опустѣлъ, что хоть шаромъ покати. А осень-та, кажется, будетъ знатная! да такъ—ни за копѣйку пропадетъ; и поохотиться некому.

— Послушай, братъ, — прервалъ Егоръ, — гдѣ у васъ объѣздъ лѣсомъ? А то, говорятъ, дорога-то къ селу больно плоха.

— Да такъ-то плоха, что и сказать нельзя. Объѣздомъ лучше; а все, какъ станете подъѣзжать къ селу, такъ — не роди мать на свѣтѣ!.. грязь по ступицу. Вотъ я поѣду подлѣ васъ да укажу, гдѣ надо своротить съ дороги.

Ямщикъ тронулъ лошадей, и наши путешественники потащились шагомъ впередъ.

— Ну, сударь,—продолжалъ Шурловъ,—не чаяли мы такъ скоро васъ видѣть. Да что это? никакъ у васъ рука подвязана?

— Да, я раненъ.

— Слава Богу, что еще въ руку, батюшка. А, чай, сколько головъ легло подъ однимъ Смоленскомъ? Ну, сударь, прогнѣвался на насъ Господь! Тяжкія времена! Вотъ хоть черезъ нашъ уѣздъ, ужъ ѣхало, ѣхало смоленскихъ обывателей. Сердечные! Въ разоръ разорены! Поглядишь на иного помѣщика; ѣдетъ, родимый, съ женой да съ дѣтьми, а куда? И самъ не знаетъ. Вѣрите ль Богу, сердце изныло, гляди на ихъ слезы; и какъ гоняють мимо насъ этихъ плѣнныхъ французовъ, то вотъ такъ бы ихъ, разбойниковъ, и съѣлъ! Эхъ, сударь!.. А Прасковья-то Степановна... Богъ ей судья!..

— Что такое?..

— Не вамъ бы слушать и не мнѣ бы говорить! Вѣдь она родная сестрица нашего барина, а посмотрите-ка, что толкуютъ о ней въ народѣ — уши вянутъ!.. Экій срамъ, подумаешь!

— Ты пугаешь меня!.. Да что такое?

— Помните ли, сударь, мѣсяца два назадъ, какъ я вывихнулъ ногу—вотъ какъ по милости вашей прометались всѣ собаки и русакъ ушелъ? Ахъ, батюшка, Владиміръ Сергѣичъ, какое зло тогда меня взяло!.. Поставилъ роднаго въ чистое поле, а вы... Ну, ужъ честилъ же я васъ—не погнѣвайтесь!..

— Хорошо, братецъ, хорошо; но дѣло не о томъ...

— Ну, вотъ, сударь! Я провалился безъ ноги близко мѣсяца; вы изволили уѣхать; заговорили о французахъ, о войнѣ; вдругъ слышу, что какого-то заповѣннаго француза привели въ деревню къ Прасковѣ Степановнѣ. Боленъ, дескать, нельзя гнать съ другими плѣнными! Какъ будто бы у насъ въ городѣ и острога нѣтъ!..

— А, это тотъ раненый полковникъ...

— А чортъ его знаетъ, полковникъ ли, онъ или нѣтъ! Они всѣ межъ собой за панибрата; платьемъ пообносились, такъ не узнаешь, кто капраль, кто генераль. Да это бѣ еще ничего; отвели бѣ ему фатеру гдѣ-нибудь на селѣ—въ людской или въ передбанникѣ, а то помилуйте!.. Забрался въ барскія хоромы, да захватилъ подъ себя всю половину покойнаго мужа Прасковьи Степановны. Ну, пусть онъ полковникъ, сударь; а все-таки французъ, все пилъ кровь нашу, такъ какой складъ русской барынѣ водить съ нимъ компанію?

— Послушай, Шурловъ, и Богъ велитъ безоружнаго врага миловать, а особливо, когда онъ боленъ.

— Да ужъ онъ, сударь, давнымъ-давно выздоровѣлъ. И посмотрите, какъ отѣлся; какой сталъ гладкій—пострѣлъ бы его взялъ! Быкъ-быкомъ! И это бы не бѣда: пусть бы онъ себѣ трескалъ, проклятый, да жирилъ въ волю — чортъ съ нимъ! Да знай сверчокъ

свой шестокъ, а то срамота-то какая!.. Вѣдь онъ ни дать, ни взять, сталъ нашимъ помѣщикомъ.

— Какъ помѣщикомъ?

— Да такъ же! Расхаживаетъ себѣ по хоромамъ, изъ комнаты въ комнату, курить изъ господской пѣнковой трубки, которую покойникъ берегъ нуще своего глаза. Подавай ему того, другого; да какъ покрикиваетъ на людей — словно баринъ какой. А какъ пойдетъ гулять по саду съ барыней, такъ—Господи, Воже мой! Подбоченится, закинетъ голову... Ну, чортъ ему не братъ! Я старикъ, а и во мнѣ кровь закипитъ всякій разъ, какъ съ нимъ повстрѣчаюсь — такъ руки и зудятъ! Ухъ, батюшки!.. Кабы воля да воля, хватилъ бы его рожномъ по боку, такъ пересталъ бы кочевряжиться! Подумаешь, сколько, чай, сгубилъ онъ православныхъ, а русская барыня на рукахъ его носитъ!

— Полно, Шурловъ, не сердись. Если онъ выздоровѣлъ, то, конечно, должно его отправить въ городъ; я поговорю объ этомъ.

— Поговорите, батюшка, а то, знаете ли? Не ладно, видитъ Богъ, не ладно! На селѣ всѣ мужички стали межъ собой калякать: — Что, дескать, это? Ужъ барыня-то наша не измѣнница ли какая? Поить и кормить злодѣевъ нашихъ. И анагдась такъ было разшумаркались, что и приказчикъ мѣста не нашелъ. Что, дескать, этому нехристю смотрѣть въ зубы? въ колья его, ребята! Ужъ кое-какъ уговорилъ ихъ батька Василій. Правда, съ тѣхъ поръ французъ и носу не смѣетъ показывать; а барыня стала такая ласковая съ отцомъ Васильемъ: въ недѣлю-то разъ пять онъ обѣдаетъ на господскомъ дворѣ. Охъ, батюшка! не даромъ это! Знаете ли, какой слухъ недавно прошелъ въ народѣ?.. Страшно вымолвить!

— А что такое?

— Говорятъ... не дай, Господи, согрѣшить напрасно! — продолжалъ Шурловъ, понизивъ голосъ. — Говорятъ, будто бы старая-то барыня хочетъ выйти замужъ за этого француза.

— Какой вздоръ!

— Можетъ статья и вздоръ, батюшка, да вѣдь глотки никому не заткнешь; и власть ваша, а дѣло на то походить. Пелагея Николаевна — невѣста ваша, да она недавно куда жъ больна была, сердечная!

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, захворала было не на шутку; но теперь, говорятъ, слава Богу, оправилась и стала повеселѣй. Ольга Николаевна, какъ слышно, не очень изволить жаловать этого француза, такъ на кого и подумать, какъ не на старую барыню. А она же, какъ говорятъ, ни пяди отъ него не отстаётъ, и по-французскому вотъ такъ и сыплетъ; день-деньской только и слышутъ люди: мусью да мусью, мадамъ да мадамъ, шушуканье да шепотня съ утра до вечера. Ну, воля ваша, а это все не къ добру! Вѣдь бѣсъ-то силенъ, батюшка! Долго ль до грѣха! Да и проклятый французъ... такая диковинка!.. Видали мы мусьювъ и учителей: все народъ плюгавый, гроша не стоитъ; а этотъ пострѣлъ, кажется, французъ, а какой бравый дѣтина!.. Что грѣхъ таить, батюшка, стоитъ русскаго молодца. Вотъ вы смѣтаете, Владиміръ Сергѣичъ, а смотрите, чтобъ не пришлось намъ всѣмъ плакать.

— Не бойся, Шурловъ; ты не знаешь, почему Прасковья Степановна такъ ласкова съ этимъ французомъ: вѣдь они давно уже знакомы.

— Вотъ что?.. Ну, это какъ будто бы полегче; а все лучше, если бы его отправили къ командѣ! Не то время, Владиміръ Сергѣичъ! Чай, слышали пословицу: «дружба дружбой, а служба службой!» А вѣдь чѣмъ же намъ и послужить теперь Государю, какъ не тѣмъ, чтобъ бить наповаль эту саранчу заморскую. Былъ, батюшка, и на ихъ улицѣ праздникъ: поили ихъ, кормили, приголубливали, а теперь пора и въ дубью принять. Ну, вотъ, Владиміръ Сергѣичъ, и поворотъ, — продолжалъ старый ловчій, остановивъ свою лошадь. — Извольте ѣхать прямо по этой просѣкѣ, до песочнаго врага; держитесь все правой руки, а тамъ пойдетъ

дорога налѣво; какъ поровняетесь съ деревяннымъ крестомъ—изволите знать, что въ сосновой рощѣ?

— Какъ не знать!—подхватилъ Егоръ.—Вѣдь ты говоришь про тотъ крестъ, что поставленъ надъ могилою приказчика Терентьича, котораго еще въ Пугачевщину на этомъ самомъ мѣстѣ извели казаки?

— Ну, да.

— Эхъ, братъ! мѣсто-то неловкое. Говорятъ, будто бы по ночамъ видали, что передъ крестомъ теплится свѣчка и сидитъ самъ покойникъ.

— Слышать-то объ этомъ и я слыхалъ, а самъ не видывалъ. Отъ креста вы проѣдете еще версты полторы, а тамъ выѣдете на кладбище; вотъ тутъ пойдетъ опять плохая дорога, а противъ самой кладбищенской церкви—такая трясина, что и Боже упаси! Забирайте ужъ лучше правѣе; по пашнѣ хоть и бойко, да зато не увязнете. Ну, прощайте, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ!

— А ты куда, Шурловъ?

— Я неподалеку отсюда переночую у пріятеля на пчельникѣ. Хочется завтра пообшарить всю эту сторону; говорятъ, будто бы здѣсь третьяго дня волка видѣли. Прощайте, батюшка! съ Богомъ! Да поторапливайтесь, а не то гроза васъ застигнетъ! Посмотрите-ка, сударь, съ полуднѣ какія тучи напираютъ!

Въ самомъ дѣлѣ, впереди все небо подернулось черными тучами, изрѣдка сверкала молнія, и хотя отдаленный громъ едва былъ слышенъ, но листья шевелились на деревьяхъ, и воздухъ становился часъ-отъ-часу душнѣе. Шурловъ повернулъ свою лошадь, подкликалъ собакъ и пустился рысью назадъ по дорогѣ; а наши путешественники вѣхали въ узкую просѣку, которая шла въ самую средину лѣса. Казалось, съ каждымъ шагомъ впередъ, лѣсъ становился все темнѣе; кругомъ царствовала мертвая тишина. Нѣсколько минутъ ничто не нарушало сего торжественнаго безмолвія ночи; путешественники молчали, колеса катились безъ шума по мягкой дорогѣ, и только, отъ-времени-

до-времени, сухой валежникъ хрустѣлъ подъ ногами лошадей и раздавался легкій шорохъ отъ перебѣгающаго черезъ дорогу зайца.

— Эка ночка!—сказалъ, наконецъ, Егоръ.— Ну, сударь, дай Богъ намъ доѣхать благополучно. Не знаю, какъ вы, а я начинаю побаиваться. Ну, если мы заплутаемся?

Рославлевъ не отвѣчалъ ни слова.

— Охъ, эти объѣзды!—продолжалъ вполголоса Егоръ, поглядывая робко во все стороны;—терпѣть ихъ не могу: того и гляди, заѣдешь туда, куда воронъ и костей не заносилъ. Здѣсь, чай, и днемъ-то всегда сумерки; а теперь...—онъ поднялъ глаза кверху—ни одной звѣздочки на небѣ; поглядѣлъ кругомъ—все темно: направо и налѣво сплошная стѣна изъ черныхъ сосенъ, а кой-гдѣ высокія березы, которыя, несмотря на темноту, бѣлѣлись какъ мертвецы въ саванахъ. Прошло еще нѣсколько минутъ, послѣдній свѣтъ отъ потухающей зари исчезъ на мрачныхъ небесахъ, покрытыхъ густыми облаками, и наступила совершенная темнота. Ямщикъ слѣзъ съ телѣги и пошелъ пѣшкомъ подлѣ лошадей, которыя, робко передвигая ноги, едва подавались впередъ. Слишкомъ часъ наши путешественники тащились шагомъ. Рославлевъ молчалъ, а Егоръ, чтобъ ободрять себя, посвистывалъ и понукалъ лошадей.—Ну, чтожъ ты заснулъ, братецъ!—сказалъ онъ, наконецъ, ямщику.—Садись, да погоняй лошадей-та!

— Да, погоняй!.. А какъ найдешь на колоду. Вишь, темнать такая!

— Такъ затяни пѣсенку: все-таки будетъ повеселѣе.

— Коль ты охочь до пѣсенъ, такъ пой самъ.

— А ты что?

— Да!.. слышь ты, парень, до пѣсенъ теперь! Только вынеси Господь!.. Туда ли еще ѣдемъ.

— Чтожъ ты за ямщикъ, коли не знаешь, куда ѣдешь? Смотри, братъ, если ты завезешь насъ въ ка-

кую-нибудь трущобу, такъ добромъ со мной не раздѣлаешься.

— Ой-ли? Грози, братъ, богатому—денежку дастъ, а съ меня взятки-та гладки. Вѣдь я вамъ баялъ, что объѣзда не знаю.

— Въ самомъ дѣлѣ не заплутались ли мы?—спросилъ Рославлевъ.

— Небось, баринъ! Богъ милостивъ; авось какъ-нибудь выберемся изъ лѣса. Только гроза-та насъ застигнетъ; вонъ и дождикъ сталъ накрапывать.

Крупныя дождевыя капли зашумѣли межъ листьевъ; заколебались вершины деревьевъ; вѣтеръ завылъ, и вдругъ все небо освѣтилось.

— Господи, помилуй! — сказалъ перекрестясь Егоръ.—Экая молнія, такъ и палить!

Сильный ударъ грома потрясъ всѣ окрестности, и проливной дождь, вмѣстѣ съ вихремъ, заревѣлъ по лѣсу. Высокія сосны гнулись какъ тростникъ, съ трескомъ ломались сучья; глухой гулъ отъ падающаго рѣкой дождя, пронзительный свистъ и вой вѣтра сливались съ непрерывными ударами грома. Наши путешественники, при блескѣ ежеминутной молніи, которая освѣщала имъ дорогу, продолжали медленно подвигаться впередъ.

— Постой-ка!—сказалъ ящикъ Егору;—ужъ не оврагъ ли это? Придержи-ка, братъ, лошадей, а я пойду, посмотрю.—Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ межъ частаго кустарника, и закричалъ:—Ну, такъ и есть—оврагъ!

— Посмотри, Егоръ!—сказалъ Рославлевъ;—мнѣ показалось, что молнія освѣтила, вонъ тамъ въ сторонѣ, деревянный крестъ. Это должно быть могила Терентьича—видишь? прямо за этой сосной?

— Вижу, сударь, вижу!..—отвѣчалъ Егоръ прерывающимся отъ страха голосомъ.—А видите ли вы?..

— Что такое?..

— Посмотрите, посмотрите!.. вонъ опять!.. Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ!..

Молнія снова освѣтила крестъ, и Рославлеву пока

залось, что кто-то въ бѣломъ сидитъ на могилѣ и покачивается изъ стороны въ сторону.—Чтобъ это значило?—спросилъ онъ, слѣзая съ телѣги.—Надобно подойти поближе.

— Что вы? Христосъ съ вами!—вскричалъ Егоръ, схвативъ за руку своего господина.—Развѣ не видите, что это самъ покойникъ въ саванѣ.

Въ продолженіе сего короткаго разговора все утихло: дождь пересталъ идти, и вѣтеръ замолкъ. Съ полминуты продолжалась сія грозная тишина, и вдругъ ослѣпительная молнія, прорѣзавъ черныя тучи, рассыпалась почти надъ головами нашихъ путешественниковъ. Рославлевъ и Егоръ, оглушенные ужаснымъ трескомъ, едва устояли на ногахъ, а лошади упали на колѣни. Въ двадцати шагахъ отъ нихъ, противъ самаго креста, задымилась сосна; тысячи огненныхъ змѣекъ пробѣжали по ея сучьямъ; она вспыхнула, и яркое пламя освѣтило всю окрестность. Дождь снова полился, и вѣтеръ забушевалъ между деревьями. Несмотря на просьбы своего слуги, Рославлевъ подошелъ къ могилѣ: ни на ней, ни подлѣ нея никого не было; но что-то похожее на человѣческой хохотъ сливалось вдали съ воемъ вѣтра. Когда онъ возвратился къ телѣгѣ, ямщикъ стоялъ возлѣ лошадей, которыя дрожали, фыркали и жались одна къ другой.—Что дѣлать, батюшка?—сказалъ ямщикъ;—лошадки-то больно напугались. Смотри-ка, сердечныя, такъ дрожкой и дрожать. Ужъ не переждать ли намъ здѣсь? А то, сохрани Господи, шарахнутся, да понесутъ по лѣсу, такъ косточекъ не сберешь.

— Пожалуй, переждемъ,—сказалъ Рославлевъ.—Кажется, гроза начинаетъ утихать.

— Ну, что, сударь?—спросилъ Егоръ:—вы подходили къ могилѣ?

— Тамъ никого нѣтъ.

— Помилуйте! да развѣ мы не видали?

— Намъ это показалось, или можетъ-быть... но въ такую грозу... среди лѣса... Нѣтъ, мы вѣрно приняли какой-нибудь березовый пенекъ за человѣка.

Егоръ покачалъ головою и не отвѣчалъ ничего. Болѣе получаса продолжалась гроза; наконецъ, все стало утихать; но впереди сверкала молнія, и собирались новыя тучи. Путешественники двинулись впередъ. Узкая, извилистая дорога, по которой и днемъ не безъ труда можно было ѣхать, заставляла ихъ почти на каждомъ шагѣ останавливаться; колеса поминутно цѣплялись за деревья, упряжь рвалась, и ямщикъ сталъ уже громко поговаривать, что въ село Утѣшино нѣтъ почтовой дороги, что въ другой разъ онъ не повезетъ никого за казенные прогоны, и даже обѣщанный рубль на водку утѣшилъ его не прежде, какъ они выѣхали совсѣмъ изъ лѣса.

— Вотъ, кажется, кладбищная церковь?—сказалъ Рославлевъ, указывая на бѣлое зданіе, которое, при свѣтѣ блеснувшей молніи, отдѣлилось отъ группы деревьевъ, его окружающихъ.

— А за нимъ полѣвѣе,—прервалъ Егоръ,—должно быть село. Вѣрно всѣ спятъ! Ни одного огонька не видно. Я думаю, ужъ поздно, сударь?

Рославлевъ вынулъ часы, подавилъ репетицію; она пробила одиннадцать часовъ и три четверти.

— Скоро полночь.

— Такъ вѣрно теперь и на барскомъ дворѣ почи-ваютъ. Не проѣхать ли намъ, сударь, въ домъ къ Николаю Степановичу?

— Нѣтъ можетъ-быть, они еще не ложились. Эй! ямщикъ! ступай скорѣй! Я дамъ еще рубль на водку.

Ямщикъ погналъ лошадей; но онѣ едва могли бѣжать рысью по грязной дорогѣ, которая съ каждымъ шагомъ становилась хуже. Вотъ, наконецъ, путешественники доѣхали до кладбища. Поровнявшись съ группою деревьевъ, которая съ трехъ сторонъ закрывала церковь, извозчикъ позабылъ о томъ, что совѣтывалъ имъ старый ловчій: не свернулъ дороги; колеса телѣги увязли по самую ступицу въ грязь, и, несмотря на его крики и удары, лошади стали. Пробившись съ четверть часа на одномъ мѣстѣ, онъ объявилъ рѣши-

тельно, что безъ посторонней помощи они никакъ не выберутся изъ грязи.

— Дѣлать нечего, сударь!—сказалъ Егоръ;—оставайтесь здѣсь, а я сбѣгаю за народомъ.

— Ступай на мельницу: она въ двухъ шагахъ отсюда.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вѣдь на ней живетъ вся семья Архипа мельника. Подождите, сударь, мигомъ слетаю.

У насъ въ Россіи почти каждая деревня имѣетъ свои изустныя преданія о колдунахъ, мертвецахъ и привидѣніяхъ, и тотъ, кто, будучи еще ребенкомъ, живаль въ деревнѣ, вѣрно слыхалъ отъ своей кормилицы, мамушки или стараго дядьки, какъ страшно проходить ночью мимо кладбища, а особливо, когда при ономъ есть церковь. Русскій крестьянинъ, надѣвъ солдатскую суму, встрѣчаетъ беззаботно смерть на непріятельской батарее, или, не будучи солдатомъ, изъ одного удалства пробѣжитъ по льду, который гнется подъ его ногами; но добровольно никакъ не рѣшится пройти ночью мимо кладбищной церкви, а посему весьма натурально, что ямщикъ, оставшись одинъ подлѣ молчаливаго барина, съ примѣтнымъ безпокойствомъ посматривалъ на кладбище, которое расположено было шагахъ въ пятидесяти отъ большой дороги.

Рославлевъ не понималъ самъ, что происходило въ душѣ его; онъ не могъ думать безъ восторга о своемъ счастіи, и въ то же время какая-то непонятная тоска сжимала его сердце; горѣлъ нетерпѣніемъ прижать къ груди своей Полину, и почти радовался безпрестаннымъ остановкамъ, отдалявшимъ минуту блаженства, о которой, недѣли двѣ тому назадъ, онъ едва смѣлъ мечтать, сидя передъ огнемъ своего бивака. Мы всѣ любимъ предаваться надеждѣ, вѣримъ слѣпо ея обѣщаніямъ, и почти всегда въ ту самую минуту, когда она готова превратиться въ существенность, боязнь и сомнѣніе отравляютъ нашу радость. Не эту ли самую недоувѣрчивость души къ земному нашему счастію мы называемъ предчувствіемъ, разумѣется, если послѣдствія его оправдаютъ? Въ противномъ случаѣ, мы тотъ-

часть забываемъ, что сердце предсказывало намъ горе, и что это предвѣщаніе не сбылось. Погруженный въ глубокую задумчивость, Рославлевъ не замѣчалъ, что нѣсколько уже минутъ ямщикъ стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ, и, дрожа всѣмъ тѣломъ, смотрѣлъ на кладбищенную церковь.—Баринъ, а, баринъ!..—прошепталъ онъ, наконецъ, трепещущимъ голосомъ,—что это такое?..

— Что ты, братецъ?—спросилъ Рославлевъ.

— Да неужели, батюшка, не слышите? Чу!.. Наше мѣсто свято!..

— Постой!.. Въ самомъ дѣлѣ... Церковное пѣніе... Гдѣ жъ это поютъ?..

— Какъ гдѣ? На кладбищѣ. Вонъ опять!.. Съ нами крестная сила!.. Охъ, неловко, кормилецъ!..

— Можетъ-быть, похороны?..

— Да развѣ, батюшка, по ночамъ кого отпѣваютъ?

— Это въ самомъ дѣлѣ странно!.. Побудь у лошадей!—сказалъ Рославлевъ, слѣзая съ телѣги и взявъ подъ плечо свою саблю.

— Ахъ, батюшка-баринъ!.. Да какъ же я останусь-то одинъ?

— Небось, братецъ: мертвецы черезъ дорогу не перебѣгаютъ,—сказалъ съ улыбкою Рославлевъ.

— Глядь-ка, баринъ!..—закричалъ ямщикъ,—глядь! вонъ и огонекъ въ окнѣ показался—святъ, святъ!.. Ухъ, батюшки!.. Ажно морозъ по кожѣ подираетъ!.. Куда это нелегкая его понесла? — продолжалъ онъ, глядя вслѣдъ за уходящимъ Рославлевымъ.—Ну, не одобровывать ему!.. Экій угаръ, подумаешь!.. И молитвы не творить!..

Рославлевъ перелѣзъ черезъ плетень, которымъ обнесено было кладбище. Съ трудомъ пробираясь между могилъ, онъ не слышалъ уже пѣнія, но видѣлъ ясно, что внутренность церкви освѣщена; ему показалось даже, что въ одномъ углу церковнаго погоста что-то чернѣлось, и раздавался шорохъ, похожій на топотъ лошадей, которыя не стоятъ смирно на одномъ мѣстѣ.

Чтобъ заглянуть во внутренность церкви, надобно было непременно взойти на высокую паперть по крутой и узкой лѣстницѣ. Едва онъ успѣлъ шагнуть на первую ступеньку, какъ вдругъ, у самыхъ ногъ его, кто-то прохрипѣлъ дикимъ голосомъ: «тише ты! Не дави живыхъ людей; я еще не умерла». Рославлевъ невольно отскочилъ назадъ и схватился за рукоятку своей сабли; но въ ту же самую минуту блеснула молнія и освѣтила сидящую на лѣстницѣ женщину въ бѣломъ сарафанѣ, съ распущенными по плечамъ волосами. Она щелкала зубами, и глаза ея сверкали ужаснымъ образомъ.

— Это ты, Федора? — сказалъ Рославлевъ, узнавъ сумасшедшую. — Что ты здѣсь дѣлаешь?

— Вѣстимо что: пришла на похороны.

— Какія похороны?..

— Погляди въ окно, такъ самъ увидишь. Чу!.. слышишь? Поютъ: со святыми упокой.

— Да, точно поютъ! Но это совсѣмъ не похоронный напѣвъ... напротивъ... мнѣ кажется... Рославлевъ не могъ кончить: невольный трепетъ пробѣжалъ по всѣмъ его членамъ. Такъ, онъ не ошибается... до его слуха долетѣли звуки и слова, не оставляющія никакого сомнѣнія... Боже мой! — вскричалъ онъ, — это вѣнчальный обрядъ... на кладбищѣ... въ полночь!.. И такъ, Шурловъ говорилъ правду... Несчастная! что она дѣлаетъ!..

— Тсъ!.. тише!.. — прервала безумная. — Не кричи! помѣшаешь отпѣвать!.. Чу! слышишь, затянули вѣчную память!.. Да постой! куда ты? — продолжала она, схвативъ за руку Рославлева. — Подождемъ здѣсь; какъ вынесутъ, такъ мы проводимъ ее до могилы.

Рославлевъ, отъ котораго сумасшедшая не отставала, вбѣжалъ на паперть и остановился у перваго окна. Внутренность церкви была слабо освѣщена нѣсколькими свѣчами, поставленными въ паникадила; впереди амвона, передъ налоемъ, стоялъ священникъ въ полномъ облаченіи; противъ него женихъ и невѣста, оба въ вѣнцахъ; а позади, подлѣ самаго окна, двѣ жен-

щины, закутанныя въ салоны. Казалось, одна изъ нихъ горько плакала. Рославлевъ, къ которому онѣ также, какъ невѣста и женихъ, стояли спиною, не могъ этого видѣть, но слышалъ ея рыданія. Эти двѣ женщины, безъ сомнѣнія, Полина и Оленька. Въ женихѣ не трудно было узнать, по иностранному мундиру, плѣннаго французскаго полковника; но его невѣста?.. Она не походитъ на Лидину... нѣтъ... Эта тонкая талія, эти распущенные по плечамъ локоны!.. Боже мой... не ужели Оленька?.. Вотъ священникъ беретъ жениха и невѣсту за руки, чтобъ обвести вокругъ наложія... они идутъ... поровнялись съ царскими вратами... остановились... вотъ начинаютъ доканчивать кругъ... свѣтъ отъ лампы, висящей передъ Спасителемъ, падаетъ прямо на лицо невѣсты!.. Милосердый Боже!.. Полина!!! Въ эту самую минуту яркая молнія освѣтила небеса, ужасный ударъ грома потрясъ всю церковь; но Рославлевъ не видѣлъ и не слышалъ ничего; сердце его окаменѣло, дыханье прервалось... вдругъ вся кровь закипѣла въ его жилахъ; какъ изступленный, онъ бросился къ церковнымъ дверямъ: онѣ заперты. Въ ео-вершенномъ неистовствѣ, скрежеща зубами, онъ ухватился за желѣзную скобу, но отъ сильнаго напряженія перевязки лопнули на рукѣ его, кровь хлынула ручьемъ изъ раны, и онъ лишился всѣхъ чувствъ.

Обрядъ вѣнчанія кончился; церковныя двери отворились. Впереди молодыхъ шелъ священникъ, въ сопровожденіи дьячка, который несъ фонарь; онъ поднялъ уже ногу, чтобъ переступить черезъ порогъ, и вдругъ съ громкимъ восклицаніемъ отскочилъ назадъ: у самыхъ церковныхъ дверей лежалъ человѣкъ, облитый кровью; въ головахъ у него сидѣла сумасшедшая Федора.

— Господи, помилуй! Что это такое? — сказалъ священникъ. — Эй, Филиппъ! посвѣти!.. Боже мой! — продолжалъ онъ, — русскій офицеръ!

— И весь полъ въ крови! — воскликнула Полина.

— Такъ чтожь? — сказала Федора, устремивъ свер

кающій взоръ на Полину. — Небось, ступай смѣлѣе! Чего тебѣ жалѣть: вѣдь это русская кровь!

Дьячекъ нагнулся и освѣтилъ фонаремъ блѣдное лицо Рославлева.

— Праведный Боже!.. Рославлевъ!.. — вскричала Оленька.

— Рославлевъ! — повторила ужаснымъ голосомъ Полина. — Онъ живъ еще?

— Нѣтъ, умеръ! — прервала безумная. — Милости просимъ на похороны. — И дикій ея хохотъ заглушилъ отчаянный вопль Полины.

VI.

Часу въ шестомъ утра, въ просторной и свѣтлой комнатѣ, у самого изголовья постели, на которой лежалъ не пришедшій еще въ чувство Рославлевъ, сидѣла молодая дѣвушка; глубокая, неизъяснимая горестъ изображалась на блѣдномъ лицѣ ея. Подлѣ нея стоялъ знакомый уже намъ домашній лѣкарь Ижорскаго; онъ держалъ больного за руку и смотрѣлъ съ большимъ вниманіемъ на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоялъ Егоръ и поглядывалъ съ безпокойнымъ и вопрошающимъ видомъ на лѣкаря. — Слава Богу! — сказалъ сей послѣдній, — пульсъ начинаетъ биться сильнѣе; вотъ и краска на лицѣ показалась; черезъ нѣсколько минутъ онъ долженъ очнуться.

— Но какъ вы думаете, — спросила робкимъ голосомъ молодая дѣвушка: — этотъ обморокъ не будетъ ли имѣть опасныхъ послѣдствій?

— Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна. Если причиною обморока была только одна потеря крови, то нѣсколько дней покоя... Но вотъ, кажется, онъ приходитъ въ себя...

— Я не могу долѣе здѣсь оставаться, — сказала Оленька, вставая; — но, ради Бога! если онъ будетъ чувствовать себя дурно, приходите мнѣ сказать... Не-

счастнѣй!.. — Она закрыла лицо свое и вышла поспѣшно изъ комнаты.

— Побудь съ своимъ бариномъ, — сказалъ Егору лѣкарь, уходя вслѣдъ за Оленькой; — а я сбѣгаю въ аптеку и приготовлю лѣкарство, которое подкрѣпитъ его силы.

Рославлевъ открылъ глаза, привсталъ, и съ удивленіемъ посмотрѣлъ вокругъ себя. — Что это?.. — спросилъ онъ тихимъ голосомъ. — Гдѣ я?

— Въ домѣ у Николая Степановича, сударь! — отвѣчалъ Егоръ, подойдя къ постели.

— У какого Николая Степановича?..

— Ижорскаго, сударь!

— Ижорскаго?.. — повторилъ Рославлевъ. — Ахъ, да, знаю!.. Ижорскаго!.. Но зачѣмъ мы здѣсь?.. Я ничего не помню... Пстой!.. Мнѣ кажется, вчера я заснулъ въ телѣгѣ!.. Да, точно такъ!.. гроза... кладбище... сумасшедшая Федора... Боже мой... свадьба! Ахъ, Егоръ! какой я видѣлъ страшный сонъ!

Егоръ поглядѣлъ съ сожалѣніемъ на своего господина и, покачавъ печально головою, сказалъ: — Что объ этомъ говорить, сударь! успокойтесь! Вы не очень здоровы.

— Кто? я? Да, я чувствую какую-то слабость... Но я не могу понять, для чего мы здѣсь, а не тамъ?.. Пстой! мнѣ помнится, что лошади стали... ты пошелъ за людьми... да, да, я не во снѣ это видѣлъ, — и вдругъ мы очутились здѣсь. Да чтожъ ты молчишь?

— То-то, сударь! вы изволите смѣяться надъ нашимъ братомъ: и дурачье-то мы, и всякому вздору вѣримъ, а кабы вы сами не ходили вчера-съ на кладбище.

— Какъ! — вскричалъ Рославлевъ, — такъ я былъ на кладбищѣ?.. Я видѣлъ это не во снѣ... Ну, что же? говори, говори!.. — продолжалъ онъ, вскочивъ съ постели; блѣдныя щеки его вспыхнули, глаза сверкали; казалось, всѣ силы его возвратились.

— Успокойтесь, сударь! — сказалъ Егоръ. — Присядьте! я все вамъ расскажу.

— Все?

— Да, сударь, все, что знаю. Вчера ночью, противъ самой кладбищной церкви, наши лошади стали, а телѣга такъ завязла въ грязи, что и колесъ было не видно. Я пошелъ на мельницу за народомъ, а вы остались на дорогѣ одни съ ямщикомъ.

— Да, точно такъ. Говори, говори!..

— Я пришелъ на мельницу; ужъ стучалъ, стучалъ, насилу достучался; видно, Архипъ хватилъ за ужиномъ черезъ край бражки. Я собирался уже выбить окно... глядь! слава Богу, проснулись. Пока я имъ толковалъ, въ чемъ дѣло, пока вздули огонь, и Архипъ съ своими ребятами одѣвался, прошло этакъ съ полчаса времени; Архипъ засвѣтилъ фонарь, и мы вчетверомъ отправились на дорогу. Приходимъ — телѣга стоитъ на прежнемъ мѣстѣ, а ни васъ, ни ямщика нѣтъ. Что за причина такая?.. Мы принялись кричать; смотримъ, лѣзетъ кто-то изъ-за куста... ямщикъ! лица нѣтъ на парнѣ, дрожкой дрожить. — Что ты, братецъ? — спросилъ я; — гдѣ баринъ? — Вотъ онъ собрался съ духомъ и сталъ намъ рассказывать; да, видно, со страстей языкъ-то у него отнялся: ужъ онъ мямлил, мямлил, насилу понялъ, что въ кладбищной церкви мертвецы пѣли всенощную, что вы пошли ихъ слушать, что вдругъ у самой церкви и закричали и захотали; потомъ что-то зашумѣло, покатилося, раздался свистъ, гамъ и конскій топотъ; что одинъ мертвецъ, весь въ бѣломъ, перелѣзъ черезъ плетень, затянулъ во все горло: со святыми упокой — и побѣжалъ прямо къ телѣгѣ; что онъ, видя бѣду неминуемую, кинулся за кустъ, упалъ ничкомъ наземъ, и вплоть до нашего прихода творилъ молитву. Ну, сударь, что грѣхъ таятъ: отъ этихъ словъ у всѣхъ насъ волосы стали дыбомъ. Что дѣлать? Идти искать васъ на кладбищѣ?.. Вчетверомъ я и самого чорта не испугаюсь; да Архипъ-то сталъ переминаясь, ребята его также сробѣли:

нейдутъ да и только! Вотъ я подумалъ, перекрестился, и только-что хотѣлъ пуститься одинъ на волю Божью, какъ вдругъ слышимъ, кто-то скачетъ къ намъ по дорогѣ. Подскакалъ—гляжу: Иванъ Петровъ, слуга Прасковьи Степановны. Онъ сказалъ намъ, что вы здѣсь, что васъ нашли у кладбищной церкви, что вы лежите безъ памяти; а какъ нашли? кто нашелъ? толку не могъ добиться. Вотъ, сударь, все, что я знаю.

Въ продолженіе сего разговора, Рославлевъ нѣсколько разъ мѣнялся въ лицѣ.—Итакъ...—сказалъ онъ;—итакъ... нѣтъ сомнѣнья... все то, что я видѣлъ...

— А что вы видѣли, сударь?—спросилъ съ любопытствомъ Егоръ.

— Я видѣлъ мою невѣсту...

— Вашу невѣсту? Въ кладбищной церкви! Въ полночь? Христосъ съ вами, сударь! Что вы? Вамъ померещилось!

— Въ вѣнцѣ передъ налосемъ...

— Господи, помилуй!.. Да это демонское новожденіе...

— Ахъ, Егоръ! еслибъ въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь злой духъ...

— А чтожъ вы думаете? Вѣдь сатана хитеръ, сударь: хотъ кого изъ ума выведетъ. Ну, помилуйте, какъ могли вы видѣть Пелагею Николаевну на кладбищѣ, когда она нездорова и лежитъ въ постели?

— Что ты говоришь?.. Почему ты это знаешь?

— Сію минуту сестрица ея изволила говорить съ лѣкаремъ.

— Оленька здѣсь? Гдѣ жъ, она?

— Уѣхала домой. Она всю ночь сидѣла подлѣ вашей кровати, а ужъ какъ плакала! Господи, Боже мой!.. Откуда слезы брались! Она изволила оставить вамъ письмо.

— Письмо? Подай, подай!..

Егоръ взялъ со стола запечатанное письмо и подалъ его своему господину.

— Отъ Полины!..—вскричалъ Рославлевъ.—Онъ,

сорвавъ печать, развернулъ дрожащей рукою письмо. Холодный потъ покрылъ помертвѣвшее лицо его, глаза искали словъ... но сначала онъ не могъ разобрать ничего: всѣ строчки казались перемѣшанными, всѣ буквы не на своихъ мѣстахъ; съ величайшимъ трудомъ онъ прочелъ слѣдующее:

«Вы должны ненавидѣть... нѣтъ, я недостойна вашей ненависти: это чувство слишкомъ близко любви; вы имѣете полное право презирать меня. Не смѣю надѣяться, что открывъ вамъ ужасную тайну, которую думала унести съ собой въ могилу, я заставлю васъ пожалѣть обо мнѣ. Я васъ не знала еще, Рославлевъ, когда полюбила того, кому принадлежу теперь навсегда. Онъ любилъ меня, но тогда онъ не могъ еще быть моимъ мужемъ. Я не могла даже мечтать, что встрѣчусь съ нимъ въ здѣшнемъ мірѣ, и, несмотря на это, желанія матушки, просьбы сестры моей, ничто не поколебало бы моего намѣренія остаться вѣчно свободною; но безкорыстная любовь ваша, ваше терпѣніе, постоянство, желаніе видѣть счастливымъ человѣка, къ которому дружба моя была такъ же безпредѣльна, какъ и любовь къ нему—вотъ что сдѣлало меня виновною. Безумная! я обманывала сама себя! Я думала, что, видя васъ благополучнымъ, менѣе буду несчастлива; что, произнеся клятву любить васъ одного, при помощи Божіей, я забуду все прошедшее; что образъ того, кто преслѣдовалъ меня наяву и во снѣ, о комъ я не могла и думать безъ преступленія, изгладится навсегда изъ моей памяти. Я согласилась принадлежать вамъ и, клянусь Богомъ, не измѣнила бы моему обѣщанію, если бы онъ встрѣтился со мною во всемъ прежнемъ своемъ блескѣ, благополучный, одаренный всѣмъ, чему завидуютъ въ свѣтѣ. Но онъ явился предо мною покрытый ранами, несчастный, всѣмъ оставленный и съ прежней любовью въ сердцѣ! Казалось, сами небеса желали соединить насъ—онъ могъ располагать своей рукою, и вы, Рославлевъ, вы сами показали ему дорогу въ домъ нашъ!...»

— Довольно! — вскричалъ Рославлевъ, сжимая съ судорожнымъ движеніемъ въ рукѣ своей измятое письмо. — Чего еще мнѣ надобно? — Егоръ! лошадей!

— Какъ, сударь? Вы хотите ѣхать?

— Да!

— Не видѣвъ вашей невѣсты?

— Молчи!

— Помилуйте, сударь! Какъ вамъ ѣхать! сегодня?

— Да! сегодня... сейчасъ... сію минуту!..

— Но куда, сударь? Къ намъ въ деревню?

— Нѣтъ! здѣсь мнѣ душно... Дальше, дальше! Туда, гдѣ я могу утонуть въ крови злодѣевъ французовъ.

— Говорятъ, сударь, что они недалеко отъ Москвы.

— Недалеко? Итакъ, въ Москву!

— А рана ваша?

— Не бойся! Я умру не отъ нея. Ступай скорѣе! Ямщикъ, который насъ привезъ, вѣрно еще не уѣхалъ. Чтобъ чрезъ полчаса насъ здѣсь не было. Ни слова болѣе! — продолжалъ Рославлевъ, замѣчая, что Егоръ готовился снова возражать; — я приказываю тебѣ! Постой! Вынь изъ шкатулки листъ бумаги и чернильницу. Я хочу, я долженъ отвѣчать ей. Ступай за лошадьми, — прибавилъ онъ, когда слуга исполнилъ его приказаніе.

— Но если ямщикъ попроситъ двойные прогоны?

— Дай вчетверо, но чтобъ чрезъ полчаса насъ здѣсь не было.

Егоръ вышелъ, а Рославлевъ началъ писать слѣдующее:

«Я не дочиталъ письма вашего. Вы графиня Сеникуръ, жена плѣннаго француза — на что мнѣ знать остальное? Не о себѣ хочу я говорить — моя участь рѣшена: смерть возвратитъ мнѣ спокойствіе, она потушитъ адское пламя, которое горитъ теперь въ груди моей; но вы!.. Слушайте приговоръ вашъ! Вы не умрете ни отъ стыда, ни отъ раскаянія; проклятіе всѣхъ русскихъ, которое прогремитъ надъ преступной главой вашей, не убьетъ васъ — нѣтъ! вы станете жить.

Прижавъ къ сердцу обогренную кровью русскихъ, кровью братьевъ вашихъ, руку мужа, вы пойдете вмѣстѣ съ нимъ по пути, устланному трупами вашихъ соотечественниковъ. Торжествуйте вмѣстѣ съ нимъ каждую побѣду злодѣевъ нашихъ! Забудьте, что вы русская, забудьте Бога... Да! вы должны выбирать одно изъ двухъ: или вовсе забыть Его, или молить, чтобъ Онъ помогъ французамъ погубить Россію. Въ этой смертной борьбѣ нѣтъ середины: или мы, или французы должны погибнуть; а вы—жена француза! Умрите, несчастная, умрите сегодня, если можно—я желаю этого. Да, Полина! я молю объ этомъ Бога... Я чувствую... да, я чувствую, что еще люблю васъ!..»

Рославлевъ пересталъ писать; крупныя слезы потекли градомъ по лицу его.

— А! Владиміръ Сергѣевичъ! — сказалъ лѣкаръ, входя въ комнату; — вы ужъ и встали? Ну, что, какъ вы себя чувствуете?

Рославлевъ закрылъ платкомъ глаза и не отвѣчалъ ни слова. Лѣкаръ взялъ его за руку и, поглядѣвъ на него съ состраданіемъ, повторилъ свой вопросъ.

— Я здоровъ, — отвѣчалъ Рославлевъ, — и сейчасъ ѣду.

— Что вы? Какъ это можно? У васъ жаръ.

— Вы ошибаетесь, — прервалъ Рославлевъ, положивъ руку на грудь свою. — Здѣсь холодно, какъ въ могилѣ.

— Вамъ надобенъ покой.

— Не бойтесь! — сказалъ съ горькой улыбкою Рославлевъ. — Я найду его.

— Но, по крайней мѣрѣ, примите это лѣкарство и дайте мнѣ перевязать вашу руку.

— И, полноте! на что это? Я могу еще владѣть саблею. Благодаря Бога, правая рука моя цѣла: не бойтесь, она найдетъ еще дорогу къ сердцу cadaго француза. Ну, что? — продолжалъ Рославлевъ, обращаясь къ вошедшему Егору. — Что лошади?

— Привелъ, сударь!

Рославлевъ всталъ и, шатаясь, подошелъ къ лѣкарю. Вотъ письмо къ Педагогѣ Николаевнѣ,—сказалъ онъ.—Потрудитесь отдать его. Прощайте!

Лѣкаръ взялъ молча письмо и вышелъ вслѣдъ за Рославлевымъ на крыльцо.—Прощайте, прощайте!..—повторялъ Рославлевъ, садясь въ телѣгу. — Скажите ей... Нѣтъ! не говорите ничего!..

— Я сегодня поутру ее видѣлъ,—сказалъ вполголоса лѣкаръ;—и еслибъ вы на нес взглянули... Ахъ, Владиміръ Сергѣевичъ! Она несчастнѣе васъ!

— Слава Богу! И такъ, этотъ французъ не совѣмъ еще задушилъ въ ней совѣсть!

— Я лѣкаръ, Владиміръ Сергѣевичъ; я привыкъ видѣть горестъ и отчаяніе; но, клянусь вамъ Богомъ, въ жизнь мою не видывалъ ничего ужаснѣе. Она въ полной памяти, а говоритъ безпрестанно о церковной паперти; видитъ вездѣ кровь, сумасшедшую Федору; то хохочетъ, то стонетъ, какъ умирающая; а слезы не льются...

— Ступай!—закричалъ Рославлевъ. Извозчикъ тронулъ лошадей.—Нѣтъ, нѣтъ, постой! И такъ, она очень несчастлива?—продолжалъ онъ, обращаясь къ лѣкарю.—Очень? Послушайте!—скажите ей, что я здоровъ... что она... подайте назадъ мое письмо.

Лѣкаръ подалъ ему письмо; Рославлевъ схватилъ его, изорвалъ и закричалъ извозчику:—Пять рублей на водку, но до самой станціи вскачь—пошелъ!

Менѣе чѣмъ въ два часа примчались они на первую станцію. Рославлевъ, несмотря на убѣжденія своего слуги, не хотѣлъ отдохнуть; онъ увѣрялъ, что чувствуетъ себя совершенно здоровымъ; но его пылающія щеки, дикій, безпокойный взглядъ—все доказывало, что сильная горячка начинаетъ свирѣпствовать въ крови его. Перемѣнивъ лошадей, они поскакали далѣе. Не болѣе двадцати верстъ оставалось до Москвы. Они не обогнали никого; но почти на каждой верстѣ встрѣчались съ ними проѣзжіе; не слышно было веселыхъ пѣсенъ извозчиковъ; молча, какъ въ похоронномъ

ходу, тянулись по большой Московской дорогѣ цѣлые обозы экипажей. Многіе изъ проѣзжающихъ, идя задумчиво подлѣ каретъ своихъ, обращали отъ-времени-до-времени свой тоскливый взглядъ туда, гдѣ позади ихъ осталась опустѣвшая Москва. Быть-можетъ, они въ послѣдній разъ простились съ нею. Ихъ пасмурныя лица казались еще грустнѣе отъ противоположности съ веселыми и беззаботными лицами дѣтей, которыя, выглядывая изъ дорожныхъ экипажей, съ шумной радостью любовались открытыми полями и зеленѣющимъ лѣсомъ.

— Что это, баринъ?—сказалъ Егоръ:—никакъ изъ Москвы всѣ выбираютъ? Посмотрите-ка впередъ—повозокъ-то, каретъ!.. видимо-невидимо! Охъ, сударь! знать, ужъ французы недалеко отъ Москвы.

— Ахъ, какъ бы я желалъ этого!—сказалъ Рославлевъ.

— Что вы? Христосъ съ вами! Эхъ, баринъ, баринъ! не хороши у васъ глаза: вы, точно, нездоровы.

— И врешь! я совершенно здоровъ; но мнѣ душно... здѣсь все такъ тихо, мертво... Въ Москву, скорѣй въ Москву!.. Тамъ наши войска, тамъ скоро будутъ французы... тамъ, на развалинахъ ея, рѣшится судьба Россіи... тамъ... Да, Егоръ! тамъ мнѣ будетъ легче... Пошелъ!..

Егоръ покачалъ печально головой.

— Послушайте, Владиміръ Сергѣевичъ,—сказалъ онъ,—не пріостановится ли намъ гдѣ-нибудь? Мнѣ кажется, у васъ жаръ.

— Да! Мнѣ что-то душно, жарко; здѣсь и воздухъ меня давитъ.

— Вотъ ямщикъ будетъ спускать съ горы, а вы пройдитесь пѣшкомъ, сударь; это васъ поосвѣжитъ.

Рославлевъ слѣзъ съ телѣги и, пройдя нѣсколько шаговъ по дорогѣ, вдругъ остановился. — Слышишь, Егоръ?—сказалъ онъ:—выстрѣлъ, другой!..

— Вѣрно кто-нибудь охотится.

— Еще!.. еще!.. Нѣтъ, это перестрѣлка!.. Гдѣ моя сабля?

— Помилуйте, сударь! да здѣсь слыхомъ не слышать о французяхъ. Не казаки ли шалятъ?.. Говорятъ, здѣсь ихъ цѣлыя партіи разѣзжаютъ. Ну, вотъ, извольте видѣть. Вонъ изъ-за лѣса-то показались, съ пиками. Ну, такъ и есть—казаки.

Съ полверсты отъ того мѣста, гдѣ стоялъ Рославлевъ, выѣхали на большую дорогу челоуѣкъ сто казаконъ и почти столько же гусаръ. Впередѣ отряда ѣхали двое офицеровъ: одинъ высокаго роста, въ бѣлой кавалерійской фуражкѣ и буркѣ; другой средняго роста, въ кожаномъ картузѣ и зеленомъ спенсерѣ, съ чернымъ артиллерійскимъ воротникомъ; сѣдло, мундштукъ и сбруя на его лошади были французскіе. Когда отрядъ поровнялся съ нашими пріѣзжими, то офицеръ въ зеленомъ спенсерѣ, взглянувъ на Рославлева, остановилъ лошадь, приподнял вѣжливо картузъ и сказалъ:—Если не ошибаюсь, мы съ вами не въ первый разъ встрѣчаемся?

Рославлевъ тотчасъ узналъ въ семъ незнакомцѣ молчаливаго офицера, съ которымъ мѣсяца три тому назадъ готовъ былъ стрѣляться въ звѣринцѣ Царскаго Села; но теперь Рославлевъ съ радостію протянулъ ему руку: онъ вполне раздѣлялъ съ нимъ всю ненависть его къ французамъ.

— Ну, вотъ, —продолжалъ артиллерійскій офицеръ, —предсказаніе мое сбылось: вы въ мундирѣ, съ подвязанной рукой, и вѣрно теперь не станете стрѣляться со мною, чтобъ спасти не только одного, но и цѣлую сотню французонъ.

— О, въ этомъ вы можете быть увѣрены!—отвѣчалъ Рославлевъ, и глаза его заблестали бѣшенствомъ.—Ахъ! если бъ я могъ утонуть въ крови этихъ изверговъ.

Офицеръ улыбнулся.—Вотъ такъ-то лучше!—сказалъ онъ.—Только вы напрасно горячитесь: ихъ должно всѣхъ душить безъ пощады; переводить, какъ мухъ;

но сердиться на нихъ... И, полноте! Сердиться нездорово! Куда вы ѣдете?

— Въ Москву.

— Если для того, чтобъ лѣчиться, то я совѣтовалъ бы вамъ ѣхать въ другое мѣсто. Близъ Можайска было генеральное сраженіе, наши войска отступаютъ и, можетъ-быть, дня черезъ четыре французы будутъ у Москвы.

— Тѣмъ лучше! Тамъ должна рѣшиться судьба нашего отечества, и если я не увижу гибели всѣхъ французовъ, то, по крайней мѣрѣ, умру на развалинахъ Москвы.

— А если Москву уступятъ безъ боя.

— Безъ боя? Нашу древнюю столицу?

— Чтожъ тутъ удивительнаго? Вѣдь городъ безъ жителей то же, что тѣло безъ души. Пусть французы завладѣютъ этимъ трупомъ, лишь только бы намъ удалось похоронить ихъ вмѣстѣ.

— Какъ? Вы думаете?..

— Да тутъ и думать нечего. Отпоемъ за одинъ разъ вѣчную память и Москвѣ и французамъ, такъ дѣло и кончено. Мы, русскіе, дѣлежа не любимъ: не наше, такъ ничье! Какъ на прощаньи зажгутъ со всѣхъ четырехъ концовъ Москву, такъ французамъ пожива будетъ не большая; побарятся, поважничаютъ денька три, а тамъ и ѣсть захочется; а для этого надобно фуражировать. Милости просимъ!.. То-то будетъ потѣха! Они начнутъ рыскать вокругъ Москвы, какъ голодные волки, а мы станемъ охотиться. Чего другого, а за одно поручиться можно: не много изъ этихъ фуражировъ воротятся во Францію.

— Итакъ, вы полагаете, что партизанская война...

— Не знаю, что впередъ, а теперь это самое лучшее средство поровнять наши силы. Да вотъ, напри-мѣръ, у меня всего сотни двѣ молодцовъ; а еслибъ вы знали, сколько они передушили французовъ; до сихъ поръ ужъ человѣкъ по десяти на брата досталось. Правда, народъ-то у меня славный!—прибавилъ артил-

лерійскій офицеръ съ ужасной улыбкою:—все ребята безпардонные; сентиментальныхъ нѣтъ!

— Неужели вы въ плѣнъ не берете?

— Случается. Вотъ третьяго дня мы захватили чело­вѣкъ двадцать; хотѣлось было доставить ихъ въ главную квартиру, да надоѣло таскать съ собою. Я бросилъ ихъ на дорогѣ, недалеко отсюда.

— Безъ всякаго конвоя?

— И что за бѣда! Ихъ приберетъ земская полиція. Ну, что? Вы все-таки поѣдете въ Москву?

— Непремѣнно. Вы можете думать, что вамъ угодно, но я увѣренъ: ея не отдадутъ безъ боя. Можетъ ли быть, чтобъ эта древняя столица Царей Русскихъ, этотъ первопрестольный городъ...

— Первопрестольный городъ!.. Такъ чтожъ? Развѣ его никогда не жгли и не грабили то поляки, то татары? Пускай потѣшатся и французы! Прежніе гости дорого за это платили, поплатятся и эти. Конечно, патріоты вздохнуть о Кремлѣ, барыни о Кузнецкомъ мостѣ, чувствительные люди о всей Москвѣ—расплачутся, разревутся; а тамъ начнутъ снова строить дома, и черезъ десять лѣтъ Москва будетъ опять Москвою. Да только ужъ въ другой разъ французы не захотятъ въ ней гостить. Ну, прощайте!.. А, право, я совѣтовалъ бы вамъ не ѣздить въ Москву. Вамъ надо полѣчиться: лицо у васъ вовсе не хорошо.

— Это ничего: два дня покоя, потомъ сраженіе подъ Москвой, и я буду совершенно здоровъ. Прощайте!

Рославлевъ сѣлъ въ телѣгу и отправился далѣе. Съ каждымъ шагомъ впередъ, большая дорога становилась похожѣе на проѣзжую улицу: сотни пѣшеходцевъ пробирались полями и опереживали длинные обозы, которые медленно тащились по большой дорогѣ? Когда наши путешественники поровнялись съ лѣсомъ, то Егоръ замѣтилъ большую толпу разнаго состоянія проходящихъ, которые, казалось, съ любопытствомъ тѣснились вокругъ одного мѣста, подлѣ самой опушки лѣса. Нѣсколько минутъ онъ смотрѣлъ внимательно въ

эту сторону, вдругъ толпа раздвинулась, и Егоръ вскричалъ съ ужасомъ: посмотрите - ка, сударь, посмотрите: французы!

— Французы!—повторилъ Рославлевъ, хватаясь за рукоятку своей сабли.—Гдѣ?

— Да развѣ не видите, сударь? Вонъ налѣво-то, подлѣ самаго лѣса.

— Боже мой!—вскричалъ Рославлевъ, закрывъ рукою глаза.—Боже мой!—повторилъ онъ съ невольнымъ содроганіемъ.—Я самъ... да, я ненавижу французъ: но разстрѣливать хладнокровно беззащитныхъ плѣнныхъ!.. Нѣтъ, это ужасно!

— И, баринъ! что объ нихъ жалѣть! — сказали ямщикъ:—буяны!.. А кучка порядочная! Посмотрите-ка, сударь, сколько ихъ навалено.

— Проѣзжай скорѣе! — закричалъ Рославлевъ.— Пошелъ!

Извозчикъ нехотя погналъ лошадей, и, безпрестанно оглядываясь назадъ, посматривалъ съ удивленіемъ на русскаго офицера, который не радовался, а, казалось, горевалъ, видя убитыхъ французъ. Рославлевъ слабѣлъ примѣтнымъ образомъ, голова его пылала, дыханье спиралось въ груди; всѣ предметы представлялись въ какомъ-то смѣшанномъ, беспорядочномъ видѣ, и холодный осенній воздухъ казался ему палящимъ зноемъ.

Черезъ часъ сверкнулъ вдали позлащенный крестъ Ивана Великаго, черезъ нѣсколько минутъ показались главы соборныхъ храмовъ, и древняя столица, сердце, мать Россіи—Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой равнинѣ, усѣянной обширными садами. Москва-рѣка, извиваясь, текла посреди холмистыхъ береговъ своихъ; но безчисленныя барки, плоты и суда не пестрили ея гладкой поверхности; вѣтеръ не доносилъ до проѣзжающихъ отдаленный гулъ, и невнятный, но исполненный жизни говоръ многолюднаго города; по большимъ дорогамъ шумѣлъ и толпился народъ; но Москва, какъ жертва, обреченная на закла-

ніе, была безмолвна. Изрѣдка кой-гдѣ дымились трубы, и какъ черный погребальный крепъ, густой туманъ висѣлъ надъ кровлями опустѣвшихъ домовъ. Ахъ, скоро, скоро кормилица Россіи—Москва, скоро прольются по твоимъ осиротѣвшимъ улицамъ пламенныя рѣки; свято-татственная рука враговъ сорветъ крестъ съ твоей соборной колокольни, разрушить стѣны священнаго Кремля, осквернить твои древніе храмы; но русскіе всегда возлагали надежду на Господа, и ты воскреснешь, Москва, какъ обновленное, младое солнце, ты снова взойдешь на небеса Россіи; а враги твои... Ахъ! вы не воскреснете, несчастныя жертвы властолюбія: войны, посѣдѣвшіе въ бояхъ, юноши, краса и надежда Франціи, вы не обнимете родныхъ своихъ! Ваши кости, разсыяныя по обширнымъ полямъ, запахнутся сохою, и долго, долго изустная повѣсть объ ужасной смерти вашей будетъ приводить въ трепетъ cadaго иноземца!

VII.

Рано по-утру, на высокомъ и утесистомъ берегу Москвы-рѣки, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Драгомиловскій мостъ соединяетъ ямскую слободу съ городомъ, стояли и сидѣли отдѣльными группами человѣкъ пятьдесятъ, разнаго состоянія, людей; внизу весь мостъ былъ усыпанъ любопытными, и вплоть до самой Смоленской заставы, по всей слободѣ, какъ на гуляньѣ, шумѣли и пестрѣлись густыя толпы народныя. По Смоленской дорогѣ отступали наши войска, черезъ Смоленскую заставу проѣзжали курьеры съ извѣстіями изъ большой арміи, а посему всѣ оставшіеся жители московскіе сѣли къ Драгомиловскому мосту, чтобъ узнать скорѣе объ участи нашего войска. Послѣдствія Бородинскаго сраженія были еще неизвѣстны; но грозныя слухи о приближеніи французовъ къ Москвѣ становились съ каждымъ днемъ вѣроподобнѣе. Вотъ вдали зазвенѣлъ колокольчикъ, раздался шумъ, по слободѣ

отъ заставы несется тройка курьерскихъ, народъ зашевелился, закипѣлъ, толпы сдвинулись, и ямщикъ долженъ былъ поневолѣ остановить лошадей.—Что вы, ребята?—закричалъ курьеръ.—Посторонитесь!

— Нѣтъ, нѣтъ! — загремѣли тысячи голосовъ;— скажи прежде, что наши?

— Вамъ это объявятъ.

— Нѣтъ! ты ѣдешь изъ арміи—говори!.. Что свѣтлѣйшій?.. что французы?

— Побѣда, ребята, побѣда!..

— Побѣда!.. — повторилъ народъ. — Слава Тебѣ, Господи!.. Къ Иверской, православные! Къ Иверской!.. Пропустите курьера... посторонитесь!.. Побѣда!.. — Толпа отхлынула, и курьеръ помчался далѣе.

Одинъ молодцоватый, съ окладистой темнорусой бородою, купецъ, отдѣляясь отъ толпы народа, которая тѣснилась на мосту, взобрался прямой дорогой на крутой берегъ Москвы-рѣки и, пройдя мимо нѣсколькихъ щеголевато одѣтыхъ молодыхъ людей, шопотомъ разговаривающихъ межъ собою, подошелъ къ старику, съ сѣдой, какъ снѣгъ, бородою, который, облокотясь на береговья перила, смотрѣлъ задумчиво на толпу, шумящую внизу подъ его ногами.

— Слышите ли, Иванъ Архиповичъ,—сказалъ молодой купецъ старику:—побѣда!

— Слышу, батюшка Андрей Васьяновичъ!—отвѣчалъ старикъ,—слышу. Да точно ли такъ?

— Дай то Господи!.. а что-то не вѣрится. Я самъ слышалъ, какъ курьеръ сказалъ: побѣда! Слова радостныя, да лицо-то у него вовсе не праздничное. Кабы въ самомъ дѣлѣ Заступница помогла намъ разгромить этихъ супостатовъ, такъ онъ не сталъ бы говорить сквозъ зубы, а крикнулъ бы такъ, что сердце бы у всѣхъ запрыгало отъ радости. Нѣтъ, Иванъ Архипычъ! видно, худо дѣло!..

— Да, батюшка, гнѣвъ Божій!.. Мы все твердили, что Господь долготерпѣливъ и многомилостивъ, а никто не думалъ, что Онъ же и правосуденъ; грѣшили

да грѣшили—вотъ и дождались, что нехотя придется каяться.

— Конечно, Иванъ Архипычъ, въ грѣхахъ надобно каяться, а все-таки живымъ въ руки даваться не должно; и если Москву будутъ отстаивать, то я ужъ вѣрно дома не останусь.

— И мои сыновья говорятъ тоже; да полно, будутъ-ли ее отстаивать? Хотя и въ сегодняшней афишкѣ напечатано, что скоро понадобятся молодцы и городскіе и деревенскіе, а всѣ заставы отперты, и народъ валомъ валить вонъ изъ города. Нѣтъ, Андрей Васьяновичъ, не сдобровать матушкѣ Москвѣ: дожили мы опять до татарскаго погрома.

— А можетъ-быть и до Мамаева побоища. Эхъ, Иванъ Архиповичъ, унывать не должно! Да если Господь попуститъ французамъ одолѣть насъ теперь, такъ чтожъ? У насъ, благодаря Бога, не такъ, какъ у нихъ—простору довольно. Погоняются, погоняются за нами, да устанутъ; а мы все-таки, рано или поздно, а свое возьмемъ.

— Такъ ты, батюшка, хочешь, если придетъ бѣда неминучая, уйти также изъ Москвы?

— А чтожъ? или принимать французовъ съ хлѣбомъ да солью? А вы, Иванъ Архиповичъ?

— Эхъ, родимый, куда я потащусь? Старикъ я дряхлый; да и Мавра-та Андреевна моя насилу ноги таскаетъ.

— Конечно; вотъ я человѣкъ одинокій: котомку за плеча, да и пошелъ, куда глаза глядятъ.

— У меня же есть большая забота, Андрей Васьяновичъ! На кого я покину моего гостя?

— Гостя? какого гостя?

— А вотъ изволишь видѣть: вчера-съ я шелъ отъ свата Савельича, такъ около сумерекъ; глядь — у самыхъ Серпуховскихъ воротъ стоитъ тройка почтовыхъ; на телѣгѣ лежитъ раненый русскій офицеръ, и слуга около него что-то больно суетится. Смотрю, лицо у слуги будто бы знакомое; я подошелъ, и лишь только

взглянулъ на офицера, такъ сердце у меня и замерло! Сердечный! Въ горячкѣ, безъ памяти, и кто жъ?.. Помнишь, Андрей Васьяновичъ, мѣсяца три тому назадъ, мы догнали въ селѣ Завидовѣ проѣзжаго офицера?

— Который довезъ насъ до Москвы въ своей коляскѣ? Какъ не помнить; я и фамилію его не забылъ. Кажется, Рославлевъ?..

— Да, онъ и есть! Гляжу, слуга его чуть не плачетъ, баринъ безъ памяти, а онъ самъ не знаетъ, куда ѣхать. Я обрадовался, что Господь привелъ меня хоть чѣмъ-нибудь возблагодарить моего благодѣтеля. Велѣлъ ямщику ѣхать ко мнѣ и отвелъ больному лучшую комнату въ моемъ домѣ. Нашъ частный лѣкарь прописалъ лѣкарство, и ему теперь какъ будто бы полегче; а все еще въ память не приходитъ.

— Чтожъ вы будете дѣлать, если французы войдутъ въ Москву? Вѣдь его, какъ плѣннаго офицера, у васъ не оставятъ.

— Ужъ я обо всемъ съ домашними условился: мундиръ его припрчемъ подалѣ, и если до чего дойдетъ, такъ я назову его моимъ сыномъ. Сосѣдъ мой, золотыхъ дѣлъ мастеръ, Францъ Иванычъ, сталъ было мнѣ отсовѣтывать, и говорилъ, что мы такъ бѣду наживемъ; что если французы дознаются, что мы скрываемъ у себя подъ чужимъ именемъ русскаго офицера, то, пожалуй, разстрѣляютъ насъ, какъ шпионовъ; но не только я; да и старуха моя слышать объ этомъ не хочетъ! Что будетъ, то и будетъ, а благодѣтели нашего не выдадимъ.

— Сохрани, Боже, выдать! Только напрасно объ этомъ сосѣдъ-то вашъ знаетъ. Смотрите, чтобъ этотъ Францъ Иванычъ...

— Нѣтъ, Андрей Васьяновичъ! Конечно, самъ онъ отъ непріятеля не станетъ прятать русскаго офицера, да и на насъ не донесетъ; вѣдь онъ не французъ, а нѣмецъ; и надобно сказать правду — честная душа! А подумаешь, куда тяжело будетъ, если Господь насъ не помилуетъ. Ты уйдешь, Андрей Васьяновичъ, а каково-

то будетъ мнѣ смотрѣть, какъ эти злодѣи станутъ владѣть Москвою, разорять храмы Господни, жечь дома наши...

— Моихъ Замоскворѣцкихъ домовъ не сожгутъ, Иванъ Архиповичъ!

— А почему такъ?

— Да потому, что прежде чѣмъ французская нога переступитъ черезъ мой порогъ, я запалю ихъ самъ своею рукою; я ужъ, на всякій случай, и смоляныхъ бочекъ припасъ. Вчера разговорились со мной объ этомъ молодцы изъ Каретнаго ряда: и они то-же поютъ. Не много французовъ станетъ разѣзжать въ русскихъ каретахъ, и если подлинно Москвы отстаивать не будутъ, хоть то порадуетъ наше сердце, что этотъ Бонапартій грибъ съѣстъ. Чай, онъ теперь разсуждаетъ со своими генералами, какая встрѣча ему будетъ; дѣлаетъ раскладку да подводитъ итоги, сколько надо собрать съ насъ контрибуціи. Дожидайся, голубчикъ! Много возьмешь! Поднесемъ мы тебѣ хлѣбъ съ солью! Развѣ одинъ Кузнецкій мостъ выйдетъ къ тебѣ навстрѣчу, да съ полсотни такихъ же шалопаевъ, какъ эти молокососы,—прибавилъ купецъ, указывая на троихъ молодыхъ людей, которые вполголоса разговаривали межъ собою.—Слышите ль, Иванъ Архиповичъ? Вѣдь они по-французски говорятъ.

— И, батюшка, какое намъ до этого дѣло? Видно, магазинчики, съ Кузнецкаго моста, такъ и говорятъ по-своему.

— Нѣтъ, Иванъ Архиповичъ, одинъ-то изъ нихъ русскій и нашъ братъ, купецъ—вонъ что въ синемъ сюртукѣ. Я ужъ не въ первый разъ его вижу. Не знаю, чѣмъ онъ торговалъ прежде, а теперь, кажется, за дурной взялся промыселъ. Ну, то ли время, чтобъ русскому якшаться съ французами? А у него другой компаніи нѣтъ. Слышите ли, какъ онъ имъ напѣваетъ? и вѣрно что-нибудь благое. Отчего они такъ робко вокругъ себя посматриваютъ? Для чего говорятъ вполголоса? Глядите!.. Вытащилъ изъ кармана бумагу...

читаетъ имъ... Хотя сейчасъ голову на плаху, а тутъ есть что-нибудь недоброе!.. Видите ли, какъ у этихъ французовъ рожи расцвѣли — такъ и ухмыляются!.. Эхъ, еслибъ вывѣдать какъ-нибудь!.. Пойдите-ка, авось удастся!..

Купецъ подошелъ къ молодому человѣку въ синемъ сюртукѣ и, поклонясь ему вѣжливо, сказалъ вполголоса:—Позвольте мнѣ васъ предостеречь, батюшка. Вы, кажется, русскій?

Молодой человѣкъ спряталъ поспѣшно въ карманъ бумагу, которую читалъ своимъ товарищамъ, и, взглянувъ недоувѣрчиво на купца, отвѣчалъ отрывистымъ голосомъ: Да, сударь!.. Что вамъ угодно?

— А эти господа, кажется, французы?

— Ну да! Такъ чтожь?

— Да такъ, батюшка; вы съ ними говорите по-французски, стойте вмѣстѣ...

— Такъ чтожь? — повторилъ молодой человѣкъ. — Развѣ это уголовное преступленіе? Они мои пріятели.

— И можетъ-быть пречестные люди, да время-то не то, батюшка.

— Я во всякое время въ правѣ говорить съ моими пріятелями, и желалъ бы знать, кто можетъ запретить мнѣ?..

— Ужъ конечно не я. По мнѣ тутъ нѣтъ ничего худого; а еще, можетъ-быть, это знакомство и очень вамъ пригодится. Да простой-то народъ глупъ, батюшка! Пожалуй, сочтутъ васъ шпиономъ. Поди, толкуй имъ, что не ихъ дѣло въ это мѣшаться, что мы люди не военные, что въ чужихъ земляхъ войска дерутся, а обыватели сидятъ смирно по домамъ; и если непріятель войдетъ въ городъ, такъ, для сохраненія своихъ имуществъ, принимаютъ его съ честью. Что, въ самомъ дѣлѣ! не нами свѣтъ начался, не нами кончится. Когда вездѣ ужъ такъ заведено, такъ намъ-то къ чему быть выскочками?

Молодой человѣкъ улыбнулся съ удовольствіемъ

и, поглядѣвъ пристально на купца, сказалъ:—Я вижу, что вы, несмотря на вашъ костюмъ, человѣкъ просвѣщенный, и не убѣжите изъ Москвы, когда Наполеонъ войдетъ въ нее побѣдителемъ.

— Нѣтъ, батюшка!.. У меня здѣсь два дома и три лавки, такъ слуга покорный! Если будутъ какіе поборы, такъ чтожь? Лучше отдать половину, чѣмъ все потерять.

— Половину? Да кто вамъ сказалъ, что вы отдадите что-нибудь? Съ чего вы взяли, что французы грабители? Я вижу, вы человѣкъ умный; неужели вы въ самомъ дѣлѣ вѣрите тому, въ чемъ насъ стараются увѣрить? Пора, кажется, намъ перестать быть варварами и хотя нѣсколько походить на другихъ европейцевъ. Помилуйте! бѣжать вонъ изъ города!.. Да развѣ французы татары? Французы самая великодушная и благородная нація въ Европѣ. Знаете ли, чего боится наше правительство? Не французовъ, а просвѣщенія, которое они принесутъ вмѣстѣ съ собою. Повѣрьте мнѣ, еслибъ московскіе жители встрѣтили Наполеона съ должной почестью...

— Эхъ, батюшка, за этимъ бы дѣло не стало, да вѣдь Богъ вѣсть! Ну, какъ въ самомъ дѣлѣ онъ примется разорять насъ? Кто знаетъ, что у него на умѣ?

— Кто знаетъ? Многіе это знаютъ. И если хотите,—прибавилъ молодой человѣкъ, почти шопотомъ,—и вы будете это знать.

— Какъ не хотѣть, батюшка. Какъ знаешь, чего ждать, такъ все-таки куражибе. А развѣ вамъ что-нибудь извѣстно?

— Да!.. но говорите тише. У меня есть прокламація Наполеона къ московскимъ жителямъ.

— Прокламація?..

— То-есть воззваніе, манифестъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! — вскричалъ купецъ съ живостію, но вдругъ, понизивъ голосъ, продолжалъ:— Прокламація, сирѣчь манифестъ? Понимаю, батюшка! Эхъ, жаль!.. Чай, писано по-французски?

— У меня есть и переводъ.

— Переводъ? Покажите-ка, отецъ родной! Да кто это добрый человѣкъ потрудился перевести? Ужъ не вы ли, батюшка?

— Я или не я, какое вамъ до этого дѣло; только переводъ недуренъ, за это я вамъ ручаюсь, — прибавилъ съ гордой улыбкою краснорѣчивый незнакомецъ, вынимая изъ кармана исписанную кругомъ бумагу. Купецъ протянулъ руку; но въ ту самую минуту молодой человѣкъ поднялъ глаза и — взоры ихъ встрѣтились. Кипящій гнѣвомъ и исполненный презрѣнія взглядъ купца, который не могъ уже долѣе скрывать своего негодованія, поразилъ измѣнника; онъ поспѣшилъ спрятать бумагу опять въ карманъ, и отступилъ шагъ назадъ. — Ни съ мѣста, предатель, — закричалъ купецъ, схвативъ его за воротъ. — Подай бумагу! — Молодой человѣкъ поблѣднѣлъ какъ смерть, рванулся изо всей силы и, оставивъ въ рукѣ купца лоскутъ своего сюртука, ударился бѣжать. — Держите, — закричалъ купецъ, — православные, держите! Это шпіонъ, измѣнникъ!.. — Но вдругъ изъ толпы, которая стояла подъ горою, раздался громкій крикъ. — Солдаты, солдаты! французскіе солдаты!.. — закричало нѣсколько голосовъ. Весь народъ взволновался; передніе кинулись назадъ, задніе побѣжали впередъ, и въ одну минуту улица, идущая въ гору, покрылась народомъ. Молодой человѣкъ, пользуясь симъ минутнымъ смятеніемъ, бросился въ толпу и исчезъ изъ глазъ купца. — Ушелъ, разбойникъ! — сказалъ онъ, скрипя отъ бѣшенства зубами. — Да не одобровать же тебѣ, Іуда предатель. Господи, Боже мой, до чего мы дожили. Русскій купецъ — и можетъ-быть сынъ благочестивыхъ родителей!..

Межъ тѣмъ небольшой отрядъ, надѣлавшій такъ много тревоги, приближался къ мосту; впереди шло человѣкъ пятьсотъ безоружныхъ французовъ, и не удивительно, что они перепугали народъ. Издали ихъ нельзя было принять за плѣнныхъ, которыхъ обыкновенно водятъ беспорядочной толпою. Напротивъ, эти

французы шли по улицѣ почти церемоніальнымъ маршемъ, повзводно, тихимъ, ровнымъ шагомъ, и даже съ наблюденіемъ должной дистанціи. Конвой, состоящій изъ полуроты пѣхотныхъ солдатъ, шелъ позади, а сбоку ѣхалъ на казацкой лошади начальникъ ихъ, толстый, лѣтъ сорока офицеръ, въ форменномъ армейскомъ сюртукѣ; рядомъ съ нимъ ѣхали двое русскихъ офицеровъ: одинъ раненый въ руку, въ плащѣ и уланской шапкѣ; другой въ гусарскомъ мундирѣ, фуражкѣ и съ обвязанной щекой. Гусарскій офицеръ первый замѣтилъ ошибку народа.—Посмотри, Зарядьевъ,—сказалъ онъ пѣхотному офицеру,—вѣдь насъ приняли за французовъ; а все ты виноватъ: твои плѣнные маршируютъ какъ на ученѣѣ.

— А по-твоему лучше бы,—возразилъ пѣхотный офицеръ,—чтобъ они шли, какъ попало. Еслибъ имъ отъ этого было легче, то такъ бы ужъ и быть; а то что толку?—Какъ хочешь иди, а переходъ надобно сдѣлать. Посмотришь, у другихъ—терпѣть не могу—разбредутся по сторонамъ: одни убѣгутъ впередъ, другіе оттянутъ за версту; ну, то ли дѣло, когда идутъ порядкомъ? Самимъ веселѣе. — Эй, Деминъ!—продолжалъ онъ обращаясь къ видному унтеръ-офицеру,—забѣги впередъ и пріостанови первый взводъ. Куда торопятся эти французы!—Да посмотри, правый-то флангъ совсѣмъ завалился.

Уланскій офицеръ улыбнулся.

— Ну, что ты смѣешься, Сборскій?—сказалъ гусарскій офицеръ.—Зарядьевъ правъ: онъ любитъ дисциплину и порядокъ, вато, посмотри, какая у него рота; я видѣлъ ее въ дѣлѣ—молодцы! подъ ядрами въ ногу идутъ.

— Что ты, Зарѣцкій! Я вовсе не думалъ смѣяться; да, признаюсь, мнѣ и не до того: рука моя больно шалить. Послушай, братецъ! Наше торжественное шествіе можетъ продолжиться долго, а домъ моей теткы на Мясницкой: поѣдемъ скорѣе.

— Поѣдемъ.

Оба кавалериста кивнули годовами Зарядьеву и пустились рысью къ Смоленскому рынку.

— Ты долго проживешь въ Москвѣ?—спросилъ Зарѣцкій своего товарища.

— Долго? Да развѣ это зависитъ отъ меня? Можетъ-быть, дня черезъ три сюда пожалуютъ гости, съ которыми я пировать вовсе не намѣренъ.

— Такъ ты полагаешь, что ихъ не встрѣтять?..

— Пушечными выстрѣлами! Врядъ ли. Да и депутаціи также не будетъ.

— Ну, Богъ знаетъ.—Я думаю, въ Москвѣ наберется еще десятка два-три французскихъ учителей; Наполеонъ назоветъ ихъ въ своемъ бюллетенѣ сенаторами, а добрые парижане всему повѣрятъ. Однакоже, что ни говори, а свое поневолѣ любишь. Я терпѣть не могу Москвы, а теперь мнѣ ее жаль. Въ прошлую зиму я прожилъ въ ней два мѣсяца и чуть не умеръ съ тоски: театръ предурной, балы прескучные, а сплетней, сплетней!.. Ну, право, здѣсь въ однѣ сутки услышишь больше комеражей, чѣмъ въ круглый годъ въ нашемъ благочестивомъ Петербургѣ, который также не очень забавенъ—надобно отдать ему эту справедливость.

— А гдѣ же по-твоему весело?

— Гдѣ?—Да тамъ, гдѣ некогда подумать о дѣлѣ, напримѣръ, въ Парижѣ.

— И, милый! Парижъ отъ насъ такъ далеко.

— Не дальше и не ближе, какъ Москва отъ французъ. Что если бы... на свѣтѣ все круговая порука, и ежели французы побываютъ въ Москвѣ, такъ почему бы, кажется, и намъ не загулять въ Парижъ? Къ тому жъ вѣжливость требуетъ...

— А что ты думаешь? Въ самомъ дѣлѣ, не заготовить ли намъ визитныхъ карточекъ?

— Ахъ, чортъ возьми! То-то бы повеселились. А, кажется, они въ Москвѣ не очень будутъ веселиться. Посмотри-ка, по всей Арбатской улицѣ ни одной

души. Ну, чего другого, а французамъ просторъ будетъ славный!

Въ самомъ дѣлѣ, отъ Драгомиловскаго моста до самой Мясницкой они встрѣтили не болѣе трехъ каретъ, запряженныхъ по дорожному, и только на Красной площади и около одного дома, на Лубянкѣ, толпился народъ.

— Что это?—сказалъ Сборскій, подъѣзжая къ длинному деревянному дому.—Ставни закрыты, ворота на запорѣ! Ну, видно, плохо дѣло, и тетушка отправилась въ деревню. Тридцать лѣтъ она не выезжала изъ Москвы, лѣтъ десять сряду, аккуратно каждый день, дѣлали ей партію два бригадира и одинъ отставной камергеръ. Ахъ, бѣдная, бѣдная! Съ кѣмъ она будетъ теперь играть въ вистъ?

— Ну, братецъ, куда же намъ дѣваться?—спросилъ Зарѣцкій.

— А вотъ посмотримъ; вѣрно, хоть дворникъ остался.

Офицеры слѣзли съ лошадей, начали стучаться, и черезъ нѣсколько минутъ вышелъ на улицу старикъ, въ изорванной фризовой шинели.

— Ахъ, батюшка! Это вы, Ѳеодоръ Васильичъ!—сказалъ онъ, увидя Сборскаго.

— Здравствуй, Ѳеодотъ!—Ну, что, тетушка въ деревнѣ?

— Да, сударь, изволила уѣхать. Думала, думала, да вдругъ поднялась; вчера по-утру закрутила такъ, что и Боже упаси! Порядкомъ заложить не успѣли. Охъ, батюшка! Видно, злодѣи-то наши недалеко?

— Нѣтъ, еще не близко. Ну, что, есть ли у тебя что-нибудь съѣстное?

— Какъ же, сударь, весь годовой запасъ: мука, крупа, овесъ, сушенныя куръ, вяленая рыба, гусиные полотки, масло...

— Такъ мы и наши лошади съ голоду не умремъ? Слава Богу!

— А есть ли у васъ что-нибудь въ подвалѣ?—спросилъ Зарѣцкій.

— Какъ же, сударь!—Однѣхъ виноградныхъ винъ дюжины четыре будетъ.

— Славно!—закричалъ Сборскій.—Смотри, Зарѣцкій, больше пить, чтобъ французамъ ни капли не осталось.—Ну, Ѳедотъ, отпирай ворота! Пойдемъ, братецъ! Дѣлать нечего, займемъ парадныя комнаты.

Пройдя черезъ обширную лакейскую, въ которой стѣны, налакированные спинами лакеевъ, ничѣмъ не были обиты, они вошли въ столовую, оклеенную зелеными обоями, кругомъ въ холстинныхъ чехлахъ стояли набитые пухомъ стулья; а по стѣнамъ висѣли низанные изъ стекляруса картины, представляющія попугаевъ, павлиновъ и другихъ пестрыхъ птицъ.

— Ну, братецъ!—сказалъ Зарѣцкій,—мы проживемъ здѣсь дня два, три, а потомъ...

— А потомъ, когда нагрянутъ незваные гости, я отправлюсь лѣчиться въ Калугу.—А ты?

— Если щекѣ моей будетъ легче, пристану опять къ нашему войску; а если нѣтъ, то поѣду отсюда къ пріятелю моему Рославлеву.

— Къ Рославлеву?

— Да, онъ лѣчитъ теперь и руку и сердце подлѣ своей невѣсты, верстъ за пятьдесятъ отсюда. Однакожь, знаешь ли что? Если въ гостиной диваны набиты такъ же, какъ здѣсь стулья, то на нихъ славно можно выспаться. Мы почти всю ночь ѣхали, и не знаю, какъ ты, а я очень усталъ.

— Ну, хорошо, отдохнемъ! — Да не послать ли дворника отыскать какого-нибудь лѣкаришку? Намъ чадобно перевязать наши раны.

— Да, не мѣшаетъ. Ахъ, чортъ возьми! Я думалъ, что французскій латникъ только оцарапалъ мнѣ щеку; а онъ, видно, порядкомъ съѣздилъ меня по рожѣ.

— Офицеры послали дворника за лѣкаремъ, а сами пошли въ гостиную и улеглись преспокойно на мягкихъ шелковыхъ диванахъ.—Ахъ, тетушка, тетушка! Съ какимъ бы гнѣвомъ возопила ты на сіе нарушеніе всѣхъ приличій! Какъ ужаснулась бы, увидѣвъ ши-

нели, сабли, мундиры, разбросанные по кресламъ твоей парадной гостиной, и гусарскіе сапоги со шпорами на твоёмъ наследственномъ обьяринномъ канапе.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ТРЕТЯ.

I.

2-го числа сентября, часу въ восьмомъ утра, Сборскій, сядя въ телѣжку, запряженную двумя плохими извозчичьими лошадьми, пожалъ въ послѣдній разъ руку своего товарища.—Прощай, мой другъ!—сказалъ онъ.—Боюсь, что мнѣ не удастся полѣчиться въ Калугѣ. Пожалуй, эти французы и оттуда меня выживутъ.

— Но точно ли правда, что они такъ близко отъ Москвы?—спросилъ Зарѣцкій.

— Да вотъ послушай, что онъ говорить, — продолжалъ Сборскій, показывая на усамага вахмистра, который стоялъ, вытянувшись, передъ офицерами.

— У страха глаза велики!—возразилъ Зарѣцкій.—Французовъ ли ты видѣлъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, французы ли—только не наши.

— Да гдѣ жъ ты ихъ видѣлъ?

— А вотъ вчера, ваше благородіе, меня схватило на походѣ такое колотье, что не чаялъ живъ остаться. Эскадронъ ушелъ впередъ, а меня покинули съ двумя рядовыми въ селѣ Везюмѣ, верстахъ въ тридцати отсюда. Мнѣ стало легче, и я хотѣлъ на другой день чѣмъ-свѣтъ отправиться догонять эскадронъ; вдругъ, этакъ передъ сумерками, глядимъ—по Смоленской до-

рогѣ пыль столбомъ! Мы скорѣй на коня, да къ околицѣ; посмотримъ—скачутъ въ медвѣжьихъ шапкахъ, а за ними валитъ пѣхота, видимо-невидимо! Подскакали поближе—хлопъ по насъ изъ пистолетовъ! Мы также, да и на утекъ. Обогнали нашихъ полковъ десять: одни идутъ на Москву, другіе обходятъ; а эскадронъ-то, видно, принялъ куда-нибудь въ сторону—не изволите ли знать, ваше благородіе?

— Нѣтъ, братецъ, не знаю,—сказалъ Сборскій.— Послушай, Зарѣцкій, ты будешь держаться около Москвы, такъ возьми его съ собою. Съ тобой надобно же кому-нибудь быть: ты ѣдешь верхомъ. Прощай, мой другъ!.. Тыфу, пропасть! Не знаю, какъ тебѣ, а мнѣ больно грустно! Ну, господа французы, дорвемся же и мы когда-нибудь до васъ!

— Признаюсь, и у меня что-то вотъ тутъ неловко,—сказалъ Зарѣцкій, показывая на грудь.—Французы подъ Москвою!.. Да что горевать, mon cher, придетъ, можетъ-быть, и наша очередь; а покамѣстъ—ей! Оедотъ! остальные бутылки съ виномъ выпей самъ или брось въ колодезь. Прощай, Сборскій!

Сборскій отправился на своей телѣжкѣ за Москворѣку, а Зарѣцкій сѣлъ на лошадь и въ провожаніи уланскаго вахмистра поѣхалъ черезъ городъ къ Тверской заставѣ. Выѣзжая на Красную площадь, онъ замѣтилъ, что густыя толпы народа съ ужаснымъ шумомъ и крикомъ бѣжали по Никольской улицѣ. Противъ самыхъ Спасскихъ воротъ повстрѣчался съ нимъ Зарядьевъ, который шелъ изъ Кремля.—Ты еще здѣсь, братецъ?—сказалъ съ удивленіемъ Зарѣцкій.

— Сейчасъ отправляюсь,—отвѣчалъ Зарядьевъ.— Слава Богу! развязался съ моими плѣнными: ихъ ведетъ ополченный офицеръ.

— Ну, что слышно?

— Говорятъ, будто бы Наполеонъ ночевалъ въ Везюмѣ.

— Такъ поэтому черезъ нѣсколько часовъ?..

— На Поклонной горѣ будутъ французы.

— А наши войска?..

— Тѣ, которыя здѣсь, выходятъ; а другія обошли Москву стороною.

— Итакъ, рѣшительно ее уступаютъ безъ боя?

— Да. Эхъ, Зарѣцкій! Что бы вдоль Драгомиловскаго моста хоть разика два шарахнуть картечью!.. Все-таки легче бы на сердцѣ было. И Смоленскъ имъ не дешево достался, а въ Москву войдутъ безъ выстрѣла! Впрочемъ, видно; такъ надобно. Нашъ братъ, фронтовой офицеръ, разсуждать не долженъ: что велать, то и дѣлай.

— А мнѣ кажется, — сказалъ Зарѣцкій, — что если бы дали сраженіе подъ Москвою, и здѣшніе жители присоединились къ войску...

— Да! — возразилъ Зарядьевъ, — много бы мы надѣлали съ ними дѣла. Эхъ, братецъ! Что значить этотъ народъ? Да я съ одной моей ротой загоню ихъ всѣхъ въ Москву-рѣку. Посмотри-ка, — продолжалъ онъ, показывая на беспорядочныя толпы народа, которыя, шума и волнуясь, разсыпались по Красной площади. — Ну, на что годится это стадо барановъ? Жмутся другъ къ другу, орутъ во все горло; а начини-ка ихъ плутонгами, такъ съ двухъ залповъ ни одной души на площади не останется.

— Да, что это они такъ расшумѣлись? — прервалъ Зарѣцкій. — Вонъ еще бѣгутъ изъ Никольской улицы... ужъ не входятъ ли французы?.. Эй, любезный! — продолжалъ онъ, подъѣхавъ къ одному молодому и видному купцу, который, стоя среди толпы, рассказывалъ что-то съ большимъ жаромъ: — что это народъ такъ шумить?

— Сейчасъ, сударь, казнили одного измѣнника, — отвѣчалъ купецъ, приподнявъ вѣжливо свою шляпу.

— Измѣнника?.. А кто онъ такой?

— Стыдно сказать: русскій и нашъ братъ, купецъ! Онъ еще третьяго дня чуть было не попался, да ускользнулъ, проклятый!..

— Чтожъ онъ такое сдѣлалъ?

— Да такъ, бездѣлку! Перевелъ манифестъ Наполеона къ московскимъ жителямъ.

— Ахъ, онъ негодай!—вскричалъ Зарядьевъ.—Вотъ то-то и дѣло, забрилъ бы ему лобъ, такъ небось не сталъ бы переводить Наполеоновскихъ манифестовъ. Купецъ!.. Да и пристало ли ему, торгашу, знать по-французски? Видишь, всѣ полѣзли въ просвѣщенные люди!

— Въ этомъ еще не много худого, Зарядьевъ,—прервалъ Зарѣцкій.—Можно въ одно и то же время любить французскій языкъ и не быть измѣнникомъ; а, конечно, для этого молодца лучше бы было, еслибъ онъ не учился по-французски.—Однакожъ, прощай! Мнѣ еще до заставы версты четыре надобно ѣхать.

Зарѣцкій выѣхалъ Иверскими воротами на Тверскую. Эта великолѣпная улица, за нѣсколько недѣлъ до сего наполненная народомъ, казалась вовсе необитаемою. Нарядныя вывѣски магазиновъ пестрѣлись по стѣнамъ домовъ; но всѣ двери были заперты. Какъ молчаливыя обитатели иноковъ, стояли опустѣвшія палаты русскихъ бояръ. Давно ли, подъ ихъ гостепріимнымъ кровомъ, кипѣло все жизнію и весельемъ? Давно ли тѣ самые французы, которые спѣшили завладѣть Москвою, находили въ нихъ всегда радушный пріемъ и, осыпанные ласками хозяевъ, пріучались думать, что русскіе не должны и *не могутъ* поступать иначе?.. Проѣхавъ всю Тверскую улицу, Зарѣцкій остановился на минуту у Триумфальныхъ воротъ; онъ невольно повернулъ свою лошадь, чтобъ взглянуть еще разъ на Москву. Сердце его сжалось, на глазахъ навернулись слезы...—Тѣфу, пропасть!—сказалъ онъ вполголоса,—я чуть не плачу; а что мнѣ до Москвы?.. Дѣло другое, если бѣ родина моя—Петербургъ?.. Тамъ есть у меня друзья, родные... а здѣсь ровно никого... и, несмотря на это, мнѣ кажется... да, я отдалъ бы жизнь мою, чтобъ спасти эту скучную, несносную Москву, въ которой нога моя никогда не будетъ. Ахъ,

чортъ возьми! Ну, прошу послѣ этого быть всемірнымъ гражданиномъ!

Онъ повернулъ свою лошадь, и черезъ нѣсколько минутъ, выѣхавъ за Тверскую заставу, принялъ направо полемъ къ Марьиной рощѣ.

— Осмѣлюсь доложить, ваше благородіе, куда мы ѣдемъ?—спросилъ уланскій вахмистръ.

— Покажѣтъ и самъ не знаю; но, кажется, мы выѣдемъ тутъ на Троицкую дорогу, а тамъ, можетъ-быть... Да, надобно взглянуть на Рославлева. Мы проживемъ, братецъ, денька три въ деревнѣ у моего пріятеля, потомъ пустимся догонять наши полки, а межъ тѣмъ лошадь твою и тебя будутъ кормить до отвалу.

— Не худо бы, ваше благородіе! Я еще и туда и сюда, а Саврасый-то мой недѣли двѣ овса не нюхалъ. На рысяхъ отъ другихъ не отстанетъ; а еслибъ пришлось идти въ атаку...

— Придется еще, братецъ, не безпокойся. Я увѣренъ, что теперь скорѣй французы захотятъ мириться, чѣмъ мы.

— До мировой ли теперь, ваше благородіе! Дѣло пошло на азартъ, и если они возьмутъ, да разорятъ Москву, такъ вся святая Русь подымется. Что, въ самомъ дѣлѣ, за буяны?.. Обидно, ваше благородіе!

Зарѣцкій, не желая продолжать разговора съ словоохотливымъ вахмистромъ, вынулъ изъ кармана кисетъ, выскѣкъ огня и закурилъ свою трубку. Миновавъ Марьину рощу, они выѣхали на дорогу, ведущую въ Останкино; шагахъ въ пятидесяти отъ нихъ, той же самою дорогою, шелъ одинъ прохожій. По его длинному кафтану, широкому поясу безъ складокъ, а болѣе всего по туго-заплетенной и загнутой кверху косичкѣ, которая выглядывала изъ-подъ широкихъ полей его круглой шляпы, не трудно было отгадать, что онъ принадлежитъ къ духовному званію; на полномъ и румяномъ лицѣ его изображалось какое-то беззаботное веселье; онъ шелъ весьма тихо, часто останавливался,

поглядывалъ съ удовольствіемъ вокругъ себя, и вдругъ запѣлъ тонкимъ голосомъ:

„Вспоемте, братцы, канту—прелюбезну,
Вспоманемъ скуку,—сердцу преполезну,
Сидя въ школѣ,
Во покоѣ
Глядя всюду,
Обоюду...“

— Послушайте-ка, любезный!—прервалъ Зарѣцкій, поровнявшись съ лѣвцомъ.

— *Quid est?*—вскричалъ прохожій, повернувшись къ Зарѣцкому.—Что вамъ угодно, господинъ офицеръ?—продолжалъ онъ, приподнявъ шляпу.

— Не знаете ли, гдѣ намъ проѣхать на Троицкую дорогу?

— Ступайте прямо, а тамъ поверните направо, мимо рощи. Вонъ видите село Алексѣевское? Оно на большой Троицкой дорогѣ. А что, господинъ офицеръ, что слышно о французахъ?

— Я думаю, они будутъ сегодня въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ!.. Ну, нечего сказать — *Satis pro peccatis!*.. А впрочемъ, унывать не надобно: *finis coronat opus*, то-есть: конецъ дѣло вѣнчаетъ; а до конца еще, кажется, далеко.

— И я то же думаю.

— Конечно,—продолжалъ ученый прохожій,—Наполеонъ, сей новый Атилла, есть истинно бичъ небесный; но подождите: *non semper erunt Saturnalia*—не все коту масленица. Безспорно, этотъ Наполеонъ хитеръ, да и нашего главнокомандующаго не скоро проведешь. Повѣрьте, недаромъ онъ впускаетъ французовъ въ Москву. Пусть они теперь въ ней попируютъ, а онъ свое возьметъ. Нѣтъ, сударь! хоть свѣтлѣйшій смотреть и не въ оба, а вѣдь онъ: *sibi in mente*, сирѣчь: себѣ на умѣ!

— Ого...—сказалъ, улыбаясь, Зарѣцкій,—да вы большой политикъ, господинъ... господинъ...

— Студентъ риторики въ Перервинской семинаріи,—отвѣчалъ ученый, приподнявъ свою шляпу.

— А откуда вы, господинъ студентъ, идете, и куда пробираетесь?

— Я вышелъ сегодня изъ Перервы, а куда иду, еще самъ не знаю. Вотъ изволите видѣть, господинъ офицеръ: меня забираетъ охота подраться также съ французами.

— Вотъ что!—сказалъ Зарѣцкій.—Ай-да, господинъ ученый! Да не хотите ли въ гусары?

— Ни, ни, господинъ офицеръ! Я хочу сражаться какъ простой гражданинъ. Теперь у насъ, безъ сомнѣнія, будетъ *bellum populari*—то-есть: народная война; а такъ какъ крестьяне должны также имѣть предводителей...

— Понимаю: вы мѣтите въ начальники русскихъ гвериласовъ; но вѣдь и тутъ надобенъ нѣкоторый навыкъ и военныя познанія; а вы...

— Я знаю наизусть всѣ комментаріи Цезаря de *Bello Galico*,—отвѣчалъ съ гордымъ взглядомъ семинаристъ.

— Вотъ это другое дѣло,—сказалъ переважно Зарѣцкій.—Итакъ, вы намѣрены...

— Дратся до послѣдней капли крови! Да, сударь! *Non est ad astra mollis et sera via*—лежа на боку, великимъ не сдѣлаешься.

— Великимъ? Да ужъ не Александромъ ли васъ зовутъ, господинъ студентъ?

— Точно такъ, господинъ офицеръ.

— Ого! вотъ куда вы лѣзете! Впрочемъ, вамъ предстоитъ карьера еще блистательнѣе... Командуя македонской фалангой, нетрудно было побѣждать непріятеля; а вѣдь ваша армія будетъ состоять изъ мужиковъ, вооруженныхъ вилами и топорами; летучіе отряды изъ крестьянскихъ бабъ съ ухватами и кочергами; передовые посты...

— Смѣйтесь, смѣйтесь, господинъ офицеръ! Увидите, что эти мужички надѣлаютъ! Дайте только имъ

порасшевелиться, а тамъ французы держись! Свѣтлѣйшій грянетъ съ одной стороны, графъ Витгенштейнъ съ другой, а мы со всѣхъ; да какъ воскликнемъ въ одинъ голосъ: *procul, o procul profani!* то-есть: вонъ отсюда, нечестивецъ! такъ Наполеонъ такого дастъ стрелка изъ Москвы, что его собаками не догонишь.

— Врядъ ли онъ такъ скоро съ нею разстанется.

— Помилуйте! онъ, чай, и самъ не радъ, что запелъ такъ далеко, да теперь ужъ дѣлать нечего. Вѣрно, думаетъ: авось пожалѣютъ Москвы и станутъ мириться. Вѣдь онъ ужъ не въ первый разъ поддѣваетъ на эту штуку. На то, сударь, пошелъ: *aut Caesar, aut nihil*—или панъ, или пропасть. До сихъ поръ ему удавалось, а какъ разъ промахнется, такъ и поминай, какъ звали!

— Итакъ, вы думаете, господинъ студентъ, что Наполеонъ играетъ теперь на выдержку?

— Хуже, сударь! Онъ ужъ проигралъ, а теперь отыгрывается.

— Проигралъ? Однакожъ, онъ дошелъ до Москвы.

— А дешево ли ему это стоило? Наши потери ничего: за одного убитаго явятся десятеро живыхъ; а онъ хочетъ, не хочетъ, а послѣдній рубль ставъ на карту. Вотъ, года три тому назадъ—я не былъ еще тогда въ риторикѣ—во время рекреациі, двое студентовъ схватились при мнѣ въ горку. Надобно вамъ сказать, что у насъ за столомъ только два блюда: говядина и каша. Одинъ изъ студентовъ, спустивъ всѣ деньги, сталъ играть на свою часть говядины и—проигралъ! Въ отчаяніи, терзаемый предчувствіемъ постной трапезы, онъ воскликнулъ такъ же, какъ Наполеонъ: *Aut Caesar, aut nihil!* и предложилъ играть—на кашу! На кашу, единственное блюдо, оставшееся для утоленія его голода! Всѣ товарищи ахнули, а у меня волосы стали дыбомъ, и тутъ я въ первый разъ постигнулъ, какъ люди проигрываютъ все свое состояніе! Къ счастью, насъ позвали обѣдать, и мой това-

рищъ не успѣлъ довершить своего отчаяннаго предпріятія. Повѣрьте мнѣ, господинъ офицеръ, и Наполеонъ играетъ теперь на кашу. Если ему не посчастливится заключить миръ—то горе оказанному! Всѣ язвы, всѣ казни египетскія обрушатся на главу его! А коли удастся, такъ и то слава Богу, когда при своемъ останется. Анъ и выйдетъ на повѣрку, что онъ: *magnus conatus magnas agit pugas*, то-есть: ходилъ ни по-что, принесъ ничего. Но намъ должно прекратить нашу бесѣду,—продолжалъ семинаристъ.—Я пойду прямо на Свирлово, а вы извольте ѣхать вкось по рощѣ, такъ минуете Алексѣевское и выйдете на большую дорогу у самаго Ростокіна. Прощайте, господинъ офицеръ!.. *Cura, ut valeas!*..

Студентъ приподнялъ свою шляпу и, продолжая идти по дорогѣ къ Останкину, затянулъ опять:

„Воспоемте, братцы, канту прелюбезну“...

Пообѣдавъ и выкормя лошадей въ большихъ Мытищахъ, Зарѣцкій отправился далѣе. Еслибъ онъ былъ ученый или, по крайней мѣрѣ, *сентиментальный* путешественникъ, то вѣрно бы пріостановился въ селѣ Братовщинѣ, чтобъ взглянуть на нѣкоторые остатки русской старины. Но нашъ гусарскій ротмистръ проѣхалъ весьма хладнокровно мимо ветхой церкви, построенной, вѣроятно, прежде царя Алексѣя Михайловича, и, взглянувъ нечаянно на одно полуразвалившееся зданіе, сказалъ:—Кой чортъ! что за смѣшной амбаръ!..—Злодѣй!—вскричалъ бы какой-нибудь антикварій,—вандалъ! да знаешь ли, что ты называешь амбаромъ *царскую вышку*, или теремъ, въ которомъ православные русскіе цари отдыхали на пути своемъ въ Троицкую лавру? Знаешь ли, что недавно была тутъ же другая царская вышка, гораздо просторнѣе и величественнѣе, и что, благодаря преступному равнодушію людей, подобныхъ тебѣ, не осталось и развалинъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она стояла? Варвары! (прошу замѣтить, это го-

ворю не я, но все тотъ же любитель старины) Варвары! вы не умѣли сберечь даже и того, что пощадили Литва и татары! Куда дѣвался великолѣпный Коломенскій дворецъ? Гдѣ царскія палаты въ селѣ Алексѣевскомъ? Посмотрите, какъ европейскіе народы дорожатъ остатками своей старины! Укажите мнѣ хотя на одинъ иностранный городъ, гдѣ бы жители согласились продать на сломку какую-нибудь уродливую готическую башню или древнія городскія ворота? Нѣтъ! они гордятся сими драгоценными развалинами; они глядятъ на нихъ съ тѣмъ же почтеніемъ, съ тою же любовью, съ какою добрыя дѣти смотрятъ на заросшій травой могильный памятникъ своихъ родителей; а мы... Тутъ господинъ антикварій вѣроятно бы замолчалъ, не находя словъ для выраженія своего душевнаго негодованія; а мы, вмѣсто отвѣта, пропѣли бы ему забавные куплеты насчетъ русской старины, и, посматривая на какой-нибудь прелестный домикъ съ цѣльными стеклами, построенный на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стояли неуклюжіе терема и толстыя стѣны съ зубцами, заговорили бы въ одинъ голосъ: Какъ это мило!.. Какъ свѣжо! Какая разница! О! наши предки были настоящіе варвары!

Но межъ тѣмъ, пока мы слушали горькія жалобы любителя русской старины, Зарѣцкій все ѣхалъ да ѣхалъ. Опустивъ поводья, онъ сидѣлъ задумчиво на своей лошади, которая шла спокойной и ровной ходою; мечталъ о будущемъ, придумывалъ всевозможныя средства къ истребленію французской арміи, и вслѣдъ за бѣгущимъ непріятелемъ летѣлъ въ Парижъ—пожить, повеселиться и забыть на время о любезномъ и скучномъ отечествѣ. Въ ту самую минуту, какъ онъ въ модномъ фракѣ, съ бадинкою въ рукѣ, расхаживалъ подъ арками Пале-Рояля и прислушивался къ милымъ французскимъ фразамъ, загремѣлъ на грубомъ русскомъ языкѣ вопросъ: «Кто ѣдетъ?» Зарѣцкій очнулся, взглянулъ вокругъ себя: передъ нимъ деревенская околица, подлѣ воротъ соломенный шалашъ въ видѣ будки, въ шалашѣ

мужикъ съ всклокоченной рыжей бородою и длинной рогатиной въ рукѣ; а за околицей, передъ большимъ сараемъ, съ подюжины пикъ въ сошкахъ.

— Кто ѣдетъ? — повторилъ мужикъ, выльзая изъ шалаша.

— Да развѣ не видишь, что офицеръ? — сказалъ вахмистръ. — Экій мужланъ!

— Анъ врешь! Я не мужикъ.

— Да кто же ты?

— Ополченный! — отвѣчалъ воинъ, поправивъ гордо свою шапку.

— Зачѣмъ же ты здѣсь? — спросилъ Зарѣцкій.

— Стою на часахъ, ваше благородіе.

— Такъ что же ты зѣваешь, дурачина, — закричалъ вахмистръ. — Отворяй ворота!

— Безъ приказа не могу. Эй! выходи вонъ!

Человѣкъ шесть мужиковъ выскочили изъ сарая, схватили пики и стали по ранжиру вдоль стѣны; вслѣдъ за ними вышелъ молодой малый, въ казацкомъ сѣромъ полукафтани, такой же фуражкѣ и съ тесакомъ, повѣшеннымъ черезъ плечо на широкомъ черномъ ремнѣ. Подойдя къ Зарѣцкому, онъ спросилъ очень вѣжливо: кто онъ и откуда ѣдетъ?

— А на что тебѣ, голубчикъ? — сказалъ Зарѣцкій. — И кто ты самъ такой?

— Урядникъ, ваше благородіе!

— А какое тебѣ дѣло, господинъ урядникъ, — кто я и куда ѣду?

— Здѣсь стоитъ полкъ московскаго ополченія, ваше благородіе, и полковникъ приказалъ, чтобъ всѣхъ проезжихъ изъ Москвы, а особливо военныхъ, провожать прямо къ нему.

— Вотъ еще какія затѣи! Да развѣ здѣсь крѣпость и вашъ полковникъ комендантъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, а такъ велѣно. Полковникъ сейчасъ изволилъ приказывать...

— Большая мнѣ нужда до его приказанія! — Ополченный полковникъ!... Отворяй ворота!

— Да вѣдь онъ проситъ ваше благородіе заѣхать къ нему въ гости.

— А если я не хочу быть его гостемъ?.. Да кто такой вашъ полковникъ?

— Николай Степановичъ Ижорскій.

— Ижорскій?..—Мнѣ что-то знакома эта фамилія... Кажется, я слышалъ отъ Владиміра... Не родня ли онъ Лидиной?

— Прасковья Степановна?.. Родной братецъ.

— Вотъ это другое дѣло... Такъ я могу отъ него узнать, далеко ли отсюда деревня Владиміра Сергѣевича Рославлева.

— Да не близко, ваше благородіе! Вѣдь она по Калужской дорогѣ.

— Ну, такъ и есть: я зналъ впередъ, что ошибусь!.. Отворяй ворота и проводи меня къ своему полковнику.

— Я, сударь, на караулѣ и отлучиться не могу; я пошлю съ вами ефрейтора. Эй, ребята! слушай команду!.. Въ сошки!

Воины положили въ сошки свои пики и повернулись, чтобъ идти въ сарай. — Гаврила! — продолжалъ урядникъ, — проводи господина офицера къ полковнику.

— Къ барину? — спросилъ молодой крестьянскій парень.

— Ну да! то-есть къ его высокоблагородію, дурчина!

— Слушаю-ста! — А пику-то оставить что-ль или нѣтъ?

Урядникъ призадумался. — Ефрейторы всегда ходятъ съ ружьями, — сказалъ улыбаясь Зарѣцкій.

— Ну, что сталь? возьми пику съ собой! — закричалъ урядникъ; — да, смотри, не дразни по улицамъ собакъ. Ступай!

Воинъ, положивъ пику на плечо, отправился впереди нашихъ путешественниковъ, по длинной и широкой улицѣ, въ концѣ которой, передъ одной избой, сверкали копья и толпилось много народа.

II.

Въ бѣлой и просторной избѣ сельскаго старосты, за широкимъ столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ и стояло нѣсколько бутылокъ съ ромомъ, сидѣли старинные наши знакомцы: Николай Степановичъ Ижорскій, Ильменевъ и Ладушкинъ. Первый въ обще-армейскомъ сюртукѣ съ штабъ-офицерскими эполетами, а оба другіе въ сѣрыхъ ополченныхъ полукафтаныяхъ. Ильменевъ, туго подтянутый шарфомъ, въ черномъ галстукѣ, съ нафабрёнными усами и вытянутый, какъ струнка, казалось, помолодѣлъ десятью годами; но несчастный Ладушкинъ, привыкшій ходить въ плисовыхъ сапогахъ и просторномъ фризомъ сюртукѣ, изнемогалъ подъ тяжестью своего воинскаго наряда: онъ едва смѣлъ пошевелиться, и посматривалъ то на огромную саблю, къ которой былъ прицѣпленъ, то на длинныя шпоры, которыя своимъ непрерывнымъ звономъ напоминали ему, что онъ выбранъ въ полковые адъютанты и долженъ ѣздить верхомъ.

— Что это Терешка не ѣдетъ? — сказалъ Ижорскій. — Волгинъ обѣщался прислать его непременно сегодня.

— Да куда, сударь, — спросилъ Ильменевъ, — поѣхалъ нашъ бывшій предводитель, Михайла Ѳедоровичъ Волгинъ?..

— А теперь мой пятисотенный начальник! — подхватилъ съ гордостію Ижорскій. — Я послалъ его въ Москву поразвѣдать, что тамъ дѣлается, и отправилъ съ нимъ моего Терешку съ тѣмъ, что если онъ пробудетъ въ Москвѣ до завтра, то прислалъ бы его сегодня ко мнѣ съ какими-нибудь извѣстіями. Но поговоримте теперь о дѣлахъ службы, господа! — продолжалъ полковникъ, перемѣнивъ совершенно тонъ. — Господинъ полковой казначей, прибавляется ли наша казна?

— Слава Богу, ваше высокоблагородіе! — отвѣчалъ Ильменевъ, вскочивъ проворно со скамьи. — Сегодня по-утру прислали къ намъ изъ города, взаимъ недо-

ставленной аммуниціи, пятьсотъ-тридцать-три рубля двадцать-двѣ копейки.

— А чтожъ сегодняшній приказъ, господинъ полковой адъютантъ?

— Готовъ, Николай Степановичъ, — сказалъ Ладушкинъ, вставая.

— Смотри, смотри, братецъ!.. опять зацѣпилъ шпорами... Ну! вотъ тебѣ и разъ!.. Да подними его, Ильменевъ! Видишь, онъ справиться не можетъ.

— О, Господи Боже мой!.. — сказалъ Ладушкинъ, вставая при помощи Ильменева, — въ пятый разъ сегодня! Да позвольте мнѣ, Николай Степановичъ, не носить этихъ проклятыхъ зацѣпъ.

— Что ты, братецъ! гдѣ видано? адъютантъ безъ шпоръ! Да это курамъ будетъ на смѣхъ. Привыкнешь!

— Такъ нельзя ли меня совсѣмъ изъ адъютантовъ-то прочь, батюшка?

— Оно конечно, какой ты адъютантъ! Тутъ надобенъ проворъ. Вотъ дѣло другое—Ильменевъ: онъ челоуѣкъ военный; да грамотѣ-то мы съ нимъ плохо знаемъ. Ну, чтожъ приказъ?

— Вотъ, сударь, готовъ; извольте прочесть.

— Давай!.. Пароль... лозунгъ... отзывъ... Хорошо! Что это?.. Вонна третьей сотни, Ивана Лосева, за злостное похищеніе одного индѣйскаго пѣтуха и двухъ поросятъ, выколотить завтрашняго числа передъ фрунтомъ палками. Дѣло! Господинъ полковой командиръ изъявляетъ свою совершенную признательность господину пятисотенному начальнику, Буркину...

— За что?

— За найденный вами порядокъ и примѣрное устройство находящихся подъ командою его пяти сотенъ.

— Да, да! совсѣмъ забылъ: вѣдь я назначилъ сегодня смотръ; но надобно прежде взглянуть, а тамъ ужъ сказать спасибо.

— Онъ съ полчаса дожидается, — сказалъ Ильменевъ. — Извольте-ка взглянуть въ окно; посмотрите, какъ онъ на своемъ Султанѣ гарцуетъ передъ фронтомъ.

— Пойдемте же, господа! Гей, Заливной! саблю, фуражку!

Ижорскій, прицѣпя саблю, вышелъ въ сопровожденіи адъютанта и казначея за ворота. Человѣкъ до пятисотъ воиновъ съ копьями, выстроенные въ три шеренги, стояли вдоль улицы; всѣ офицеры находились при своихъ мѣстахъ, а Буркинъ на лихомъ персидскомъ жеребцѣ рисовался передъ фронтомъ.

— Смирно!—закричалъ онъ, увидя выходящаго изъ воротъ полковника.

— Хорошо! — сказалъ Ижорскій важнымъ голосомъ. — Фронтъ выровненъ, стоятъ по ранжиру... хорошо!

— Слушай!—заревѣлъ Буркинъ.—Шапки долой!

— Хорошо!—повторилъ Ижорскій:—всѣ въ одинъ темпъ, по командѣ... очень хорошо!

— Господинъ полковникъ!—продолжалъ Буркинъ, подскакавъ къ Ижорскому и опустивъ свою саблю.

— Тише, братецъ, тише! Что ты? задавишь!

— Господинъ полковникъ!..

— Да чортъ тебя возьми! Что ты на меня лѣзешь?

— Честь имѣю рапортовать, что при командѣ стоитъ все благополучно: двое рядовыхъ занемогли, одинъ урядникъ умеръ...

— Хорошо, очень хорошо!.. Да осади свою лошадь, братецъ!.. Э! постой! Кто это ѣдетъ на парѣ? Никакъ Терешка? Такъ и есть! Ну, что, братъ, гдѣ Волгинъ?

— Изволилъ остаться въ Москвѣ,—отвѣчалъ слуга, спрыгнувъ съ телѣги, которая остановилась противъ избы.

— А скоро ли будетъ назадъ?

— Не могу доложить. Онъ послалъ меня вчера еще вечеромъ, да помѣха сдѣлалась.

— Что такое?

— У самаго Ростокина выпрягли у меня лошадей, говорятъ, будто подъ казенные обозы—не могу ска-

зять. Кой-какъ сегодня, и то уже послѣ обѣда, нанялъ эту пару; да что за клячи, сударь! насилу дотащился.

— Ну, что слышно новаго?

— Николай Степановичъ!—сказалъ Ладушкинъ,—позвольте доложить: здѣсь не мѣсто...

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ! Господинъ пятисотенный начальникъ! извольте распустить вашу команду, да милости прошу ко мнѣ на чашку чая; а ты ступай за нами въ избу.

— Слушай!—заревѣлъ опять Буркинъ.—Шапки надѣвай! Господа офицеры! разводите ваши сотни по домамъ. Тише, ребята, тише! не шумѣть! смирно!

Черезъ нѣсколько минутъ изба, занимая Ижорскимъ, наполнилась ополченными офицерами; вмѣстѣ съ Буркинымъ пришли почти всѣ сотенные начальники, засѣли вокругъ стола, и господинъ полковникъ, подождавъ Терешку, повторилъ свой вопросъ:—Ну, что, братецъ, что слышно новаго?

— Да что, сударь! говорятъ, французы идутъ прямо на Москву.

— А гдѣ наши войска?

— Не могу доложить.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ,—закричалъ Буркинъ,—Москвы отстаивать не будутъ и сдадутъ безъ боя?.. Безъ боя!.. Ну, какъ это можетъ быть?

— Эхъ, батюшка Григорій Павловичъ!—прервалъ Ладушкинъ,—было бы чѣмъ отстаивать, и когда ужъ всѣ говорятъ...

— Анъ вздоръ, не всѣ! Вчера какой-то бѣдный прохожій меня порадовалъ. Онъ сказалъ мнѣ, что вѣрно всему нашему войску собираться къ Тремъ горамъ.

— И вы, сударь, ему повѣрили?—спросилъ насмѣшливо Ладушкинъ.

— И повѣрилъ, и на водку далъ.

— Чай, двугривенный или четвертакъ? Вѣдь вы человекъ тароватый!

— Нѣтъ, на ту пору у меня мелочи не случилось.

— Чтожъ вы ему дали? Ужъ не цѣлковый ли?

— Нѣтъ, братецъ! я далъ ему синенькую—да еще какую? Съ иглочки, такъ въ рукѣ и хруститъ! Эхъ! подумалъ я, была не была! На, братъ, выпей за здоровье московскаго ополченія да помолись Богу, чтобъ мы безъ работы не остались.

— Пять рублей!—повторилъ про себя Ладушкинъ.— Ну, подлинно: глупому сыну не въ помощь богатство!

— И въ Москвѣ объ этомъ народъ толкуетъ,—сказалъ слуга.—Да вотъ я привезъ съ собой афишку, которую вчера по городу разносили.

— Чтожъ ты, братецъ!—закричалъ Ижорскій:—давай сюда!.. Пстой-ка! подписано: графъ Растопчинъ. Г. адъютантъ!—продолжалъ онъ,—извольте прочесть ее во услышаніе всѣмъ!

Ладушкинъ взялъ афишу, напечатанную на большой четверткѣ, и началъ читать слѣдующее:

«Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить животь, защищая отечество. Не пустимъ злодѣя въ Москву; но должно пособить и намъ свое дѣло сдѣлать. Грѣхъ тяжкій своихъ выдавать! Москва—наша мать; она васъ поила, кормила и богатила. Я васъ призываю именемъ Божіей Матери на защиту храмовъ Господнихъ, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чѣмъ можетъ—и конные и пѣшіе; возьмите только на три дня хлѣба, идите со крестомъ. Возьмите хоругви изъ церквей, и съ симъ знаменемъ собирайтесь тотчасъ на Трехъ горахъ. Я буду съ вами, и вмѣстѣ истребимъ злодѣя. Слава въ Вышнихъ—кто не отстанетъ! вѣчная память—кто мертвый ляжетъ! горе на страшномъ судѣ—кто отголариваться станетъ!»

— Ну, вотъ!—вскричалъ Буркинъ,—вѣдь прохожій-то правду говорилъ. Эхъ, жалъ, что я не далъ ему красенькой.

— Однакожъ, — замѣтилъ Ильменевъ, — въ этомъ листкѣ о московскомъ ополченіи ни слова не сказано.

— Да неужто ты думаешь, — возразилъ Буркинъ, — что когда другіе полки нашего ополченія присоединены къ арміи, мы станемъ здѣсь сидѣть, поджавши руки?

— Прикажутъ, такъ и мы пойдемъ,—сказалъ Ижорскій.

— А безъ приказа соваться не надобно,—промолвилъ Ладушкинъ.

— Дай то, Господи, чтобъ приказали!—продолжалъ Буркинъ.—Что, господа офицеры, неужели и васъ охота не забираетъ подраться съ этими супостатами? Да, нѣтъ! По глазамъ вижу, вы всѣ готовы умереть за матушку Москву, и ужъ вѣрно изъ васъ никто назадъ не попятится?

— Назадъ? Что вы, Григорій Павловичъ?—сказалъ одинъ, вершковъ двѣнадцати широкоплечій сотенный начальникъ.—Нѣтъ, батюшка! не за тѣмъ пошли. Да я своей рукой зарѣжу того, кто шагъ назадъ сдѣлаетъ.

— Слышишь, братъ Ладушкинъ?—сказалъ Буркинъ,—а съ нимъ шутки-то плохія: вѣдь онъ одинъ на медвѣдя ходитъ.

— Оно такъ, сударь!—возразилъ Ладушкинъ;—да еслибъ у насъ хотъ ружья-то были!

— А слыхалъ ли ты, братъ,—прервалъ Буркинъ,—поговорку нашего славнаго Суворова: пуля дура, а штыкъ молодецъ.

— Да гдѣ у насъ штыки-то?

— Вотъ еще что!—А чѣмъ рогатина хуже штыка?

— И, конечно, не хуже,—подхватилъ сотенный начальникъ.—Бывалохватишь медвѣдя подъ лопатку, такъ и онъ долго не навертится, а какой-нибудь поджарый французъ...

— Постойте-ка, господа!—сказалъ Ижорскій;—никакъ гость къ намъ ѣдетъ. Такъ и есть—гусарскій офицеръ! Ильменевъ! Ступай, проси его.

— Охъ, мнѣ эти кавалеристы!—сказалъ вполголоса Ладушкинъ.—Въ грошъ не ставятъ нашего брата.

— Да есть тотъ грѣхъ,—промолвилъ сотенный начальникъ.—Они насъ и за военныхъ-то не считаютъ.

— А вы бы, господа, по-моему,—сказалъ Буркинъ:—если. отъ меня кто рыло воротить, такъ и я

на него не смотрю. Велика фигура—гусарскій офицеръ!.. Послушай-ка, Ладушкинъ,—продолжалъ Буркинъ, поправляя свой галстукъ,—подтяни братъ, портупею-то: видишь, у тебя сабля совсѣмъ по землѣ волочится:

— Милости просимъ, батюшка!—сказалъ Ижорскій, встрѣчая Зарѣцкаго, который, войдя въ избу, поклонился вѣжливо всему обществу,—милости просимъ! Не прикажете ли водки? Не угодно ли чаю или стаканчикъ пуншу? Да прошу покорно садиться. Подвинься-ка, Григорій Павловичъ.

— Покорно васъ благодарю,—сказалъ Зарѣцкій, садясь въ передній уголъ между Ижорскимъ и Буркинымъ,—я выпью охотно стаканъ пуншу.

— Вотъ это по-нашему, по-военному, господинъ офицеръ!—сказалъ Буркинъ.—Что за питье чай безъ рома? А ромъ знатный—рекомендую, настоящій ямайскій!

— Мнѣ, право, совѣстно,—сказалъ Зарѣцкій, замѣтивъ, что одному офицеру не оставалось мѣста на скамьѣ:—не стѣснилъ ли я васъ господа?

— Помилуйте!—подхватилъ Буркинъ,—кому есть мѣсто, тотъ посидитъ, кому нѣтъ—постоитъ. Вѣдь мы всѣ народъ военный, а межъ военными что за счеты! Не такъ ли, товарищъ?—продолжалъ онъ, обращаясь къ колоссальному сотенному начальнику, который молча закручивалъ свои густые усы.

— Разумѣется, Григорій Павловичъ, мы люди военные. Дѣло походное, а въ походѣ и съ незнакомымъ человѣкомъ живешь подчасъ какъ съ однокорытникомъ; что тутъ за вычурны! Не такъ ли, господинъ адъютантъ?

— Конечно, конечно, господинъ капитанъ!

— Позвольте мнѣ рекомендовать вамъ, — сказалъ Ижорскій. — Это все офицеры моего полка, а это господинъ Буркинъ, мой батальонный командиръ.

— Очень радъ, что имѣю удовольствіе познакомиться... А ромъ у васъ въ самомъ дѣлѣ славный!

— Какъ не быть порядочнаго рома,—сказалъ Ижорскій,—у нашего брата—не бѣднаго помѣщика...

— И полкового командира,—прибавилъ Буркинъ.

— Позвольте спросить,—продолжалъ Ижорскій,—я вижу, вы ранены:—гдѣ это васъ прихватило?

— Подъ Бородинымъ.

— А теперь откуда изволите ѣхать?

— Изъ Москвы.

— Ну, что, батюшка, — собирается ли тамъ войско на Воробьевыхъ горахъ?

— Что слышно? — сказалъ Буркинъ; — на какомъ флангѣ будетъ стоять московское ополченіе?

— Поближе бы только къ французамъ, — промолвилъ сотенный начальникъ.

— Не оставлять ли его въ резервѣ?—спросилъ Ладушкинъ.

— Я этого ничего не знаю, господа; напротивъ, кажется подъ Москвою вовсе не будетъ сраженія.

— Что вы!—закричалъ Буркинъ;—такъ вы поэтому не видѣли московской аѣши? Вотъ она, прочтите-ка!

— Странно!—сказалъ Зарѣцкій, прочтя прокламацію московскаго генераль-губернатора.—Судя по этому, должно думать, что подъ Москвою будетъ генеральное сраженіе; и еслибъ я зналъ это навѣрное, то непременно бы воротился; но, кажется, движенія нашихъ войскъ доказываютъ совершенно противное.

— Это какая-нибудь военная хитрость, — сказалъ Ижорскій.

— Вѣрно! — заревѣлъ Буркинъ. — Знаете ли что? Москва-то приманка. Свѣтлѣйшій хочетъ заманить въ нее Наполеона, какъ волка въ западню. Лишь онъ подойдетъ къ Москвѣ, такъ народъ выступитъ къ нему навстрѣчу, армія нахлынетъ сзади, мы нагрянемъ съ попереку, да какъ начнемъ его со-щеки-на-щеку...

— Sapristie, quelle omelette! — вскричалъ, захохотавъ во все горло, Зарѣцкій.

— Что это, братъ? — воскликнулъ Буркинъ сотенному начальнику:—по-каковски онъ это заговорилъ?

— Ужъ не французъ ли онъ? — сказалъ великанъ, взглянувъ исподлобья на Зарѣцкаго. — Чего добраго: у него и хватки-то всё нерусскія.

— Нѣтъ, братецъ, вѣрно, какой-нибудь матушкинъ сынокъ и выросъ на французскомъ языкѣ; вѣдь эти кавалеристы народъ все модный — съ вычûрами.

— Позвольте васъ спросить, полковникъ! — сказалъ Зарѣцкій: — вы родня госпожѣ Лидиной?

Ижорскій покраснѣлъ, смутился и повторилъ съ примѣтнымъ безпокойствомъ: Лидиной, то-есть Прасковѣ Степановнѣ?..

— Кажется, такъ.

— Да, что грѣхъ таить: я былъ съ нею когда-то родня... А на что вамъ?.. Неужели и до васъ слухъ дошелъ?..

— О чемъ?..

— Такъ, такъ, ничего! Да развѣ вы съ ней знакомы?

— Нѣтъ, я не имѣю этой чести; но искренній другъ мой, Владиміръ Сергѣевичъ Рославлевъ...

— Рославлевъ! Такъ вы съ нимъ знакомы? Бѣдняжка!

— Что такое? Неужели его рана...

— А развѣ онъ раненъ?..

— Да, раненъ, и лѣчится теперь у своей невѣсты.

— У своей невѣсты! — повторилъ Ижорскій вполголоса. — Нѣтъ, батюшка, у него теперь нѣтъ невѣсты.

— Что вы говорите? Его Полина умерла?

— Хуже. Еслибъ она умерла, то я отслужилъ бы не панихиду, а благодарственный молебенъ; слезинки бы не выронилъ надъ ея могилою. А я любилъ ее! — прибавилъ Ижорскій растроганнымъ голосомъ; — да, я любилъ ее какъ родную дочь!

— Боже мой, чтожъ такое съ нею сдѣлалось?

— Она, то-есть племянница моя... Нѣтъ, батюшка! языкъ не повернется выговорить.

— Эхъ, Николай Степановичъ! — сказалъ Буркинъ, — шила въ мѣшкѣ не утаишь. Что дѣлать? грѣхъ такой. Вотъ изволите видѣть, господинъ офицеръ, старшая

дочь Прасковьи Степановны Лидиной, невѣста вашего пріятеля Рославлева, вышла замужъ за французскаго плѣннаго офицера.

— Возможно ли?

— Говорятъ, что этотъ французъ полковникъ и графъ. Да еслибъ онъ былъ и маркграфъ какой, такъ срамота-то все не меньше. Господи Боже мой! Французъ, кровопійца нашъ!.. Что и говорить? Стыдъ и безчестье всей нашей губерніи!

— Графъ?—повторилъ Зарѣцкій.—Такъ точно, это тотъ французскій полковникъ, котораго я избавилъ отъ смерти, котораго самъ Рославлевъ прислалъ въ домъ къ своей невѣстѣ... Итакъ, есть какая-то непостижимая судьба...

— Судьба, — прервалъ Ижорскій. — Какая судьба для такихъ неповитыхъ дуръ, какъ моя сестрица... то-есть бывшая сестра моя... Она сама, лучше злодѣйки-судьбы, придумаетъ всякую пакость. Вчера только я получилъ объ этомъ извѣстіе. Повѣрите ль? Какъ обухомъ по лбу! Я было хотѣлъ скакать самъ въ деревню и познакомиться съ новой моей роденькою; да сегодня дошли до насъ слухи, будто въ той сторонѣ показались французы. Можетъ-быть, теперь они ужъ выручили его изъ плѣна. Пусть онъ увезетъ съ собою свою графиню и тещу — чортъ съ ними! Жаль только бѣдной Оленьки. Сердечная, за что гибнетъ вмѣстѣ съ ними! Да во чтобъ ни стало, если ея сіятельство съ своей маменькой потащатъ Оленьку во Францію, такъ я выйду на большую дорогу, какъ разбойникъ, и отобью у нихъ мою племянницу и единственную наслѣдницу всего моего имѣнія.

— Позвольте спросить, Николай Степановичъ! — сказалъ Ладушкинъ, — отъ кого вы изволили слышать, что французы въ нашихъ мѣстахъ? Это не можетъ быть!

— А почему не можетъ быть?

— Если они идутъ къ Москвѣ, такъ на чтожъ имъ сворачивать на Калужскую дорогу? Кажется, съ

большой Смоленской дороги сбиться трудно; а на всякій случай, неужели-то они и проводника не найдутъ?

— Эхъ, братецъ, не въ томъ дѣло, что они идутъ или не идутъ по Калужской дорогѣ...

— Нѣтъ, сударь, въ этомъ-то и дѣло! Да, воля ваша, имъ тутъ и слѣда нѣтъ идти. Шутка ли, какой крюкъ они сдѣлаютъ!

— Да что ты такъ объ нихъ хлопчешь, братецъ?

— Помилуйте, Николай Степановичъ! Вѣдь моя деревушка почти на самой Калужской дорогѣ.

— Такъ вотъ что!—вскричалъ Буркинъ.—Ахъ, ты, жидоморъ! по тебѣ пусть французы берутъ Москву, лишь только бы твое Щелкоперово осталось цѣло.

— Чтожъ дѣлать, Григорій Павловичъ! Своя рубашка къ тѣлу ближе. Ну, разсудите сами...

— Да мнѣ-то развѣ легче? Мы съ тобой сосѣди: если твою деревню сожгутъ, такъ и моей не миновать того же; а развѣ я плачу?

— Вѣдь вы человѣкъ богатый.

— А ты, чай, убогій? Полно, братецъ! Душъ у тебя много, да душонки-то нѣтъ.

— Перестаньте, господа! — сказалъ Ижорскій. — Что вы? Мы знаемъ, что вы всегда шутите другъ съ другомъ; но вѣдь нашъ гость можетъ подумать...

— И, что вы?—прервалъ Зарѣцкій,—мы всѣ здѣсь народъ военный—не правда ли?

— Конечно, конечно!

— А между товарищами какія церемоніи? Что на душѣ, то и на языкѣ. Но позвольте васъ спросить, гдѣ же теперь пріятель мой Рославлевъ?

— Я слышалъ, что онъ уѣхалъ въ Москву.

— Да и теперь еще тамъ, сударь!—сказалъ лакей Ижорскаго, Терентій, который въ продолженіе сего разговора стоялъ у дверей.—Я встрѣтилъ въ Москвѣ его слугу Егора; онъ сказывалъ, что Владиміръ Сергѣичъ боленъ горячкою и живетъ у Серпуховскихъ воротъ въ домѣ какого-то купца Сеземова.

— Боже мой!—вскричалъ Зарѣцкій.—Владиміръ

боленъ, а можетъ-быть сегодня французы будутъ въ Москвѣ!

— Въ Москвѣ?—повторилъ Ижорскій,—но вѣдь ее не отдадутъ безъ боя, а мы еще покамѣстъ не дрались.

— И Богъ милостивъ!—прибавилъ Буркинъ:—авось отстоимъ нашу матушку.

— Чу! колокольчикъ!—сказалъ Ильменевъ, выглянувъ въ окно.—Кто-то скачетъ по улицѣ! Никакъ Михайла Ѳедоровичъ?

— Волгинъ? — спросилъ Ижорскій, привставая со скамьи.

— Онъ и есть! Ну, вѣрно, не жалѣлъ лошадокъ; экъ онъ ихъ упарилъ!

Волгинъ, въ форменномъ мундирномъ сюртукѣ, сверхъ котораго была надѣта темнаго цвѣта шинель, вошелъ поспѣшно въ избу.

— Ну, что, Михайла Ѳедоровичъ?—спросилъ Ижорскій.

— Не торопитесь, скажу!—отвѣчалъ глухимъ голосомъ Волгинъ.

— Да говори, что новаго?

— Что новаго? Замоскворѣчье горитъ, и какъ я выѣхалъ за заставу, то запылалъ Каретный рядъ.

— Что это значитъ?

— Что, братцы! — вскричалъ Волгинъ, бросивъ на полъ свою фуражку,—намъ осталось умереть и больше ничего!

— Какъ? Что такое?

— Москва сдана безъ боя—французы въ Кремлѣ!

— Въ Кремлѣ!—повторили всѣ въ одинъ голосъ.

Съ полминуты продолжалось мертвое молчаніе; слезы катились по блѣднымъ щекамъ Ижорскаго; Ильменевъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

— Кормилица ты наша!—завопилъ, наконецъ, всхлипывая, Буркинъ;—и умереть-то намъ не удалось за тебя, родимая!

— Несчастная Москва!—сказалъ Ижорскій, утирая текуція изъ глазъ слезы.

— Бѣдный Рославлевъ!—промолвилъ Зарѣцкій съ глубокимъ вздохомъ.

III.

— Бабушка, а бабушка... что это такъ воетъ на улицѣ?

— Спи, дитятко, спи, это гудитъ вѣтеръ.

— Бабушка, мнѣ что-то не спится.

— Сотвори молитву, родимый, да повернись на другой бокъ, авось и заснешь.

Такъ разговаривали въ низенькой избушкѣ, часу въ 12-мъ ночи, внукъ лѣтъ десяти съ своей старой бабушкой, подлѣ которой онъ лежалъ на полатахъ. — Бабушка!—закричалъ опять мальчикъ, приподнявшись до половины,—что это такъ рано нынче свѣтаетъ?

— Что ты, батюшка! Христосъ съ тобою!.. Куда свѣтать, и пѣтухи еще не пѣли.

— Постой-ка! — продолжалъ мальчикъ, слѣзая съ полатей,—я погляжу въ окно... Ну, какъ же, бабушка? На улицѣ свѣтлехонько... Вонъ и старостинъ колодезь видно.

— Что за притча такая?—сказала старуха, подходя также къ окну.—Мати Пресвятая Богородица!—вскричала она, всплеснувъ руками.—Ахъ, дитятко, дитятко! Вѣдь это горитъ наша матушка Москва!

— Смотри-ка, бабушка!—закричалъ мальчикъ,—эко зарево!.. Словно какъ ономясь горѣлъ нашъ овинъ — такъ и пышетъ!

Въ эту самую минуту кто-то постучался у окна.

— Кто тамъ?—спросила старуха.

— Эй, тетка!—раздался мужской голосъ,—отвори ворота.

— Да кто ты?

— Проѣзжіе.

— Я постояльцевъ не пускаю.

— Дапусти только обогрѣться; мы тебѣ за тепло заплатимъ.

— Впусти, бабушка, — сказалъ мальчикъ; — авось они намъ что-нибудь дадутъ, а ты мнѣ калачъ ку-пишь.

— Эхъ, дитятко! — вѣдь мы одни-однихоньки; ну, если это недобрые люди? Правда, у насъ и взять-то нечего...

— Эй, хозяйка! — закричалъ опять проѣзжій, — да впусти насъ: мы дадимъ тебѣ двугривенный.

— Слышишь, бабушка?

— Ну, инъ ступай, Ваня: отвори ворота.

Мальчикъ накиннулъ на себя тулупъ и побѣжалъ на дворъ, а старуха вздула огня и зажгла небольшой сальный огарокъ, вставленный въ глиняный под-свѣчникъ.

Черезъ минуту вошелъ въ избу мужчина среднего роста, въ подпоясанномъ кушакомъ сюртукѣ изъ толстаго сукна и плохомъ кожаномъ картузѣ, а вслѣдъ за нимъ казакъ въ полномъ вооруженіи.

— Здравствуй, хозяйка! — сказалъ проѣзжій, не снимая картуза. — Ну, что, далеко ль отсюда до Москвы!

— Верстъ десять будетъ, батюшка! — отвѣчала старуха, поглядывая подозрительно на проѣзжаго, который, войдя въ избу, не перекрестился на передній уголъ и стоялъ въ шапкѣ передъ иконами.

— Десять верстъ! — повторилъ проѣзжій. — Теперь, я думаю, можно своротить въ сторону. Мироновъ! — продолжалъ онъ, обращаясь къ казаку, — поставь лошадей подъ навѣсъ, да поищи сѣнца; а я немного отдохну.

Когда казакъ вышелъ изъ избы, проѣзжій скинулъ съ себя сюртукъ и остался въ короткомъ зеленомъ спензерѣ съ золотыми погончиками и съ чернымъ воротникомъ; потомъ, вынувъ изъ бокового кармана рожокъ съ порохомъ, пару небольшихъ пистолетовъ, осмотрѣлъ со вниманіемъ ихъ затравки и подсыпалъ на полки новаго пороха. Помолчавъ нѣсколько времени, онъ спросилъ хозяйку, нѣтъ ли у нихъ въ деревнѣ французовъ?

— Нѣтъ, батюшка!—отвѣчала старуха,—покажѣтъ Богъ еще миловаль.

— А по близости?

— Не вѣдаю, кормилецъ!

— Что, тетка, далеко-ли отъ вашей деревни Владимірская дорога?

— Не знаю, родимый.

— Да что ты ничего не знаешь?

— И, батюшка, мое дѣло бабѣ; вотъ кабы сынокъ мой былъ дома...

— А гдѣ же онъ?

— Вечоръ еще уѣхалъ на мельницу, да, видно, все въ очередь не попадетъ, а пора бы вернуться. Постой-ка, батюшка, кажись кто-то ѣдетъ по улицѣ!.. Ужъ не онъ ли?.. Нѣтъ, какіе-то верховые... никакъ солдаты!.. Ужъ не французы ли?.. Избави, Господи!

— А много ли ихъ?—спросилъ проѣзжій, вскочивъ торопливо со скамьи.

— Только двое, батюшка!

— Только?—повторилъ спокойнымъ голосомъ проѣзжій, сядя опять на скамью и придвинувъ къ себѣ пистолеты.

— Вотъ они остановились противъ нашихъ воротъ; видно, огонекъ-то увидѣли... стучатся!.. Кто тамъ,—продолжала старуха, взглянувъ изъ окна.

— Русскій офицеръ!—отвѣчалъ грубый голосъ.—Отворяй ворота, лебедка. Да поворачивайся проворнѣй.

— Что, батюшка, впустить что-ль?

Проѣзжій, въ знакъ согласія, кивнулъ головою.

— Ваня!—продолжала хозяйка,—бѣги, отопри опять ворота.

— Ахъ, какъ я иззябъ!—сказалъ нашъ старинный знакомецъ Зарѣцкій, входя въ избу. — Какой вѣтеръ?.. Тутъ онъ увидѣлъ проѣзжаго и, поклонясь ему, продолжалъ. — Вы также, видно, завернули погрѣться.

— Да!—отвѣчалъ проѣзжій.— Но я совѣтую вамъ не скидать шинели: въ этой избенкѣ изъ всѣхъ угловъ дуетъ. Я вижу, что и мнѣ надобно опять закутаться,— промолвилъ онъ, надѣвая снова свой толстый скюртукъ и подпоясываясь кушакомъ.

Зарѣцкій поглядѣлъ съ удивленіемъ на чудный нарядъ проѣзжаго, котораго, по спензеру съ золотыми погончиками, принялъ сначала за офицера.

— Вамъ кажется страннымъ мой нарядъ!—сказалъ съ улыбкою проѣзжій.— А еслибъ вы знали, какъ онъ подчасъ можетъ пригодиться!..

— Извините!—прервалъ Зарѣцкій, продолжая смотрѣть съ любопытствомъ на проѣзжаго;—или я очень ошибаюсь, или я не въ первый уже разъ имѣю удовольствіе васъ видѣть: не могу только никакъ припомнить...

— Такъ, видно, моя память лучше вашей. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, въ Петербургѣ, я обѣдалъ вмѣстѣ съ вами въ рестораціи.

— Френзеля? Точно!—теперь вспомнилъ. Такъ вы тотъ самый артиллерійскій офицеръ...

— Къ вашимъ услугамъ.

— Мнѣ помнится, вы поссорились тогда съ какимъ-то французомъ...

— Да. Еслибъ этотъ молодецъ попался мнѣ теперь, то я просто и не сердясь велѣлъ бы его повѣсить, а тогда нечего было дѣлать: надобно было ссориться... Да, кстати! вы были въ рестораціи вмѣстѣ съ вашимъ пріятелемъ, съ которымъ послѣ я нѣсколько разъ встрѣчался; гдѣ онъ теперь?

— Кто? Бѣдный Рославлевъ?

— А что? Я знаю, онъ раненъ; но, кажется, не опасно?

— Представьте себѣ: онъ поѣхалъ лѣчиться въ Москву...

— И попался въ плѣнъ? Вольно жъ было меня не послушаться.

— Я слышалъ, что онъ очень боленъ и живетъ теперь въ домѣ какого-то купца Сеземова.

— Жаль, что я не зналъ объ этомъ нѣсколько часовъ назадъ; а то вѣрно бы навѣстилъ вашего пріятеля!

— Какъ!—вскричалъ Зарѣцкій,—да развѣ вы были въ Москвѣ?

— Я сейчасъ оттуда.

— Такъ поэтому можно?..

— Да развѣ есть что-нибудь невозможное для военнаго человѣка? Конечно, если догадаются, что вы не то, чѣмъ хотите казаться, такъ васъ, безъ всякаго суда, разстрѣляютъ. Впрочемъ, этого бояться нечего: надобно только быть сметливу, не терять головы и уметь пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ.

— Но скажите, что вамъ вздумалось, и для чего хотѣли вы подвергать себя такой опасности?

— Во-первыхъ, для того, чтобъ видѣть своими глазами, что дѣлается въ Москвѣ; а во-вторыхъ... какъ бы вамъ сказать?.. Позвольте: вы кавалеристъ, такъ вѣрно меня поймете. Случалось ли вамъ безъ всякой надобности перескакивать черезъ барьеръ, который почти вдвое выше обыкновеннаго, несмотря на то, что вы могли себѣ сломить шею?

— Случалось.

— Не правда ли, что, сдѣлавъ удачно этотъ трудный и опасный скачекъ, вы чувствовали какое-то душевное наслажденіе, проистекающее отъ внутренняго сознанія въ вашихъ силахъ и искусствѣ? Ну, вотъ точно такое же чувство заставляетъ и меня вдаваться во всякую опасность; а сверхъ того, смѣшаться съ толпою своихъ непріятелей, ходить вмѣстѣ съ ними, подслушивать ихъ разговоры, услышать, можетъ-быть, имя свое, произносимое то съ похвалою, то осыпаемое проклятіями... О! это такое наслажденіе, отъ котораго я ни за что не откажусь. Но позвольте теперь и мнѣ васъ спросить, куда вы ѣдете?

— А Богъ знаетъ: я отыскиваю свой полкъ.

— И вѣрно вамъ хорошо знакомы всѣ здѣшнія проселочныя дороги и тропинки?

— Ну, этимъ я не могу похвастаться.

— Такъ позвольте васъ поздравить: вы очень счастливы, что до сихъ поръ не попались въ руки къ французамъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, вы думаете?..

— Не думаю, а увѣренъ, что вамъ этой бѣды никакъ не миновать, если вы станете продолжать отыскивать вашъ полкъ. Кругомъ всей Москвы разсыпаны французы; я самъ долженъ былъ выѣхать изъ города не въ ту заставу, въ которую въѣхалъ, и сдѣлать пребольшой крюкъ, чтобъ не повстрѣчаться съ ихъ разъѣздами.

— Да что же мнѣ дѣлать? Неужели я долженъ уѣхать въ Рязань или Владиміръ, и оставаться въ числѣ больныхъ, когда чувствую, что моя рана не мѣшаетъ мнѣ драться съ французами, и что она безъ всякаго лѣченія въ нѣсколько дней совершенно заживетъ?

— О, если вы желаете только драться съ французами, то я могу васъ этимъ каждый день угощать. Не хотите ли на время сдѣлаться моимъ товарищемъ?

— Вашимъ товарищемъ?

— Да! Мой летучій отрядъ стоитъ по Владимірской дорогѣ, верстахъ въ десяти отсюда. Не угодно ли деньковъ пять или шесть покочевать вмѣстѣ со мною?

— Очень радъ... Итакъ, вы одинъ изъ нашихъ партизановъ?..

— И самый юнѣйшій изъ моихъ братьевъ,—отвѣчалъ съ улыбкою проѣзжій.

— То-есть чиномъ?.. Поэтому вы...

— И полноте! Вы видите, что я въ маскарадномъ платѣ, а масокъ по именамъ не называютъ. Что ты, Мионовъ?—продолжалъ офицеръ, увидя входящаго казака.

— А вотъ, ваше благородіе,—сказалъ казакъ,—принесъ кису. Ни угодно ли чего покушать?

— Дѣло, братецъ! Вынь-ка изъ нея для себя полштофа водки, а для насъ бутылку шампанскаго и кусокъ сыра. Да смотри, не выпей всего полуштофа: мы сейчасъ отправимся въ дорогу.

— А чтобъ онъ вѣрнѣе исполнилъ ваше приказаніе,—прибавилъ Зарѣцкій,—такъ велите ему подѣлиться съ моимъ вахмистромъ.

— Слышишь, братецъ?

— Слышу, ваше благородіе! Да я такъ и думалъ.

— Полно, такъ ли? Вы, казаки, дѣлежа не любите. Ну, ступай! Хозяйка! подай-ка намъ два стакана; да, чай, хлѣбецъ у тебя водится?

— Какъ не быть, кормилецъ!—отвѣчала съ низкимъ поклономъ старуха.—Милости просимъ, покушайте на здоровье!—продолжала она, положила на столъ большой каравай хлѣба и подавая имъ два деревянные расписные стакана.

— Ну, что?—спросилъ Зарѣцкій, выпивъ первый стаканъ шампанскаго и наливая себѣ другой;—что дѣлается теперь въ Москвѣ?

— Развѣ вы отсюда не видите?

— Вижу: она горитъ; но вы были сейчасъ на самомъ мѣстѣ...

— И, признаюсь, порадовался отъ всей души! Дѣло идетъ славно: городъ подожгли со всѣхъ четырехъ концовъ, а деревянные дома горятъ, какъ стружки. Еще денекъ или два, такъ въ Москвѣ не останется ни кола, ни двора. И что за великолѣпная картина—преlestь! Въ одномъ углу изъ огромныхъ каменныхъ палатъ пышетъ пламя, какъ изъ Везувія; въ другомъ, какой-нибудь сальный заводъ горитъ, какъ свѣча; тутъ, надъ шитейнымъ домомъ, подымается пирамидою голубой огонь; тамъ пылаетъ цѣлая улица; ну, словомъ: это такая чертовская иллюминація, что любо-дорого посмотреть.

— Это ужасно!—сказалъ съ невольнымъ содрогающимъ Зарѣцкій.

— А что за суматоха идетъ по улицамъ! Умора, да и только. Французы, какъ угорѣлыя кошки, бросаются изъ угла въ уголъ. Они отъ огня, а онъ за ними; примутся тушить въ одномъ мѣстѣ, а въ два-

дцати вспыхнеть! Да правда и тушить-то не чѣмъ: ни одной трубы въ городѣ не осталось.

— Такъ поэтому не французы зажгли Москву?

— Помилуйте! Да что имъ за прибыль жечь городъ, въ которомъ они хотѣли отдохнуть и повеселиться!

— Итакъ, сами обыватели?..

— Разумѣется. Какъ будто бы вы не знаете русскаго человѣка: гори все огнемъ, лишь только злодѣямъ въ руки не доставайся.

— Да, это характеристическая черта нашего народа, и, надобно сказать правду, въ этомъ есть что-то великое, возвышающее душу...

— Не знаю, возвышаетъ ли это душу,—прервалъ съ улыбкою артиллерійскій офицеръ;—но, на всякій случай, я увѣренъ, что это понизитъ гордость всемирныхъ побѣдителей и, что всего лучше, заставить русскихъ ненавидѣть французовъ еще болѣе. Посмотрите, какъ народъ примется ихъ душиить! Они, дескать, злодѣи, сожгли матушку Москву! А правда ли это или нѣтъ, какое намъ до этого дѣло! Лишь только бы ихъ рѣзали.

— Оно, если хотите, нѣсколько и справедливо. Если бы французы не пришли въ Москву...

— Такъ мы бы и жечь ея не стали—натурально!

— Однакожь, согласитесь! это ужасное бѣдствіе! Я не говорю ни слова о тѣхъ, кои могли выѣхать изъ Москвы: они разорились и больше ничего; но больные, немущіе? Всѣ тѣ, которые должны были остаться?..

— Да много ли ихъ?

— Согласенъ—не много; но развѣ отъ этого они менѣе достойны сожалѣнія? Когда подумаешь, что цѣлыя семейства, лишеныя всего необходимаго, безъ куса хлѣба...

— И, что за дѣло! Лишь только бы и французамъ нечего было ѣсть.

— Безъ всякой помощи, безъ крова...

— Такъ чтожь? Пусть живутъ подъ открытымъ небомъ—лишь только бы французамъ не было пріята.

— И теперь ночи холодныя, а что будетъ съ ними, если наступитъ ранняя зима?

— Что будетъ? тутъ и спрашивать нечего: они станутъ мерзнуть по улицамъ; да зато и французамъ не будетъ тепло—не беспокойтесь!

— Но признайтесь, однакожъ, что человѣчество...

— И, полноте!—прервалъ съ ужасной улыбкою артиллерійскій офицеръ;—человѣчество, человѣколюбіе, состраданіе, всѣ эти сентиментальныя добродѣтели никуда не годятся въ нашемъ ремеслѣ.

— Какъ?—вскричалъ Зарѣцкій,—неужели военный человѣкъ не долженъ имѣть никакого состраданія?

— Спросите-ка объ этомъ у Наполеона. Далеко бы онъ ушелъ съ вашимъ человѣколюбіемъ! Напримѣръ, если бы онъ, какъ человѣкъ великодушный, не покинулъ своихъ французовъ въ Египтѣ, то вѣрно не былъ бы теперь императоромъ; еслибъ не разстрѣляли герцога Ангіенскаго...

— То не заслужилъ бы проклятій всей Европы!—прервалъ съ негодованіемъ Зарѣцкій.

— Можетъ-быть; да зато не увѣрилъ бы Бурбоновъ, что Франція для нихъ заперта на-вѣки. — Признаюсь,—продолжалъ почти съ восторгомъ артиллерійскій офицеръ,—я не могу не удивляться этому человѣку! Какая непоколебимая твердость! Какое презрѣніе ко всему роду человѣческому! Какъ ничтожна въ глазахъ его жизнь цѣлыхъ поколѣній! Съ какимъ равнодушіемъ, какъ ничѣмъ неумолимая судьба, онъ выбираетъ свои жертвы и какъ смѣется надъ безсильнымъ ропотомъ народовъ, лежащихъ у ногъ его! О! надобно сказать правду, Наполеонъ великій человѣкъ! Да, да,—прибавилъ артиллерійскій офицеръ;—говорите, что вамъ угодно; а по-моему тотъ, кто сказалъ, что можетъ *истрачивать* по нѣскольку тысячъ человѣкъ въ сутки, рожденъ, чтобъ повелѣвать милліонами. Однакожъ, допивайте вашъ стаканъ: намъ пора ѣхать.

— Ну!—сказалъ Зарѣцкій, вставая,—вы мастерски хвалите. Самый злѣйшій врагъ Наполеона не приду-

малъ бы для него брани, обиднѣе вашей похвалы. — Артиллерійскій офицеръ улыбнулся и не отвѣчалъ ни слова.

Минутъ черезъ пять, наши офицеры, соблюдая всѣ военныя осторожности, выѣхали изъ деревни. Впереди, вмѣсто авангарда, ѣхалъ казакъ; за нимъ оба офицера; а позади, шагахъ въ двадцати отъ нихъ, уланскій вахмистръ представлялъ въ единственномъ лицѣ своемъ то, что предки наши называли сторожевымъ полкомъ, а мы зовемъ арьергардомъ. Почти у самой околицы, поворотивъ направо по проселочной дорогѣ, они въѣхали въ частый березовый лѣсъ. Порывистый вѣтеръ колебалъ деревья и, какъ дикій звѣрь, ревѣлъ въ лѣсу; направо густыя облака, освѣщенныя пожаромъ Москвы, котораго не видно было за деревьями, текли, какъ потокъ раскаленной лавы, по темной синевѣ полуночныхъ небесъ. Путешественники молчали. Зарѣцкій давно уже примѣчалъ, что дорога, или лучше сказать, тропинка, по которой они ѣхали, подавалась примѣтнымъ образомъ направо, слѣдовательно приближала ихъ къ Москвѣ. Туда ли мы ѣдемъ? — спросилъ онъ, наконецъ, своего молчаливаго товарища.

— Не беспокойтесь! — отвѣчалъ онъ, — мы не собьемся съ дороги.

— Но мнѣ кажется, мы подвигаемся къ Москвѣ?

— Да, она теперь отъ насъ не болѣе четырехъ верстъ.

— Я думаю, гораздо безопаснѣе было бы держаться отъ нея подалѣе.

— Но для этого надобно ѣхать открытымъ полемъ, а здѣсь, хоть мы и близко отъ французовъ, да зато ѣдемъ лѣсомъ. Однакожъ, онъ становится рѣже; вонъ, кажется, налѣво... видите? высокая сосна—такъ и есть! Мы выѣдемъ сейчасъ на большую поляну, а тамъ пустимся опять лѣсомъ, переѣдемъ поперекъ Коломенскую дорогу, повернемъ налѣво, и, я надѣюсь, часа черезъ два, будемъ дома, то-есть въ моемъ та-

борѣ — разумѣется, если безъ меня не было никакой тревоги. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ я знаю, гдѣ найти моихъ молодцовъ: французы за ними не утонутся.

Въ продолженіе сего разговора офицеры выѣхали на обширную поляну, и пожаръ Москвы во всей ужасной красотѣ своей представился ихъ взорамъ. Кой-гдѣ, какъ уединенные острова, чернѣлись на семъ огненномъ морѣ части города, превращенныя уже въ пепелъ. Какая прелестная картина!—сказалъ артиллерійскій офицеръ, остановя свою лошадь.—Посмотрите—соборы, Иванъ Великій, весь Кремль какъ на блюдечкѣ. Не правда ли, что онъ походитъ на какую-то прозрачную картину, которая подымается изъ пламени?

Въ самомъ дѣлѣ, казалось, можно было рассмотреть каждую трещину на бѣлыхъ стѣнахъ Кремля, освѣщенныхъ со всѣхъ сторонъ пылающей Москвою.

— Самъ адъ не можетъ быть ужаснѣе! — вскричалъ Зарѣцкій, глядя съ содроганіемъ на сію ужасную картину разрушенія.

— Ого!—продолжалъ его товарищъ, огонекъ-то добирается и до Кремля. Посмотрите: со всѣхъ сторонъ—кругомъ!.. Ай да молодцы! какъ они проворятъ! Ну, если Наполеонъ еще въ Кремлѣ, то можетъ похвастаться, что мы приняли его какъ дорогого гостя и, по русскому обычаю, попотчевали банею.

— Хороша баня!—сказалъ вполголоса Зарѣцкій.

— Да развѣ вы не знаете старинной пословицы: по Сенькѣ шапка? Мы съ вами и въ землянкѣ выпаримся, а для его императорскаго величества—какъ не истопить всего Кремля?.. и нечего сказать: баня славная!.. Чай, стѣны теперь раскалились, такъ и пышутъ. Москва-рѣка подъ руками: поддавай только на эту каменку, а ужъ за паромъ дѣло не станетъ.

— Я удивляюсь,—сказалъ Зарѣцкій,—какъ можете вы шутить...

— Въ самомъ дѣлѣ, это странно, не правда ли? Однакожъ поѣдемте.

Наблюдая глубокое молчаніе, они проѣхали еще версты двѣ лѣсомъ.—Какъ вѣтеръ реветъ между деревьями!—сказалъ, наконецъ, Зарѣцкій.—А знаете ли что? Какъ станешь прислушиваться, то кажется, будто бы въ этомъ воѣ есть какая-то гармонія. Слышите ли, какіе переходы изъ тона въ тонъ? Вотъ онъ загудѣлъ басомъ; теперь свиститъ дискантомъ... А это что?.. Ахъ, батюшки!.. Не правда ли, какъ будто вдали льется вода? Слышите? настоящій водопадъ.

— Нѣтъ, чортъ возьми!—сказалъ товарищъ Зарѣцкаго, осадя свою лошадь:—это не вѣтеръ и не вода.

— Чтожъ это такое?

— Да просто—конскій топотъ. Такъ и есть! Вотъ и Мионовъ къ намъ ѣдетъ. Ну, что, братецъ?

— По Коломенской дорогѣ идетъ конница, ваше благородіе.

— Съ которой стороны?

— Отъ Москвы.

— Такъ это французы. Прошу стоять смирно.

Черезъ нѣсколько минутъ, отрядъ французскихъ драгунъ проѣхалъ по большой дорогѣ, которая была шагахъ въ десяти отъ нашихъ путешественниковъ. Солдаты громко разговаривали между собою; офицеры смѣялись; но раза два что-то похожее на проклятія, предметомъ которыхъ, кажется, была не Россія, долетѣло до ушей Зарѣцкаго.

— Ваше благородіе!—сказалъ шопотомъ казакъ, когда непріятельскій отрядъ проѣхалъ мимо:—у нихъ есть отсталый.

— Право?

— Вонъ, кажется, одинъ драгунъ подтягиваетъ подпруги у своей лошади. Не прикажете ли? Я его мигомъ сѣрканю.

— Ну, хорошо; да смотри, чтобъ не пикнулъ.

Казакъ отвязалъ веревку отъ своего сѣдла, и почти ползкомъ подкрался къ опушкѣ лѣса. Въ ту самую минуту, какъ драгунъ заносилъ ногу въ стремя, петля упала ему на шею, и онъ, до половины задавленный,

захрипѣвъ, повалился на землю. Въ полминуты французъ, съ связаннымъ ртомъ и связанными назадъ руками, посаженъ былъ на лошадь, отданъ подъ присмотръ уланскому вахмистру и отправился вслѣдъ за нашими путешественниками. Проѣхавъ еще верстъ десять лѣсомъ, который становился часть-отъ-часу гуще, они увидѣли вдали между деревьями огонёкъ. Миرونъ свистнулъ; ему отвѣчали тѣмъ же, и человекъ десять казаковъ высыпали навстрѣчу путешественникамъ: это былъ передовой пикетъ летучаго отряда, которымъ командовалъ артиллерійскій офицеръ.

IV.

Вѣтеръ затихъ. Густыя облака дыма не крутились уже въ воздухѣ. Какъ тяжкія свинцовыя глыбы, они висѣли надъ кровлями догорающихъ домовъ. Смерднѣйшій, удушливѣйшій воздухъ захватывалъ дыханіе: ничто не одушевляло безжизненныхъ небесъ Москвы. Надъ дымиющимися развалинами Охотнаго ряда не кружились рѣзвые голуби, и только въ вышинѣ, подъ самыми облаками, плавали стаи черныхъ коршуновъ.

На краю пологого ската горы, опоясанной высокой кремлевской стѣною, стоялъ, закинувъ назадъ руки, человекъ небольшого роста, въ сѣромъ сюртукѣ и трехъ-угольной низкой шляпѣ. Внизу, у самыхъ ногъ его, текла, изгибаясь, Москва-рѣка; освѣщенная багровымъ пламенемъ пожара, она, казалось, струилась кровью. Склонивъ угрюмое чело свое, онъ смотрѣлъ задумчиво на ея сверкающія волны... Ахъ! въ нихъ отразилась въ послѣдній разъ и потухла на-вѣки дивная звѣзда его счастія! Шагахъ въ десяти отъ него, наблюдая почтительное молчаніе, стояли французскіе маршалы, генералы и нѣсколько адъютантовъ. Они съ ужасомъ смотрѣли на пламенный океанъ, который, быстро разливаясь кругомъ всего Кремля, казалось, спѣшилъ поглотить сію священную и древнюю обитель царей русскихъ.

Въ то же самое время, внизу, противъ Тайницкихъ воротъ, прислонясь къ желѣзнымъ периламъ набережной, стоялъ видный собой купецъ въ синемъ поношенномъ кафтанѣ. Онъ посматривалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ то на Кремль, окруженный со всѣхъ сторонъ пылающими домами, то на противоположный берегъ рѣки, на которомъ догорало обширное Замоскворѣчье.—А! Это ты, Ваня?—сказалъ онъ, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ навстрѣчу къ молодому и рослому дѣтинѣ, который съ виду походилъ на мастерового.—Ну, что?

— Да слава Богу, Андрей Васьяновичъ! За Москвой-рѣкой все идетъ какъ по маслу! На Зацѣпѣ и по всему валу хоть рожь молоти—гладохонько! На Пятницкой и Ордынкѣ, кой-гдѣ, еще остались дома, да зато на Полянкѣ такъ дѣрма и дереть.

— А у Серпуховскихъ воротъ?

— Въ трехъ мѣстахъ зажигали, да злодѣи-то наши все тушатъ. Загорѣлся было порядкомъ домъ Ивана Архиповича Сеземова; да и тотъ мы съ ребятами, по твоему приказу, отстояли.

— Спасибо вамъ, дѣтушки! Иванъ Архипычъ старикъ дряхлый, и жена у него плоха. Да это ничего: доплелись бы какъ-нибудь до Калуги; а вотъ что—у нихъ въ дому лежитъ больной офицеръ.

— Нашъ русскій?

— Ну да! Смотри только, не проболтайся. Постойка! Никакъ опять вѣтеръ подымается... Давай, Господи! И, кажется, съ Петербургской стороны?.. То-то бы славно!

— Въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ мастеровой,—посмотри-ка, отъ Охотнаго ряда и Моховой какія головки опять полетѣли... Авось теперъ и до Кремля доберется.

— Ага!—сказалъ купецъ, поднявъ кверху голову;—что?.. душно стало?.. выползли, проклятые!

— Что это, Андрей Васьяновичъ?—спросилъ мастеровой.—Никакъ это французскіе генералы? Посмо-

три-ка, такъ и залиты въ золото — словно жаръ горятъ!

— Подожди, братъ... позакоптятся.

— Глядь-ка, хозяинъ! Видишь, этотъ, что всѣхъ золотистѣе и стоитъ впереди... Экій молодчина!.. Ужъ не самъ ли это Бонапартій?.. Да не туда смотришь: вотъ прямо-то надъ нами.

Купецъ, не отвѣчая ни слова, продолжалъ смотрѣть въ другую сторону. — Ну, Ваня! — сказалъ онъ, схвативъ за руку молодого парня, — такъ и есть! Вонъ стоитъ на самомъ краю въ сѣромъ сюртучишкѣ... это онъ!

— Кто?.. этотъ недоростокъ-то? Что ты, хозяинъ!

— Да, Ваня! развѣ ты не видишь, что онъ одинъ стоитъ въ шляпѣ?

— Въ самомъ дѣлѣ! Ахъ, батюшки свѣты! Вотъ диковинка-то! Ну, видно, по пословицѣ: не велика птичка, да ноготокъ востеръ! Ахъ, ты, Господи, Боже мой! въ рекруты не годится, а какихъ дѣлъ надѣлалъ!

— Посмотри-ка, — сказалъ купецъ, — какъ онъ стоитъ тамъ: одинъ - одиныхонекъ... въ дыму... словно коршунъ выглядываетъ изъ-за тучи и виситъ надъ нашими головами. Да не сносить же и тебѣ своей башки, атаманъ разбойничій!

— Глядь-ка, хозяинъ! Что это они зашевелились? Эге! какой сзади повалилъ дымъ!.. Знать, огонь-то и до нихъ добирается!

— Въ самомъ дѣлѣ! Видно, ихъ путемъ стало пропекать.

— Ахти, Андрей Васьяновичъ! — вскричалъ мастеровой, — никакъ они кинулись внизъ, къ Тайницкимъ воротамъ. Не убраться ли намъ за добра ума?

— Зачѣмъ? Можетъ статься, они попросятъ насъ показать имъ дорогу. Вѣдь теперь выбраться отсюда на чистое мѣсто не легко. Ну, чтожъ ты глаза-то на меня выпучилъ?

— Какъ, хозяинъ? — вскричалъ съ удивленіемъ ма-

стеровой. — Да что тебѣ за охота подслуживаться нашимъ злодѣямъ?

— А почему жъ и нѣтъ?—сказалъ съ улыбкою купецъ.—Я ужъ имъ и такъ другія сутки служу вѣрой и правдою. Но постой-ка!.. вотъ они!.. Ну, полѣзли вонъ, какъ тараканы изъ угарной избы!..

Человѣкъ пять французскихъ офицеровъ и одинъ польскій генералъ выбѣжали изъ Тайницкихъ воротъ на набережную.

— Видишь, какъ этотъ генералъ озирается во всѣ стороны?—сказалъ шопотомъ купецъ. — Что, мусью? видно, братъ, нѣтъ ни входа, ни выхода?

— Боже мой!—вскричалъ генералъ, — кругомъ, со всѣхъ сторонъ, вездѣ огонь!.. Нѣтъ ли другого выхода изъ Кремля?

— Нѣтъ, —отвѣчалъ одинъ изъ офицеровъ.—Здѣсь все менѣе опасности, чѣмъ съ той стороны.

— Не лучше ли императору остаться въ Кремлѣ?—сказалъ другой офицеръ.

— Но развѣ не видите, —прервалъ генералъ, —что огонь со всѣхъ сторонъ въ него врывается?

— А противъ самаго дворца стоятъ пороховые ящики, —прибавилъ первый офицеръ.

— Проклятые русскіе!—вскричалъ генералъ.—Варвары!..

— Они варвары? — возразилъ одинъ офицеръ въ огромной медвѣжьей шапкѣ.—Вы слишкомъ милостивы, генералъ! Они не варвары, а дикіе звѣри!.. Мы думали здѣсь отдохнуть, повеселиться... и чтожъ? Эти проклятые калмыки... О! ихъ должно непременно загнать въ Азію, надобно очистить Европу отъ этихъ татаръ!.. Посмотрите! вонъ стоятъ ихъ двое... Съ какимъ скотскимъ равнодушіемъ смотрятъ они на этотъ ужасный пожаръ!..

— Постойте! — сказалъ генералъ, —если они такъ спокойны, то вѣрно знаютъ, какъ выйти изъ этого огненного лабиринта. Эй, гллубчикъ!—продолжалъ онъ довольно чистымъ русскимъ языкомъ, подойдя къ ма-

стеровому, — не можешь ли ты вывести насъ къ Тверской заставѣ?

— Къ Тверской заставѣ?.. — повторилъ мастеровой, почесывая голову. — А гдѣ Тверская-то застава, батюшка?..

— Какъ гдѣ? Ну, тамъ, гдѣ дорога въ Петербургъ.

— Дорога въ Питеръ? А гдѣ это, кормилецъ?

— Дуралей! Да развѣ ты не знаешь?

— Не вѣдаю, батюшка! Я не здѣшній.

— Извольте, ваша милость, — подхватилъ купецъ, — я васъ выведу къ Тверской заставѣ.

— Послушай, братецъ! Если ты проведешь насъ благополучно, то тебѣ хорошо заплатятъ; если же нѣтъ...

— Помилуйте, батюшка! Да я здѣшній старожилъ, и всѣ закоулки знаю.

— Вотъ, кажется, самъ императоръ, — вскричалъ одинъ изъ офицеровъ. — Слава Богу! онъ рѣшился, наконецъ, оставить Кремль.

Человѣкъ въ сѣромъ сюртукѣ, окруженный толпою генераловъ, вышелъ изъ Тайницкихъ воротъ. На угрюмомъ, но спокойномъ лицѣ его не замѣтно было никакой тревоги. Онъ окинулъ быстрымъ взглядомъ всѣ окрестности Каменнаго моста и прошепталъ сквозь зубы: *варвары! скифы!* Потомъ обратился къ польскому генералу и, устремля на него свой орлиный взглядъ, сказалъ отрывисто: — Ну, что?

— Я нашелъ проводника, — отвѣчалъ почтительно генералъ; — и если вашему величеству угодно...

— Ступайте впередъ!

Польскій генералъ подозвалъ купца и пошелъ, вмѣстѣ съ нимъ, впереди толпы, которая, окруживъ со всѣхъ сторонъ Наполеона, пустилась вслѣдъ за проводникомъ къ Каменному мосту. Когда они подошли къ угловой Кремлевской башнѣ, то вся Неглинная, Моховая и нѣсколько поперечныхъ улицъ представились ихъ взорамъ въ видѣ одного необозримаго пожара. Направо пылающій желѣзный рядъ, какъ огненная

стѣна, тянулся по берегу Неглинной; а съ лѣвой стороны, пламя отъ догорающихъ домовъ разстиралось во всю ширину узкой набережной.—Какъ!—вскричалъ польскій генераль:—неужели мы должны пройти сквозъ этотъ огонь?

— Да,—отвѣчалъ купецъ.

— Боже мой! это настоящій адъ!

Купецъ усмѣхнулся.

— Чему жъ ты смѣешься, дуракъ?—вскричалъ съ досадою генераль.

— Не прогнѣвайтесь, ваша милость,—сказалъ купецъ;—да неужели этотъ огонь страшнѣе для васъ русскихъ ядеръ?

— Русскихъ ядеръ!... Мы не боимся вашего оружія; но быть побѣдителями и сгорѣть живымъ... нѣтъ, чортъ возьми! это вовсе непріятно!... Куда же ты?

— А вотъ налѣво, въ этотъ переулокъ.

Генераль отступилъ назадъ и повторилъ съ ужасомъ:—Въ этотъ переулокъ?..—И въ самомъ дѣлѣ, было чего испугаться: узкій переулокъ, которымъ хотѣлъ ихъ вести купецъ, походилъ на отверстіе раскаленной печи; онъ изгибался позади домовъ, выстроенныхъ на набережной, и, казалось, не имѣлъ никакого выхода.—Послушай!—продолжалъ генераль, взглянувъ недовѣрчиво на купца,—если это подлое предательство, то, клянусь честію, твоя голова слетитъ прежде, чѣмъ кто-нибудь изъ насъ погибнетъ.

— И, батюшка! Да что мнѣ за радость сгорѣть вмѣстѣ съ вами?—отвѣчалъ хладнокровно купецъ.—А еслибъ мнѣ и пришла такая дурь въ голову, такъ неужели вы меня смертію запугаете? Вѣдь умирать то все-равно.

— Но для чего же ты не ведешь по этой широкой улицѣ?

— По Знаменкѣ, батюшка?.. Нельзя! Тамъ теперь, около Арбатской площади, и птица не пролетитъ.

— Однакожъ, мнѣ кажется, все лучше...

— По мнѣ, пожалуй! Только не извольте пенять

на меня, если мы на чистое мѣсто не выйдемъ; да и назадъ-то нельзя будетъ вернуться.

Чтожъ вы остановились?—сказалъ Наполеонъ, подойдя къ генералу.

— Государь!.. я опасаюсь... дрожу за васъ.

— Вы дрожите, генераль?.. не вѣрю!

— Намъ должно идти вотъ этимъ переулкомъ.

— Такъ чтожъ? другой дороги нѣтъ?

— Проводникъ говоритъ, что нѣтъ.

— А если такъ... господа!.. вы, кажется, никогда огня не боялись—за мной.

Толпа французовъ кинулась вслѣдъ за Наполеономъ. Въ полминуты нестерпимый жаръ обхватилъ каждого; всѣ платья задымились. Сильный вѣтеръ раздувалъ пламя, пожирающее съ ужаснымъ визгомъ дома, посреди которыхъ они шли: то крутилъ его въ воздухѣ, то загибалъ раскаленнымъ сводомъ надъ ихъ головами. Вокругъ, съ оглушающимъ трескомъ, ломались кровли, падали желѣзные листы и полу-обгорѣвшія доски; на каждомъ шагѣ пылающія бревна и кучи кирпичей преграждали имъ дорогу: они шли по огненной землѣ, подъ огненнымъ небомъ, среди огненныхъ стѣнъ ¹⁾.— Впередъ, господа!—вскричалъ Наполеонъ:—впередъ! Одна быстрота можетъ спасти насъ!—Они добѣжали уже до середины переулка, который круто поворачивалъ налѣво; вдругъ польскій генераль остановился: переулокъ упирался въ пылающій домъ—выхода не было.—Злодѣй, измѣнникъ!—вскричалъ онъ, схвативъ за руку своего проводника.—Купецъ рванулся, повалилъ наземь генерала, и кинулся въ одинъ догорающій домъ.—За проводникомъ!—закричали нѣсколько головъ. Этотъ домъ долженъ быть сквозной. Но въ ту самую минуту, передняя стѣна съ ужаснымъ громомъ рухнула, и среди двухъ столбовъ пламени, которые быстро поднялись къ небесамъ, открылась широкая каменная лѣстница. На одной изъ верхнихъ ея ступе-

1) Выраженіе очевидца, генерала Сегюра.

ней, окруженный огнемъ и дымомъ, какъ злой духъ, стерегущій преддверіе ада, стоялъ купецъ. Онъ кинулъ торжествующій взглядъ на отчаянную толпу французовъ, и съ громкимъ хохотомъ исчезъ снова среди пылающихъ развалинъ.

— Мы погибли!—вскричалъ польскій генералъ.— Наполеонъ поблѣднѣлъ... Но десница Всевышняго хранила еще главу сію для новыхъ бѣдствій; еще не настала минута возмездія! Въ то время, когда не оставалось уже никакой надежды къ спасенію, въ дверяхъ дома, который заграждалъ имъ выходъ, показалось человѣкъ пять французскихъ гренадеровъ.—Солдаты!—вскричалъ одинъ изъ маршаловъ, — спасайте императора!—Гренадеры побросали награбленные ими вещи и провели Наполеона сквозь огонь, на обширный дворъ, покрытый остатками догорѣвшихъ службъ. Тутъ встрѣтили его еще нѣсколько егерей италіанской гвардіи, и при помощи ихъ, вся толпа, переходя съ одного пепелища на другое, добралась, наконецъ, до Арбата. Для Наполеона отыскивали какую-то лошаденку; онъ сѣлъ на нее, и въ семь-то торжественномъ шествіи, наблюдая глубокое молчаніе, сей завоеватель Россіи доѣхалъ, наконецъ до Драгомиловскаго моста. Здѣсь въ первый разъ прояснились лица его свиты; вся опасность миновалась: они уже были почти за городомъ.

— Мнѣ кажется, — сказалъ одинъ изъ адъютантовъ Наполеона, — что мы вчера этой же самой дорогой въѣзжали въ Москву.

— Да!—отвѣчалъ одинъ пожилой кавалерійскій полковникъ;—вонъ на той сторонѣ рѣки и деревянный домъ, въ которомъ третьяго дня ночевалъ императоръ.

— И хорошо бы сдѣлалъ, если бы въ немъ остался. *Ces sacrés barbares!* Какъ они насъ угостили въ своемъ Кремлѣ! Ну, можно ли было ожидать такой встрѣчи? Помните, за день до нашего вступленія въ эту проклятую Москву, къ намъ приводили для разспросовъ какого-то купца... Ахъ, Боже мой!.. Да, кажется, это тотъ

самый измѣнникъ, который былъ сейчасъ нашимъ проводникомъ... точно такъ!.. Ну, теперь я понимаю!..

— Что такое?..

— Да развѣ вы забыли, что этотъ татаринъ, на мой вопросъ: какъ примутъ насъ московскіе жители, отвѣчалъ, что врядъ ли сдѣлаютъ намъ встрѣчу; но что освѣщеніе въ городѣ непременно будетъ.

— Ну, чтожъ, развѣ онъ солгалъ?.. Развѣ насъ угощали гдѣ-нибудь иллюминаціею лучше этой?

— Чортъ бы ее побралъ! — сказалъ Наполеоновъ Мамелюкъ, Рустанъ, поглаживая свои опаленные усы.

— Надобно признаться, — продолжалъ первый адъютантъ, — писатели наши говорятъ совершенную истину объ этой варварской землѣ. Что за народъ!.. Ну, можно ли называть европейцами этихъ скифовъ?

— Однакожъ, я думаю, — отвѣчалъ хладнокровно полковникъ, — вы видали много русскихъ плѣнныхъ офицеровъ, которые вовсе на скифовъ не походятъ?

— О, вы вѣрный защитникъ русскихъ, — вскричалъ адъютантъ. — И оттого, что вы имѣли терпѣніе прожить когда-то цѣлый годъ въ этомъ царствѣ зимы!..

— Да оттого-то именно я знаю его лучше, чѣмъ вы, и не хочу, по примѣру многихъ соотечественниковъ моихъ, повторять нелѣпые рассказы о русскихъ и платить клеветой за всегдашнюю ихъ ласку и гостепріимство.

— Но позвольте спросить васъ, господинъ защитникъ россіянъ: чѣмъ оправдаете вы пожаръ Москвы, этотъ неслыханный примѣръ закоснѣлаго невѣжества, варварства...

— И любви къ отечеству, — прервалъ полковникъ. — Конечно, въ этомъ вовсе не-европейскомъ поступкѣ россіянъ есть что-то непросвѣщенное, дикое; но когда я вспомню, какъ принимали насъ въ другихъ столицахъ, и въ то же время посмотрю на пылающую Москву... то, признаюсь, дивлюсь и завидую этимъ скифамъ.

— Согласитесь, однакожъ, полковникъ, — прервалъ

человѣкъ среднихъ лѣтъ въ генеральскомъ мундирѣ,— что въ нѣкоторомъ отношеніи этотъ поступокъ оправдать ничѣмъ не можно, и что тѣ, кои жгли своими руками Москву, безъ всякаго сомнѣнія преступники.

— Передъ кѣмъ, господинъ Сегюръ? Если передъ нами, то я совершенно согласенъ: по ихъ милости, мы сейчасъ было всё сгорѣли; но я думаю, что за это преступленіе ихъ судить не стануть.

— Перестаньте, полковникъ! — вскричалъ адъютантъ;—зажигатель всегда преступникъ. И что можно сказать о гражданинѣ, который для того, чтобъ избавиться отъ непріятеля, зажигаетъ свой собственный домъ? ¹⁾.

— Что можно сказать? Мнѣ кажется, на вашу вопросъ отвѣчать очень легко: вѣроятно, этотъ гражданинъ болѣе ненавидитъ враговъ своего отечества, чѣмъ любить свой собственный домъ. Вотъ еслибъ московскіе жители выбѣжали навстрѣчу къ нашимъ войскамъ, осыпали ихъ рукоплесканіями, приняли съ отверстыми объятіями, и вы спросили бы русскихъ: какое имя можно дать подобнымъ гражданамъ?.. то, безъ сомнѣнія, имъ отвѣчать было бы гораздо затруднительнѣе.

— Однакожъ, полковникъ,—сказалъ съ примѣтною досадою адъютантъ,—позвольте вамъ замѣтить: вы съ такимъ жаромъ защищаете нашихъ непріятелей... прилично ли французскому офицеру...

— Вы еще очень молоды, господинъ адъютантъ,—прервалъ хладнокровно полковникъ,—и врядъ ли можете знать лучше меня, что прилично офицеру. Я ужъ дрался за честь моей родины въ то время, какъ вы были еще въ пеленкахъ, и смѣло могу сказать: горжусь именемъ француза. Но оттого-то именно и уважаю благородную русскую націю. Это самоотверженіе, эта безпредѣльная любовь къ отечеству—понятны ушѣ моей: я французъ. И неужели вы думаете, что,

¹⁾ Точно такой же вопросъ дѣлаетъ г. Делортъ, сочинитель очерковъ Французской революціи: (*Esquisses Historiques de la Révolution Française*).

унижая враговъ нашихъ, мы не уменьшаемъ этимъ собственную нашу славу? Побѣда надъ презрѣннымъ непріателемъ можетъ ли, должна ли радовать сердца воиновъ Наполеона?

— Конечно, конечно, — прервалъ Сегюръ. — *A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.* Но вотъ ужъ мы и за городомъ.

Наполеонъ, поворота направо, вверхъ по теченію Москвы-рѣки, переправился, близъ села Хорошева, чрезъ плывучій мостъ, и, пройдя нѣсколько верстъ полемъ, дотащился, наконецъ, до петербургской дороги. Тутъ кончилось сіе достопамятное путешествіе императора французовъ отъ Кремля до Петровскаго замка, изъ котораго онъ переѣхалъ опять въ Кремль не прежде, какъ прекратились пожары, то-есть, когда уже почти вся Москва превратилась въ пепелъ.

Несмотря на строгую взыскательность нѣкоторыхъ критиковъ, которые, Богъ знаетъ почему, никакъ не дозволяютъ автору говорить отъ собственного своего лица съ читателемъ, я намѣренъ, оканчивая сію главу, сказать слова два объ одномъ, не совсѣмъ еще рѣшенномъ у насъ, вопросъ: точно ли русскіе, а не французы сожгли Москву?.. Было время, что мы, испуганные восклицаніями парижскихъ журналистовъ: «*ces barbares qui ne savaient se défendre qu'en brûlant leurs propres habitations*» ¹⁾, готовы были божиться въ противномъ; но теперь, надѣюсь, никакая краснорѣчивая французская фраза не заставитъ насъ отказаться отъ того, чѣмъ не только мы, но и позднѣйшіе потомки наши станутъ гордиться. Нѣтъ! Мы не уступимъ никому чести московскаго пожара: это одно изъ драгоценнѣйшихъ наслѣдій, которое нашъ вѣкъ передастъ будущему. Пусть современные французскіе писатели,

¹⁾ Эти варвары, которые не умѣли защищать себя иначе, какъ сожигая собственные дома свои.

всегда готовые платить ругательствомъ за нашу ласку и гостепріимство, кричатъ, что мы варвары, что, превратя въ пепель древнюю столицу Россіи, мы отодвинули себя на цѣлое столѣтіе: послѣдствія доказали противное; а безпристрастное потомство скажетъ, что въ семъ спасительномъ пожарѣ Москвы погибъ навсегда тотъ, кто хотѣлъ наложить оковы рабства на всю Европу. Да! не на пустынномъ островѣ, но подъ дымящимися развалинами Москвы Наполеонъ нашелъ свою могилу! Въ упрямомъ военачальникѣ, влекущемъ на явную гибель остатки своихъ безстрашныхъ легионовъ, въ мятежномъ корсиканцѣ, взволновавшемъ снова успокоенную Францію—я вижу еще что-то великое; но въ неутомимомъ плѣнникѣ англичанъ, въ мелочномъ ругателѣ своего тюремщика, я не узнаю рѣшительно того колоссальнаго Наполеона, который и въ паденіи своемъ не долженъ былъ походить на обыкновеннаго человѣка.

V.

Уже болѣе трехъ недѣль Наполеонъ жилъ снова въ Кремлѣ. Большая русская армія, подъ главнымъ начальствомъ незабвеннаго князя Кутузова, прикрывая богатѣйшія наши провинціи, стояла спокойно лагеремъ. имѣла все нужное въ изобиліи и безпрестанно усиливалась свѣжими войсками, подходившими изъ всѣхъ низовыхъ губерній. Напротивъ, положеніе французской арміи было вовсе незавидное: превращенная въ пепель Москва не доставляла давно уже никакого продовольствія, и, несмотря на всѣ военныя предосторожности, цѣлыя партіи фуражировъ пропадали безъ вѣсти; съ каждымъ днемъ возрастала народная ненависть къ французамъ. Буйные поступки солдатъ, начинавшихъ уже забывать всю подчиненность; сожженіе Москвы, а болѣе всего оскверненіе церквей, сначала ограбленныхъ, а потомъ превращенныхъ въ магазины и конюшни, довело, наконецъ, сію ненависть до какого-то

изступленія. Убить просто француза казалось для русскаго крестьянина уже дѣломъ слишкомъ обыкновеннымъ; всѣ роды смертей, одна другой ужаснѣе, ожидали несчастныхъ непріятельскихъ солдатъ, захваченныхъ вооруженными толпами крестьянъ, которые, дѣлаясь часъ-отъ-часу отважнѣе, стали, наконецъ, нападать на сильные отряды фуражировъ, и нерѣдко оставались побѣдителями. Сіи, повидимому, незначительныя, но непрерывныя потери обезсиливали примѣтнымъ образомъ непріятеля; а къ довершенію бѣдствія, наши летучіе отряды почти совершенно отрѣзали большую французскую армію отъ всѣхъ ея пособій и резервовъ. Можно сказать безъ всякаго преувеличенія, что когда французы шли впередъ и стояли въ Москвѣ, русскіе партизаны составляли ихъ арьергардъ; а во время ретиралы сдѣлались авангардомъ, перерѣзывали имъ дорогу, замедляли отступление и захватывали всѣ транспорты съ одеждою и продовольствіемъ, которые спѣшили къ нимъ навстрѣчу.

Въ полной надеждѣ на неизмѣнную звѣзду своего счастья, Наполеонъ подписывалъ въ Кремлѣ новыя постановленія для парижскихъ театровъ, прогуливался въ своемъ сѣромъ сюртукѣ по городу и, глядя спокойно на бѣдственное состояніе своего войска, ожидалъ съ каждымъ днемъ мирныхъ предложеній отъ нашего двора. Но слово русскаго царя священо: онъ обѣщалъ своему народу не положить меча до тѣхъ поръ, пока хотя единый врагъ останется въ предѣлахъ его царства — и свято сохранилъ сей обѣтъ. День проходилъ за днемъ, но никто не являлся къ *побѣдителю* съ повинной головою. Наполеонъ досадовалъ, называлъ насъ варварами, не понимающими, что такое европейская война, и, наконецъ, вѣроятно по добротѣ своего сердца, не желая *погубить* до конца Россію, послалъ въ главную квартиру свѣтлѣйшаго князя Кутузова своего любимца Лористона, уполномочивъ его заключить миръ на самыхъ выгодныхъ для насъ условіяхъ. Всѣмъ извѣстно, какой имѣло успѣхъ это *человѣколюбивое* посоль-

ство. Лористонъ, воротясь въ Москву, донесъ своему императору, что сѣверные варвары не хотятъ слышать о мирѣ, и увѣряютъ, будто бы война не кончилась, а только еще начинается.

Все это происходило въ концѣ сентября мѣсяца, и около того же самаго времени, отрядъ, подъ командою знакомаго намъ артиллерійскаго офицера, переходя безпрестанно съ одного мѣста на другое, остановился ночевать недалеко отъ большой Калужской дороги.

Разсвѣтало. На одной обширной полянѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ густымъ лѣсомъ, при слабомъ отблескѣ догорающихъ огней, можно было безъ труда рассмотреть нѣсколько десятковъ шалашей, или балагановъ, расположенныхъ полукружіемъ. Съ полдюжины фуръ, двѣ или три телѣги, множество лошадей, стоящихъ кучами, у сдѣланныхъ на скорую руку коновязей, разбросанные котлы, и пестрота одеждъ, спящихъ въ шалашахъ и передъ огнями людей — все, съ перваго взгляда, походило на какой-то безпорядочный цыганскій таборъ. Но въ то же время цѣлые пучки воткнутыхъ въ землю дротиковъ и казаки, стоящіе на часахъ по опушкѣ лѣса, доказывали, что на сей полянѣ расположены были биваки одного изъ летучихъ русскихъ отрядовъ.

Въ небольшомъ полуоткрытомъ шалашѣ лежало трое офицеровъ, закутанныхъ въ синія шинели. Казалось, они спали крѣпкимъ сномъ. Недалеко отъ нихъ, передъ балаганомъ, который былъ почти вдвое болѣе другихъ, у пылающаго костра, сидѣлъ русскій офицеръ въ зеленомъ спензерѣ. Онъ курилъ трубку и, отъ - времени - до - времени, посматривалъ съ примѣтнымъ нетерпѣніемъ впередъ; вдругъ послышался вдали окликъ часового. Офицеръ всталъ и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ впередъ, остановился; черезъ минуту раздался явственно лошадиный топотъ, и видный собою казакъ выѣхалъ рысью на поляну.

— Ну, что, Мироновъ, — спросилъ офицеръ, подойдя

къ казаку, который спрыгнулъ съ лошади: — непріятель, точно, потянулся по Калужской дорогѣ?

— Да, ваше высокоблагородіе! Французы ночуютъ верстахъ въ пяти отсюда.

— А какъ силенъ непріятель?

— Я видѣлъ только передовыхъ: этакъ сотенъ пять-шесть будетъ; да мужички мнѣ сказывали, что за ними валить французовъ несмѣтная сила.

— То-есть два или три полка?

— Не могу знать, ваше высокоблагородіе! А говорятъ, съ ними много пушекъ.

— Такъ это не фуражиры. Ступай, разбуди есаула: сейчасъ въ походъ.

Въ полминуты весь лагерь оживился; а офицеръ, подойдя къ своему шалашу, закричалъ:—Эй, господа, вставайте!

— Что такое?—спросилъ Зарѣцкій, приподымаясь и протирая глаза.

— Сейчасъ въ походъ.

— А я было заснулъ такъ крѣпко. Ахъ, чортъ возьми, какъ у меня болить голова! А все отъ этого проклятаго пунша. Но!—продолжалъ Зарѣцкій, подымаясь на ноги, — мы, кажется, угощая вчера нашихъ плѣнныхъ французовъ, и сами черезъ-чуръ подгуляли. Да гдѣ жъ они?

— Не бойтесь, не уйдутъ, — сказалъ, выходя изъ шалаша, одѣтый въ сѣрое полукафтанье офицеръ, въ выговорѣ котораго замѣтно было сербское нарѣчіе.

— Чтожъ они дѣлаютъ?

— Спать, — отвѣчалъ отрывисто сербъ.

— А какъ проснутся, — продолжалъ Зарѣцкій, — и вспомнать, какъ они все намъ выболтали, такъ, вѣрно, пожалѣютъ, что выпили по лишнему стакану пунша. Да и вы, господа, — надобно сказать правду — мастерски умѣете пользоваться минутой откровенности.

— Это потому, — подхватилъ другой офицеръ въ буркѣ и бѣлой кавалерійской фуражкѣ, — что мы вѣ-

примь русской пословицѣ: что у трезваго на умѣ, то у пьянаго на языкѣ.

— Посмотрите, если они сегодня не будутъ отрекаться отъ своихъ вчерашнихъ словъ.

Не думаю,—сказаль съ какой-то странной улыбкою артиллерійскій офицеръ.

— Куда мы теперь отправляемся?—спросилъ Зарѣцкій.

— Мы перейдемъ на Владимірскую дорогу и, можетъ-быть, будемъ опять верстахъ въ десяти отъ Москвы.

— Въ десяти верстахъ! — повторилъ Зарѣцкій. — Что если бы я могъ какъ-нибудь узнать, живъ ли мой другъ Рославлевъ.

— Я на вашемъ мѣстѣ, — сказалъ артиллерійскій офицеръ, — постарался бы съ нимъ увидѣться.

— О! еслибъ я могъ побывать самъ въ Москвѣ...

— Почему же нѣтъ? Да знаете ли, что вамъ это даже нужно? Извините, но мнѣ кажется, вы слишкомъ жалуете нашихъ непріятелей; такъ вамъ вовсе не мѣшаетъ взглянуть теперь на Москву: быть-можетъ, это васъ нѣсколько поразочаруетъ. Вы говорите хорошо по-французски; у насъ есть полный конно-егерскій мундиръ: одѣньтесь въ него, возьмите у меня лошадь, отбитую у непріятельскаго офицера, и ступайте смѣло въ Москву. Тамъ теперь такое смѣшеніе языковъ и мундировъ, что никому не придетъ въ голову экзаменовать васъ, къ какому вы принадлежите полку.

— А что вы думаете?—вскричалъ Зарѣцкій. — Если Рославлевъ живъ, то, можетъ-быть, я найду способъ вывести его изъ Москвы и добраться вмѣстѣ съ нимъ до нашей арміи.

— Можетъ-быть. Одѣвайтесь же скорѣе: мы сейчасъ выступаемъ.

Въ нѣсколько минутъ Зарѣцкій, при помощи проворнаго казачьяго урядника, преобразился въ непріятельскаго офицера, надѣлъ сверхъ мундира синюю шинель

съ длиннымъ воротникомъ, и, вскочивъ на лошадь, осѣдланную французскимъ сѣдломъ, сказалъ: — Какъ удивятся наши плѣнные, когда увидятъ меня въ этомъ нарядѣ. Да гдѣ жъ они?.. Ба! они еще спятъ. Надобно ихъ разбудить.

— Зачѣмъ? — прервалъ артиллерійскій офицеръ, садясь на лошадь. — Мы со всѣхъ сторонъ окружены французами, гдѣ намъ таскать съ собою плѣнныхъ.

— Но мы идемъ отсюда.

— А они остаются.

— Да теперь, покуда они спятъ...

— И не проснутся! — сказалъ сербъ, закуривая спокойно свою трубку.

У Зарѣцкаго сердце замерло отъ ужаса; онъ взглянулъ съ отвращеніемъ на своихъ товарищей и замолчалъ. Весь отрядъ, принявъ направо, потянулся лѣсомъ по узкой просѣкѣ, которая вывела ихъ на чистое поле. Проѣхавъ верстъ десять, они стали опять встрѣчать лѣсистыя мѣста, и часу въ одиннадцатомъ утра остановились отдохнуть недалеко отъ села Карачарова въ густомъ сосновомъ лѣсу.

— Ну, если вы не передумали ѣхать въ Москву, — сказалъ артиллерійскій офицеръ — то ступайте теперь: я приму отсюда налѣво и остановлюсь не прежде, какъ буду отъ нея верстахъ въ тридцати.

Покормивъ лошадей подножнымъ кормомъ и отдохнувъ, отрядъ приготовился къ выступленію; а Зарѣцкій, простясь довольно холодно съ бывшими своими товарищами, выѣхалъ изъ лѣса прямо на большую дорогу, которая шла черезъ село Карачарово. Подѣхавъ къ длинной гати, проложенной по низкому мѣсту, вплоть до самаго селенія, Зарѣцкій увидѣлъ, что передъ околицей стоитъ сильный непріятельскій пикетъ. Желая какъ можно рѣже встрѣчаться съ теперешними своими сослуживцами, онъ принялъ налѣво полемъ, и продолжалъ объѣзжать всѣ деревни и селенія, наполненныя французами. Изрѣдка встрѣчались съ нимъ бродящіе по огородамъ солдаты: одни, какъ будто бы

нехотя, прикладывали руки къ своимъ киверамъ; другіе, взглянувъ на него весьма равнодушно, продолжали рыться между грядъ. Съ приближеніемъ его къ Москвѣ, число сихъ бродягъ безпрестанно увеличивалось; близъ Спасской заставы по всемъ огородамъ были разсыпаны солдаты всѣхъ націй. Зарѣцкій примѣтилъ, что многіе изъ нихъ таскали за собой обывателей изъ простого народа, на которыхъ, какъ на вьючныхъ лошадей, накладывали мѣшки съ картофелемъ, рѣпою и другими огородными овощами. Подѣзжая къ заставѣ, онъ думалъ, что его закидаютъ вопросами; но, къ счастью, опасенія его не оправдались. Часовой, въ изорванной шинели, въ протоптанныхъ башмакахъ и высокой медвѣжьей шапкѣ, не сдѣлалъ ему на караулъ, но зато и не обезпокоилъ его никакимъ вопросомъ.

Какое странное и вмѣстѣ плачевное зрѣлище представилось Зарѣцкому, когда онъ въѣхалъ въ городъ! Вмѣсто улицъ, тянулись безконечные ряды трубъ и печей, посреди которыхъ отъ-времени-до-времени возвышались полуразрушенные кирпичные дома; на каждомъ шагѣ встрѣчались съ нимъ толпы оборванныхъ солдатъ: одни, запачканные сажею, черные какъ негры, копались въ развалинахъ домовъ; другіе, опьянѣвъ отъ русскаго вина, кричали охриплымъ голосомъ: «Vive l'Empereur!» шумѣли и пѣли пѣсни на разныхъ европейскихъ языкахъ. Обломки столовъ и стульевъ, изорванныя картины, разбитыя зеркала, фарфоръ, пустыя бутылки, бочки и мертвыя лошади покрывали мостовую. Все это вмѣстѣ представляло такую отвратительную картину безпорядка и разрушенія, что Зарѣцкій едва могъ удержаться отъ восклицанія: «злodeи! что сдѣлали вы съ несчастной Москвою!» Будучи воспитанъ, какъ и большая часть нашихъ молодыхъ людей, подъ присмотромъ французскаго гувернера, Зарѣцкій не могъ назваться набожнымъ; но, несмотря на это, его русское сердце облилось кровью, когда онъ увидѣлъ, что почти во всѣхъ церквахъ стояли лошади; что стояла ихъ были сколочены изъ иконъ, обезобра-

женныхъ, изрубленныхъ и покрытыхъ грязью. Но какъ описать его негодованіе, когда, проѣзжая мимо одной церкви, онъ прочелъ на ней надпись: «Конюшня генерала Гильемина». — Нѣтъ, господа французы, — вскричалъ онъ, позабывъ, что окруженъ со всѣхъ сторонъ непріятелемъ, — это уже слишкомъ!.. ругаться надъ тѣмъ, что цѣлый народъ считаетъ священнымъ!.. Если это по-вашему называется отсутствіемъ всѣхъ предразсудковъ и просвѣщеніемъ, такъ чортъ его побери и вмѣстѣ съ вами! — Когда онъ сталъ приближаться къ серединѣ города, то, боясь встрѣтить французскаго генерала, который могъ бы ему сдѣлать какой-нибудь затруднительный вопросъ, Зарѣцкій всякій разъ, когда сверкали вдали шитые мундиры и показывались толпы верховыхъ, сворачивалъ въ сторону и скрывался между развалинами. Нѣсколько разъ случалось ему, для избѣжанія подобной встрѣчи, вѣзжать въ какую-нибудь залу или прятаться за мраморнымъ каминомъ, и потомъ снова выбираться на улицу сквозь цѣлый рядъ комнатъ безъ половъ и потолковъ, но сохранившихъ еще по мѣстамъ свою позолоту и живопись. Переѣхавъ Язу, Зарѣцкій пустился рысью по набережной Москвы-рѣки, мимо уцѣлѣвшаго воспитательнаго дома, и, миновавъ благополучно Кремль, замѣтилъ, что на самой серединѣ Каменнаго моста толпилось много народа. Когда онъ подъѣхалъ къ сей толпѣ, которая занимала всю ширину моста, то долженъ былъ, за тѣсною, приостановить свою лошадь подлѣ двухъ гвардейскихъ солдатъ. Они разговаривали о чемъ-то съ большимъ жаромъ. — Какъ! — вскричалъ одинъ изъ нихъ — обѣ, молодыя дѣвушки?..

— Да! — отвѣчалъ другой, — онѣ обѣ, въ моихъ глазахъ, бросились съ моста прямо въ рѣку.

— *Matin! sont elles farouches ces bourgeois de Moscou?..* Броситься въ рѣку оттого, что двое гвардейскихъ солдатъ предложили имъ погулять и повеселиться вмѣстѣ съ ними!.. Ну, вотъ, къ чему служить парижская вѣжливость съ этими варварами?

— Правда,—сказалъ первый солдатъ,—они тащили ихъ насильно.

— Насильно!.. насильно!.. Но если эти дуры не знаютъ общежитія!.. Что за народъ эти русскіе!.. Мнѣ кажется, они еще глупѣе нѣмцевъ!.. А какъ безтолковы!.. Съ ними говоришь чистымъ французскимъ языкомъ—ни слова не понимаютъ. Sapristie! comme ils sont bêtes ces barbares!

— Здравствуй, Дюранъ!—сказалъ кто-то на французскомъ языкѣ позади Зарѣцкаго.—Ну, что, доволенъ ли ты своей лошадыю?—продолжалъ тотъ же голосъ, и такъ близко, что Зарѣцкій оглянулся и увидѣлъ подлѣ себя кавалерійскаго офицера, который, отступя шагъ назадъ, вскричалъ съ удивленіемъ:—Ахъ, Боже мой! я ошибся... извините!.. я принялъ васъ за моего пріятеля... но неужели онъ продалъ вамъ свою лошадь?.. Да! это, точно, она!.. Позвольте спросить, дорого ли вы за нее заплатили?

— Четыреста франковъ, — отвѣчалъ на-удачу Зарѣцкій.

— Только?.. Онъ заплатилъ мнѣ за нее восемьсотъ, а продалъ вамъ за четыреста!.. Странно!.. Вы служите съ нимъ въ одномъ полку?

— Нѣтъ!—отвѣчалъ отрывисто Зарѣцкій, стараясь продрапаться сквозь толпу. Поворачивая во всѣ стороны лошадь, онъ нечаянно распахнулъ свою шинель.—Это странно!—сказалъ кавалеристъ:—вы служите не вмѣстѣ съ Дюраномъ, а на васъ, кажется, такой же мундиръ, какъ и на немъ.

— Мундиры нашихъ полковъ очень сходны... Но извините!.. Мнѣ некогда. Посторонитесь, господа!

— Что это?—продолжалъ кавалеристъ, заслонивъ дорогу Зарѣцкому.—Такъ точно! На васъ его сабля!

— Я купилъ ее вмѣстѣ съ лошадыю.

— Эту саблю?.. Позвольте взглянуть на рукоятку... Такъ и есть: на ней вырѣзано имя Аделаиды!.. странно! Онъ получилъ ее изъ рукъ сестры моей и продалъ вамъ вмѣстѣ съ своею лошадыю...

— Да, сударь! вмѣстѣ съ лошадыю...

— Извините!.. Но это такъ чудно... такъ непонятно... Я знаю хорошо Дюрана: онъ не способенъ къ такому низкому поступку.

— То-есть я солгалъ? — прервалъ Зарѣцкій, стараясь казаться обиженнымъ.

— Да, сударь! это неправда!

— Неправда! — повторилъ Зарѣцкій ужаснымъ голосомъ. *Un démenti à moi!*... Какъ васъ зовутъ, государь мой?

— Позвольте мнѣ прежде узнать...

— Ваше имя, сударь?

— Но растолкуйте мнѣ прежде...

— Ваше имя и ни слова болѣе!..

— Капитанъ жандармовъ Рено; а вы, сударь?..

— Капитанъ Рено? Очень хорошо... Я знаю, гдѣ вы живете... Мы сегодня же увидимся... да, сударь! сегодня же!.. *Un démenti à moi!*... — повторилъ Зарѣцкій, пришпоривая свою лошадь. — Господинъ офицеръ!.. господинъ офицеръ!.. — закричали со всѣхъ сторонъ. — Тише! вы насъ давите!.. Ай, ай, ай! *Miséricorde!*.. Держите этого сумасшедшаго!.. — Но Зарѣцкій, не слушая ни воплей, ни проклятій, прорвался, какъ бѣшеный, сквозь толпу и, выскакавъ на противоположный берегъ рѣки, пустился шибкой рысью вдоль Полянки.

Зарѣцкій вздохнулъ свободно не прежде, какъ потерялъ совсѣмъ изъ виду Каменный мостъ. Не опасаясь уже, что привязчивый жандармскій офицеръ его догонитъ, онъ успокоился, поѣхалъ шагомъ, и утѣшительная мысль, что, можетъ-быть, онъ скоро обниметъ Рославлева, замѣнила въ душѣ его всякое другое чувство. Почти всѣ дома около Серпуховскихъ воротъ уцѣлѣли отъ пожара, слѣдовательно, онъ имѣлъ полное право надѣяться, что отыщетъ домъ купца Сеземова. Доѣхавъ до конца Полянки, онъ остановился. Нѣсколько сотъ непріятельскихъ солдатъ прохаживались по площади. Одни курили трубки, другіе продавали

всякую всячину. Посреди всѣхъ германскихъ нарѣчій, раздавались иногда звучныя фразы итальянскаго языка, прерываемыя безпрестанно восклицаніями и поговорками, которыми такъ богатъ языкъ французскихъ солдатъ; но во всей толпѣ, Зарѣцкій не замѣтилъ ни одного обывателя. Онъ объѣхалъ кругомъ площадь, заглядывалъ во всѣ окна, и, наконецъ, рѣшился войти въ домъ, надъ дверьми котораго висѣла вывѣска, съ надписью на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ: золотыхъ дѣлъ мастеръ Францъ Зингеръ.

Привязавъ у крыльца свою лошадь, Зарѣцкій вошелъ въ небольшую горенку, обитую изорванными обоями. Нѣсколько плохихъ стульевъ, разбитое зеркало и гравированный портретъ Наполеона въ черной рамкѣ составляли всю мебель сей комнаты. Позади прилавка изъ простого дерева сидѣла за работою дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, въ опрятномъ ситцевомъ платьѣ. Когда она увидѣла вошедшаго Зарѣцкаго, то, вскочивъ проворно со стула и сдѣлавъ ему вѣжливый книксенъ, спросила на дурномъ французскомъ языкѣ: «Что угодно господину офицеру?» Потомъ, не дожидаясь его отвѣта, открыла съ стекляннымъ верхомъ ящикъ, въ которомъ лежали дюжины три золотыхъ колецъ, нѣсколько печатей, цѣпочекъ и два или три креста Почетнаго Легиона.

— Гдѣ хозяинъ? — спросилъ Зарѣцкій.

— Папенька? Его нѣтъ дома.

— Не знаешь ли, миленькая, гдѣ здѣсь домъ купца Сеземова?

— Сеземова? Не знаю, господинъ офицеръ; но если вамъ угодно немного подождать, папенька скоро придетъ: онъ, вѣрно, знаетъ.

Зарѣцкій кивнулъ, въ знакъ согласія, головою, а дѣвочка сѣла на стулъ и принялась снова вязать свой бѣлый бумажный колпакъ съ синими полосками.

Прошло съ четверть часа. Зарѣцкій начиналъ уже терять терпѣніе; наконецъ, двери отворились, и толстый нѣмецъ, съ прищуренными глазами, вошелъ въ

комнату. Поклонясь вѣжливо Зарѣцкому, онъ повторилъ также на французскомъ языкѣ вопросъ своей дочери:—Что угодно господину офицеру?

— Не знаете ли, гдѣ домъ купца Сеземова?

— Шаговъ двадцать отсюда, желтый домъ съ зелеными ставнями. Вы вѣрно желаете видѣть офицера, который у него квартируетъ?

— Да. И такъ желтый домъ съ зелеными ставнями?..

— Позвольте, позвольте!.. Вы его тамъ не найдете: онъ перемѣнилъ квартиру.

— Право?—сказалъ Зарѣцкій. — Все-равно, я его какъ-нибудь отыщу.

— Позвольте!.. онъ теперь живетъ у меня.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Но, кажется, его нѣтъ дома?..

— Да, онъ вышелъ; но не угодно ли въ его комнату: господинъ капитанъ сейчасъ будетъ.

— Нѣтъ, я лучше зайду опять.

— Да подождите! онъ идетъ за мной.

— Нѣтъ, я вспомнилъ... мнѣ еще нужно... я хотѣлъ... прощайте!..

— Пойдите, господинъ офицеръ! пойдите!—вскричалъ нѣмецъ, взглянувъ въ окно;—да вотъ и онъ!

Прежде чѣмъ Зарѣцкій успѣлъ образумиться, жандармскій офицеръ, съ которымъ онъ поссорился на Каменномъ мосту, вошелъ въ комнату.

— Вотъ господинъ офицеръ, который отыскивалъ вашу квартиру,—сказалъ нѣмецъ, обращаясь къ своему постояльцу. — Онъ не знаетъ, что вы переехали жить въ мой домъ.

Счастливая мысль, какъ молнія, блеснула въ головѣ Зарѣцкаго. — Господинъ Рено! — сказалъ онъ грознымъ голосомъ, — я обѣщался отыскать васъ и, кажется, сдержалъ мое слово. Обида, которую вы мнѣ сдѣлали, требуетъ немедленнаго удовлетворенія: мы должны сейчасъ стрѣляться.

Хозяинъ-нѣмецъ поблѣднѣлъ, началъ пятиться назадъ и исчезъ за дверьми комнаты; но дочь его осталась на прежнемъ мѣстѣ и, съ дѣтскимъ любопыт-

ствомъ, устремила свои простодушные голубые глаза на обоихъ офицеровъ.

— Прежде чѣмъ я буду отвѣчать вамъ, — сказалъ хладнокровно капитанъ Рено, — позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?

— Какое вамъ до этого дѣло? Вы видите, что я французскій офицеръ.

— Извините! я вижу только, что на васъ мундиръ французскаго офицера.

— Что вы хотите этимъ сказать, — вскричалъ Зарѣцкій, чувствуя какое-то невольное сжиманіе сердца.

— А то, сударь, что Москва теперь наполнена русскими шпионами во всѣхъ возможныхъ костюмахъ.

— Какъ, господинъ капитанъ! Вы смѣете думать?..

— Да, сударь! — продолжалъ Рено, — французскій офицеръ долженъ знать службу, и не станетъ вызывать на дуэль капитана жандармовъ, который обязанъ предупреждать всѣ подобные случаи.

— Но, сударь...

— Французскій офицеръ не будетъ скрывать своего имени и давить народъ, чтобъ избѣжать затруднительныхъ вопросовъ, которые въ правѣ ему сдѣлать каждый офицеръ жандармовъ.

— Но, сударь...

— Французскій офицеръ не отлучится никогда самовольно отъ своей команды. Вашъ полкъ стоитъ далеко отъ Москвы, слѣдовательно вы должны имѣть письменное позволеніе. Не угодно ли вамъ его показать?

— А если я его не имѣю?..

— Въ такомъ случаѣ, пожалуйста вашу саблю.

— Прекрасно, сударь!.. Вы обидѣли меня, и употребляете этотъ низкій способъ, чтобъ отдѣлаться отъ поединка. Позвольте жъ и мнѣ теперь спросить васъ: французъ ли вы?

— Вы напрасно расточаете ваше краснорѣчіе. Быть-можетъ, я нѣсколько погорячился; но извините!.. Всѣ ваши отвѣты были такъ странны; лошадь, которую вы купили за половину цѣны; сабля, которая ни-

какъ не могла быть вамъ продана, и даже это смущеніе, которое я замѣчаю въ глазахъ вашихъ, все составляетъ меня пригласить васъ вмѣстѣ со мной къ коменданту. Тамъ дѣло объяснится. Мы узнаемъ, долженъ ли я просить у васъ извиненія, или поблагодарить васъ за то, что вы доставили мнѣ случай доказать, что я не даромъ ношу этотъ мундиръ. Да не горячитесь: у меня въ сѣняхъ жандармы. Пожалуйте вашу саблю!

— Такъ возьмите же ее сами! — вскричалъ Зарѣцкій, отступивъ два шага назадъ.

Вдругъ двери отворились, и въ комнату вошелъ прекрасный собою мужчина, въ кирасирскомъ мундирѣ, съ полковничьими эполетами. При первомъ взглядѣ на Зарѣцкаго, онъ не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія.

— Ахъ, это вы, графъ!.. — вскричалъ Зарѣцкій, узнавъ тотчасъ въ офицерѣ полковника Сеникура. — Какъ я радъ, что васъ вижу! Сдѣлайте милость, увѣрьте господина Рено, что я, точно, французскій капитанъ Данвиль.

— Капитанъ Данвиль!.. — повторилъ полковникъ, продолжая смотрѣть съ удивленіемъ на Зарѣцкаго.

— Неужели, графъ, вы меня не узнаете?..

— Извините! я васъ тотчасъ узналъ...

— И, вѣрно, вспомнили, что, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, я имѣлъ счастье спасти васъ отъ смерти?

— Какъ! — вскричалъ жандармскій капитанъ, — неужели въ самомъ дѣлѣ?..

— Да, Рено! — прервалъ полковникъ, — этотъ господинъ говоритъ правду; но я никакъ не думалъ встрѣтить его въ Москвѣ, и, признаюсь, весьма удивленъ...

— Вы еще болѣе удивитесь, полковникъ, — подхватилъ Зарѣцкій, — когда я вамъ скажу, что не имѣю на это никакого позволенія отъ моего начальства; но вы, вѣрно, перестанете удивляться, если узнаете причины, побудившія меня къ сему поступку.

— Едва ли! — сказалъ полковникъ, покачавъ голо-

вою; — это такая неосторожность!.. Но позвольте узнать, что у васъ такое съ господиномъ Рено?

— Представьте себѣ, графъ! Господинъ Рено обидѣлъ меня ужаснымъ образомъ, и когда я отыскалъ его квартиру, засталъ дома и сталъ просить удовлетворенія...

— Что это все значить? — вскричалъ полковникъ, глядя съ удивленіемъ на обоихъ офицеровъ. — Вы въ Москвѣ... отыскивали жандармскаго капитана... вызываете его на дуэль... Чортъ возьми, если я тутъ что-нибудь понимаю!

— Послушайте, графъ! — прервалъ Рено, — можете ли вы меня удостовѣрить, что этотъ господинъ, точно, капитанъ французской службы?

— Да развѣ вы не видите? Впрочемъ, я готовъ еще разъ повторить, что этотъ храбрый и благородный офицеръ вырвалъ меня изъ рукъ непріятельскихъ солдатъ, и что если я могу еще служить императору и бить русскихъ, то, конечно, за это обязанъ единственно ему.

— О, въ такомъ случаѣ... Господинъ Данвиль! я признаю себя совершенно виноватымъ... Но эта проклятая сабля!.. Признаюсь, я и теперь не постигаю, какъ могъ Дюранъ рѣшиться продать саблю, которую получилъ изъ рукъ своей невѣсты... Согласитесь, что я скорѣй долженъ былъ предполагать, что онъ убить... что его лошадь и оружіе достались непріятелю... что вы... Но если графъ васъ знаетъ, то, конечно...

— Итакъ, это кончено, — сказалъ полковникъ. — Я думаю, господинъ Данвиль, вы теперь довольны? Да вамъ и некогда ссориться: совѣтую по-дружески сейчасъ же отправиться туда, откуда вы пріѣхали.

— Извините, — сказалъ Рено, — я исполнилъ долгъ честнаго человѣка, признавшись въ моей винѣ; теперь позвольте мнѣ выполнить обязанность мою по службѣ. Господинъ Данвиль отлучился безъ позволенія отъ своего полка, и я долженъ непремѣнно довести это до свѣдѣнія начальства.

— И, полноте, Рено!—прервалъ полковникъ,—что вамъ за радость, если моего пріятеля накажутъ за этотъ необдуманнѣйшій поступокъ? Конечно,—прибавилъ онъ, взглянувъ значительно на Зарѣцкаго,—поступокъ болѣе, чѣмъ неосторожный, и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, непростительный—не спору!—но въ которомъ, безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ ничего неприличнаго и унижительнаго для офицера: въ этомъ я увѣренъ.

— Такъ, полковникъ, такъ!.. Однакожъ, вы знаете, что порядокъ службы требуетъ...

— Знаю, знаю, капитанъ! Но представьте себѣ, что вы съ нимъ никогда не встрѣчались—вотъ и все! Пойдемте ко мнѣ, Данвиль.

— Ну, если, графъ, вы непременно этого хотите, то, конечно, я долженъ... я не могу отказать вамъ. Убѣжайте же скорѣе отсюда, господинъ Данвиль; советую вамъ быть впередъ осторожнѣе: императоръ никогда не любилъ шутить военной дисциплиною, а теперь сдѣлался еще строже. Говорятъ, онъ безпрестанно сердится; эти проклятые русскіе выводятъ его изъ терпѣнія. Варвары! и не думаютъ о мирѣ! Какъ будто бы война должна продолжаться вѣчно. Прощайте, господа!

— Это ваша лошадь?—спросилъ полковникъ, когда они вышли на крыльцо.

— Да, графъ.

— Отвяжите ее, и сдѣлайте мнѣ честь, пройдите со мною нѣсколько шаговъ по улицѣ.

Зарѣцкій, ведя въ поводу свою лошадь, отошелъ вмѣстѣ съ графомъ Сеникуромъ шаговъ сто отъ дома золотыхъ дѣлъ мастера. Погляды вокругъ себя и видя, что ихъ никто не можетъ подслушать, полковникъ остановился, кинулъ проницательный взглядъ на Зарѣцкаго и сказалъ строгимъ голосомъ:—Теперь позвольте васъ спросить, что значить этотъ маскарадъ?

— Я хотѣлъ узнать, живъ ли мой другъ, который, будучи отчаянно боленъ, не могъ выѣхать изъ Москвы въ то время, какъ вы въ нее входили.

— И у васъ не было никакихъ другихъ намѣреній.

— Никакихъ, клянусь вамъ честію.

— Очень хорошо. Вы храбрый и благородный офицеръ—я вѣрю вашему честному слову; но знаете ли, что, несмотря на это, васъ должно, по всѣмъ военнымъ законамъ, разстрѣлять, какъ шпіона.

— Знаю.

— И вы рѣшились, чтобъ повидаться съ вашимъ другомъ...

— Да, полковникъ! для этого только я рѣшился надѣть французскій мундиръ и пріѣхать въ Москву.

— Признаюсь, я до сихъ поръ думалъ, что одна любовь оправдываетъ подобныя дурачества... но минуты дороги: малѣйшая неосторожность можетъ стоить вамъ жизни. Ступайте скорѣй вонъ изъ Москвы.

— Я еще не видѣлся съ моимъ другомъ.

— Отложите это свиданіе до лучшаго времени. Мы не вѣчно здѣсь останемся.

— Надѣюсь, графъ... но если мой другъ живъ, то я могу спасти его.

— Спасти?

— То-есть увезти изъ Москвы.

— Такъ поэтому онъ военный?

— Да, графъ; но, можетъ-быть, ваше правительство объ этомъ не знаетъ?

— Извините! Я знаю теперь, что вашъ другъ офицеръ, слѣдовательно, военноплѣнный, и не можетъ выѣхать изъ Москвы.

— Какъ, графъ, вы хотите употребить во зло мою откровенность?

— Да, сударь! Я поступилъ уже противъ совѣсти и моихъ правилъ, спасая отъ заслуженной казни человека, котораго законъ осуждаетъ на смерть, какъ шпіона; но я обязанъ вамъ жизнью, и хотя это не слишкомъ завидный подарокъ,—прибавилъ полковникъ съ грустной улыбкою;—а все я, не менѣе того, былъ вашимъ должникомъ: теперь мы по квитались, и я, конечно, не допущу васъ увезти съ собою плѣннаго офицера.

— Но знаете ли, полковникъ, кто этотъ плѣнный офицеръ?

— Какое мнѣ до этого дѣло!

— Знаете ли, что вы успѣли уже отнять у него болѣе, чѣмъ жизнь?

— Что вы говорите?

— Да, графъ! Этотъ офицеръ—Рославлевъ.

— Рославлевъ? женихъ...

— Да, бывший женихъ Полины Лидиной.

— Возможно ли?—вскричалъ Сеникуръ, схвативъ за руку Зарѣцкаго. — Какъ? это тотъ несчастный?.. Ахъ, что вы мнѣ напомнили!.. Ужасная ночь!.. Нѣтъ!.. Во всю жизнь мою не забуду... безъ чувствъ — въ крови... у самыхъ церковныхъ дверей... сумасшедшая!.. Боже мой, Боже мой!—Полковникъ замолчалъ. Лицо его было блѣдно; посинѣвшія губы дрожали.—Да!—вскричалъ онъ, наконецъ, — я, точно, отнял у него болѣе, чѣмъ жизнь—онъ любилъ ее!

— Чтожъ останется у моего друга,—сказалъ Зарѣцкій,—если вы отнимете у него послѣднее утѣшеніе: свободу и возможность умереть за отечество?

— Нѣтъ, нѣтъ! я не хочу быть дважды его убійцею; онъ долженъ быть свободенъ!.. О, еслибъ я могъ хотя этимъ вознаградить его за зло, которое, клянусь Богомъ, сдѣлалъ ему невольно! Вы сохранили жизнь мою, вы причиною несчастія вашего друга, вы должны и спасти его. Ступайте къ нему; я готовъ для него сдѣлать все... да, все!.. но, Бога ради, не говорите ему... послушайте! онъ былъ боленъ, быть-можетъ, онъ не въ силахъ идти пѣшкомъ... У самой заставы будетъ васъ дожидаться мой человекъ съ лошадыю; скажите ему, что вы капитанъ Данвиль: онъ отдастъ вамъ ее... Прощайте: я спѣшу домой!.. Ступайте къ нему... ступайте!..

Полковникъ пустился почти бѣгомъ по площади, а Зарѣцкій, поглядѣвъ вокругъ себя и видя, что онъ стоитъ въ двухъ шагахъ отъ желтаго дома съ зелеными ставнями, подошелъ къ запертымъ воротамъ и

постучался. Черезъ минуту мальчикъ, въ изорванномъ сѣромъ кафтанѣ, отворилъ калитку.

— Это домъ купца Сеземова?—спросилъ Зарѣцкій, стараясь выговаривать слова какъ иностранецъ.

— Да, сударь! Да кого вамъ надобно? Здѣсь стоятъ одни солдаты.

— Мнѣ нужно видѣть самого хозяина.

— Хозяина? — повторилъ мальчикъ, взглянувъ съ робостію на Зарѣцкаго.—Да у насъ, сударь, ничего нѣтъ...

— Не бойся, голубчикъ, я ничѣмъ васъ не обижу. Подержи мою лошадь.

Мальчикъ, поглядывая недовѣрчиво на офицера, выполнилъ его приказаніе.

Зарѣцкій вошелъ на дворъ. Небольшія сѣни раздѣляли домъ на двѣ половины: въ той, которая была на улицу, раздавались громкіе голоса. Онъ растворилъ дверь и увидѣлъ сидящихъ за столомъ человекъ десять гвардейскихъ солдатъ: они обѣдали.

— Здравствуйте, товарищи! — сказалъ Зарѣцкій. Солдаты взглянули на него, одинъ отвѣчалъ отрывистымъ голосомъ:—*Bonjour, monsieur!*—но никто и не думалъ приподняться съ своего мѣста.

— Куда пройти къ хозяину дома?—спросилъ Зарѣцкій.

— Ступайте прямо; онъ живетъ тамъ—въ угольной комнатѣ, — отвѣчалъ одинъ изъ солдатъ. — *Hé! la vieille!*.. — продолжалъ онъ, застучавъ кулакомъ по столу.—Клѣба!

— Что, батюшка, изволите?—сказала старуха лѣтъ шестидесяти, войдя въ комнату.

— *Arrivez donc, vieille sorcière!*.. Клѣба!

— Нѣтъ, батюшка!..

— Нѣтъ, батушка!.. *Allons! сейшасъ!*.. Клѣба;—*ou sapristiel!*..

— Не трогайте эту старуху, друзья мои!—сказалъ Зарѣцкій.—Вотъ вамъ червонецъ: вы можете на это купить и хлѣба и вина.

— Merci, mon officier!—сказаль одинъ усатый гренадеръ.—Подождите, друзья! Я сбѣгаю къ нашей маркитаншѣ: у ней все найдешь за деньги.

Зарѣцкій, сдѣлавъ рукою знакъ старухѣ идти за нимъ, вышелъ въ другую комнату.—Послушай, голубушка,—сказаль онъ вполголоса,—вѣдь хозяинъ этого дома купецъ Сеземовъ?

— Да, батюшка, я его сожительница.

— Тѣмъ лучше. У васъ есть больной?

— Есть, батюшка: меньшей нашъ сынъ.

— Неправда; русскій офицеръ.

— Видитъ Богъ, нѣтъ!..—вскричала старуха, поблѣднѣвъ, какъ полотно.

— Тише, тише! не кричи. Его зовутъ Владиміромъ Сергѣевичемъ Рославлевымъ.

— Ахъ, Господи!.. Кто это выболталъ?

— Не бойся, я его пріятель... я также русскій офицеръ.

— Какъ, сударь?..

— Тише, бабушка, тише! Проведи меня къ нему.

— Охъ, батюшка!.. Да правду ли вы изволите говорить?..

— Увидишь сама, какъ онъ мнѣ обрадуется. Веди меня къ нему скорѣе.

— Пожалуйте, батюшка!.. Только Богъ вамъ судья, если вы меня, старуху, изъ ума выводите.

Пройдя черезъ двѣ небольшія комнаты, хозяйка отворила потихоньку дверь въ свѣтлый и даже съ нѣкоторой роскошью убранный покой. На высокой кровати, съ ситцевымъ пологомъ, сидѣлъ, облокотясь одной рукою на столикъ, поставленный у самаго изголовья, блѣдный и худой, какъ тѣнь, Рославлевъ. Подлѣ него старикъ, съ сѣдою бородою, читаль съ большимъ вниманіемъ толстую книгу въ черномъ кожаномъ переплетѣ. Въ ту самую минуту, какъ Зарѣцкій показался въ дверяхъ, старикъ произнесъ вполголоса:— Житіе Преподобнаго Отца нашего...

— Александръ!..—вскричалъ Рославлевъ.

— Нѣтъ, батюшка!—прервалъ старикъ,—не Александра, а Макарія Египетскаго.

— Тише, мой другъ! — сказалъ Зарѣцкій. — Такъ точно, это я; но успокойся!

— Ты въ плѣну?..

— Нѣтъ, мой другъ!

— Но какъ же ты попалъ въ Москву?.. Что значить этотъ французскій мундиръ?..

— Я расскажу тебѣ все, но время дорого. Отвѣчай скорѣе, можешь ли ты пройти хотя до заставы пѣшкомъ.

— Могу.

— Слава Богу! ты спасенъ.

— Какъ, сударь! — сказалъ старикъ, который, въ продолженіе сего разговора, смотрѣлъ съ удивленіемъ на Зарѣцкаго.—Вы русскій офицеръ?.. Вы надѣетесь вывести Владиміра Сергѣевича изъ Москвы?

— Да, любезный, надѣюсь. Но одѣвайся проворнѣе, Рославлевъ, въ какой-нибудь сюртукъ или шинель. Чѣмъ простѣе, тѣмъ лучше.

— За этимъ дѣло не станетъ, батюшка, — сказала старуха: — платье найдемъ. Да извольте видѣть, какъ онъ слабъ! Сердечный! гдѣ ему и до заставы дотащиться!

— Не бойтесь,—сказалъ Рославлевъ, вставая:—я почти совсѣмъ здоровъ.

— Мавра Андреевна!—прервалъ старикъ,—вынь-ка изъ сундука Ваничкинъ сюртукъ: онъ будетъ впору его милости. Да гдѣ Андрюшина калмыцкая сибирка?

— Въ подвалѣ, Иванъ Архиповичъ! Я засунула ее между старыхъ бочекъ.

— Принеси же ее скорѣе. Ну, чтожъ, Мавра Андреевна, стоишь? Ступай!

— Да какъ же это, батюшка Иванъ Архиповичъ!—отвѣчала старуха, перебирая одной рукой концы своей шубейки,—въ чемъ же Андрюша-то самъ выйдетъ на улицу?

— Полно, матушка! не замерзнетъ и въ кафтанѣ.

— Скоро будутъ заморозы; да и теперь ужъ по вечерамъ-то холодновато.

— Я и самъ не соглашусь, — прервалъ Рославлевъ, — чтобъ вы для меня раздѣвали вашихъ дѣтей.

— И, Владиміръ Сергѣевичъ! что вы слушаете моей старухи; дѣло ея бабье: сама не знаетъ, что говорить.

— Я вамъ заплачу за все чистыми деньгами, — сказалъ Зарѣцкій.

— Слышишь, Мавра Андреевна? Эхъ, матушка!.. Вотъ до чего ты довела меня на старости!.. Пошла, сударыня, пошла!

Старуха вышла.

— Нѣтъ, господа! — продолжалъ Иванъ Архиповичъ, — я, благодаря Бога, въ деньгахъ не нуждаюсь; а еслибы и это было, такъ скорѣе самъ въ одной рубашкѣ останусь, чѣмъ возьму хоть денежку съ моего благодѣтеля. Да и она не знаетъ, что мелеть: у Андрюши есть полушубокъ, да онъ же теперь, слава Богу, здоровъ; а вы, батюшка, только-что оправляться стали. Извольте-ка одѣваться. Вотъ вашъ кошелекъ и бумажникъ, — продолжалъ старикъ, вынимая ихъ изъ сундука. — Въ бумажникѣ пятьсотъ ассигнаціями; а въ кошелекѣ — не помню пятьдесятъ, не помню шестьдесятъ рублей серебромъ и золотомъ. Потрудитесь перечесть.

— Какъ вамъ не стыдно, Иванъ Архиповичъ?

— Деньги счетъ любятъ, батюшка.

— Мы перечтемъ ихъ послѣ, — сказалъ Зарѣцкій, пособляя одѣваться Рославлеву. — На, вотъ, твою казну... Ну, чтожъ? Положи ее въ боковой карманъ — вотъ такъ!.. Ну, Владиміръ, какъ ты исхудалъ, бѣдняжка!

— Позвольте, батюшка! — сказала старуха, входя въ комнату; — вотъ Андрюшина сибирка. Виновата, Иванъ Архиповичъ! Вѣдь я совсѣмъ забыла: у насъ еще запрятаны на чердакѣ два тулупа да лисья шуба.

— Теперь, — прервалъ Зарѣцкій, — надѣнь круглую шляпу, или вотъ этотъ картузъ — если позволите, Иванъ Архиповичъ?

— Сдѣлайте милость, извольте брать все, что вамъ угодно.

— Ну, Владиміръ, прощайся — да въ походъ!

— А гдѣ же мой Егоръ? — спросилъ Рославлевъ.

— Сошелъ со двора, батюшка! — отвѣчала старуха.

— Скажите ему, чтобъ онъ пробирался какъ-нибудь до нашей арміи. Ну, прощайте, мои добрые хозяева.

— Позвольте, батюшка! — сказалъ старикъ: — все надо начинать со крестомъ и молитвою, а колыми паче, когда дѣло идетъ о животѣ и смерти. Милости прошу присѣсть. Садись, Мавра Андреевна.

— Извините! — сказалъ Зарѣцкій, — намъ должно торопиться!..

— Садись, Александръ! — прервалъ вполголоса Рославлевъ; — не огорчай моего добраго хозяина.

— Я очень уважаю всѣ наши старинные обычаи, — сказалъ Зарѣцкій, садясь съ примѣтнымъ неудовольствіемъ на стулъ; — но сдѣлайте милость, чтобъ это было покороче.

Старикъ не отвѣчалъ ни слова. Всѣ сѣли по своимъ мѣстамъ. Молчаніе, наблюдаемое въ подобныхъ случаяхъ всѣми присутствующими, придаетъ что-то торжественное и важное сему древнему обычаю, и донинѣ свято сохраняемому большею частію русскихъ. Глубокая тишина продолжалась около полуминуты; вдругъ раздался шумъ, и громкія восклицанія французскихъ солдатъ разнеслись по всему дому. «За здоровье императора!.. Да здравствуетъ императоръ!..» — загремѣли грубые голоса въ близкомъ разстояніи. Казалось, солдаты вышли изъ-за стола и разбрелись по всѣмъ комнатамъ.

Старикъ, а вслѣдъ за нимъ и всѣ встали съ своихъ мѣстъ. Оборотясь къ иконамъ и положи три земные поклона онъ произнесъ тихимъ голосомъ: — Матерь Божія! сохрани раба Твоего, Владиміра, подъ Святимъ покровомъ Твоимъ! Да сопутствуетъ ему Ангель Господень; да ослѣпить онъ очи враговъ нашихъ; да соблюдаютъ его здоровымъ, невредимымъ, и сохранить

отъ всякаго бѣдствія! Твое бо есть, Господи, еже милovati и спасати насъ.

— Аминь! — сказала старуха.

— *Vive l'amour et le vin!* — заревѣлъ отвратительный голосъ почти у самыхъ дверей комнаты.

— Скорѣй, мой другъ, скорѣй!.. — сказалъ Зарѣцкій.

Рославлевъ, молча, обнялъ своихъ добрыхъ хозяевъ, которые заливались горькими слезами. — Владиміръ Сергѣичъ! — проговорилъ, всхлипывая, старикъ: — я долго называлъ тебя сыномъ; позволь мнѣ, батюшка, благословить тебя! — Онъ перекрестилъ Рославлева, прижавъ его къ груди своей и сказалъ: — Ну, Мавра Андреевна! проводи ихъ скорѣе заднимъ крыльцомъ. Христосъ съ вами, мои родные! ступайте съ Богомъ, ступайте, а я стану молиться.

Старуха вывела нашихъ друзей на улицу, простилась еще разъ съ Рославлевымъ и захлопнула за ними калитку.

— Теперь, мой другъ, не прогнѣвайся! — сказалъ Зарѣцкій, — я сяду на лошадь, а ты ступай подлѣ меня пѣшкомъ. Это не слишкомъ вѣжливо, да дѣлать нечего: надобно, чтобъ всѣмъ казалось, что я куда-нибудь посланъ, а ты у меня проводникомъ. Постарайтесь только, сударь, дойти какъ-нибудь до заставы, а тамъ я вамъ позволю ѣхать со мною!

— Ъхать? Но гдѣ же ты возьмешь лошадь?

— Это ужъ не твоя забота. Прошу только со мной не разговаривать, глядѣть на меня со страхомъ и трепетомъ, и не забывать, что я французскій офицеръ, а ты московскій мѣщанинъ.

Проѣхавъ благополучно поперекъ площади, покрытой непріятельскими солдатами, Зарѣцкій принялъ направо и пустился вдоль средней Донской улицы, на которой почти не было проходящихъ. Попадавшіеся имъ изрѣдка французы не обращали на нихъ никакого вниманія. Черезъ нѣсколько минутъ показались въ концѣ улицы стѣны Донского монастыря, а вдали за ними гористыя окрестности живописной Калужской до-

роги. — Что, Владиміръ! — спросилъ Зарѣцкій, — ты очень усталъ? Ну, чтожъ ты не отвѣчаешь? Не бойся, здѣсь никого нѣтъ, — продолжалъ онъ, оглянувшись назадъ. — Что это? Куда дѣвался Владиміръ?.. А! вонъ гдѣ онъ!.. Какъ отсталъ, бѣдняжка! Нѣ! *veu-tu avan-* *ser, soquin...* — закричалъ онъ сердитымъ голосомъ, ссая свою лошадь; но Рославлевъ, казалось, не слышалъ ничего, и стоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ вкопанный. — Что ты, Владиміръ? — сказалъ Зарѣцкій, подѣхавъ къ своему пріятелю. — Не отставай, братецъ! Да что ты уставился на этотъ домъ?.. Эге! вижу, братъ, вижу, куда ты смотришь! Ты глядишь на эту женщину... вонъ что стоитъ у окна, облокотясь на плечо французскаго полковника?.. О! да она въ самомъ дѣлѣ хороша! Немножко блѣдна!.. Впрочемъ, намъ теперь не до красавицъ. Полно, братецъ, ступай!

— Такъ, я не ошибаюсь! — вскричалъ Рославлевъ, — это она!

— Тихе, мой другъ, тихе! Такъ точно! Боже мой! это графъ Сеникуръ!

— Да, это онъ! Прощай, Александръ.

— Что ты, Владиміръ? Опомнись!

— Злодѣй! — продолжалъ Рославлевъ, устремивъ пылающій взоръ на полковника, — я оставилъ тебя ненаказаннымъ; но ты былъ въ плѣну, и я не видѣлъ Полины въ твоихъ объятіяхъ!.. А теперь... дай мнѣ свою саблю, Александръ!.. или нѣтъ!.. — прибавилъ онъ, схвативъ одинъ изъ пистолетовъ Зарѣцкаго, — это будетъ вѣрнѣе... Онъ заряженъ... слава Богу!..

Зарѣцкій соскочилъ съ лошади и схватилъ за руку Рославлева.

— Пусти меня, пусти!.. — кричалъ Рославлевъ, стараясь вырваться.

— Слушай, Владиміръ! — сказалъ твердымъ голосомъ его пріятель, — я здѣсь подъ чужимъ именемъ, и если буду узнанъ, то меня сегодня же разстрѣляютъ какъ шпіона.

— Какъ шпиона!..

— Да. Теперь ступай, если хочешь, къ полковнику; я иду вмѣстѣ съ тобою.

Рославлевъ не отвѣчалъ ни слова; казалось, онъ боролся съ самимъ собою. Вдругъ сверкающіе глаза его наполнились слезами, онъ закрылъ ихъ рукою, бросилъ пистолетъ, и прежде чѣмъ Зарѣцкій успѣлъ поднять его и сѣсть на лошадь, Рославлевъ былъ уже у стѣнъ Донского монастыря. — Тихе, — кричалъ Зарѣцкій, съ трудомъ догоняя своего пріятеля: — тихе. Владиміръ, ты такъ не дойдешь и до заставы.

— О, не безпокойся! — отвѣчалъ Рославлевъ, останавливаясь на минуту, чтобъ перевести духъ; — теперь я чувствую въ себѣ довольно силы, чтобъ уйти на край свѣта. Впередъ, мой другъ, впередъ!

Черезъ нѣсколько минутъ они были уже за Калужскою заставою; у самаго въѣзда въ слободу, стоялъ человекъ съ верховой лошадыю. — Я капитанъ Данвиль, — сказалъ Зарѣцкій, подъѣхавъ къ нему. — Отдай лошадь моему проводнику. — Слуга пособилъ Рославлеву сѣсть на коня, и наши пріятели, выѣхавъ на чистое поле, повернули въ сторону по первой проселочной дорогѣ, которая, извиваясь между холмовъ, покрытыхъ рощами, терялась вдали среди густаго лѣса.

VI.

Наши путешественники ѣхали сначала скорой рысью, наблюдая глубокое молчаніе; но когда на восьмой или девятой верстѣ отъ города, миновавъ нѣсколько деревень, они увидѣли себя посреди лѣса, и ужъ съ полчаса не встрѣчали никого, то Зарѣцкій началъ разспрашивать Рославлева обо всемъ, что съ нимъ случилось со дня ихъ разлуки.

— Ну, Владиміръ! — сказалъ онъ, дослушавъ рассказъ своего друга; — теперь я понимаю, отчего поблѣднѣлъ Сеникуръ, когда вспомнилъ о своемъ вѣн-

чанъ... Ахъ, батюшки! да знаешь ли, что изъ этого можно сдѣлать такую адскую трагедію à la madame Радклифъ, что у всѣхъ зрителей волосы станутъ дыбомъ! Кладбище... полночь... и вдобавокъ сумасшедшая Федора... какіе богатые матеріалы!.. Ну, свадьба!.. Я не охотникъ до русскихъ стиховъ, а поневолѣ вспомнишь Озерова:

„Тамъ былъ не Гименей—Мегера тамъ была...“

то-есть косматая Федора, которая, вѣроятно, ничѣмъ не красивѣе греческой Фуріи. Но вотъ чего я не понимаю, мой другъ! Ты поступилъ, какъ человѣкъ благоразумный: не хотѣлъ видѣть измѣнницу, ссориться съ ея мужемъ и, имѣя тысячу способовъ отомстить твоему беззащитному сопернику, оставилъ его въ покоѣ; это доказываетъ, что и въ первую минуту твой разсудокъ былъ сильнѣе страсти. Съ тѣхъ поръ прошло довольно времени; твое грустное положеніе и болѣзнь должны были тебя совершенно образумить, и, несмотря на это, ты готовъ былъ сейчасъ сдѣлать величайшее дурачество въ твоей жизни — и все для той же Полины! Конечно, что и говорить, она очень недурна собою, сложена прекрасно, и если сверхъ этого у ней маленькая ножка, то можетъ-быть и я сошелъ бы отъ нея съ ума на нѣсколько дней; но бѣсноваться цѣлый мѣсяцъ!..

— Ахъ, мой другъ! — прервалъ Рославлевъ, — ты не знаешь, что такое любовь; ты не имѣешь понятія объ этомъ блаженствѣ и мученіи нашей жизни! Да, Александръ! Я и самъ былъ увѣренъ, что спокойствіе возвратилось въ мою душу. Нѣсколько разъ, испытывая себя, я воображалъ, что вижу Полину вмѣстѣ съ ея мужемъ, и мнѣ казалось, что я могу спокойно смотреть на ихъ взаимныя ласки и даже радоваться ея счастью. Нѣтъ! я обманывалъ самого себя. Когда сейчасъ я взглянулъ нечаянно на окно этого дома, когда увидѣлъ, что женщина, почти лежащая въ объятіяхъ французскаго полковника, походитъ на Полину, когда

я узналъ ее... О, Александръ! я почувствовалъ тогда... Да сохранить тебя Богъ отъ подобнаго чувства!.. Холодная, ледяная смерть по всѣмъ жиламъ—и весь адъ въ душѣ!.. Ахъ, мой другъ! Ты не знаешь еще, къ какимъ мученіямъ способна душа наша, какія неизъяснимыя страданія мы можемъ и вѣроятно, — прибавилъ тихимъ голосомъ Рославлевъ, — должны переносить, томясь въ этой ссылкѣ, на этой каторгѣ, которую мы называемъ жизнью!..

— И съ которой, несмотря на это, даже и ты не захочешь разстаться! — прервалъ съ улыбкою Зарѣцкій. — Полно, братецъ! Вы всѣ, чувствительные меланхолики, пренеблагодарные люди: вѣчно жалуетесь на судьбу. Вотъ хоть ты; я желалъ бы знать, казалась ли тебѣ жизнь каторгою, когда ты былъ увѣренъ, что Полина тебя любитъ?

— Но я ошибался, мой другъ!

— Да развѣ отъ этого ты менѣе былъ счастливъ? Вотъ то-то и есть, господа! Пока все дѣлается по вашему, такъ вы еще и туда и сюда; чуть не такъ, и пошли поклепы на бѣдную жизнь, какъ будто бы вѣкъ не было для васъ радостной минуты.

— Но что всѣ прошедшія радости...

— Передъ настоящимъ горемъ?.. И, mon cher! и то и другое забывается. Конечно, я понимаю, для твоего самолюбія должно быть очень обидно...

— Эхъ, братецъ! какое самолюбіе...

— Да, любезный, не прогнѣвайся! Самолюбіе въ этомъ случаѣ играетъ преобладающую роль. Что ни говори, а вѣдь досадно, какъ отобьютъ невѣсту, да только смѣшно отъ этого сходить съ ума: посердился, покричалъ и забудетъ. Вотъ то-то же, поневолѣ похвалишь нашихъ непріятелей. Кто лучше ихъ умѣетъ пользоваться жизнью?.. Французъ не задохнется отъ избытка сердечной радости, да зато и не изсохнетъ отъ печали. Посмотри, какъ онъ веселъ, доволенъ собою, надъ всѣмъ смѣется, все его забавляетъ. Заговорить дѣло — есть что послушать: все знаетъ; загово-

рить вздоръ — также заслушаешься: какая веселость въ каждомъ словѣ! И какъ милы эти фразы, въ которыхъ нѣтъ ни на волосъ здраваго смысла. Конечно, и у нихъ есть исключенія, но они такъ рѣдки... Печальный французъ! не правда ли, что это даже странно слышать? А отчего они такъ счастливы?... Оттого именно, что душа ихъ не способна къ сильнымъ впечатлѣнiямъ... Они... какъ бы это сказать по-русски?... они слегка только прикасаются къ жизни. Знаешь ли что, мой другъ? Если ты хочешь непременно сравнивать съ чѣмъ-нибудь жизнь, то сравни ее съ моремъ; но только, Бога ради, не съ бурнымъ—это уже слишкомъ старо!

— А съ какимъ же, Александръ?

— Да просто съ нашимъ петербургскимъ, когда оно замерзнетъ. Катайся по немъ сколько хочешь, забавляй себя, но не забывай, что подъ этимъ блестящимъ льдомъ таится смерть и бездонная пучина; не останавливайся на одномъ мѣстѣ, не надавливай, а *скользи* только по гладкой его поверхности.

— То-есть не принимай ничего къ сердцу,—прерывай Рославлевъ; — не люби никого, не жалѣй ни о комъ; бѣги отъ несчастнаго: онъ можетъ тебя опечалить; старайся не испортить желудка, и какъ можно рѣже думай о томъ, что будетъ съ тобою подъ старость—то ли ты хотѣлъ сказать, Александръ?

— О, нѣтъ, мой другъ! я не желаю быть эгоистомъ.

— И въ тоже время не хочешь ни о чемъ горевать? Да развѣ это возможно?

— Да, конечно... не спорю, тутъ есть повидимому какое-то противорѣчiе... Однакожъ, я не менѣе того увѣренъ, что эта философія...

— Ничѣмъ не лучше моей. Что грѣхъ таить, Александръ! У меня вырвалась глупость, а ты, желая доказать, что я вру, и самъ заговорилъ вздоръ. По-моему, жизнь должна быть вѣчной ссылкою, а по-твоему—непрерывнымъ праздникомъ. Благодаря Бога, и то и

другое для насъ невозможно, Александръ! Тотъ, кто вѣчно крушится, и тотъ, кто всегда веселье—оба эгоисты.

— Это почему?

— А потому, что человекъ, неспособный дѣлить ни съ кѣмъ ни радости, ни горя—любитъ одного себя.

— Почему жъ одного себя? Можно любить пріятеля—разумѣется, до нѣкоторой степени.

— А до какой степени простирается эта любовь къ пріятелю въ человекѣ, который для того, чтобъ съ нимъ повидаться и спасти его...

— И, полно, mon cher! что за важность! Ты видишь, я цѣлехонекъ.

— Вижу, мой другъ! Но, признаюсь, удивляюсь и желалъ бы знать, какъ ты уцѣлѣлъ?

— Ты еще болѣе удивишься, когда узнаешь, что я, будучи въ Москвѣ, вызвалъ на дуэль капитана французскихъ жандармовъ.

— Неужели!..

— Представь себѣ: онъ вздумалъ меня разспрашивать; я пустился ему лгать что есть мочи, и этотъ грубіанъ осмѣлился сказать мнѣ въ глаза, что я говорю неправду...

— Ахъ, онъ невѣжа!..

— Разумѣется, я вспыхнулъ, закидалъ его французскими фразами...

— И онъ не догадался, что ты русскій?

— А почему бы онъ догадался?

— Да, помилуй! Не можетъ же быть, чтобъ ты такъ хорошо говорилъ по-французски, какъ настоящій французъ?

— Не можетъ быть? Да знаете ли, сударь, какъ я былъ воспитанъ въ домѣ своей тетюшки? Знаете ли, кто съ пятилѣтняго возраста былъ моимъ гувернеромъ? Извѣстна ли вамъ знаменитая фамилія аббата Григри, который плохо зналъ правописаніе, но зато говорилъ самымъ чистымъ парижскимъ языкомъ? Знаете ли, что я на десятомъ году не умѣлъ еще писать по-русски? Знаете ли, что весь Петербургъ дивился моему французскому выго-

вору, и всё знакомые поздравляли тетушку съ племянникомъ, который, какъ двѣ капли воды, походилъ на француза? Какъ теперь помню, добрая старушка всякій разъ крестилась и говорила со слезами: «Слава Богу! я знала напередъ, что въ Сашенькѣ будетъ путь!» Чему жъ послѣ этого удивляться, что меня приняли за француза?

— Хорошо, мой другъ, согласенъ: по выговору не можно было догадаться, что ты русскій; но нельзя же, чтобъ не было въ твоей манерѣ и ухваткахъ...

— Въ моей манерѣ? Постой, братецъ, я сейчасъ представлю тебѣ лихого французскаго кавалериста, который только-что вырвался изъ Пале-Рояля. Посмотримъ, замѣтишь ли во мнѣ хоть что-нибудь русское?

Зарѣцкій развалился небрежно на сѣдлѣ, подбоченился и надѣлъ à la tarageur свою французскую фуражку. Въ продолженіе сихъ приготовленій къ роли, которую онъ готовился играть, изъ-за куста выглянули двѣ весьма некрасивыя рожи: одна съ рыжей бородою, а другая повидимому обритая недѣли двѣ тому назадъ и обезображенная огромнымъ рубцомъ. Небольшой черный галстукъ, единственный остатокъ отъ прежняго наряда, доказывалъ, что это лицо принадлежало какому-нибудь отставному солдату. Наши путешественники, не замѣчая сей засады, продолжали ѣхать потихоньку. — Ну, что? — спросилъ Зарѣцкій, отпустивъ нѣсколько парижскихъ фразъ; — замѣтенъ ли во мнѣ русскій, который прикидывается французомъ? Посмотри на эту небрежную посадку, на этотъ самодовольный видъ — а? что, братецъ?.. *Vive l'Empereur et la joie! Chantons!* — Зарѣцкій прищипорилъ свою лошадь и, заставивъ ее сдѣлать двѣ или три лансады, запѣлъ.

«Enfant chéri des dames,
«J'étais en tout pays,
«Très bien avec les femmes,
«Et mal avec maris ¹⁾».

1) Французскіе куплеты, которые лѣтъ двадцать тому назадъ были въ большой модѣ, по крайней мѣрѣ у насъ въ Петербургѣ.

Вдругъ раздался выстрѣлъ, и человѣкъ десять вооруженныхъ крестьянъ высыпало на дорогу. Прежде чѣмъ Зарѣцкій успѣлъ опомниться и разсмотрѣть, кто на нихъ нападаетъ, второй выстрѣлъ ранилъ лошадь, на которой ѣхалъ Рославлевъ; она закусилла удила и понесла вдоль дороги. Зарѣцкій пустился вслѣдъ за нимъ; но въ нѣсколько минутъ потерялъ его совершенно изъ виду. Ослабѣвшій отъ болѣзни, Рославлевъ не могъ долго управлять своей лошадыо: выскакавъ на поляну, на которой сходились три дороги, она помчала его по одной изъ нихъ, ведущей въ самую глубину лѣса. Нѣсколько разъ принимался онъ снова ее удерживать, но все напрасно; наконецъ, проскакавъ еще версты двѣ, она повалилась на землю. Рославлевъ, видя, что лошадь его издыхаетъ, рѣшился идти пѣшкомъ по дорогѣ, которая по всемъ примѣтамъ должна была скоро вывести его на жилое мѣсто.

Едва онъ успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ ему послышались въ близкомъ разстояніи смѣшанные голоса: сначала онъ не могъ ничего разобрать, и не зналъ, долженъ ли спрятаться, или идти навстрѣчу людямъ, которые, громко разговаривая межъ собою, шли по одной съ нимъ дорогѣ. Вдругъ ясно выговоренный нѣмецкій *швернотъ* раздался отъ него въ двухъ шагахъ, и кто-то повелительнымъ голосомъ закричалъ: «*allons, sapristie! en avant!*» Рославлевъ кинулся въ сторону, но было уже поздно: изъ-за кустовъ показалась цѣлая толпа непріятельскихъ мародеровъ.

— Гальтъ!—закричалъ высокій баварскій кирасиръ, прицѣлясь въ него своимъ карабиномъ.

Человѣкъ двадцать солдатъ разныхъ полковъ и націй окружили Рославлева.—Господа! чего вы отъ меня хотите?—сказалъ Рославлевъ по-французски;—я бѣдный прохожій...

— Бѣдный!—заревѣлъ на дурномъ французскомъ языкѣ баварецъ;—а вотъ мы тотчасъ это увидимъ.

— Вы все бѣдны!—запищалъ итальянскій вольти-

жерь ¹⁾, схвативъ за воротъ Рославлева.—Знаемъ мы васъ, господа русскіе—malledetto!

— Тише, товарищи!—сказалъ повелительнымъ голосомъ французскій гренадеръ;—не обижайте его: онъ говорить по-французски.

— Такъ чтожь?—возразилъ другой французскій полупьяный солдатъ въ уланскомъ мундирѣ, сверхъ котораго была надѣта изорванная фризовая шинель.— Можетъ-быть, этотъ негодяй эмигрантъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—прервалъ важнымъ голосомъ гренадеръ.—Прочь всѣ! Посторонитесь! Я допрошу его.

— Per Dio Sacrato! Что это?—вскричалъ итальянецъ:—на этомъ еретикѣ крестъ!

— Такъ онъ не французъ?—сказалъ съ презрѣніемъ солдатъ въ фризовой шинели.

— Да еще и золотой!—продолжалъ итальянецъ, сорвавъ съ шеи Рославлева крестъ, повѣшенный на тонкомъ шнурукѣ.

— Оставишь ли ты его въ покоѣ? Sacré Italien!—вскричалъ гренадеръ, оттолкнувъ прочь итальянца.— Не бойтесь ничего, и отвѣчайте на мои вопросы: кто вы?

— Московскій мѣщанинъ.

— Вы русскій?

— Да!

— Отчего вы говорите по-французски?

— Я учился.

— Хорошо! это доказываетъ, что вы уважаете нашу великую націю... Тише, господа! Прошу его не трогать! Не можете ли вы намъ сказать, есть ли вооруженные люди въ ближайшей деревнѣ?

— Не знаю.

— Не знаешь? Донеръ-ветеръ!—заревѣлъ баварецъ.—Какъ тебѣ не знать? Говори!

— Я шелъ все лѣсомъ, и ни въ одной деревнѣ не былъ.

¹⁾ Егеръ, стрѣлокъ.

— Онъ лжетъ!—закричалъ итальянецъ.—Прикладомъ его *согро de Dio!* такъ онъ заговорить.

— Тише, господа! — прервалъ гренадеръ.—Этотъ варваръ уважаетъ нашу націю, и я никому не дамъ его обидѣть.

— Въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ баварецъ,—а если я хочу его обижать?

— Не совѣтую.

— Право?—Да чтожъ ты такъ поговариваешь?..— Ужъ не думаешь ли ты, что баварскій кирасиръ не стоитъ французскаго гренадера?

— Какъ! Чортъ возьми! Ты смѣешь равняться съ французскимъ солдатомъ?.. *Ce misérable allemand!* Да знаешь ли ты?..

— Я знаю, что долженъ повиноваться моему капитану; но если всякій французскій солдатъ...

— Да знаешь ли ты, животное, что такое французскій гренадеръ? Знаешь ли ты, что между тобой и твоимъ капитаномъ болѣе разстоянія, чѣмъ между мной и баварскимъ королемъ?

— Что, что?

— Да! такой болванъ, какъ ты, никогда не будетъ капитаномъ; а каждый французскій гренадеръ можетъ быть вашимъ государемъ.

— Хоцъ тауэнтъ!.. Да это какъ?

— А вотъ какъ: мой родной братъ изъ сержантовъ въ одну кампанію сдѣлался капитаномъ—правда, онъ отнялъ два знамени и три пушки у непріятеля; но развѣ я не могу взять дюжины знаменъ и отбить цѣлую батарею: слѣдовательно, буду, по крайней мѣрѣ, полковникомъ, а тамъ генераломъ, а тамъ маршаломъ, а тамъ—при первомъ производствѣ—и въ короли; а если на ту пору вакансія случится у васъ...

— Правда, правда—*il a raison!*—закричали всѣ французскіе солдаты.

— Ну, нѣмецкая харя!—продолжалъ гренадеръ,—понялъ ли ты теперь, что значитъ французскій солдатъ?

Баварецъ, закиданный словами и совершенно сбитый съ толку, не отвѣчалъ ни слова.

— Господа!—сказалъ гренадеръ,—не надобно терять времени—до Москвы еще далеко; ступайте впередъ, а мнѣ нужно кой о чемъ разспросить по секрету этого русскаго. Allons, monbleu, avancez donc!

Вся толпа двинулась впередъ по дорогѣ, а гренадеръ, подойдя къ Рославлеву, сказалъ вполголоса:— Не бойтесь!.. Французъ всегда великодушентъ... но вы знаете права войны... Есть ли у васъ деньги?

— Я охотно отдамъ все, что у меня есть.

— Не безпокойтесь!—продолжалъ гренадеръ, обшаривая кругомъ Рославлева: — я возьму самъ... Книжникъ!.. ну, такъ и есть, ассигнаціи! Терпѣть не могу этихъ клочковъ бумаги: они имѣютъ только цѣну у васъ, а мы беремъ здѣсь все даромъ... Ага! кошелекъ?.. серебро... прекрасно!.. золото!.. C'est charmant! Прощайте!

— Лавалеръ!.. Ну, чтожъ ты?—сказалъ французскій уланъ, идя навстрѣчу къ гренадеру.—Ты одинъ знаешь здѣшнія мѣста—куда намъ идти?

— Все прямо.

— Да тамъ двѣ дороги.

— Не можетъ быть.

— Когда я тебѣ говорю, что двѣ...

— Да это оттого, что у тебя двоится въ глазахъ.

— Неправда. Вотъ, напримѣръ, я вижу, что на этомъ русскомъ только одна, а не двѣ шинели, и для того не возьму ее, а помѣняюсь. Мой плащъ вовсе не грѣетъ... Эге!.. да это, кажется, шуба?.. Скидай ее, товарищъ!

Рославлевъ повиновался; уланъ сбросилъ съ себя фризую шинель и надѣлъ его сибирку.—Однакожъ, русскіе не вовсе глупы,—сказалъ онъ, уходя вмѣстѣ съ гренадеромъ,—и если они сами изобрѣли эти шубы, то, чортъ возьми, эта выдумка недурна!

Когда Рославлевъ потерялъ изъ виду всю толпу мародеровъ и сталъ надѣвать оставленную французомъ

шинель, то замѣтилъ, что въ боковомъ ея карманѣ лежало что-то довольно тяжелое; но онъ не успѣлъ удовлетворить своему любопытству и посмотрѣть, въ чемъ состояла эта неожиданная находка: въ близкомъ отъ него разстояніи раздался дикій крикъ, вслѣдъ за нимъ загремѣли частые ружейные выстрѣлы, и черезъ нѣсколько минутъ послышался шумъ отъ бѣгущихъ по дорогѣ людей.

Рославлеву нетрудно было отгадать, что французскіе мародеры повстрѣчались съ толпою вооруженныхъ крестьянъ, и въ то самое время, какъ онъ колебался, не зная, что ему дѣлать: идти ли впередъ, или дожидаться, чѣмъ кончится эта встрѣча — человѣкъ пять французскихъ солдатъ, преслѣдуемыхъ крестьянами, пробѣжали мимо него и разсыпались по лѣсу. — Вотъ еще одинъ, — вскричалъ молодой парень, указывая на Рославлева. — Пришиби его! — заревѣлъ высокій мужикъ съ рыжей бородою, и въ мигъ цѣлая толпа вооруженныхъ косами, ружьями и топорами крестьянъ окружила Рославлева.

VII.

Посреди большого села, на обширномъ лугу, или площади, на которой разгуливали овцы и рѣзвились ребятишки, стояла ветхая деревянная церковь съ высокой колокольнею. У дверей ея, на одной изъ ступеней поросшей травою лѣстницы, сидѣлъ старикъ, лѣтъ восьмидесяти, въ зеленомъ сюртукѣ, съ краснымъ воротникомъ, обшитымъ позументомъ; съ полдюжины медалей, различныхъ формъ и величины, покрывали грудь его. Онъ разговаривалъ съ молодымъ человекомъ, который стоялъ передъ нимъ и, по наряду своему, казалось, принадлежалъ къ духовному званію.

— Нѣтъ, Александръ Дмитричъ! — говорилъ старикъ, показывая головою, — рано ли, поздно ли, а не сдобровать нашему селу; чай, злодѣи-то больно на насъ зубы грызутъ.

— Оно и есть за что!—сказалъ молодой человѣкъ:—вѣдь мы у нихъ какъ бѣльмо на глазу. Да Богъ милостивъ! Кой-какъ до сихъ поръ съ ними справлялись. Fortes fortuna adjuvat, то-есть: смѣлымъ Богъ владѣетъ, Кондратій Пахомычъ!

— Конечно, батюшка, за правое дѣло Богъ заступа; а все-таки, какъ провѣдаютъ въ Москвѣ, что въ нашемъ селѣ легло сотъ пять-шесть французовъ, да пришлютъ сюда полка два...

— Такъ чтожъ? Будемъ драться.

— Вотъ то-то и горе! Вы станете драться, а я что буду дѣлать? Протягивай шею, какъ баранъ.

— Эхъ, Кондратій Пахомычъ! Да на людяхъ и смерть красна!

— Не о смерти рѣчь, батюшка! Когда вы, народъ молодой, себя не жалѣете, такъ мнѣ ли, старику, торговаться; да каково подумать, что эти злодѣи наругаются надъ моей сѣдой головою? Пожалуй, на смѣхъ живого оставятъ. Эхъ, старость, старость! Какъ бы прежніе годы, такъ я бы трехъ поджарыхъ французовъ на одинъ штыкъ посадилъ. Небось, турки ихъ дюжѣ, да и тѣхъ, бывало, какъ примусъ нанизывать, такъ Господи, Боже мой! считать не поспѣваютъ. Вотъ какъ мы съ батюшкой, графомъ Суворовымъ, штурмовали Измаилъ... Тогда былъ нашимъ капитаномъ его благородіе, Сергій Дмитричъ—царство ему небесное! Отецъ, а не командиръ! И что за молодецъ!.. какъ теперь гляжу—мигнуть не успѣли, а ужъ нашъ соколъ на стѣнѣ, вся рота за нимъ—ура!..

— Ты ужъ мнѣ это рассказывалъ, Кондратій Пахомычъ.

— Вотъ, батюшка, тогда дѣло другое: и подраться то было куражнѣе! Зналъ, что живой въ руки не дамся, а теперь что я?.. малый ребенокъ одолѣетъ. Пробовалъ вчера стрѣлять изъ ружья—куда-те! Такъ въ рукахъ ходуномъ и ходить! Мѣтилъ въ заборъ; а подстрѣлил батькину корову. Да что отецъ Егоръ вернулся что ль?

— Нѣтъ еще. Я слышалъ, будто бы его французы въ подонѣ захватили.

— Ахъ, они разбойники! Ужъ и поповъ стали хватать! А того не подумаютъ, басурманы, что такъ нашъ братъ, старикъ, и безъ исповѣди умретъ.

— Видно, узнали, что онъ изъ нашего села. Вѣдь французы-то называютъ насъ бунтовщиками.

— Бунтовщиками? Ахъ, они проклятые! Да какъ бы они смѣли это сказать? Развѣ мы бунтуемъ противъ нашего государя? Развѣ мы ихъ гладимъ по головкѣ?

— Въ томъ-то и дѣло, что не гладимъ. Они говорятъ: *tui, quid nihil refet, ne cures*, то-есть: не мѣшайся не въ свое дѣло; а мы толкуемъ: *cupereus speiueum trudit*, сирѣчь—клинь клиномъ выбивай.

— Эхъ, батюшка! да перестанешь ли ты говорить не по-русскому?

— Привыкъ, Пахомычъ! У насъ на Перервѣ безъ латинской пословицы ступить нельзя.

— Да что вы въ Перервинскомъ монастырѣ все латыши что ль, а не русскіе? Знаешь ли, какъ это не понутру нашимъ мужичкамъ? Что, дескать, за притча такая? Кажись, церковникъ-то, что къ намъ присталъ, дѣтина бравый, а все по-французскому говорить.

— По-французскому! Невѣжды!..

— Александръ Дмитричъ!—раздался голосъ съ колокольни,—никакъ наши идутъ.

— Наши ли, Андрюша? — сказалъ семинаристъ, поднявъ кверху голову.—Посмотри-ка хорошенько!

— Точно, наши. Вотъ впереди Ерема косою да солдаты Потапычъ; они ведутъ какого-то чужого: никакъ француза изловили.

— Наврядъ француза,—сказалъ, покачавъ головой, старый унтеръ-офицеръ. — Они бы ужъ его дорогою разъ десять уходили; а не захватили ли они, какъ ономнися бронницкіе молодцы, какого-нибудь измѣнника или шпіона.

— Что ты, Пахомычъ! Боже сохрани! Будетъ съ

насть и того, что одинъ русскій осрамился и служилъ нашимъ злодѣямъ.

— Эхъ, батюшка! въ семьѣ не безъ урода.

— Вотъ ужъ наши ребята изъ-за рощи показались. Пойдемъ, Кондратій Пахомычъ, въ мірскую избу. Если они въ самомъ дѣлѣ захватили какого-нибудь подозрительнаго человѣка, такъ надобно его порядкомъ допросить; а то, пожалуй, у нашихъ молодцовъ и правый будетъ виноватъ: *auri est bonus...*

— Да полно тебѣ языкъ-то коверкать!..—прервалъ съ досадою старикъ. —Что за латышъ—въ самомъ дѣлѣ? Смотри, Александръ Дмитричъ, не сдобровать тебѣ, если ты заговоришь на мірской сходкѣ этимъ чухонскимъ нарѣчіемъ.

— Чухонскимъ! — повторилъ сквозь зубы семинаристъ. —Чухонскимъ!.. *Ignarus, barbarus!*..

— Полно бормотать-то: вѣдь я дѣло говорю. Пойдемъ! А ты, Андрияша,—продолжалъ инвалидъ, обращаясь къ молодому парню, который стоялъ на колокольнѣ,—лишь только завидишь супостатовъ, тотчасъ и давай знать. Пойдемъ, Александръ Дмитричъ!

Мірская изба, построенная на томъ же лугу, или площади, противъ самой церкви, отличалась отъ прочаго жилья только тѣмъ, что не имѣла двора и была нѣсколько просторнѣе другихъ избъ. Когда инвалидъ и семинаристъ вошли въ сію управу сельскаго благочинія, то нашли уже въ ней человѣкъ пять стариковъ и сотника. Сержантъ и нашъ ученый латинистъ, поклонясь присутствующимъ, заняли передній уголъ. Черезъ нѣсколько минутъ вошли въ избу: отставной солдатъ съ ружьемъ, а за нимъ широкоплечій крестьянинъ съ рыжей бородою, вооруженный также ружьемъ и большимъ поварскимъ ножомъ, заткнутымъ за поясъ. Въ сѣняхъ и вокругъ избы столпилось человѣкъ двѣсти крестьянъ, по большей части съ ружьями, отбитыми у французскихъ солдатъ.

— Ну, что, братцы,—спросилъ сотникъ:—захватили ли вы въ селѣ Богородскомъ французовъ?

— Нѣтъ-ста, Кондратій Пахомычъ!—отвѣчалъ рыжій мужикъ.—Ушли, пострѣлы! А, бають, они съ утра до самыхъ полуденъ ужъ буянили, буянили на барскомъ дворѣ. Приказчика въ гробъ заколотили. Слышь ты, давай имъ все калачей, а на нашъ хлѣбъ такъ и плюютъ.

— Ахъ, они безбожники!—вскричалъ сотникъ:—плевать на даръ Божій! Эка нехристь проклятая!

— Вишь какіе прихотники!—сказалъ одинъ осанистый крестьянинъ въ синемъ кафтанѣ, — трескали бъ, разбойники, то, что даютъ. Вѣдь матушка рожь кормить всѣхъ дураковъ, а пшеница по выбору.

— Народъ-то въ Богородскомъ такой несмышленный!—промолвилъ рыжій мужикъ.—Гонца къ намъ послали, а сами разбѣжались по лѣсу. Имъ бы принять злодѣевъ-то съ хлѣбомъ и солью, да пивца, да винца, да того, да другого—убаюкали бы ихъ, голубчиковъ, а мы бы какъ тутъ! Нагрянули врасплохъ, да и катать ихъ чѣмъ ни попало.

— Какъ мы шли назадъ, — сказалъ отставной солдатъ, — такъ наткнулись въ лѣсу на французовъ, на тѣхъ ли самыхъ, на другихъ ли — лукавый ихъ знаетъ!

— Ну, что, ребятушки? — вскричалъ сержантъ, — расчесали что ль ихъ?

— Какъ пить дали, Кондратій Пахомычъ!

— Неужли-то и отпору вамъ не было?

— Какъ не быть! Мы, знаешь, сначала изъ-за кустовъ какъ шарахнули! Вотъ они приостановились, да и ну отстрѣливаться; а пуще какой-то въ мохнатой шапкѣ, командиръ что ль ихъ, такъ и загорланилъ: алонтъ, камратъ! Да другіе-то прочіе не такъ, чтобъ очень: все какая-то вольница; стрѣльнули раза три, да и въ разсыпную. Не знаю, сколько ихъ ушло, а кучка порядочная въ лѣсу осталась.

— Что за притча такая?—сказалъ сотникъ; — откуда берутся эти французы? Бьемъ, бьемъ—а все ихъ много.

— Видно, свать Пахомычъ,—прервалъ крестьянинъ въ синемъ кафтанѣ,—они какъ осеннія мухи. Да вотъ погоди! какъ придетъ на нихъ Егорей съ гвоздемъ, да Никола съ мостомъ, такъ всё передохнутъ.

— Мы, Пахомычъ, — сказалъ рыжій мужикъ, — захватили одного живьемъ. Кто его знаетъ? Баеъ по-нашему и стоитъ въ томъ, что онъ православный. Онъ наговорилъ намъ съ три короба: вишь, ушелъ изъ Москвы, и русскій-то онъ офицеръ, и вовсе не якшается съ нашими злодѣями, и то и се, и дьяволъ его знаетъ! Да все лжетъ, проклятый! не вѣрьте; онъ притоманный французъ.

— А почему жъ ты это думаешь?—спросилъ семинаристъ. — Ну, если въ самомъ дѣлѣ онъ говоритъ правду?

— Правду, такъ коего жъ чорта ему было таскаться вмѣстѣ съ французами?

— Но развѣ онъ не могъ съ ними повстрѣчаться такъ же, какъ и вы?

— А зачѣмъ же онъ, — прервалъ солдатъ, — вотъ этакъ съ часъ назадъ, ѣхалъ верхомъ вмѣстѣ съ французскимъ офицеромъ? Я и лошадь-то его подстрѣлилъ...

— Какъ съ французскимъ офицеромъ!

— Да такъ-же!

— Но почему ты знаешь, что этотъ офицеръ французскій.

— Почему знаю? Вотъ еще что! Нѣтъ, господинъ церковникъ! мы получше твоего знаемъ французскіе-то мундиры: подъ Устерлицемъ я на нихъ насмотрѣлся. Да и станетъ ли русскій офицеръ пѣть французскія пѣсни? А онъ такъ горло и дралъ.

— А тотъ, что мы захватили, ему подтягивалъ,—промолвилъ рыжій мужикъ;—я самъ слышалъ.

— Я хоть и не слышалъ,—прервалъ солдатъ,—да видѣлъ, что они ѣхали дружно, рядышкомъ, словно братья родные.

— Такъ чтожъ и калякать? — вскричалъ сот-

никъ. — Вѣстимо онъ французъ: не такъ ли, православные?

Такъ, Кондратій Пахомычъ! Такъ! — повторили всѣ старики.

— А если французъ, — промолвилъ одинъ лысый старикъ, — на осину его!

— Какъ бы не такъ! — прервалъ сотникъ, еще веревку припасай! Въ колодезь къ товарищамъ такъ и концы въ воду.

— Эй, не торопись, ребята! — сказалъ семинаристъ. — *Melior est consulta...*

— Что ты, сумасшедшій, перестань! — шепнулъ сержантъ, дернувъ за рукавъ своего сосѣда. — Православные! — продолжалъ онъ, — послушайте меня, старика: чтобъ не было оглядокъ, такъ не лучше ли его хорошенько допросить?

— Да, скажетъ онъ тебѣ правду, дожидайся! — прервалъ лысый старикъ.

— Погодите, братцы! — заговорилъ крестьянинъ въ синемъ кафтанѣ; — коли этотъ полоненникъ доподлинно не русскій, такъ мы такую найдемъ улику, что ему и пикнуть неча будетъ. Не велика фигура, что онъ баеетъ по-нашему; вѣдь французы на все смышлены, только Бога-то не знаютъ. Помните ли, ребята, анонися, какъ мы ихъ сотни полторы въ одно утро уходили, былъ ли хоть на одномъ изъ этихъ басурмановъ крестъ Господень?

— Ни на одномъ не было, Терентій Ивановичъ! — отвѣчалъ сотникъ; — я самъ видѣлъ.

— Такъ и на этомъ не будетъ, коли онъ французъ; а если православный, такъ носить крестъ — не правда ли?

— Правда, Терентій Ивановичъ, правда! — повторили всѣ присутствующіе.

— Такъ давайте же его сюда. Посмотримъ, есть ли у него на шеѣ-то отцовское благословеніе?

— Два крестьянина, вооруженные топорами, ввели Рославлева въ избу. — Ваня! — сказалъ Терентій одному

изъ нихъ,—разстегни-ка ему воротъ у рубахи — вотъ такъ!

— Что вы дѣлаете, ребята? — прервалъ Рославлевъ.—Я, точно, русскій!

— Ладно, братцы! увидимъ-ста, русскій ли ты.— Ну, что, Ваня, есть ли на немъ крестъ? — спросилъ сотникъ.

— Нѣтъ, Пахомычъ, ни креста ни образа!

— Видите, православные!—сказалъ рыжій Ерема.— Чего же вамъ еще?

— Въ колодезь его!—завопили почти всѣ крестьяне.

— Послушайте, братцы!—вскричалъ Рославлевъ:— видитъ Богъ, на мнѣ былъ крестъ, да меня ограбили французы.

— Что съ нимъ растабарывать!—подхватилъ сотникъ.—Тащите его! въ колодезь!

— Да что вамъ дался колодезь?—прервалъ Ерема.— И такъ всѣ колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня! что ты смотришь басурману-то въ зубы? Обухомъ его!

— И то правда!—закричали другіе мужики.—Пришиби его!

Одинъ изъ крестьянъ, которые караулили Рославлева, вынулъ изъ-за пояса свой топоръ.

— Пойдите, дѣтушки!—прервалъ сержантъ.—Экъ у васъ руки-то расходились! Убить не долго. Ну, если его въ самомъ дѣлѣ ограбили французы?..

— И онъ, дѣйствительно, русскій офицеръ?—промолвилъ семинаристъ.

— А это что?—вскричалъ Ерема, вынимая изъ бокового кармана Рославлевой шинели кошелекъ съ деньгами.— Что, братъ? видно, они тебя грабили, да не дограбили? Смотрите, православные! И деньги-то не наши.

— Эта шинель не моя, — сказалъ Рославлевъ. — Одинъ изъ французовъ помѣнялся со мной насильно.

— А деньги-то далъ въ придачу что ль? — кричалъ Ерема.—Ахъ, ты, проклятый басурманъ! Что мы

тебѣ олухи достались? Да что съ тобой калякать? Вани,хвати его по маковкѣ!.. Чтожъ ты?.. Полно, братъ, не переминайся! а не то я самъ... — промолвилъ Ерема, вынимая изъ-за пояса свой широкій ножъ.

— Погоди, кумъ, не торопись!—сказалъ Иванъ.— Послушай-ка, молодецъ! ты баешь, что съ тебя сняли крестъ французы. Ну, а какой онъ былъ: деревянный или серебряный?

— Нѣтъ, золотой!—отвѣчалъ Рославлевъ.

— Ладно. А на какомъ онъ висѣлъ гайтанѣ — на черномъ или красномъ?

— Нѣтъ, на зеленомъ шелковомъ снуркѣ.

— Что, ребята, вѣдь онъ баеетъ правду: вотъ и крестъ; я вынулъ его изъ кармана у одного убитаго француза.

— Да повѣрьте мнѣ, братцы! — сказалъ Рославлевъ, — я васъ не обманываю: я, точно русскій, офицеръ.

— И впрямь, православные! — промолвилъ Терентій;—ужъ не русскій ли?

— Точно русскій,—подхватилъ семинаристъ.

— А если русскій, — возразилъ отставной солдатъ,—такъ онъ измѣнникъ!

— Измѣнникъ! — повторилъ съ негодованіемъ Рославлевъ.

— Вѣстимо, измѣнникъ!—закричалъ Ерема.—Ради чего ты ѣхалъ съ французскимъ офицеромъ—а?

— Мой товарищъ также русскій офицеръ, а нарядился французомъ для того, чтобъ выручить меня изъ Москвы.

— Экъ съ чѣмъ подѣхалъ! На васъ пошлюсь, православные: ну станеть ли русскій офицеръ пѣть эти басурманскія пѣсни?

— Вѣстимо, не станеть!—закричали крестьяне.

— Клянусь вамъ Богомъ, ребята, — продолжалъ Рославлевъ,—я и мой товарищъ—мы оба русскіе. Онъ гусарскій ротмистръ Зарѣцкій, а я гвардіи поручикъ Рославлевъ.

— Рославлевъ! — повторилъ съ необычайною живостію сержантъ. — А какъ звали вашего батюшку?

— Сергѣемъ Дмитричемъ.

— Не припомните ли, сударь, гдѣ онъ изволилъ служить капитаномъ?

— Онъ служилъ капитаномъ при Суворовѣ, въ Фанагорійскомъ полку.

— Ну, такъ и есть! — воскликнулъ съ радостію сержантъ, вскочивъ со скамьи. — Ваше благородіе! вѣдь батюшка вашъ былъ моимъ командиромъ, и мы вмѣстѣ съ нимъ штурмовали Измаиль.

— Слышите ль, братцы! — сказалъ семинаристъ.

— Слышимъ-ста! — отвѣчалъ Ерема: — да намъ-то что до этого?

— Какъ что? — прервалъ сержантъ; — да развѣ сынъ моего командира можетъ быть измѣнникомъ? Ну, статочное ли это дѣло? Не правда ли, дѣтушки?

Всѣ крестьяне встали съ своихъ мѣстъ, поглядывали другъ на друга; одинъ почесывалъ голову, другой пожимался; но никто не отвѣчалъ ни слова.

— Что это, братцы? — продолжалъ сержантъ; — неужели-то вы и мнѣ, старику, вѣрить не хотите?

— Вѣрить-то мы тебѣ вѣримъ — отвѣчалъ Ерема, — да вѣдь не всѣ сыновья въ отцовъ родятся, Пахомычъ!

— Всяко бываетъ, конечно, — промолвилъ Терентій: — да вѣдь не даромъ же и пословица: недалеко яблочко отъ яблони падаетъ. Ну, какъ вы думаете, православные?

— Какъ ты, Терентій Ивановичъ? — отвѣчали сотникъ и старики.

— А по мнѣ вотъ какъ: ужъ если Кондратій Пахомычъ за него порукою, такъ намъ и баять нечего. Поклонъ его благородію, да милости просимъ въ передній уголь! Такъ ли, православные?

— Ну, коли такъ, такъ такъ! — повторили въ одинъ голосъ крестьяне. — Милости просимъ, батюшка!

— Ваня! — сказалъ Терентій, — сбѣгай ко мнѣ, да

принеси-ка жбанъ браги, каравай хлѣба и спроси у Андреевны пирогъ съ кашею: чай, его милость проголодаться изволилъ.

— Забѣги и къ моей старухѣ, — промолвилъ сотникъ; — да возьми у нея штофъ ерофеичу.

— Благодарю васъ, добрые люди! — сказалъ Рославлевъ, — я хоть и не обѣдалъ, а мнѣ что-то ѣсть не хочется.

— Чу!.. — вскричалъ сотникъ; — что это?

— Французы, французы! — загремѣли сотни голосовъ на улицѣ. Всѣ бросились опрометью изъ избы, и въ одну минуту густая толпа окружила колокольную. Эй, Андрюша, гдѣ французы? — спросилъ сотникъ.

— Вонъ тамъ, у дальней засѣки, — отвѣчалъ мальчикъ.

— Много ли ихъ?

— Много, Пахомычъ, и конныхъ и пѣшихъ видимо-невидимо.

— Ну, ребята! — сказалъ сержантъ, — смотрите, стоять грудью за нашу матушку, святую Русь, и вѣру православную.

— Стоять-то мы рады, — прервалъ сотникъ: — да слышишь, Кондратій Пахомычъ — ихъ идетъ несмѣтная сила.

— Такъ чтожь?

— Не одолѣешь, кормилецъ! много ли насъ?

— Да и французовъ-то, вѣрно, не больше, — сказалъ Рославлевъ; — они растянулись по дорогѣ, такъ издали кажется, что ихъ много.

— Охъ, батюшка! — подхватилъ Терентій, — хитры они злодѣи! не пошлютъ мало. Вѣдь они, басурманы, ужъ давнымъ-давно собираются.

— Ну, православные! — сказалъ Пахомычъ, — говорите, что дѣлать?

Ни одинъ голосъ не отозвался на вопросъ сотника. Всѣ крестьяне поглядывали молча другъ на друга, и на многихъ лицахъ ясно изображались недоумѣніе и робость...

— Эхъ, худо дѣло! — шепнулъ сержантъ. — Ваше благородіе! — продолжалъ онъ, обращаясь къ Рославлеву: — не принять ли вамъ команды? Вы человѣкъ военный, такъ авось это нашихъ ребятъ покуражить. Эй, братцы, сюда! слушайте его благородія!

— Какъ такъ? Что такое? Да развѣ онъ не французъ?—заговорили крестьяне.

— Нѣтъ, дѣтушки, его благородіе — русскій офицеръ, сынъ моего бывшего капитана.

— Ой ли? Вотъ-те разъ! Слышите, ребята!.. Вотъ что!.. — загремѣли восклицанія изъ удивленной толпы.

— Друзья!—сказалъ Рославлевъ,—что хотите вы? Покориться ли злодѣямъ нашимъ или биться съ ними до послѣдней капли крови?.. Ну, чтожъ вы молчите?

— Да вотъ что, — сказалъ одинъ крестьянинъ: — Андруха-то говоритъ, что ихъ больно много.

— Такъ чтожъ, ребята?—подхватилъ семинаристъ: хоть покоримся, хоть нѣтъ; а все намъ отъ нихъ милости никакой не будетъ: мало ли мы ихъ передушили!

— Вѣстимо,—сказалъ отставной солдатъ:—мы имъ пардону не давали, такъ и они намъ не дадутъ.

— А еслибъ и дали,—возразилъ Рославлевъ,—такъ не грѣшно ли вамъ будетъ выдать руками женъ и дѣтей вашихъ? Эхъ, братцы! ужъ если вы начали служить вѣрой и правдой царю православному, такъ и дослуживайте! Что намъ считать, много ли ихъ? Наше дѣло правое—съ нами Богъ!

— А съ ними чортъ! — заревѣлъ Ерема. — Что въ самомъ дѣлѣ, драться, такъ драться.

— Такъ за мной, православные! — воскликнулъ отставной солдатъ.—Ура! за батюшку Царя и святую Русь!

— Ура!—подхватила вся толпа.

— Весь въ покойника!—шепталъ потихоньку сержантъ, глядя на Рославлева;—какъ двѣ капли воды!

— Теперь слушайте, ребята! — продолжалъ Рославлевъ.—Ты, я вижу, господинъ церковникъ, молодецъ! Возьми-ка съ собой человѣкъ пятьдесятъ съ

ружьями, да засядь вонъ тамъ въ кустахъ, за боло-
томъ, около дороги, и лишь только непріятель васъ
минуетъ...

— Такъ мы вдогонку и откроемъ по немъ огонь?
Понимаю, господинъ офицеръ. Это въ родѣ тѣхъ за-
садъ, о коихъ говоритъ Цезарь въ комментаріяхъ
своихъ *de bello Gallico*.

— Да полно, Александръ Дмитричъ! — закричалъ
сержантъ. — Экъ тебѣ нейдется!

— Ты, служивый, и ты, молодецъ, — продол-
жалъ Рославлевъ, обращаясь къ отставному солдату и
Еремѣ: — возьмите съ собой человѣкъ сто также съ
ружьями, ступайте къ рѣчкѣ, разломайте мостъ, и
когда французы станутъ переправляться въ бродъ...

— То мы изъ-за деревьевъ пустимъ по нихъ такую
дробь, — прервалъ солдатъ, — что имъ и небо съ овчинку
покажется.

— А мы съ тобой, сослуживецъ моего батюшки, —
промолвилъ Рославлевъ, взявъ за руку сержанта, — съ
остальными встрѣтимъ непріятеля у самой деревни, и
если я отступлю хоть на шагъ, такъ назови мнѣ по
имени прежняго командира, и ты увидишь — сынъ ли
я его! Ну, ребята, съ Богомъ!

Крестьяне, зарядивъ свои ружья, отправились въ
назначенныя для нихъ мѣста, и на лугу осталось не
болѣе восьмидесяти человѣкъ, вооруженныхъ по боль-
шей части дубинами, топорами и рогатинами. Къ нимъ
вскорѣ присоединилось сотни три женщинъ съ ухва-
тами и вилами. Ребятишки, старики, больные, однимъ
словомъ, всякій, кто могъ только двигаться и поды-
мать руку, вооруженную чѣмъ ни попало, вышелъ на
лугъ.

Въ глубокой тишинѣ, изрѣдка прерываемой рыда-
ніями и молитвою, стояла вся толпа вокругъ церкви. —
Что, Андрюша? — закричалъ, наконецъ, сержантъ, —
близко ли наши злодѣи?

— Близехонько, крестный! — отвѣчалъ съ коло-
кольни мальчикъ; — на самомъ выгонѣ — вонъ ужъ по-

ровнялись съ нашими, что засѣли на болотѣ; да они ихъ не видятъ... Впереди ѣдутъ конные... въ желѣзныхъ шапкахъ съ хвостами... Крестный! крестный! да на нихъ и одежда-та желѣзная!.. такъ отъ солнышка и свѣтитъ!.. Эва сколько ихъ!.. Вотъ пошли пѣшіе!.. Эге! да народъ-то все мелкій, крестный! Наши съ ними справятся...

— То-то ребячья простота! — сказалъ сержантъ, покачивая головою. — Эхъ, дитятко! вѣдь они не въ кулачки пришли драться; съ пулей да штыкомъ бороться не станешь; да Богъ милостивъ!

— Кондратій Пахомычъ! — закричалъ мальчикъ! — они подъѣхали къ рѣчкѣ... остановились... вотъ человекъ пять выѣхало впередъ... стали въ кучку... Эхъ, какой верзила! Ну, этотъ всѣхъ выше!.. а лошадей-то подъ нимъ такъ и пляшетъ!.. Видно, это ихъ наибольшій...

Вдругъ вдали раздался залпъ изъ ружей, и вслѣдъ за нимъ загремѣли частые выстрѣлы по сую сторону рѣчки, на берегу которой стояли французы.

— Помогите, Господи! — сказалъ сержантъ, перекрестясь.

— Крестный! — закричалъ мальчикъ, — наша взяла! Длинный-то упалъ съ лошади; вонъ и другіе стали падать... Да что это? Они не бѣгутъ!.. Вотъ и они принялись стрѣлять... Ну, все застлало дымомъ: ничего не видно.

Минутъ двадцать продолжалась жаркая перестрѣлка; потомъ выстрѣлы стали рѣже, раздался конскій топотъ, и мальчикъ закричалъ: — Крестный, крестный! никакъ нашихъ гонять назадъ.

— Впередъ, друзья! — воскликнулъ Рославлевъ; но въ ту же самую минуту показались на улицѣ бѣгущіе безъ порядка крестьяне, преслѣдуемые французскими латниками.

— За мной, ребята, на паперть! — закричалъ Рославлевъ.

Сержантъ и человекъ тридцать крестьянъ, воору-

женныхъ ружьями, кинулись вслѣдъ за нимъ, а остальные разсыпались во всѣ стороны. Непріятельская конница выскакала на площадь.—Ну, братцы!—сказалъ Рославлевъ,—если злодѣи насъ одолѣютъ, то, по крайней мѣрѣ, не дадимся живые въ руки. Стрѣляйте по коннымъ, да мѣйте хорошенько!

Въ полминуты человѣкъ десять латниковъ слетѣло съ лошадей.

— Славно, дѣтушки! — вскричалъ сержантъ; — знатно! вотъ такъ!.. Саржируй, то-есть заряжай проворнѣй, ребята! Ай да Герасимъ!.. другова-то еще!.. Смотри, вонъ этого-то, что юлитъ впереди!.. Свалилъ!.. Ну, молодецъ!.. Эхъ, братъ! въ фаногорійцы бы тебя!..

— Старикъ!—сказалъ вполголоса Рославлевъ,—думалъ ли ты на штурмъ Измаила, что умрешь подлѣ сына твоего капитана?

— Авось не умремъ,—отвѣчалъ сержантъ;—Богъ милостивъ, ваше благородіе!

— Да, мой другъ! Онъ, точно, милостивъ! Страданія наши не будутъ продолжительны. Смотри!

Старикъ устремилъ свой взоръ въ ту сторону, въ которую показывалъ Рославлевъ: густая колонна непріятельской пѣхоты приближалась скорымъ шагомъ къ площади.—Ребята!—вскричалъ сержантъ,—стыдно и грѣшно старому солдату умереть съ пустыми руками: дайте и мнѣ ружье!

Вдругъ дикій, пронзительный крикъ пронесся отъ другого конца селенія, и человѣкъ двѣсти казаковъ, наклоня свои дротики, съ визгомъ промчались мимо церкви. Въ одну минуту латники были смяты, пѣхота опрокинута, и въ то же время, русское: ура! загремѣло въ тылу французовъ; человѣкъ триста крестьянъ изъ сосѣднихъ деревень и семинаристъ съ своимъ отрядомъ ударили въ разстроеннаго непріятеля. Съ четверть часа, окруженные со всѣхъ сторонъ французы упорно защищались; наконецъ, болѣе половины непріятельской пѣхоты и почти вся конница легли на мѣстѣ, остальные положили оружіе.

Въ продолженіе сего короткаго, но жаркаго дѣла, Рославлевъ замѣтилъ одного русскаго офицера, который, повидимому, командовалъ всѣмъ отрядомъ; онъ леталъ и крутился, какъ вихрь, впереди своихъ наѣзтниковъ: лихой горскій конь его перепрыгивалъ черезъ кучи убитыхъ, топталъ въ ногахъ французовъ, и съ быстро-тою молніи переносилъ его съ одного мѣста на другое. Когда сраженіе кончилось, и всѣхъ плѣнныхъ окружили цѣлю казачевъ, едва успѣвающихъ отгонять крестьянъ, которые, какъ дикіе звѣри, рыскали вокругъ побѣжденныхъ, начальникъ отряда, окруженный офицерами, подѣхалъ къ церкви. При первомъ взглядѣ на его вздернутый кверху носъ, черные густые усы и живые, исполненные ума и веселости глаза, Рославлевъ узналъ въ немъ, несмотря на странный полу-казачій и полу-крестьянскій нарядъ, стариннаго своего знакома, который въ мирное время—пѣвецъ любви, вина и славы—обворожалъ друзей своей любезностію и добродушіемъ, а въ военное, какъ ангелъ-истребитель, являлся съ своими крылатыми полками, какъ молнія губилъ, и исчезалъ среди враговъ, изумленныхъ его отвагою; но и посреди непрерывныхъ тревогъ войны, подобно древнему Скальду, онъ не оставлялъ своей златострунной цѣвницы:

...Славилъ Марса и Темиру
И бравную повѣсилъ лиру
Межъ вѣрной сабли и сѣдла.

— Это ты,—раздался знакомый голосъ на церковной паперти. — Ты живъ, мой другъ? Слава Богу! — Рославлевъ обернулся—передъ нимъ стоялъ Зарѣцкій въ томъ же французскомъ мундирѣ, но въ русской кавалерійской фуражкѣ и форменной сѣрой шинели.

VIII.

— Нѣтъ, братецъ, рѣшено! Ни русскіе, ни французы, ни люди, ни судьба, ничто не можетъ насъ разлучить. — Такъ говорилъ Зарѣцкій, обнимая своего

друга.—Думалъ ли я,—продолжалъ онъ,—что буду сегодня въ Москвѣ, перебранюсь съ жандармскимъ офицеромъ; что по милости французскаго полковника выйду вмѣстѣ съ тобою изъ Москвы, что насъ разлучать русскіе крестьяне, что они подстрѣлятъ твою лошадь и выберутъ тебя потомъ въ свои главнокомандующіе?..

— Прибавь, мой другъ,—прервалъ Рославлевъ,—что съ часъ тому назадъ они хотѣли упрятать своего главнокомандующаго въ колодезь.

— За что?

— А за то, что пріятель, съ которымъ онъ ѣхалъ, постъ хорошо французскіе куплеты.

— Неужели?

— Да, братецъ; они вѣрить не хотѣли, что я русскій..

— Ахъ, они бородачи! Такъ поэтому, еслибъ я имъ попался...

— То вѣрно бы тебѣ пришлось хлебнуть колодезной водицы.

— Вотъ, чортъ возьми! а я терпѣть не могу и нашей невской. Пойдемъ-ка, братецъ, выпьемъ лучше бутылку вина: у русскихъ партизановъ оно всегда водится.

— Ты какъ попалъ сюда, Александръ?—спросилъ Рославлевъ, сходя вмѣстѣ съ нимъ съ паперти.

— Нечаяннымъ, но самымъ натуральнымъ образомъ! Помнишь, когда ранили твою лошадь, и ты помчался отъ меня какъ бѣшеный? Въ полминуты я потерялъ тебя изъ виду. Проплутавъ съ полчаса въ лѣсу, я повстрѣчался съ летучимъ отрядомъ нашего общаго знакомаго, который, вѣроятно, не ожидаетъ увидѣть тебя въ этомъ нарядѣ; впрочемъ, и то сказать, мы всѣ трое въ маскарадныхъ платьяхъ: хорошъ и онъ! Разумѣется, передовые казаки сочли меня сначала за французскаго офицера. Несмотря на всѣ увѣренія въ противномъ, они обшарили меня кругомъ и принялись было раздѣвать; но, къ счастью, прежде чѣмъ

успѣли кончить мой туалетъ, подъѣхалъ ихъ отрядный начальникъ: онъ узналъ меня, велѣлъ отдать мнѣ все, что у меня отняли, замѣнилъ мою синюю шинель и французскую фуражку вотъ этими, и хорошо сдѣлалъ: въ этомъ полурусскомъ нарядѣ я не рискую, чтобъ какой-нибудь деревенскій витязъ застрѣлилъ меня изъ-за куста, какъ тетерева. Проѣзжая недалеко отъ здѣшняго селенія, мы услышали перестрѣлку; не трудно было догадаться, что это шалютъ французскіе фуражиры. Мы пустились во всю рысь и, какъ видишь, подоспѣли въ самую пору. Жаль мнѣ ихъ, сердечные! Дрались, дрались, а не поживятся ни однимъ теленкомъ.

— Да неужели это въ самомъ дѣлѣ фуражиры? Ихъ что-то очень много.

— Цѣлый батальонъ пѣхоты и эскадронъ конницы.

— Кто жъ посылаетъ фуражировать такіе сильные отряды?

— Кто? Да французы. Ты жилъ затворникомъ у своего Сеземова, и ничего не знаешь: имъ скоро придется давать генеральныя сраженія для того только, чтобъ отбить у насъ кулей десять муки.

У мірской избы сидѣлъ на скамьѣ начальникъ отряда и нѣкоторые изъ его офицеровъ. Кругомъ толпился народъ, а подлѣ самой скамьи стояли сержантъ и семинаристъ. Узнавъ въ блѣдномъ молодомъ человѣкѣ, который въ изорванной фризовой шинели походилъ болѣе на нищаго, чѣмъ на русскаго офицера, стариннаго своего знакома, начальникъ отряда обнялъ по-дружески Рославлева и, пожимая ему руку, не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія:—Боже мой! какъ вы перемѣнились!

— Онъ очень былъ боленъ,—сказалъ Зарѣцкій.

— Это замѣтно. А запретилъ ли вамъ лѣкарь пить вино?

— Моимъ лѣкаремъ была одна молодость,—сказалъ съ улыбкой Рославлевъ.

— О! Такъ съ этимъ медикомъ можно ладить! Эй,

Жигулинъ! Бутылку вина! Не знаю, хорошо ли: я еще его не пробоваль.

— Я вамъ порукою, что хорошо, — сказалъ одинъ смугловатый и толстый офицеръ въ черкесской буркѣ. — Его везли въ Москву для Раппа; а, говорятъ, этотъ лихой генералъ такъ же терпѣть не можетъ дурного вина, какъ не терпитъ трусовъ.

— Да гдѣ нашъ сорви-голова? — спросилъ начальникъ отряда.

— Старикъ есаулъ? Онъ отправляетъ плѣнныхъ въ главную квартиру.

— Скажи ему, братъ, чтобъ онъ поторапливался: мы здѣсь слишкомъ близко отъ непріятеля. — Офицеръ въ буркѣ всталъ и пошелъ къ толпѣ плѣнныхъ, которыхъ обезоруживали и строили въ колонну.

— Ну, православные! — продолжалъ начальникъ отряда, обращаясь къ крестьянамъ, — исполать вамъ! Да вы всѣ чудо-богатыри! Смотрите-ка, сколько передушили этихъ буяновъ! Славно, ребята, славно!.. и впередъ стойте грудью за вѣру православную и царя-государя, такъ и онъ васъ пожалуетъ, и Господь Богъ помилуетъ.

— Рады стараться, батюшка! — закричали крестьяне. — Готовы и напредки.

— Да гдѣ у васъ этотъ молодецъ, который съ своими ребятами отрѣзалъ французовъ отъ рѣчки? Кажется, онъ изъ церковниковъ? Что онъ — дьячекъ что ль?

— Студентъ Перервинской семинаріи, ваше благородіе! — сказалъ семинаристъ, сдѣлавъ шагъ впередъ.

— А, старый знакомый! — вскричалъ Зарѣцкій. — Ну, вотъ, Богъ привелъ намъ опять встрѣтиться. Помните ли, господинъ студентъ, какъ я догналъ васъ около Останкина?

— Какъ не помнить, господинъ офицеръ!

— Ну, что? Помогаютъ ли вамъ комментаріи Цезаря бить французовъ?

— Какъ бы вамъ сказать, сударь? Странное дѣло! Кажется, и Цезарь дрался съ тѣми же французами,

да теперешніе-то вовсе на прежнихъ не походятъ, и, признаюсь, я весьма начинаю подозрѣвать, что образъ войны совершенно перемѣнился.

— Неужели?

— Да, сударь, да! Цезарь говоритъ одно, а дѣлается совсѣмъ другое; разумѣется, въ такомъ случаѣ *experientia est optima magistra*—сирѣчь: опытъ самый лучший наставникъ. Конечно, умъ хорошо, а два лучше: *plus vident oculi...*

— Полно, Александръ Дмитричъ, не срамись!—шепнулъ сержантъ, толкнувъ локтемъ семинариста!

— Вотъ и вино! — прервалъ начальникъ отряда, откупоривая бутылку, которую, вмѣстѣ съ серебряными стаканами, подаль ему казачій урядникъ.—Милости просимъ, господа, по чаркѣ вина, за здоровье воина-семинариста.

— *Bene tibi!* Доктумъ семинаристумъ!—закричалъ Зарѣцкій, выпивая свой стаканъ.

— *Respondebo tibi propinanti!* — возразилъ семинаристъ, протягивая руку.

— То-есть, — подхватилъ начальникъ отряда, — и ваша ученость хочетъ выпить стаканчикъ? Милости просимъ! Ну, что, — продолжалъ онъ, обращаясь къ подходящему офицеру, — наши плѣнные ушли?

— Отправились, — отвѣчалъ офицеръ.—Къ нимъ въ проводники вызвался одинъ рыжій мужикъ, который берется довести ихъ до нашего войска такими тропинками, что они не только съ французами, но и съ русскими не повстрѣчаются.

— Приказалъ ли ты построже, чтобъ ихъ дорогой казаки и крестьяне не обижали?

— Приказывалъ. Да вѣдь на нихъ не угодишь. Представьте себѣ: одинъ изъ этихъ французовъ, кирасирскій поручикъ, такъ и вопить, что у него отняли — и какъ вы думаете, что? Деньги? Нѣтъ! — Часы, вещи? — и то нѣтъ! Какія-то любовныя записочки и волосы! Повѣрите ли, почти плачетъ! А, кажется, славный офицеръ и лихо дрался.

— Какъ!—вскричалъ начальникъ отряда,—у этого молодца отняли письма и волосы той, которую онъ любить? Ахъ, чортъ возьми! да отъ этого и я бы взвылъ! Бѣдняжка! А знаете ли, какой онъ долженъ быть славный малый? Онъ любить и дрался какъ левъ! Знаете ли, товарищи, что еслибъ этотъ кирасиръ не былъ нашимъ непріятелемъ, то я помѣнялся бы съ нимъ крестами? Да, господа, когда въ булатной груди молодца бьется сердце, способное любить, то онъ братъ мой! И на что этимъ пострѣламъ его любовная переписка? Эй, Жигулинъ! узнай сейчасъ, кто обобралъ плѣннаго кирасирскаго офицера? Деньги и вещи передъ ними; но чтобъ всѣ его бумаги были отысканы.

— Не извольте беспокоиться,—сказалъ семинаристъ, подавая начальнику отряда вышитый на канвѣ книжникъ:—я захватилъ его изъ предосторожности—*Diffidentia tempestiva...*

— Давай его сюда!—прервалъ начальникъ отряда.

— Извольте хорошенько разсмотрѣть, ваше высокоблагородіе! Между бумагами могутъ быть важные документы...

— О, преважные! но только не для насъ, — прервалъ начальникъ отряда, рассматривая книжникъ.— *Adorable ami... cher Adolphe...* А вотъ и локопъ волюсь...

— Какая прелесть!—вскричалъ Зарѣцкій:—черные какъ смоль!

— Портретъ!.. Да она въ самомъ дѣлѣ хороша. Бѣдняжка! ну какъ же ему не ревѣть? Жигулинъ! садись на коня; ты догонишь транспортъ и отдашь кирасирскому плѣнному офицеру этотъ бумажникъ; да постой, я напишу къ нему записку.

Начальникъ отряда вынулъ изъ кармана клочекъ бумаги, карандашъ и написалъ слѣдующее:

«Recevez, monsieur, les effets, qui vous sont si chers. Puissent-ils, en vous rappelant l'objet aimé, vous prouver, que le courage et le malheur sont respectés

en Russie comme ailleurs» ¹⁾. Жигулинъ! отдай ему эту записку, да смотри, не потеряй бумажника... Боже тебя сохрани! Отправляйся! Ну, господа!—продолжалъ начальникъ отряда, обращаясь къ нашимъ пріятелямъ,—что намѣрены вы теперь дѣлать? Я, можетъ-быть, подвижусь съ моимъ отрядомъ къ Вязьмѣ, и стану кочевать въ тылу у французовъ; а вы, вѣроятно, желаете пробраться къ нашей арміи?

— Да,—отвѣчалъ Зарѣцкій,—давно уже тоскую о моемъ эскадронѣ, а по Владимірѣ, вѣрно, вздыхаетъ нашъ дивизіонный генералъ.

— Такъ отправляйтесь вслѣдъ за плѣнными. Потрудитесь, Владиміръ Сергѣевичъ, выбрать любую лошадь изъ отбитыхъ у непріятеля, да и съ Богомъ! Не надобно терять времени; догоняйте скорѣе транспортъ, надъ которымъ, Зарѣцкій, вы можете принять команду: я пошлю съ вами казака.

Наши пріятели, распростясь съ начальникомъ отряда, отправились въ дорогу, и догнавъ въ четверть часа плѣнныхъ, были свидѣтелями восторговъ кирасирскаго офицера. Покрывая поцѣлуями портретъ своей любезной, онъ повторялъ:—Боже мой, Боже мой! кто могъ бы подумать, чтобъ этотъ казакъ, этотъ варваръ имѣлъ такую душу!.. О, этотъ русскій достоинъ быть французомъ! Il est Français dans l'âme!

Остальную часть дня и всю ночь плѣнные, подъ прикрытіемъ тридцати казаковъ и того же числа вооруженныхъ крестьянъ, шли, почти не отдыхая. Передъ разсвѣтомъ Зарѣцкій сдѣлалъ привалъ и послалъ въ ближайшую деревню за хлѣбомъ; въ полчаса крестьяне навезли всякихъ съѣстныхъ припасовъ. Покормивъ и своихъ и непріятелей, Зарѣцкій двинулся впередъ. Вскорѣ стали имъ попадаться наши разъѣзды,

¹⁾ Примите, милостивый государь, вещи, которыя для васъ столь дороги: пусть онѣ, напоминая вамъ о предметѣ любви вашей, послужатъ доказательствомъ, что храбрость и несчастье уважаются въ Россіи точно такъ же, какъ и въ другихъ странахъ.

и, часу въ одиннадцатомъ утра, они подошли, наконецъ, къ аванпостамъ русскаго авангарда.

IX.

Узнавъ на аванпостахъ, что полкъ Зарѣцкаго стоитъ биваками въ первой линіи авангарда, наши пріятели пустились немедля его отыскивать. Трудно было описать радость и удивленіе сослуживцевъ Зарѣцкаго и Рославлева, когда они явились передъ ними въ своихъ маскарадныхъ костюмахъ. Выходцевъ съ того свѣта не закидали бы такимъ множествомъ вопросовъ, какъ нашихъ друзей, которые были въ Москвѣ и видѣли своими глазами все, что тамъ дѣлается. Офицеры на радостяхъ затѣяли пирушку: самоваръ закипѣлъ, пошла попойка, явились пѣсельники и грянули хоромъ авангардную пѣсню, сочиненную однимъ изъ нашихъ воиновъ-поэтовъ. Постукивая стаканами, офицеры повторяли съ восторгомъ первый куплетъ ея:

Вспомнимъ, братцы, россовъ славу
И пойдемъ враговъ разить;
Защитимъ свою державу—
Лучше смерть, чѣмъ въ рабствѣ жить!

Едва оправившійся отъ болѣзни Рославлевъ не могъ подражать своимъ товарищамъ, и въ то время, какъ они веселились и опоражнивали стаканы съ пуншемъ, онъ подсѣлъ къ двумъ заслушеннымъ ротмистрамъ, которые также принимали не слишкомъ дѣятельное участіе въ шумной радости другихъ офицеровъ.—Ну, что вы, господа, подѣлываете съ французами?—спросилъ Рославлевъ.

— Да покажѣсть ничего!—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ, закручивая свои густые съ просѣдью усы.—Мы стоимъ другъ противъ друга; на передовыхъ цѣпяхъ отъ скуки перестрѣливаются; иногда наши казаки выѣзжаютъ погарцовать въ чистомъ полѣ, рисуются, тратятъ даромъ заряды, поддразниваютъ французовъ: вотъ и все тутъ.

— А никто такъ ихъ не дразнить, какъ нашъ удалой авангардный начальникъ!—подхватилъ другой ротмистръ, помоложе перваго.—Онъ каждый день, такъ—для моціону, прогуливается вдоль непріятельской цѣпи.

— Да ему тамъ только и весело, гдѣ свистятъ пули,—прервалъ старый ротмистръ.—Всякій разъ его встрѣчаютъ и провожаютъ съ пальбою; а онъ все-таки цѣлехонекъ. Ну, правду онъ говоритъ, что его и смерть бонится.

— Противъ насъ командуетъ Мюратъ,—сказалъ другой ротмистръ:—также молодецъ! Не знаю, каково онъ представляетъ короля у себя во дворцѣ; но въ дѣлѣ, а особливо въ кавалерійской атакѣ, дьяволъ!—такъ все и ломить. Нечего сказать, боекъ и онъ, а все за нашимъ графомъ не угоняется. Я слышалъ, что на этихъ дняхъ Мюрату вздумалось подъ выстрѣлами русскихъ часовыхъ кушать кофе. На ту пору графъ выѣхалъ также за нашу цѣпь; пули посыпались на него со всѣхъ сторонъ, но не помѣшали ему замѣтить удалство неаполитанскаго короля.—Богъ мой!—вскричалъ онъ,—что это? Ужъ не хочетъ ли Мюратъ удивить русскихъ?.. Столъ и приборъ! я здѣсь обѣдаю. Не знаю, правда ли, только это очень на него походить.

— А можете ли вы мнѣ сказать, господа,—спросилъ Рославлевъ:—гдѣ теперь полковникъ Сурскій?

— Здѣсь,—отвѣчалъ старый ротмистръ.

— Такъ онъ ужъ не служитъ при главномъ штабѣ?

— Я думаю, онъ скоро нигдѣ служить не будетъ.

— Какъ?

— Да, вчера онъ пріѣхалъ съ приказаніями къ нашему авангардному начальнику, обѣдалъ у него, и потомъ отіравился вмѣстѣ съ нимъ прогуливаться вдоль нашей цѣпи; какая-то шальная пуля попала ему въ грудь, и если доктора говорятъ правду, такъ онъ не жилецъ.

— Ахъ, Боже мой!—вскричалъ Рославлевъ;—сдѣлайте милость, господа, скажите, гдѣ мнѣ его отыскать?

— Онъ долженъ быть въ обозѣ, вонъ за этимъ лѣсомъ, — сказалъ старый ротмистръ. — Да постойте, — продолжалъ онъ: — васъ въ этомъ нарядѣ примутъ за маркитанта: надѣньте хоть мою шинель.

Рославлевъ накинулъ шинель ротмистра и отправился къ тому мѣсту, гдѣ былъ расположенъ обозъ нашего авангарда. Повстрѣчавшійся съ нимъ полковой фельдшеръ указалъ ему на низкую избенку, которая, вѣроятно, уцѣлѣла оттого, что стояла въ нѣкоторомъ разстояніи отъ большой дороги. Рославлевъ подошелъ къ избѣ въ ту самую минуту, какъ выходилъ изъ нея лѣкарь. — Что полковникъ? — спросилъ онъ. Лѣкарь пожалъ плечами.

— Итакъ, нѣтъ никакой надежды?

— Никакой! Впрочемъ, онъ въ полной памяти и всѣхъ узнаетъ — пожалуйте!..

Рославлевъ вошелъ въ избу. Въ переднемъ углу, на лавкѣ, лежалъ раненый. Всѣ признаки близкой смерти изображались на лицѣ умирающаго, но кроткій взоръ его былъ ясенъ и спокоенъ.

— Это ты, Рославлевъ? — сказалъ онъ едва слышимъ голосомъ. — Какъ я радъ, что могу, еще хоть разъ, поговорить съ тобою. Сядись!

— Но, я думаю, вамъ запрещено говорить, — сказалъ Рославлевъ.

— Да, было запрещено вчера, а сегодня я получилъ разрѣшеніе.

— Поэтому, вы чувствуете себя лучше?

— О, гораздо! я черезъ нѣсколько часовъ умру.

— Нѣтъ! — воскликнулъ Рославлевъ, — не можетъ быть... я не хочу вѣрить...

— Чтobъ старый твой пріятель могъ умереть? — прервалъ съ улыбкою Сурскій. — Въ самомъ дѣлѣ, это невѣроятно!

— Но вы такъ спокойны?..

— Да о чемъ же мнѣ беспокоиться? Ты, вѣрно, знаешь, кто сказалъ: «пріидите вси труждающіе, и Азъ упокою вы». А я много трудился, мой другъ!

Долго былъ игралищемъ всѣхъ житейскихъ непогодъ, и видитъ Богъ, усталъ. Всю жизнь боролся со страстями, рѣдко оставался побѣдителемъ, грѣшилъ, гнѣвилъ Бога; но всегда съ дѣтской любовію лобызалъ руку, меня наказующую—такъ чего же мнѣ бояться? Я иду къ Отцу моему!

Сурскій замолчалъ. Нѣсколько минутъ Рославлевъ смотрѣлъ, не говоря ни слова, на это кроткое, спокойное лицо умирающаго христіанина. — Боже мой! — вскричалъ онъ, наконецъ, — что сказалъ бы невѣрующій, еслибъ онъ такъ же, какъ я, видѣлъ послѣднія ваши минуты?

— Онъ сказалъ бы, мой другъ, — прервалъ Сурскій, — что я въ сильномъ бреду; что легковѣрное малодушіе свойственно дѣтямъ и умирающимъ; что увѣренность въ лучшей жизни есть необходимое слѣдствіе недостатка просвѣщенія; что я человѣкъ запоздалый, что я неиду вслѣдъ за моимъ вѣкомъ. О, мой другъ! гордость и самонадѣянность найдутъ всегда тысячи способовъ затмить истину. Нѣтъ, Рославлевъ! одинъ Богъ можетъ смягчить сердце невѣрующаго. Я самъ былъ молодъ, и часто сомнѣніе, какъ лютый врагъ, терзало мою душу; разсудокъ обдавалъ ее холодомъ; я читалъ, искалъ вездѣ истины, готовъ былъ ѣхать за нею на край свѣта, и нашелъ ее въ самомъ себѣ! Да, мой другъ! что значатъ всѣ разсужденія, трактаты, опроверженія, доводы, всѣ эти блески ума, передъ простымъ, безотчетнымъ убѣжденіемъ того, кто вѣруетъ? Все, что непонятно для нашего земного разсудка—такъ чисто, такъ ясно для души его! Она видитъ, осязаетъ, вѣруетъ, тогда какъ мы, съ бѣднымъ умомъ нашимъ, бродимъ въ потемкахъ и, желая достигнуть свѣта, часъ-отъ-часу становимся слѣпѣе.

Сурскій остановился; силы его примѣтнымъ образомъ ослабѣвали. — Несчастные! — продолжалъ онъ, послѣ короткаго молчанія, — если бъ они знали, чего имъ стоитъ ихъ утѣшенное самолюбіе? Кто укрѣпляетъ ихъ въ бѣдствіи? Кого благодарятъ они въ минуту ра-

дости? Бѣдныя, жалкіе сироты! они отреклись добровольно отъ Отца своего, заключили жизнь въ ея тѣсныя земныя предѣлы. Ахъ, ихъ сердца, изсушенные гордостью и невѣріемъ, не испытаютъ никогда этой чистой, небесной любви, этого неизъяснимаго спокойствія души... ты понимаешь меня, Рославлевъ!.. Бездушный противникъ вѣры, отрицающій все неземное, не можетъ любить; кто любитъ, тотъ вѣруетъ: а ты любилъ, мой другъ!

Сурскій остановился; дыханіе его сдѣлалось чаще, прерывистѣе; онъ взялъ за руку Рославлева. — Да, Владиміръ Сергѣевичъ,—сказалъ онъ,—я умираю спокойно; одна только мысль тревожитъ мою душу... — и свѣтлый взоръ умирающаго помрачился, и на блѣдномъ челѣ изобразились сердечная грусть и безпокойство. — Что станетъ съ нашей милой родиной? — продолжалъ онъ. — Неужели Господь насъ не помилуетъ? Неужели попуститъ Онъ злодѣямъ наругаться надъ всѣмъ, что для насъ свято, и сгубить до конца землю русскую? Ахъ, мой другъ! еслибъ непреклонное правосудіе было прибѣжищемъ нашимъ, то я потерялъ бы всю надежду. Не сами ли мы хотѣли быть рабами тѣхъ, коимъ поклонялись, какъ идоламъ? Насмѣхаясь надъ добродушіемъ нашихъ предковъ—которые, при всемъ невѣжествѣ своемъ, были люди—не добивались ли мы чести называться обезьянами французовъ? Вотъ они, наши образцы и наставники! Вотъ эти французы, у которыхъ мы до сихъ поръ умѣли перенимать только то, что достойно порицанія! Намъ ли прибѣгать къ правосудію небесному? Нѣтъ! Одно милосердіе Божіе можетъ спасти насъ. Ахъ, Рославлевъ! для чего я не умеръ годомъ прежде? Я не унесъ бы съ собою въ могилу ужасной мысли, что, можетъ-быть, русскіе будутъ рабами иноземцевъ, что кровь нашихъ воиновъ будетъ литься не за отечество, что они станутъ служить не Русскому Царю! О, эта мысль отравляетъ послѣднія мои минуты! Чувствую, мой другъ, что я грѣшу предъ Господомъ; что слишкомъ еще привя-

занъ къ моему земному отечеству. Желалъ бы побѣдить это чувство, но оно такъ сильно, такъ связано съ моею жизнію... а я живъ еще! Отечество!. Россія!.. Пусть судить меня Господь! но я чувствую, что даже и тамъ не перестану быть русскимъ.

Двери отворились, и полковой священникъ вошелъ въ избу. — Теперь ступай, Владиміръ Сергѣевичъ! — сказалъ Сурскій; — зайди ко мнѣ опять часа черезъ два; быть-можетъ, ты меня не застанешь; но я все-таки не прощаюсь съ тобою. Я знаю твою душу, Рославлевъ — рано или поздно, а мы увидимся. Итакъ, до свиданія, мой другъ!

Случалось ли вамъ провожать пріятеля, который, послѣ долгаго отсутствія, возвращается, наконецъ, на свою родину? Вамъ грустно съ нимъ разстаться; но если вы, точно, его любите, то поневолѣ улыбаетесь сквозь слезы, воображая, какъ весело будетъ ему обнять жену и дѣтей, увидѣть снова домъ отцовъ своихъ и отдохнуть въ немъ отъ всѣхъ трудовъ утомительной и скучной дороги. Точно то-же чувствовалъ Рославлевъ, прощаясь съ своимъ другомъ. Какое-то грустное и вмѣстѣ пріятное чувство наполняло его душу; слезы градомъ катились по лицу его, но сердце было совершенно спокойно. Отойдя отъ избы, онъ пустился прямо полемъ къ тому мѣсту, гдѣ чернѣлись биваки передовой линіи. Когда Рославлевъ сталъ подходить къ балагану, въ которомъ офицеры праздновали его возвращеніе, ему попался навстрѣчу Зарѣцкій. — Ага, бѣглець! — закричалъ онъ, увидя Рославлева; — развѣ этакъ порядочные люди дѣлаютъ? Мы пьемъ за твое здоровье, а ты далъ тягу!

— Ты знаешь, мой другъ, я много пить не люблю.

— А я и люблю, да не могу: тотчасъ голова закружится. Я вышелъ немного провѣтриться. Да, кстати! Графъ сейчасъ поѣхалъ на передовую цѣпь; пойдемъ и мы туда.

— Пожалуй, пойдемъ.

— Правда, по насъ будутъ стрѣлять, да, вѣрно, не попадутъ.

— Не бѣда, если и попадутъ, мой другъ.

— А! да, ты опять захандрилъ! Пойдемъ скорѣй, Владиміръ: я замѣтилъ, что подъ пулями ты всегда становишься веселѣе.

Миновавъ биваки передовой линіи, они подошли къ нашей цѣпи. Впереди ея, на одномъ открытомъ и нѣсколько возвышенномъ мѣстѣ, стоялъ, окруженный офицерами, русскій генералъ небольшого роста, въ звѣздахъ и въ трех-угольной шляпѣ съ высокимъ султаномъ. Казалось, онъ смотрѣлъ съ большимъ вниманіемъ на одного молодцеватаго французскаго кавалириста, который, отдѣлясь отъ непріятельской цѣпи, ѣхалъ прямо на нашу сторону впереди нѣсколькихъ всадниковъ, составляющихъ, повидимому, его свиту.

— Какъ я радъ, — сказалъ Рославлевъ, смотря на русскаго генерала, — что увижу, наконецъ, вблизи нашего Баярда. Представь себѣ, мнѣ до сихъ поръ не удалось ни разу хорошенько его разсмотрѣть!

— Да, его надобно видѣть во время дѣла, — прервалъ Зарѣцкій; — а если такъ, то онъ покажется тебѣ весьма обыкновеннымъ человѣкомъ. Онъ не красавецъ, не молодецъ собою и даже неловокъ, а взгляни на него, когда онъ въ самомъ пылу сраженія летаетъ соколомъ вдоль рядовъ своего безстрашнаго авангарда; когда одинъ взглядъ его, одно слово, воспламеняетъ души всѣхъ солдатъ. Ученикъ и сослуживецъ Суворова, онъ обладаетъ, подобно ему, счастливымъ даромъ — увлекать за собою сердца русскихъ воиновъ: указываетъ имъ на батарею — и она взята; даритъ ихъ непріятельскими колоннами — и онѣ истреблены. Но что это? никакъ парламентаръ? Видишь этихъ французовъ? Они ѣдутъ прямо на насъ. — Подойдемъ поближе.

Рославлевъ и Зарѣцкій смѣшались съ толпою офицеровъ, которые окружали начальника авангарда. Межъ тѣмъ французы медленно приближались къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ русскій генералъ. Впереди ѣхалъ видный

собою мужчина, на сѣромъ красивомъ конѣ; черные огненные глаза и густыя бакенбарды придавали мужественный видъ его прекрасной и открытой фizioноміи; но въ то-же время, золотыя серьги, распущенные по плечамъ локоны, и вообще какая-то не-мужская щеголеватость составляла самую чудную противоположность съ остальною частью его воинственного наряда, и безъ того отмѣнно страннаго. Онъ былъ въ курткѣ готическаго покроя, съ стоячимъ воротникомъ, на которомъ блистало генеральское шитье; надѣтая немного набокъ польская шапка, украшенная пукомъ страусовыхъ перьевъ; пунцовыя гусарскія чахчиры и богатый персидскій кушакъ; желтыя ботинки и осыпанная брильянтами турецкая сабля; французское сѣдло и вся остальная сбруя азіатская; вмѣсто чепрака, тигровая кожа, однимъ словомъ: весь нарядъ его и уборъ лошади составляли такое странное смѣшеніе азіатскаго съ европейскимъ, древняго съ новѣйшимъ, мужского съ женскимъ, что Зарѣцкій не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія, и сказалъ вслухъ: — Кой чортъ! что это за герольда выслали къ намъ французы? Ужъ нѣтъ ли у нихъ конныхъ тамбуръ-мажоровъ?

— Что вы?—шепнулъ одинъ изъ адъютантовъ русскаго генерала;—это Мюратъ.

— Какъ! Неаполитанскій король?

— Да.

— Хорошо же ему такъ дурачиться; вздумалъ бы этакъ пошалить нашъ братъ, простой офицеръ...

— Такъ его бы посадили въ сумасшедшій домъ, разумѣется. Но тише: онъ слѣзаетъ съ лошади; вотъ и графъ къ нему подошелъ... Подойдемте и мы поближе. Нашъ генералъ не дипломатъ и любитъ вслухъ разговаривать съ непріятелемъ.

Зарѣцкій и Рославлевъ подошли вмѣстѣ съ адъютантомъ къ русскому генералу въ то время, какъ онъ, послѣ нѣкоторыхъ привѣтствій, спрашивалъ Мюрата о томъ, что доставило ему честь видѣть у себя въ гостяхъ его королевское величество?

— Генералъ! — сказалъ Мюратъ, — извѣстны ли вамъ поступки вашихъ казаковъ? Они стрѣляютъ по фуражирамъ, которыхъ я посылаю въ разныя стороны; даже крестьяне ваши, при ихъ помощи, убиваютъ нашихъ отдѣльныхъ гусаръ.

— Я очень радъ, — отвѣчалъ русскій генералъ, — что казаки въ точности исполняютъ мои приказанія; мнѣ также весьма пріятно слышать изъ устъ вашего величества, что крестьяне наши показываютъ себя достойными имени русскихъ.

— Но это совершенно противно принятымъ повсюду обыкновеніямъ, и если это продолжится, то я буду вынужденъ посылать цѣлыя колонны для прикрытія моихъ фуражировъ.

— Тѣмъ лучше, ваше величество. Офицеры мои жалуются, что уже три недѣли ничего не дѣлаютъ: они горятъ желаніемъ брать пушки и знамена.

— Но къ чему стараться раздражать другъ противъ друга два народа, достойные во всѣхъ отношеніяхъ взаимнаго уваженія?

— Я и офицеры мои всегда готовы оказывать вашему величеству всевозможные знаки почтенія; но фуражировъ вашихъ всегда будемъ брать въ плѣнъ, и всегда разбивать колонны, которыя вы станете посылать для ихъ прикрытія.

Мюратъ нахмурился и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ съ досадою: — Генералъ! непріятеля не бьютъ словами; взгляните на карту: вы увидите занятые нами у васъ провинціи, и то, куда мы зашли.

— Карлъ двѣнадцатый заходилъ еще далѣе, — отвѣчалъ спокойно русскій генералъ: — онъ былъ въ Полтавѣ.

— Но мы всегда оставались побѣдителями, — сказалъ съ гордымъ взглядомъ Мюратъ.

— Всегда? Русскіе сражались только при Бородинѣ.

— Да! и послѣ этого сраженія мы взяли Москву.

— Извините, ваше величество! Москва была оставлена.

— Какъ бы то ни было, но мы владѣемъ вашей древней столицей.

— Такъ, ваше величество! и эта мысль мучительна для всякаго русскаго! Это величайшая жертва, принесенная нами для спасенія отечества, и мы начинаемъ уже пользоваться выгодами, происходящими отъ сего пожертвованія.

— Выгодами? Какими?

— Мнѣ извѣстно, что Наполеонъ посылалъ генерала Лористона къ нашему главнокомандующему, для переговоровъ о мирѣ; я знаю, что ваши войска должны довольствоваться, въ теченіе двухъ и болѣе сутокъ, тѣмъ, что едва достаточно для прокормленія ихъ въ однѣ сутки...

— Эти извѣстія совершенно ложны, — прервалъ Мюратъ.

— Я знаю, — продолжалъ хладнокровно русскій генералъ, — что король неаполитанскій пріѣхалъ ко мнѣ просить пощады своимъ фуражирамъ и завести родъ переговоровъ, чтобъ успокоить хотя нѣсколько своихъ солдатъ.

— Извините! — прервалъ Мюратъ, стараясь скрывать свою досаду и смущеніе; — я посѣтилъ васъ совершенно случайно: мнѣ хотѣлось только открыть вамъ происходящія у васъ злоупотребленія; неустройство — большое несчастье для арміи: оно ослабляетъ ее.

— Но въ такомъ случаѣ, — возразилъ съ улыбкою русскій генералъ, — вашему величеству надлежало бы поощрять насъ къ этому. Прекрасное неустройство, которымъ мы истребляемъ французскихъ фуражировъ!

— Впрочемъ, генералъ! вы ошибаетесь насчетъ нашего положенія. Москва всѣмъ достаточно снабжена; мы ожидаемъ безчисленныхъ подкрѣпленій, которыя къ намъ идутъ.

— Но неужели, ваше величество, думаете, что мы далѣе отъ нашихъ подкрѣпленій, чѣмъ вы отъ своихъ?

Мюратъ снова замолчалъ. Смущеніе его становилось часть-отъ-часу замѣтнѣе; онъ перебиралъ концы

своего богатаго кушака, поглядывалъ съ разсѣяннымъ видомъ на всѣ стороны и рѣшилъ, наконецъ, объявить, что пріѣхалъ жаловаться на нашихъ аванпостныхъ начальниковъ. — Я отдаюсь на ваше правосудіе, генераль! — сказалъ онъ, — ваши солдаты дважды стрѣляли по нашимъ парламентарамъ.

— Да мы и слышать о нихъ не хотимъ, — отвѣчалъ русскій генераль. — Мы желаемъ сражаться, а не переговоры вести. Итакъ, примите ваши мѣры!..

— Какъ, сударь? — вскричалъ Мюратъ, — поэтому и я здѣсь не въ безопасности?

— Ваше величество на многое отважитесь, если въ другой разъ захотите сюда пріѣхать; но сегодня я буду имѣть честь самъ проводить васъ до вашихъ аванпостовъ. Гей, лошади!

— Признаюсь, я никогда не слыхивалъ о такомъ образѣ войны! — сказалъ съ досадою Мюратъ.

— А я думаю, что слышали, — возразилъ русскій генераль, садясь на лошадь.

— Но гдѣ же?

— Въ Испаніи.

— Ну, — сказалъ Рославлевъ, смотря вслѣдъ за уѣзжающимъ Мюратомъ, — напрасно же его величество изволилъ трудиться...

— Знаешь ли, что онъ мнѣ теперь напоминаетъ? — прервалъ Зарѣцкій. — Лафонтенъ рассказываетъ объ одной безхвостой лисицѣ...

— А вѣдь это хорошая примѣта, — сказалъ Рославлевъ, — когда волки становятся лисицами?..

— Такъ, видно, догадались, что попали въ западню, — промолвилъ Зарѣцкій. — Ну, что, Владиміръ, — продолжалъ онъ, — не отправиться ли намъ пообѣдать, чѣмъ Богъ послалъ?

— Ступай, мой другъ! а я зайду на минуту провѣдать Сурскаго.

Рославлевъ засталъ еще въ живыхъ своего умнаго друга; но онъ не могъ уже говорить. Спокойно, съ тихою улыбкою на устахъ, закрылъ онъ

навѣкъ глаза свои. Послѣдній вздохъ его былъ моли-
твою за милую родину!

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I.

Мы не можемъ и не должны описывать всѣхъ подробностей отечественной войны 1812-го года. Романъ не исторія. Но порядокъ нашего повѣствованія требуетъ, чтобъ мы, хотя въ короткихъ словахъ, рассказали, что дѣлалось въ Россіи до того времени, когда намъ можно будетъ вывести снова на сцену и заставить говорить дѣйствующія лица сей повѣсти. Всѣмъ извѣстно, какъ Наполеонъ оставилъ Москву, но не всѣ еще увѣрены, что онъ поневолѣ долженъ былъ отступить по Смоленской дорогѣ. Чтожъ могло заставить Наполеона идти назадъ, черезъ мѣста совершенно опустошенныя войною, и слѣдовательно уморить навѣрное голодной смертію свое войско? Что?.. Все, что вамъ угодно. Наполеонъ сдѣлалъ это по упрямству, по незнанію, даже по глупости—только непремѣнно по собственной своей волѣ: ибо, въ противномъ случаѣ, надобно сознаться, что русскіе били французовъ, и что подъ Малымъ Ярославцемъ не мы, а они были разбиты; а какъ согласиться въ этомъ, когда французскіе бюллетени говорятъ совершенно противное? Но если мы никогда не били непріятеля, то отчего же погибла вся армія Наполеона? И, Боже мой!.. а морозъ-то на что?—Такъ говоритъ самъ Наполеонъ, такъ говорятъ почти всѣ

Французскіе писатели; а есть люди (мы не скажемъ, къ какой они принадлежать націи), которые полагаютъ, что Французскіе писатели всегда говорятъ правду—даже и тогда, когда увѣряютъ, что въ Россіи нѣтъ соловьевъ; но есть зато фруктъ, величиною съ вишню, который называется арбузомъ; что русскіе происходятъ отъ татаръ, а венгерцы отъ славянъ; что Кавказскія горы отдѣляютъ Европейскую Россію отъ Азіатской; что у насъ знатныхъ людей обыкновенно вѣнчаютъ архіереи; что *ніема глебонишъ попоиско рускофъ*—самая употребительная фраза на чистомъ русскомъ языкѣ; что названіе славянъ происходитъ отъ Французскаго слова *esclaves*, и что, наконецъ, въ 1812 году Французы били русскихъ, когда шли впередъ, били ихъ же, когда бѣжали назадъ; били подъ Москвою, подъ Тарутиномъ, подъ Краснымъ, подъ Малымъ Ярославцемъ, подъ Полоцкомъ, подъ Борисовымъ и даже подъ Вильною, то-есть тогда уже, когда некому насъ было бить, если бы мы и сами этого хотѣли. Итакъ, не вступая по сему предмету ни въ какіе споры съ людьми, которые стоятъ въ томъ,

Что всякой логики сильнѣе
Француза милого слова!

мы скажемъ только, что непріятель оставилъ Москву 10-го октября, прогостивъ въ ней мѣсяцъ и восемь дней. Наполеонъ, прощаясь навсегда съ древней столицею Россіи, велѣлъ подорвать Кремль. Это варварское, достойное среднихъ временъ приказаніе было выполнено. Въ военномъ отношеніи, московскій Кремль нельзя назвать не только крѣпостію, но даже простымъ укрѣпленнымъ лагеремъ; слѣдовательно, разореніе его не могло ни въ какомъ случаѣ быть полезнымъ для Французовъ; а разорять что бы то ни было, безъ всякой пользы и для себя и для другихъ, свойственно только варварамъ и сумасшедшимъ. Мы предоставляемъ безусловнымъ обожателямъ Наполеона оправдать чѣмъ-нибудь сей вандальскій поступокъ; вѣроятно

они откроютъ какія-нибудь *геніальныя* причины, побудившія императора французовъ къ сему безумному и дѣтскому мщенію; и трудно ли этимъ господамъ доказать такую бездѣлку, когда они математически доказываютъ, что Наполеонъ былъ не только величайшимъ военнымъ геніемъ, въ чемъ никто съ ними и не споритъ; но что онъ, въ то же время, могъ служить образцомъ всѣхъ гражданскихъ и семейственныхъ добродѣтелей, то-есть: что онъ былъ добръ, справедливъ и даже... чувствителенъ...

Сдѣлавъ нѣсколько неудачныхъ попытокъ, чтобъ прорваться въ богатѣйшія провинціи Россіи, разстроенный, сбитый съ толку знаменитымъ фланговымъ маршемъ нашего безсмертнаго князя Смоленскаго, Наполеонъ долженъ былъ поневолѣ отступать по той же самой дорогѣ, по которой шелъ къ Москвѣ.

Мы не станемъ исчислять всѣхъ неизъяснимыхъ бѣдствій, постигшихъ французовъ во время сего гибельнаго отступленія. И какое перо опишетъ это быстрое, и выстѣ медленное истребленіе нѣсколькихъ сотъ тысячъ воиновъ, привыкшихъ побѣждать или умирать съ оружіемъ въ рукахъ, на полѣ чести, но незнакомымъ еще съ ужасами беспорядочнаго отступленія? Какое описаніе можетъ дать хотя слабое понятіе о цѣлыхъ тысячахъ людей, полузамерзшихъ, не имѣющихъ чело-вѣческаго образа, готовыхъ пожирать другъ друга? Нѣтъ! надобно было слышать эти дикіе вопли, этотъ отвратительный, охриплый вой людей, умирающихъ отъ голода; надобно было видѣть этотъ безумный, неподвижный взоръ какого-нибудь стараго солдата, который, сидя на грудѣ умершихъ товарищей, воображалъ, что онъ въ Парижѣ, и разговаривалъ вслухъ съ дѣтьми своими. Надобно было все это видѣть и привыкнуть смотрѣть на это, чтобъ постигнуть, наконецъ, съ какимъ отвращеніемъ слушаетъ похвалы доброму сердцу и чувствительности императора французовъ тотъ, кто былъ свидѣтелемъ сихъ ужасныхъ бѣдствій и знаетъ адское восклицаніе Наполеона:

«солдаты?.. и, полноте! поговоримте-ка лучше о лошадяхъ!» ¹⁾

Переправа черезъ Березину довершила гибель непріятеля: самъ Наполеонъ едва успѣлъ спастись; но зато послѣдняя надежда французской арміи, корпусъ Нея, былъ совершенно разбитъ. Послѣ сраженія подъ Борисовымъ, отступленіе французовъ превратилось въ настоящее бѣгство. Цѣлыя колонны, побросавъ оружіе, спѣшили спастись отъ холодной смерти и казаконъ, куда ни попало. Наши войска, почти безъ всякаго сопротивленія, заняли Вильну, и вскорѣ потомъ исполнились слова Русскаго Государя: *ни одного вооруженнаго врага не осталось въ предѣлахъ Его царства*. Но онъ не положилъ меча, а поднялъ его снова, для спасенія народовъ всей Европы. Наполеонъ, безъ войска, одинъ, пробираясь бѣглецомъ во Францію, все еще былъ владыкою всей Германіи. Наши летучіе отряды, преслѣдуя остатки бѣгущаго непріятеля, перешли за-границу. Ихъ присутствіе оживотворило всѣ сердца; храбрые пруссаки возстали первые, и когда, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, надменный завоеватель съ местию въ сердцѣ, съ угрозой на устахъ, предводительствуя новымъ войскомъ, явился опять на берегахъ Эльбы, то тщетно уже искалъ рабовъ, покорныхъ его волѣ: вездѣ встрѣчали его грудью свободные сыны Германіи; ихъ радостныя восклицанія и наши волжскія пѣсни гремѣли тамъ, гдѣ нѣкогда раздавались побѣдные крики его войска и вопли угнетенныхъ народовъ.

Генераль, при которомъ служилъ Рославлевъ, перейдя за-границу, присоединился съ своей дивизіею къ войскамъ, назначеннымъ для осады Данцига; а полкъ Зарѣцкаго остался попрежнему въ авангардѣ русской

¹⁾ Такъ отвѣчалъ Наполеонъ одному изъ генераловъ, который сталъ ему докладывать о бѣдственномъ положеніи его *солдатъ*. Можетъ быть этотъ анекдотъ несправедливъ; но, прочтя со вниманіемъ всю политическую и военную жизнь Наполеона, какъ не скажешь: *si non è vero è ben trovato*.

большой арміи. Съ большимъ горемъ простились наши друзья. — Послушай, Владиміръ! — сказалъ Зарѣцкій, обнимая въ послѣдній разъ Рославлева: — говорятъ, что въ Данцигѣ тысячъ тридцать гарнизона, а что всего хуже — этимъ гарнизономъ командуетъ молодецъ Раппъ, такъ вы не скоро добьетесь толку и простите долго на одномъ мѣстѣ. Я буду къ тебѣ писать, а ты не безпокойся: по всему видно, что наша большая армія не будетъ отдыхать на лаврахъ, а отправится прямой дорогой... Ахъ, братецъ! то-то бы славно, визитъ за визитъ. Какое бы письмо я написалъ тебѣ изъ Парижа! Ну, прощай, мой другъ! да смотри — не хандри, сдѣлайся попрежнѣму нашимъ братомъ, весельчакомъ, влюбись въ какую-нибудь нѣмецкую Шарлоту, такъ авось русская Полина выйдетъ у тебя изъ головы.

— Несчастная! — сказалъ Рославлевъ, — гдѣ она теперь?..

— Гдѣ? Если осталась въ Москвѣ, то вѣроятно жива; если же, на бѣду, потащилась за своимъ мужемъ...

— О, безъ всякаго сомнѣнія! Ты не знаешь, къ чему способна эта необыкновенная женщина: она скорѣй разсталась бы съ своимъ мужемъ, еслибъ онъ былъ счастливъ. Всѣмъ пожертвовать тому, кого она любитъ, дѣлать его страданія, умереть вмѣстѣ съ нимъ мучительной смертію, однимъ словомъ: все то, что для другой женщины было бы высочайшею степенью самоотверженія — такъ обыкновенно, такъ легко для Полины! Если ей удастся облегчить хотя на минуту мученія своего друга, то она станетъ благословлять судьбу — благодарить Бога за всѣ страданія! Ахъ, мой другъ! для чего не суждено ей было принадлежать мнѣ!

— Полно, братецъ! перестань объ этомъ думать. Конечно, жаль, что этотъ французъ приглянулся ей больше тебя, да вѣдь этому помочь нельзя, такъ о чемъ же хлопотать? Прощай, Рославлевъ! Жди отъ меня писемъ; да, въ самомъ дѣлѣ, поторопись влюбиться въ

какую - нибудь нѣмочку. Говорятъ, онѣ всѣ пресентиментальныя, и если у тебя не пройдетъ охота вздыхать, такъ, по крайней мѣрѣ, будетъ кому поплакать вмѣстѣ съ тобою. Ну, до свиданья, Владиміръ!

Начиная снова нашу повѣсть, доведенную нами до перехода русскихъ за-границу, мы должны предувѣдомить читателей, что дѣйствіе происходитъ уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1813 года, подъ стѣнами Данцига, осажденнаго русскимъ войскомъ, въ помощь которому прикомандировано было нѣсколько баталіоновъ прусскаго ландвера или ополченія.

II.

Нѣмцы называютъ Нерунгомъ узкую полосу земли, которая, идя отъ самаго Данцига, вдается длиннымъ мысомъ въ заливъ Балтійскаго моря, извѣстный въ Германіи подъ названіемъ *Фришъ - Гафа*. Сей клочекъ земли, окруженный съ трехъ сторонъ моремъ и покрытый зеленѣющими садами, посреди которыхъ мелькаютъ красивыя деревенскія усадьбы, походить, съ перваго взгляда, на узорчатую ленту, которая, какъ будто бы опоясывая весь заливъ и становясь часъ-отъ-часу блѣднѣе, исчезаетъ, наконецъ, изъ глазъ, сливаясь вдали съ туманнымъ горизонтомъ, на краю котораго блѣднѣютъ высокія колокольни прусскаго городка Пилау. Небольшой артиллерійскій паркъ и отрядъ русскаго войска, состоящій изъ одной сильной пѣхотной роты, расположены были на семъ мысѣ въ деревенькѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ садами. Находясь позади всѣхъ нашихъ линій и верстахъ въ пяти отъ траншей, коими обхвачены были всѣ передовыя укрѣпленія непріятельскія, сей резервный отрядъ смотрѣлъ только за тѣмъ, чтобъ деревенскіе жители не провозили моремъ въ осажденный городъ съѣстныхъ припасовъ, въ коихъ гарнизонъ давно уже нуждался.

Въ просторномъ домѣ одного богатаго ландсмана ¹⁾, посреди свѣтлой комнаты, украшенной необходимыми для каждаго зажиточнаго крестьянина старинными стѣнными часами, широкою рѣзною кроватью и огромнымъ сундукомъ изъ орѣхового дерева, сидѣли за наложеннымъ дубовымъ столомъ, составляющимъ также часть наслѣдственной мебели: артиллерійскій поручикъ Ленскій, пріѣхавшій навѣстить его уланскій ротмистръ Сборскій и старый нашъ знакомецъ, командиръ пѣхотной роты, капитанъ Зарядьевъ. Передъ ними, въ нѣсколькихъ красивыхъ фаянсовыхъ блюдахъ, поставленъ былъ весьма опрятно и разнообразно приготовленный картофель. Огромная кружка съ пивомъ и высокіе стеклянные стаканы занимали остальную часть стола.

— Не угодно ли покушать? — сказалъ улыбаясь Сборскій, подвигая къ Ленскому новое блюдо, которое хозяйка дома съ вѣжливой уклонкою поставила на столъ.

— Тьфу, пропасть! — вскричалъ съ досадою Ленскій. — Вареный картофель, печеный картофель, жареный картофель!.. Да будетъ ли конецъ этому проклятому картофелю?

— А тебѣ бы хотѣлось такъ, какъ у насъ въ Петербургѣ, у Жискара, кусокъ хорошаго бифштекса?.. Не правда ли? Котлету съ трюфелями?.. Соте-де-желинотъ.

— Эхъ, полно, братецъ, не дразни! — Да неужели и сегодня не пріѣдутъ съ провіантомъ изъ Дершау? Вотъ ужъ третій день, какъ мы здѣсь на пищѣ святого Антонія.

— Такъ чтожъ? — сказалъ хладнокровно капитанъ Зарядьевъ, который, опорожнивъ глубокую тарелку съ варенымъ картофелемъ, закурилъ спокойно свою корневую трубку. — Оно и кстати: о спажинкахъ на святой Руси и волею постятся.

— О спажинкахъ? Что за спажинки? — спросилъ Сборскій.

¹⁾ Ландсманъ — зажиточный крестьянинъ, имѣющій собственную землю.

Зарядьевъ пересталъ курить и, взглянувъ съ удивленіемъ на Сборскаго, повторилъ:—Что за спажинки?.. Неужели ты не знаешь?.. Да, бишь, виновать!.. со-всѣмъ забылъ: вѣдь вы, кавалеристы, народъ модный, воспитанный, шаркуны! Вотъ кабы я заговорилъ съ тобой по-французски, такъ ты бы каждое слово понялъ... У насъ на Руси зовутъ спажинками Успенскій постъ.

— А все это проклятые французы!—прервалъ Ленскій.—Въ послѣднюю вылазку кругомъ насъ обобрали, разбойники! По ихъ милости, во всей нашей деревнѣ не осталось двухъ курицъ на лицо.

— Да! былъ на ихъ улицѣ праздникъ,—промолвилъ Сборскій;—побуянили порядкомъ! Зато теперь притихли, голубчики: не смѣютъ носа показать изъ крѣпости.

— Не смѣютъ?—а проходитъ ли хотя ночь, чтобъ они не тревожили наши аванпосты?

— Да это все проказить... тотъ... какъ бишь его? Ну, вотъ тотъ... чортъ его побери...

— Шамбюръ?

— Да, да! Шамбюръ. Говорятъ, что онъ изъ всего гарнизона выбралъ себѣ сотню такихъ же сорванцовъ, какъ онъ самъ, и назвалъ ихъ: *La compagnie infernale*...

— Какъ?—спросилъ Зарядьевъ.

— *La compagnie infernale*, то-есть адская рота.

— Ахъ, они самохвалишки! Адская рота!.. Помнится, они называли гренадерскіе полки, которыми командовалъ Удинотъ, также адскою дивизіею; однакожъ, подъ Клястицами, а потомъ подъ Полоцкомъ...

— Что? чай, дурно дрались?—спросилъ насмѣшливо Сборскій.

— Дрались - то хорошо, а все - таки Полоцка не отстояли. Что они, запугать что ль насъ хотятъ? Адская рота!..

— А нечего сказать,—прервалъ Сборскій,—этотъ Шамбюръ молодецъ! И чортъ его знаетъ, какъ онъ всегда вывернется? Откуда ни возьмется съ своей ро-

тою, намотитъ, намотитъ, всѣхъ перетревожить, да и былъ таковъ!

— А кто такой этотъ Шамбюръ?—спросилъ Ленскій.

— Разумѣется, французскій офицеръ.

— Пѣхотинецъ?

— И! что ты? вѣрно, кавалеристъ.

— А почему не пѣхотный?—спросилъ Зарядьевъ.

— Почему?.. почему?.. Во-первыхъ, потому, что Рославлевъ, котораго посылали изъ главной квартиры парламентаромъ въ Данцигъ, видѣлъ его въ гусарскомъ мундирѣ...

— Такъ поэтому онъ и кавалеристъ? — возразилъ Зарядьевъ.— Да развѣ у этихъ французовъ есть какая-нибудь форма? Кто какъ хочетъ, такъ и одѣвайся. На-смотрѣлся я на эту вольницу: у одного на мундирѣ шесть пуговицъ, у другого восемь; у этого портупея по мундиру, у того подъ камзоломъ; ну, вовсе на военныхъ не походятъ. Поглядѣлъ бы я на ихъ ученье—то-то, чай, умора! А ужъ какъ они ретировались изъ Москвы—Господи, Боже мой!.. Кто въ дамскомъ сапогѣ, кто въ лисьей шубѣ, кто въ стихарѣ—ну, сущій маскарадъ.

— Хороши были и мы!—сказалъ Ленскій.

— Конечно, и у насъ единообразія не было, а все-таки, бывало, хоть въ нагольномъ тулупѣ, а шарфомъ подвяжешься... Чу!.. что это?.. выстрѣлъ!

— Это Двинскій съ своимъ рундомъ,—сказалъ Ленскій, взглянувъ въ окно.—Я слышу его голосъ.

— Какъ же онъ смѣлъ дѣлать тревогу?.. Развѣ я не отдалъ въ приказѣ по ротѣ...

— У нихъ ружья заряжены, такъ, можетъ-быть, кто-нибудь изъ солдатъ не остерегся... Ну, такъ и есть!.. Я слышу, онъ кричитъ на унтеръ-офицера.

Черезъ нѣсколько минутъ Двинскій вошелъ въ комнату.—Господинъ подпоручикъ!—сказалъ Зарядьевъ,—что значитъ этотъ безпорядокъ?.. Стрѣлять по проби-тии зари!..

— Это случилось нечаянно, Василий Ивановичъ!—

отвѣчалъ почтительно Двинскій.—Унтеръ-офицеръ Демины сталъ спускать курокъ...

— Вотъ я его выучу спускать курокъ!.. Завтра, какъ пробьютъ зорю...

— Василій Ивановичъ!—прервалъ вполголоса Двинскій, — вы, вѣрно, не забыли, что въ прошломъ мѣсяцѣ, когда непріятель дѣлалъ вылазку...

— Извольте, сударь, молчать! Или вы думаете, что ротный командиръ хуже васъ знаетъ, что Демина унтеръ-офицеръ исправный и въ дѣлѣ молодецъ?.. Но такая непростительная оплошность... Прикажите фельдфебелю нарядить его дежурить по ротѣ безъ очереди на двѣ недѣли; а такъ какъ вы, господинъ подпоручикъ, отвѣчаете за вашу команду, то если въ другой разъ случится подобное происшествіе...

— Тьфу, дьявольщина! какой ты строгій начальникъ, Зарядьевъ!—сказалъ, улыбаясь, Сборскій.

— Прошу не погнѣваться! Мы не кавалеристы, и лучше вашего знаемъ дисциплину; дружба дружбой, а служба службой... Рекомендую вамъ впередъ быть осторожнѣе, господинъ подпоручикъ! А межъ тѣмъ садись-ка, братъ! Ты, чай, усталъ, и хочешь что-нибудь перекусить.

Ласковыя слова капитана въ одну минуту развеселили Двинскаго, который, хотя почтительно, но съ примѣтнымъ неудовольствіемъ выслушалъ строгій выговоръ своего взыскательнаго начальника.—Нѣтъ, господа, — сказалъ онъ, снимая свою саблю, — позвольте мнѣ васъ потчевать: я захватилъ цѣлую лодку съ провіантомъ, и если вамъ угодно разговѣться...

— Какъ не угодно!—вскричалъ Ленскій.—Однакожь, послушай! Ужъ не однимъ ли картофелемъ нагружена твоя лодка?..

— Не бойтесь! Найдется кой-что и на бѣштексъ.

— Брависсимо!.. Вели же скорѣй варить и жарить... Эй, хозяйка!.. Мадамъ!.. Либе фрау!.. Сборскій! скажи ей по-нѣмецки, что мы просимъ ее заняться стряпнею.

— Господинъ подпоручикъ!—сказалъ Зарядьевъ,— для чего вы не отрапортовали мнѣ, что взяли лодку съ провіантомъ?

— Да развѣ ты глухъ?—вскричалъ Сборскій.— Какого еще надобно тебѣ рапорта?

— Извольте, сударь, рапортовать по формѣ,—продолжалъ Зарядьевъ, вставая важно съ своего мѣста.

— Честь имѣю донести,—сказалъ Двинскій, опустя руки по швамъ,—что я, обходя цѣпь, протянутую по морскому берегу, замѣтилъ, шагахъ въ пятидесяти отъ него, лодку, которая плыла въ Данцигъ; и когда гребцы, несмотря на окликъ часовыхъ, не отвѣчали и не останавливались, то я велѣлъ закричать лодкѣ причаливать къ берегу; а чтобъ приказаніе было скорѣе исполнено, скомандовалъ моему рунду приложиться.

— Хорошо!

— Гребцы не слушались. Я приказалъ фланговому солдату выстрѣлить.

— Хорошо!

— Пулею сшибло одному гребцу шляпу...

— Хорошо! А кто былъ фланговымъ?

— Иванъ Петровъ.

— Хорошій стрѣлокъ!

— Лодка остановилась, и когда я закричалъ, что открою по нимъ батальный огонь, гребцы принялись за весла, причалили къ берегу...

— Довольно!—вскричалъ Сборскій:—остальное мы знаемъ.

— Я не слышалъ и не знаю ничего: извольте продолжать.

— По обыску въ лодкѣ нашлись съѣстные припасы; гребцы объявили, что везли ихъ въ Данцигъ для стола французскаго коменданта, генерала Раппа...

— Ага!—вскричалъ Ленскій,—такъ его превосходительство будетъ завтра постничать!..

— Вотъ вздоръ!—прервалъ Сборскій,—они еще не всѣхъ лошадей переѣли. Рославлевъ сказывалъ, что видѣлъ въ городѣ цѣлый взводъ конныхъ егерей.

— Господинъ подпоручикъ!—сказаль Зарядьевъ,—завтра, чѣмъ свѣтъ, извольте отправить гребцовъ за крѣпкимъ карауломъ въ главную квартиру; а подъ захваченный вами непріятельскій провіантъ потребуйте, также завтра, изъ ближайшаго парка нужное число ѡршпанокъ.

— Зачѣмъ?—спросилъ Сборскій.

— Я при рапортѣ представлю его въ главную квартиру.

— Съ ума ты сошелъ!—вскричалъ Ленскій,—иль ты думаешь, что въ главной квартирѣ нечего ѣсть?

— Это не мое дѣло.

— Помилуй, братецъ! Мы умираемъ здѣсь съ голоду.

— Неправда! у насъ есть картофель.

— Чортъ возьми твой картофель, и тебя съ нимъ вмѣстѣ! Послушай, Зарядьевъ! оставь здѣсь хоть половину.

— Не могу. Все, захваченное у непріятеля, должно доставлять при рапортѣ въ главную квартиру.

— Голубчикъ! душенька!.. пожалуйста! хоть на сегодняшній и завтрашній день.

— Ну, добро, такъ и быть!—Ѣшьте сегодня вдоволь, а завтра... вы слышали мое приказаніе, господинъ подпоручикъ.

— Слышишь, Двинскій?—закричалъ Ленскій.—Вели же поскорѣй отпустить хозяйкѣ все, чего она требуетъ. Эй, мадамъ!—мутерхенъ!.. мы хотимъ эсень!.. много, очень много—филь! Сборскій! Скажи ей, чтобъ она готовила на десятерыхъ: можно быть, кто-нибудь забудетъ; такъ мы и завтра доѣдимъ остальное.

— Кому теперь заѣхать?—сказаль Зарядьевъ, посмотрѣвъ на свои огромные серебряные часы:—половина десятого, и когда поспѣетъ вамъ ужинъ?

— Долго ли приготовить нѣсколько кусковъ бифштекса: это минутное дѣло.

— Постойте-ка!—сказаль Ленскій;—мнѣ кажется, кто-то въѣхаль къ намъ въ ворота... Посмотрите, если

къ намъ не нагрянуть гости: чай, теперь на всѣхъ аванпостахъ знаютъ, что мы захватили обѣдъ господина Раппа... Ну, не отгадалъ ли я? Вотъ ужъ изъ главной квартиры стали къ намъ набѣзжать.

— Здравствуйте, господа! — сказалъ Рославлевъ, войдя въ комнату. — Насилу я выбралъ время, чтобъ съ вами повидаться. Ну, что, какъ поживаете?

— Здорово, Владиміръ! — вскричалъ Сборскій. — Милости просимъ! Ты ужинаешь съ нами?

— И даже ночую.

— Ну, садись и рассказывай, что слышно новаго? Что у васъ дѣлаютъ? Долго ли намъ кочевать вокругъ Данцига? Не поговариваютъ ли о сдачѣ? Вѣдь мы здѣсь настоящіе провинціалы: не знаемъ ничего, что дѣлается въ большомъ свѣтѣ. Ну, чтожъ молчишь? Говори, что новаго?

— Во-первыхъ, новое то, что вы видите меня живого.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Вчера вечеромъ меня послали въ траншею съ приказаніями къ отрядному начальнику. Исполнивъ данное мнѣ порученіе, я сталъ, въ промежуткѣ пушечныхъ выстрѣловъ, кой о чемъ болтать съ артиллерійскими офицерами. Межъ тѣмъ, на дворѣ смерклось; наши выстрѣлы стали рѣже; влѣво на Ггельсбергъ ¹⁾ французы продолжали отстрѣливаться, а противъ насъ, на Бишефсбергъ вдругъ все замолкло; мы подошли поближе къ турамъ, выглянули, и я въ первый разъ увидѣлъ вблизи этотъ грозный Бишефсбергъ, который, какъ громовая туча, заслонялъ отъ насъ городъ. При каждомъ взрывѣ нашихъ бомбъ и гранатъ, освѣщались непріятельскія батареи, но солдатъ не было видно; французы сидѣли спокойно за толстымъ брустверомъ и отмалчивались. «Кой чортъ?» — сказалъ артиллерійскій капитанъ, который стоялъ возлѣ меня, — что

1) Ггельсбергъ и Бишефсбергъ — двѣ укрѣпленныя горы, подлѣ самой вѣрности города Данцига.

они—заснули что ль?» Не успѣлъ онъ это выговорить, какъ вдругъ... Господи, Боже мой!.. мнѣ показалось, что весь Бишефсбергъ вспыхнулъ; народъ закипѣлъ на непріятельскихъ батареяхъ, ядра посыпались, и поднялась такая адская трескотня!.. Ну, повѣрите ль? До сихъ поръ еще гудить въ ушахъ. Одно ядро попало въ амбразуру, подлѣ которой я стоялъ; меня съ ногъ до головы осыпало землею, и пока я отряхался и оцупывалъ себя, чтобъ увѣриться, на своемъ ли мѣстѣ моя голова и руки, справа, въ траншеяхъ раздался крикъ: *en avant!* Засверкали огоньки, и двѣ или три пули свистнули у меня подъ самымъ носомъ... Французы, французы!..—Гдѣ?—спросилъ артиллерійскій капитанъ.—Здѣсь! Въ траншеяхъ!..—Становись!.. стрѣлки впередъ!—закричалъ отрядный начальникъ, и съ прострѣленной головой повалился на меня; на него упало еще человѣка два. Тутъ я ничего не взвидѣлъ, а слышалъ только; что надо мной визжали пули, и раздался крикъ французскаго офицера, который ревѣлъ, какъ бѣшеный: *ferme... feu de peloton!* Я сталъ выдираться изъ подъ убитыхъ, и лишь только высвободилъ голову, какъ этотъ проклятый крикунъ сталъ одной ногой мнѣ на грудь и заревѣлъ опять: — *En arrière! feu de fil! bien, mes enfants!*—Задыхаясь отъ боли и досады, я собирался уже укусить за ногу этого злодѣя; но онъ закричалъ:—*Repliez vous!*—отскочилъ назадъ, въ одинъ мигъ исчезъ вмѣстѣ съ своими солдатами, и я успѣлъ только замѣтить, при свѣтѣ выстрѣловъ, что этотъ крикунъ былъ въ богатомъ гусарскомъ мундирѣ.

— Такъ это молодецъ Шамбюръ?—прервалъ Сборскій.

— Да, онъ. Мы узнали отъ двухъ захваченныхъ въ плѣнъ солдатъ, что они принадлежатъ къ адской ротѣ, которою командуетъ этотъ сорви-голова.

— Ну, право, я дорого бы заплатилъ,—вскричалъ Ленскій, — за то, чтобъ взглянуть на этого удалого малаго.

— А я бы не далъ за это ни гроша,—сказалъ За-

рядьевъ.—Дѣло другое, еслибъ я могъ разmozжить ему голову... Неугомонный! буянъ!... Ну, что прибыли, что онъ ворвался въ траншеи съ сотнею солдатъ?.. Эка потѣха!.. терять людей изъ одного удалства!..

— Онъ дѣлаетъ свое дѣло,—возразилъ Сборскій.— Шамбюръ, какъ партизанъ, долженъ всячески насъ тревожить.

— Партизанъ!... партизанъ!... Посмотрѣлъ бы я этого партизана передъ ротою—чай, не знаетъ, какъ взводъ завести! Терпѣть не могу этихъ удалцовъ! То ли дѣло нашъ братъ фронтовой: безъ команды впередъ не суйся, а стой себѣ какъ вкопанный и умирай, не сходя съ мѣста. Вотъ это служба! А то подкрадутся, да подползутъ, какъ воры... Удалось—хорошо!—не удалось—подавай Богъ ноги!... Провалъ бы взялъ этихъ партизановъ! Мнѣ и кабардинцы на кавказской линіи надоѣли!

— Въ томъ-то, братъ, и дѣло! — сказалъ Сборскій. — Надо почаще надоѣдать неприятелю. Какъ не дашь ему ни на минуту покоя, такъ у него и руки опустятся. Вотъ, напримѣръ, этотъ молодецъ Шамбюръ, чай, у всѣхъ нашихъ аванпостныхъ какъ бѣльмо на глазу.

— Тьфу, пропасть!—вскричалъ Зарядьевъ, бросивъ на полъ свою трубку, — наладилъ одно: молодецъ, да молодецъ! Давай сюда этого молодца! Милости просимъ на чистоту: такъ я съ однимъ взводомъ моей роты расчешу его адскую сотню такъ, что и праха ея не останется. Что, въ самомъ дѣлѣ, за отметный соболевъ? Господи, Боже мой! Да пусть пожалуетъ къ намъ сюда, на Нерунгъ—хоть днемъ, хоть ночью!

— Сюда? — повторилъ Рославлевъ. — Какъ это можно? Позади всѣхъ нашихъ линій, за пять верстъ отъ своихъ аванпостовъ. Что ты! Развѣ онъ сумасшедшій!

— Смотри, Зарядьевъ,—сказалъ Сборскій, мигнувъ потихоньку другимъ офицерамъ, — не накличь бѣды на свою голову! Теперь ты храбришься, а какъ вдругъ онъ нагрянетъ...

— Такъ чтожъ? Добро пожаловать! Не испугаемся.

— Ну, не ручайся, братъ: не равна минута. Скажи-ка правду: неужели ты во всю свою жизнь никогда и ничего не пугался?

— Никогда.

— Я про себя этого не скажу,—продолжалъ Сборскій.—Я однажды такъ трухнулъ, что у меня волосы стали дыбомъ и языкъ отнялся.

— Въ дѣлѣ?—спросилъ Зарядьевъ.

Сборскій покраснѣлъ, провелъ рукою по своимъ чернымъ усамъ и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:—Слушай, Зарядьевъ: мы пріятели, но если ты въ другой разъ сдѣлаешь мнѣ такой глупый вопросъ, то я пушу въ тебя этой кружкой. Развѣ русскій офицеръ и кавалеристъ можетъ струсить въ дѣлѣ?

— Не знаю—кавалеристъ, а нашъ братъ, пѣхотинецъ...

— Послушайте-ка, господа, — прервалъ Ленскій, стараясь замять разговоръ, который могъ дурно кончиться,—если говорить правду, такъ вотъ насъ здѣсь пятеро: всѣ мы народъ обстрѣленный, хорошіе офицеры; а, вѣрно, каждый изъ насъ, хотя одинъ разъ въ жизни, чувствовалъ, что онъ робѣетъ.

— Признаюсь,—сказалъ Рославлевъ,—со мною что-то похожее недавно было.

— И я мѣсяца два тому назадъ,—прибавилъ Двинскій,—испугался не на шутку.

— Что грѣхъ таить,—продолжалъ Ленскій, — и я однажды больно струсилъ. А ты, Зарядьевъ?

— Я ужъ сказалъ, что никогда и ничего не боялся.

— Право! А не случилось ли тебѣ ошибаться во фронтѣ передъ твоимъ бригаднымъ командиромъ?

— Передъ бригаднымъ командиромъ?.. Да нѣтъ, я никогда не ошибался.

— Какъ вы думаете, господа! — подхватилъ Рославлевъ, — мы еще не скоро ляжемъ спать; пусть каждый изъ насъ расскажетъ исторію своего испуга: это должно быть очень любопытно.

— И вовсе необыкновенно,—прибавилъ Сборскій.—

Вѣрно, не было примѣра, чтобъ четверо храбрыхъ и обстрѣленныхъ офицеровъ, вмѣсто того, чтобъ говорить о своихъ подвигахъ, рассказывали другъ другу о томъ, что они когда-то трусили и боялись чего бы то ни было.

— А чтобъ намъ веселѣе было болтать, — продолжалъ Рославлевъ, — такъ велите-ка внести кулечекъ, который я привезъ съ собою: въ немъ полдюжины шампанскаго.

— Ай да пріятель! — вскричалъ Сборскій. — Шампанское! Давай его сюда!.. Тѣфу, чортъ возьми!.. Хорошо вамъ жить въ главной квартирѣ: все есть.

Вино принесли, пробки полетѣли въ потолокъ, шампанское запѣнилось, и Рославлевъ, опорожнивъ однимъ духомъ свой стаканъ, началъ:

ПАРЛАМЕНТЕРЬ.

«Вы слышали, я думаю, господа, что генералъ Раппъ запретилъ принимать нашихъ парламентаревъ. Тому назадъ недѣли двѣ, посылали для переговоровъ, въ предмѣстьѣ Лангфуртъ, маіора Ольгина; его встрѣтили на непріятельскихъ аванпостахъ ружейными выстрѣлами, убили лошадь и сшибли пулею съ головы фуражку. Изъ этого ласковаго пріема не трудно было заключить, что господинъ Раппъ не на шутку изволить на насъ дуться, и что всякій парламентарь будетъ угощенъ не лучше Ольгина. Но такъ какъ его превосходительство не въ первый уже разъ изволилъ отдавать и отмѣнять подобные приказы, то дня черезъ три послѣ этого велѣли мнѣ отвезти къ нему письмо, въ которомъ нашъ корпусный командиръ убѣждалъ его принять обратно въ городъ высланныхъ имъ жителей. Вы, вѣрно, знаете, что Раппъ выгналъ изъ Данцига болѣе четырехсотъ обывателей, въ томъ числѣ множество женщинъ и дѣтей. Дабы предупредить эти эмиграціи, которыя, уменьшая число жителей крѣпости, способствовали гарнизону долѣе въ ней

держаться, отданъ былъ строгій приказъ не пропускать ихъ сквозь нашу передовую цѣпь: и сіи несчастные должны были оставаться на центральной землѣ среди нашихъ и непріятельскихъ аванпостовъ, подъ открытымъ небомъ, безъ куска хлѣба, и, при первомъ аванпостномъ дѣлѣ — между двухъ перекрестныхъ огней.

Въ сопровожденіи драгунскаго трубача, я выѣхалъ за нашу передовую цѣпь. Надобно вамъ сказать, что съ этой стороны дорога къ непріятельскимъ аванпостамъ идетъ по узкому и высокому валу; налѣво подлѣ него течетъ рѣчка, а по правую сторону разстилаются низкіе и обширные луга Нидерланда, къ которому примыкаетъ Ора, городское предмѣстіе, занятое французами. Получивъ приказаніе отправиться парламентаремъ рано по-утру, я не успѣлъ напиться чаю, и потому въ деревнѣ, занимаемой нашей передовой линіею, купилъ у булочника нѣсколько кренделей, располагаясь позавтракать на открытомъ воздухѣ, во время переѣзда моего отъ нашихъ аванпостовъ къ непріятельскимъ. Погода была ясная, но сильный вѣтеръ дулъ мнѣ прямо въ лицо и доносилъ до меня стонъ и рыданія умирающихъ съ голода данцигскихъ изгнанниковъ. Лишь только они завидѣли приближающагося къ нимъ русскаго офицера, какъ весь ихъ станъ пришелъ въ движеніе: одни ползкомъ спѣшили добратъся до вала, по которому я ѣхалъ; другіе, съ громкимъ воемъ, бѣжали ко мнѣ навстрѣчу... Ахъ, любезные друзья! Есть минуты, въ которыя нашъ братъ, военный, проклинаетъ войну! Не ядра непріятельскія, не смерть ужасна: объ этомъ солдатъ не думаетъ; но быть свидѣтелемъ опустошенія прекрасной и цвѣтущей стороны, смотрѣть на гибель несчастныхъ семействъ, видѣть стариковъ, женъ и дѣтей, умирающихъ съ голода, слышать ихъ отчаянный вопль и изъ состраданія—затыкать себѣ уши!.. Вотъ что истинно-ужасно, товарищи! Вотъ отъ чего и у русскаго солдата подчасъ занеетъ и кровью обольется ретивое!

По невольному и совершенно безотчетному движению, я придержалъ мою лошадь. Въ одну минуту столпилось человѣкъ двадцать около того мѣста, гдѣ я остановился; мужчины кричали невнятнымъ голосомъ; женщины стонали; всѣ наперерывъ старались вползти на валъ: цѣплялись другъ за друга, хватались за траву, дрались, падали и съ какимъ-то нечеловѣческимъ воємъ катились внизъ, гдѣ вновь прибѣгающіе топтали ихъ въ ногахъ и лѣзли черезъ нихъ, чтобъ только дойти до меня. Я поспѣшилъ бросить имъ мои крендели, въ одну секунду ихъ разорвали на тысячу кусковъ, и въ то время, какъ вся толпа, давя другъ друга, торопилась хватать ихъ на лету, одна молодая женщина успѣла взобраться на валъ... Нѣтъ! во всю жизнь мою я не забуду этого ужаснаго лица!.. Мертвецъ, съ открытыми, неподвижными глазами, приводитъ въ невольный трепетъ; но, по крайней мѣрѣ, на безчувственномъ лицѣ его начертано какое-то спокойствіе смерти; онъ не страдаетъ болѣе; а оживленный трупъ, который упалъ къ ногамъ моимъ, дышалъ, чувствовалъ и, прижимая къ груди своей умирающаго съ голода ребенка, прошепталъ охриплымъ голосомъ и порусски: кусокъ хлѣба!.. ему!.. Я схватился за карманъ: въ немъ не было ни крошки! Не могу описать вамъ, что происходило въ эту минуту въ душѣ моей! До сихъ поръ еще этотъ ужасный голосъ, въ которомъ было что-то для меня знакомое, раздается въ ушахъ моихъ. Я помню только, что, зажмуривъ глаза, ударилъ нагайкою мою лошадь и промчался, не оглядываясь, съ полверсты впередъ.—Полегче, ваше благородіе!—сказалъ трубачъ.—Вонъ французскій пикетъ! Въ самомъ дѣлѣ, я былъ уже почти у въѣзда въ предмѣстіе Ора. Шагахъ въ семидесяти отъ меня, передъ однимъ полуобгорѣвшимъ домомъ, ходилъ непріятельскій часовой; закутавшись въ синюю шинель и опустивъ внизъ ружье, онъ мѣрными шагами двигался взадъ и впередъ, какъ маятникъ: иногда поглядывалъ направо и налѣво, но какъ будто бы нарочно смотрѣлъ въ мою

сторону.—Труби!—закричалъ я драгуну. Онъ принялся трубить; но сильный вѣтеръ относилъ назадъ всѣ звуки, и непріятельскій часовой продолжалъ расхаживать передъ домомъ, не обращая на насъ никакого вниманія. Я подъѣхалъ ближе, остановился; драгунъ началъ опять трубить; звуки трубы сливались попрежнему съ воємъ вѣтра; а проклятый французъ, какъ на смѣхъ, не подымалъ головы и, остановясь на одномъ мѣстѣ, принялся чертить штыкомъ по песку, вѣроятно, вензель какой-нибудь парижской красавицы».

— Ахъ, онъ ротозѣй!—вскричалъ Зарядьевъ.—Да я бы этакого часового на ногахъ уморилъ!.. Сохрани, Боже. У меня, и въ мирное время, попробуй-ка махальный прозѣвать генерала, такъ я...

— Полно, братецъ!—сказалъ Сборскій;—не мѣшай ему рассказывать. Ну, чтожъ, Рославлевъ, ты подъѣхалъ къ нему подъ носъ?..

— Почти. Шагахъ въ пятнадцати отъ часового, валъ оканчивался глубокой канавою; черезъ нее переброшены были двѣ узенькія дощечки. Я взѣхалъ на этотъ живой мостъ, который гнулся подъ моей лошады, и велѣлъ драгуну трубить, что есть мочи. Лишь только онъ затянулъ первый аккордъ, какъ вдругъ часовой встрепенулся, отпрыгнулъ два шага назадъ и схватился за ружье. — *Parlementaire, samarade!*—сказалъ я громкимъ голосомъ.—*Parlementaire!*— Но французъ, не говоря ни слова, взвелъ курокъ и прицѣлился въ мою лошадь.—Труби, разбойникъ!—закричалъ я моему драгуну,—труби!—и мой драгунъ затрубилъ такъ, что у меня въ ушахъ затрещало; но часовой продолжалъ цѣлиться, только уже не въ лошадь, а прямо мнѣ въ грудь. Ахъ, чортъ возьми! Въ пятнадцати шагахъ и плохой стрѣлокъ не дастъ пуделя; я же на этомъ проклятомъ мостикѣ не могъ повернуться ни направо, ни налево, и стоялъ неподвижно, какъ мишень. Межъ тѣмъ, часовой, какъ будто бы желая вѣрнѣе отправить меня на тотъ свѣтъ, приподнялъ немного ружье и уставилъ дуло прямехонько

противъ моего лба. *Finissez, finissez!*!..—закричалъ я, махая бѣлымъ платкомъ.—Не тутъ-то было! Какъ видно, этому бездѣльнику показалось забавно разстрѣливать меня понемногу: онъ повернулъ ружье и прицѣлился мнѣ въ високъ; я осадилъ лошадь, французъ опустилъ курокъ—осѣчка! Все это происходило въ теченіе какой-нибудь полминуты и, честию клянусь, не могу сказать, чтобъ я былъ совершенно спокоенъ, однакожъ, не чувствовалъ ничего необыкновеннаго; но когда этотъ злодѣй взвелъ опять курокъ и преспокойно приложился мнѣ снова въ самую средину лба, то сердце мое сжалось, въ глазахъ потемнѣло, и я почувствовалъ что-то такое... какъ бы вамъ сказать!.. Да, тѣфу, пропасть! что тутъ торговаться: я струсилъ. Къ счастью, мой драгунъ, видя бѣду неминуемую, пустилъ на своей трубѣ такую чертовскую трель, что караульный офицеръ опрометью выскочилъ изъ дома, кричалъ на часового, и, давъ мнѣ знакъ рукою съѣхать съ мостика, подошелъ ко мнѣ. Подлинно—у страха глаза велики: когда непріятельскій офицеръ выбѣжалъ изъ караульной, то показался и красавцемъ и молодцомъ; а когда подошелъ ко мнѣ поближе, то я увидѣлъ, что онъ дурень, какъ смертный грѣхъ, и по росту годился бы въ безсмѣнные форейторы. Этотъ уродецъ объявилъ мнѣ на дурномъ французскомъ языкѣ, что парламентеровъ не принимаютъ, что велѣно по нимъ стрѣлять, и что я долженъ благодарить Бога за то, что онъ не французъ, а голландскій подданный, и всегда любилъ русскихъ. Распроставшись съ нимъ, я отправился обратно и, признаюсь, во весь тотъ день походилъ на человѣка, который съ похмелья не можетъ ни о чемъ думать, и хотя не пьянъ, а шатается, какъ будто бы выпилъ стакановъ пять пуншу».

III.

Исторія моего испуга, — сказалъ Сборскій, когда Рославлевъ кончилъ свой рассказъ, — совершенно въ

другомъ родѣ. Тебя этотъ бездѣльникъ разстрѣливалъ, какъ дезертира, приговореннаго къ смерти по сентенціи военнаго суда; а я имѣлъ причину думать, что самъ сатана со всѣмъ причетомъ извоилъ надо мною потѣшиться.

— Что за вздоръ?—вскричалъ Рославлевъ.

— А вотъ, если угодно,—продолжалъ Сборскій,—расскажу вамъ со всѣми подробностями этотъ эпизодъ изъ удольфскихъ тайнствъ, или знаменитаго монаха, въ которомъ чортъ играетъ такую интересную роль. Ну, слушайте, господа!

ТРИ КВАРТИРЫ.

«Прошлаго года, послѣ сраженія подъ Борисовымъ, въ одномъ жаркомъ аванпостномъ дѣлѣ, мнѣ прострѣлили правую руку, и я долженъ былъ въ то время, какъ наши арміи быстро подвигались впередъ, прожить полтора мѣсяца въ грязномъ и разоренномъ жидовскомъ мѣстечкѣ. Не могу описать вамъ, до какой степени было мучительно мое положеніе. Во всемъ этомъ жидовскомъ кагалѣ, кромѣ меня, не было ни одного раненаго офицера, и хотя, собираясь въ походъ, я захватилъ съ собой дюжины двѣ книгъ, но на бѣду за нѣсколько дней до сраженія, вѣрный и трезвый мой слуга, Афонька, заложилъ ихъ за полштофа вина какому-то маркитанту, который отправился вслѣдъ за войскомъ. Я умиралъ отъ скуки; но дѣлать было нечего. Всѣ мои забавы состояли только въ томъ, что по-утру я дразнилъ моего хозяина, запачканнаго жида съ рыжей бородою, а вечеромъ принималъ гостей, отъ которыхъ подчасъ нельзя было повернуться въ моей комнатѣ. Черезъ мѣстечко проводили ежедневно цѣлыя колонны плѣнныхъ непріятелей, и лишь только начинало смеркаться, я высылалъ на улицу Афоньку приглашать ко мнѣ всѣхъ остальныхъ французовъ, которые, не находя нигдѣ пріюта, бродили какъ тѣни взадъ и впередъ по улицѣ. Честные евреи, осыпая ихъ

всѣмъ жидовскими клятвами, отгоняли отъ своихъ дверей и, несмотря на жестокий морозъ, не позволяли имъ входить даже въ сѣни своихъ домовъ, чтобъ хотя нѣсколько обогрѣться. Разумѣется, эти несчастные спѣшили воспользоваться приглашеніемъ моего слуги. Сначала они, молча, лѣзли всѣ къ печкѣ; потомъ, выпивъ по стакану горячаго сбитня, начинали понемногу отогрѣваться, и черезъ полчаса въ комнатѣ моей повторялась, въ маломъ видѣ, суматоха, бывшая послѣ потопа при вавилонскомъ столпотвореніи: латники, гренадеры, вольтижеры, конные, пѣшіе—всѣ начинали говорить въ одинъ голосъ: на французскомъ, итальянскомъ, испанскомъ, голландскомъ... словомъ, на всѣхъ извѣстныхъ европейскихъ языкахъ. Бывало, обыкновенно французы переговарятъ всѣхъ, и тутъ-то пойдутъ рассказы о большой арміи, о побѣдахъ Наполеона, о пожарѣ московскомъ. «Ah, monsieur! au commencement nous avions tout: provisions de bouche, vins, liqueurs, et puis tout d'un coup... Sapristie!.. Comme c'est dommage! brûler une si belle ville!» ¹⁾ Признаюсь господа, люблю этотъ безпечный и веселый народъ! Французъ умираетъ съ голода, до половины замерзъ, и лишь только начнетъ оттаивать, съѣстъ кусокъ хлѣба, заговоритъ о своей *прекрасной* Франціи, и все забыто. Сколько разъ я слыжалъ: «Oui, mon officier, j'ai beaucoup souffert, mais une fois de retour à Paris!.. Diable! ce n'est pas comme chez vous: on se divertit on dépense gaiement son argent et vive la joie!» ²⁾ Бѣдняжка!.. а черезъ нѣсколько часовъ... но что говорить объ этомъ. Мнѣ каждый разъ становится грустно, когда подумаю, какимъ ужаснымъ образомъ сгинули, исчезли съ лица земли цѣлыя сотни тысячъ вѣтренихъ, но храб-

¹⁾ Ахъ, сударь! сначала у насъ было все: пресвизія, вина, ликеры—и вдругъ!.. какая жалость!.. сжечь такой прекрасный городъ!..

²⁾ Да, господинъ офицеръ! я много терпѣлъ; но только бы добраться до Парижа — чортъ возьми! тамъ не такъ, какъ у васъ!.. Тѣшатъ себя, тратятъ на забавы свои деньги и — да здравствуетъ веселость!

рыхъ и любезныхъ французовъ. Полно хмуриться, Зарядевъ! вѣдь они такіе же люди, какъ и мы».

— А чортъ ихъ просилъ къ намъ въ гости!—сказалъ Зарядевъ, вытряхая свою трубку.

— Эхъ, братецъ! ругай того, кто ихъ привелъ съ собою. Солдаты идутъ туда, куда ему прикажутъ.

— Оно бы и такъ! Я самъ ротный командиръ, и если скомандую моею ротѣ идти впередъ...

— Вотъ то-то же! По-моему, бей непріятеля, пока онъ стоитъ, а объ лежачемъ не грѣшно и пожалѣть; но не о томъ дѣло—гдѣ бишь я остановился?

— Покамѣстъ еще въ жидовскомъ мѣстечкѣ,—сказалъ Ленскій.

— Да!.. «Ну, вотъ, прошло ужъ шесть недѣль, мнѣ стало лучше, и хотя я не владѣлъ еще рукою, но рѣшился, наконецъ, не дожидаясь совершеннаго выздоровленія, отправиться догонять мой полкъ, который былъ уже за-границею. Не стану вамъ рассказывать, какъ я доѣхалъ до Вильны: благодаря нашимъ побѣдамъ, меня по всей дорогѣ принимали ласково, осыпали вѣжливостями, и даже иногда вполголоса бранили вмѣстѣ со мною Наполеона. На пятый день, подъ вечеръ, я спустился, или лучше сказать, скатился съ горъ, которыя окружаютъ Вильну. Нѣтъ! Никогда не изгладится изъ моей памяти ужасная противоположность, поразившая мои взоры, когда я въѣхалъ въ этотъ городъ; противоположность, которая могла только встрѣтиться въ сію народную войну, поглотившую цѣлыя поколѣнія. За версту отъ городскихъ воротъ, по обѣимъ сторонамъ дороги, начинались, безъ всякаго прибавленія, двѣ толстыя стѣны, сложенные изъ замерзшихъ труповъ. Я не разъ видѣлъ, и привыкъ уже видѣть, землю, устланную тѣлами убитыхъ на сраженіи; но эта улица показалась мнѣ столь отвратительною, что я нехотя зажмурилъ глаза, и лишь только въѣхалъ въ городъ, вдругъ сцена перемѣнилась: красивая площадь, кипиющая народомъ, русскіе офицеры, національная польская гвардія, красавицы, толпы сует-

ливыхъ жидовъ, шумъ, крикъ, пѣсни, веселыя лица, однимъ словомъ: вездѣ, повсюду, жизнь и движеніе. Мнѣ случилось веселиться съ товарищами на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣсколько минутъ до того мы дрались съ непріятелемъ; но на полѣ сраженія мы видимъ убитыхъ, умирающихъ, раненыхъ; а тутъ смерть сливалась съ жизнію безъ всякихъ оттѣнковъ: шагъ впередъ—и жизнь во всей красотѣ своей; шагъ назадъ—и смерть со всѣми своими ужасами!»

«Вильна была наполнена русскими офицерами; одинъ лѣчился отъ ранъ, другой отъ болѣзни, третій ни отъ чего не лѣчился; но такъ какъ непріятельская армія существовала въ однихъ только французскихъ бюллетеняхъ, и первая кампанія казалась совершенно конченною, то русскіе офицеры не слишкомъ торопились догонять свои полки, изъ которыхъ многіе, перейдя за границу, формировались и поджидали спокойно свои резервы. Хотя въ продолженіе всей зимней кампаніи, безсмертной въ лѣтописяхъ нашего отечества, но тяжелой и изнурительной до высочайшей степени, мы страдали менѣе французозъ отъ холода и недостатка, и если иногда желудки наши тосковали, то зато на сердцѣ всегда было весело; однакожъ, несмотря на это, мы такъ много натерпѣлись всякой нужды, что при первомъ случаѣ отдохнуть и пожить весело, у всѣхъ русскихъ офицеровъ закружились головы. Придумывая различные способы, какъ бы въ короткое время убить поболѣе денегъ, наша молодежь составила общество и назвала его лейбъ-шампанскимъ; всѣ члены разѣзжали по пріятельскимъ баламъ и редутамъ ¹⁾, посѣщали ежедневно театръ, сыпали деньгами, играли съ поляками, любезничали съ полячками, и, чтобъ оправдать свое названіе, пили шампанское какъ воду. Меня хотѣли было также завербовать въ лейбъ-шампанцы; но я не могъ долго оставаться въ Вильнѣ: непреодолимая страсть влекла меня за границу...»

¹⁾ Публичные балы, на которыхъ каждый можетъ быть за опредѣленную цѣну, объявленную въ особой афишкѣ.

— Какъ!—вскричалъ Ленскій,—ты любишь? а я до сихъ поръ не зналъ этого!

— Да, мой другъ! — продолжалъ Сборскій, — любилъ, люблю и буду любить безъ памяти мой эскадронъ, съ которымъ я тогда почти два мѣсяца былъ въ разлукѣ. Повеселясь порядкомъ и оставя половину моей казны въ Вильнѣ, я на четвертый день отправился далѣе, на пятый переѣхалъ Пѣманъ, а на шестой увѣрился изъ опыта, что, въ эту національную войну, Пруссія была нашимъ вторымъ отечествомъ.

— Что правда, то правда!—перевалъ Рославлевъ;—добрые и честные пруссаки принимали насъ, какъ родныхъ братьевъ.

— И побратались съ нами послѣ на ратномъ полѣ,—сказалъ Ленскій.—Молодцы! лихо дерутся!

— И славно знаютъ фронтовую службу,—промолвилъ Зарядьевъ. — Какъ я поглядѣлъ въ Кенигсбергъ на ихъ разводъ, такъ—нечего сказать—засмотрѣлся! Конечно, нашъ братъ, старый ротный командиръ, могъ бы кой-что замѣтить въ ружейныхъ хваткахъ; но зато, какъ они прошли церемоніальнымъ маршемъ, такъ—я тебѣ скажу—чудо!

— Да, Василій Ивановичъ! я думаю, и въ этомъ они намъ не уступятъ. Однакожъ, прошу не прерывать меня, а не то я никогда не доскажу вамъ моего приключенія à la madame Radcliffe.

«Привыкнувъ видѣть одни запачканныя жидовскія мѣстечки, я не могъ довольно налюбоваться, въ первые два дня моего путешествія по Пруссіи, на прекрасныя деревни, богатыя усадьбы помѣщиковъ и на красивые города, въ которыхъ встрѣчали меня съ ласкою и гостепріимствомъ, напоминающимъ русское хлѣбосолюство; словомъ, все плѣняло меня въ сей землѣ устройства, порядка и благочинія. Начальники квартирныхъ комиссій и бургомистры городовъ, въ которыхъ я останавливался, отводили мнѣ всегда спокойныя и даже роскошныя квартиры; но въ семьѣ не безъ уroda, говорить русская пословица. На третій день моего

путешествія, я опоздалъ нѣсколько выѣхать изъ деревни, въ которой г. шульцъ ¹⁾, ревностный патріотъ и большой политикъ, вздумалъ угощать обѣденнымъ столомъ, въ моемъ единственномъ лицѣ, все русское войско. Этотъ деревенскій дипломатъ осыпалъ меня вопросами, рассказывалъ о тайныхъ намѣреніяхъ своего правительства, о поголовномъ возстаніи храбрыхъ нѣмцевъ, о русскихъ казакахъ, о прусскомъ ландштурмѣ и объявилъ мнѣ, между прочимъ, что Пруссія ожидаетъ къ себѣ одного великаго гостя.—Вы меня понимаете?—сказалъ онъ значительнымъ голосомъ.—Я пью за здоровье сего спасителя Пруссіи и всей Европы—гура!.. И за здоровье отца нашего, Фридриха—гура! А знаете ли вы?—продолжалъ онъ, понизивъ голосъ,—что при свѣтѣ сего августѣйшаго посѣтителя ѣдетъ инкогнито турецкій султанъ?.. За здоровье высокой особы, ѣдущей инкогнито... гура!—Я смѣялся, но кричалъ отъ всей души вмѣстѣ съ добрымъ моимъ хозяиномъ, который почти со слезами простился со мною, когда я подъ вечеръ пустился снова въ дорогу. Доѣхавъ часу въ одиннадцатомъ до небольшого городка, въ которомъ мнѣ должно было ночевать, я отправился къ бургомистру. Стукнулъ, сначала довольно тихо, мѣдной скобою въ толстую дубовую дверь: отвѣта не было; я застучалъ погромче: никто не шевелился въ цѣломъ домѣ. Ночь была холодная; я прозябъ до костей, усталъ и хотѣлъ спать; слѣдовательно, нimalo не удивительно, что позабылъ все приличіе и началъ такъ постукивать тяжелой скобою, что окна затряслись въ домѣ, и грозное: поцъ таузентъ! васъ истъ дасъ? прогремѣло, наконецъ, за дверьми; онѣ растворились; толстая мадамъ съ заспанными глазами высунула огромную голову въ миткалевомъ чепцѣ, и повторила вовсе не ласковымъ голосомъ свое: васъ истъ дасъ? Руссишеръ капитентъ,—закричалъ я также не слишкомъ вѣжливо; миткалевый чепецъ спрятался, двери захлоп-

1) Староста.

нулись, и я остался опять на холоду, который часть отъ-часу становился чувствительнѣе. Спусти нѣсколько минутъ, я принялся было снова за скобу; но двери, наконецъ, отворились, и та-же толстощекая барыня впустила меня въ сѣни, взвела на двѣ лѣстницы, и почти втокнула въ небольшую комнату, освѣщенную двумя сальными огарками. Передъ столомъ, накрытымъ зеленымъ запачканнымъ сукномъ, сидѣлъ пре-гордый мусью съ краснымъ носомъ; безконечныя, журавлиныя его ноги, не умѣщаясь подъ столомъ, тянулись величественно до половины комнаты; бѣлый халатъ, сшитый балахономъ, и преввысокій накрахмаленный колпакъ довершали сходство сего надменнаго градоначальника съ какимъ-то святочнымъ пугаломъ. По лѣвую сторону, въ изношенномъ скюртукѣ, съ видомъ глубочайшаго смиренія, сидѣлъ человекъ лѣтъ пятидесяти; въ зубахъ держалъ онъ перо, а на длинномъ его носѣ едва умѣщались... какъ бы вамъ сказать?.. не смѣю назвать очками эти огромныя клещи со стеклами, въ которыхъ былъ ущемленъ осанистый носъ сего господина. Когда я вошелъ въ комнату, геръ бургомейстеръ приподнялся на свои ходули и, показавъ мнѣ, молча, порожній стулъ, принялъ снова положеніе, приличное своему высокому сану.—Что вамъ угодно!—спросилъ онъ важнымъ голосомъ.

— Квартиру, — отвѣчалъ я.

— Кто вы?

— Русскій офицеръ.

— Вашъ чинъ?

— Штабсъ-ротмистръ.

— Гмъ, гмъ! Штабсъ-ротмистръ? Не болѣе?.. Писарь, пиши къ Готлибу Фрейману.

Писарь снялъ свои огромныя очки, протеръ ихъ своимъ носовымъ платкомъ, но за перо не принимался.

— Чтожъ ты намъ не пишешь?—спросилъ бургомистръ сердитымъ голосомъ.

— Не ошиблись ли вы?—сказалъ писарь:—къ Готлибу Фрейману?

— Да.

— Но если я осмѣлюсь вамъ замѣтить...

— Гальцѣ мауль,—закричалъ бургомистръ,—дѣлай, что приказываютъ.

Писарь замолчалъ, написалъ квартирный билетъ и, проводя меня до самой улицы, растолковалъ фурману, куда ѣхать. Минуты черезъ три, мы остановились у небольшого дома, въ которомъ нижній этажъ былъ освѣщенъ довольно ярко, а второй и третій казались зовсе необитаемыми. — Ого! — подумалъ я, входя въ просторную комнату, — да мой хозяинъ, какъ видно, живетъ весело! — Въ самомъ дѣлѣ, за тремя столами пировало человѣкъ двадцать, по большей части дурно одѣтыхъ и полупьяныхъ людей. Хозяинъ принялъ меня очень вѣжливо; но, казалось, смотрѣлъ съ удивленіемъ на мои эполеты и офицерскую саблю съ серебрянымъ темлякомъ. — Гдѣ же моя комната? — спросилъ я.

— Вотъ здѣсь, геръ капитанъ! — отвѣчалъ хозяинъ, показывая на дверь.

— Какъ! За этой перегородкой?

— Да! за этой перегородкой, геръ маіоръ.

— Дайте мнѣ другую комнату.

— Извините; у меня нѣтъ другой.

— А долго ли будутъ здѣсь пировать ваши гости?

— Можетъ-быть, всю ночь.

— Какъ, чортъ возьми! — кричалъ я; — чтожъ это значить? Гдѣ я?

— Въ кабацѣ, геръ гауптманъ! — отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ хозяинъ. — Не прикажете ли чего покушать?

Вмѣсто отвѣта, я накинулъ мою шинель, отправился назадъ къ бургомистру и поднялъ такой ужасный стукъ, что перебудилъ всѣхъ сосѣдей. Опять за дверьми кричали: *poor taugenitz!* Та же мадамъ прежнимъ порядкомъ ввела меня къ господину бургомистру, который, выслушавъ мои жалобы, поправилъ свой колпакъ и сказалъ писарю: — Пиши къ Адаму Фишеру. —

Писарь хотѣлъ было опять что-то возразить, но упрямый бургомистръ закричалъ громче прежняго:—Гальцъ мауль!—и я съ новымъ билетомъ пустился отыскивать другую квартиру. На этотъ разъ вояжъ мой былъ продолжительнѣе.—Кой чортъ! скоро ли мы доѣдемъ!—спросилъ я, наконецъ, моего фурмана.

— Сейчасъ, господинъ офицеръ!—отвѣчалъ фурманъ, рисуя по воздуху вензеля длиннымъ своимъ бичемъ.

— Но мы ужъ, кажется, выѣхали изъ города?

Фурманъ, не отвѣчая ни слова, взѣхалъ на длинную плотину, остановился и, приподнявъ свою шляпу, сказалъ:—Вотъ ваша квартира, господинъ офицеръ!

— Гдѣ?—спросилъ я, глядя во все стороны.

— Вотъ здѣсь!—продолжалъ ямщикъ, указывая бичемъ на высокую водяную мельницу.

Я соскочилъ съ телѣги; напудренный съ ногъ до головы работникъ принялъ мой билетъ, и я вслѣдъ за нимъ вскарабкался, по узенькой лѣстницѣ, въ небольшую свѣтелку, устроенную почти надъ самыми жерновами. Говорятъ, что пріятно дремать подъ шумъ водопада: этого я не испыталъ; но могу васъ увѣрить, что, несмотря на мою усталость, не могъ бы никакъ заснуть въ этой каморкѣ, въ которой полъ ходилъ ходуномъ, а стѣны дрожали и колебались, какъ будто бы отъ сильнаго землетрясенія. Признаюсь, я разсердился не на шутку, и принялся кричать такъ громко, что самъ хозяинъ мельницы спустился ко мнѣ изъ другой свѣтлицы, которая, вѣроятно, была подалѣе отъ жернововъ, и, увидя, что постоялецъ его русскій офицеръ, принялся шумѣть громче моего и ругать безъ милосердія бургомистра.

— Погодите, господинъ офицеръ!—вскричалъ онъ, отпустивъ дюжины двѣ швернотовъ,—погодите! Я сбѣгаю къ бургомистру, я растолкую этому дураку!.. да, дураку! Адамъ Фишеръ не заикнется сказать правду... шверного! Я скажу ему, что русскій офицеръ—доннеръ-веттеръ! долженъ имѣть лучшую квартиру въ

городѣ—сакрементъ!.. Небось, онъ не смѣлъ сажать французскихъ офицеровъ на мельницу—поцъ таузентъ! Гей, трость! шляпу... Я поговорю съ этимъ бургомистромъ!.. Я съ нимъ поговорю! Подождите, господинъ офицеръ, подождите!.. Крейцъ-веттеръ баталіонъ!.. — Вспыльчивый мельникъ, ухватя свою шляпу и трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, бросился, какъ бѣшеный, вонъ изъ комнаты, зацѣпилъ за что-то ногою, скатился кубаремъ съ лѣстницы, а черезъ минуту бѣжалъ ужъ по плотинѣ, крича во все горло:—Я поговорю съ нимъ—саперлотъ!.. Я съ нимъ поговорю!

Черезъ полчаса онъ возвратился съ торжествующимъ видомъ, держа въ рукахъ новый билетъ.—Вотъ, господинъ офицеръ,—сказалъ онъ,—извольте! Я говорилъ вамъ, что бургомистръ отъ меня не отдѣлается. Мы, пруссаки, должны любить и угощать русскихъ, какъ родныхъ братьевъ; Адамъ Фишеръ природный пруссакъ, а не выходецъ изъ Баваріи—доннеръ-веттеръ!

— Куда же мнѣ теперь ѣхать?—спросилъ я.

— Въ самую середину города, на площадь. Вамъ отведена квартира въ домѣ профессора Гутмана... Правда, ему теперь не до того; но у него есть жена... дѣти... а къ тому же одна дочь... Прощайте, господинъ офицеръ! Не судите о нашемъ городѣ по бургомистру: въ немъ нѣтъ ни капли прусской крови... Чортъ его просилъ у насъ поселиться — швернотъ!.. Жилъ бы у себя въ Баваріи—поцъ доннеръ-веттеръ!

Вотъ я отправился снова странствовать по городу. У дверей высокаго каменнаго дома встрѣтила меня съ фонаремъ молодая служанка и повела вверхъ по устланной коврами лѣстницѣ. Необыкновенная чистота и примѣтный во всемъ порядокъ мнѣ очень нравились; одно только казалось мнѣ страннымъ: служанка на всѣ мои вопросы отвѣчала съ какимъ-то смущеннымъ видомъ, вполголоса, и какъ будто бы къ чему-то прислушивалась. Когда мы взойшли во второй этажъ, выскочила на лѣстницу высокая и блѣдная женщина; она отвела къ сторонѣ служанку и начала съ нею шептаться.

Вдругъ громкій вопль раздался въ сосѣднемъ покоѣ; дверь была до половины растворена; я не могъ удержаться, и заглянулъ въ комнату. Молодая дѣвушка, испуская пронзительные крики, въ сильномъ нервическомъ припадкѣ каталась по полу; около нея суетились двѣ старухи въ черномъ платьѣ. Я поспѣшилъ къ нимъ на помощь и, пособляя положить на диванъ больную, не замѣтилъ сначала, что посреди комнаты въ открытомъ гробѣ лежитъ усопшій. И самъ не знаю, почему мнѣ вздумалось посмотреть на покойника. Онъ былъ роста необычайнаго и чрезмѣрно худъ; но на блѣдномъ лицѣ его не замѣтно было ничего смертнаго; казалось, онъ спалъ крѣпкимъ сномъ и готовъ былъ ежеминутно пробудиться: это былъ хозяинъ дома, умершій по-утру, а молодая дѣвушка—дочь его. Пока мы хлопотали около больной, горничная, войдя въ комнату, пригласила меня идти за собою и повела опять вверхъ по лѣстницѣ. Насчитавъ еще ступеней тридцать, я начиналъ уже опасаться, что, послѣ кабака и мельницы, попаду на чердакъ; но въ третьемъ этажѣ служанка остановилась, отворила дверь и, введя меня въ просторный покой, засвѣтила двѣ восковыя свѣчи.

Съ перваго взгляда, я удостовѣрился, что эта комната никогда не служила спальнею. Шкапы съ книгами, ландкарты, глобусы, бюсты древнихъ мудрецовъ, большой письменный столъ, заваленный бумагами: все доказывало, что я нахожусь въ кабинетѣ ученаго чело-вѣка. Узнавъ, что я не хочу ужинать, проворная служанка въ двѣ минуты приготовила мнѣ на широкомъ диванѣ мягкую постель, а для моего Афоньки постлала матрацъ, вѣроятно, для разительной противоположности—между двухъ шкаповъ съ латинскими и греческими мудрецами. Я раздѣлся; Афонька погасилъ свѣчи, повалился на свой матрацъ и запыхтѣлъ, какъ кузнечный мѣхъ. Несмотря на мою усталость, я не могъ долго заснуть: мнѣ безпрестанно мерещился покойникъ; всѣ черты лица его такъ живо врѣзались въ мою память, что, казалось, я видѣлъ его передъ со-

бою. Какъ я ни старался думать о другомъ, но напрасно: мой хозяинъ не выходилъ у меня изъ головы и мѣшалъ мнѣ заснуть. Не видя прока лежать съ закрытыми глазами, я принялся, отъ нечего дѣлать, разсматривать мою комнату. Ночь была лунная; вполонину освѣщенные шкапы, на которыхъ стояли бѣлыя вазы, походили на какіе-то надгробные памятники: изъ одного угла смотрѣлъ на меня Сократъ, изъ другого выглядывалъ Цицеронъ. Казалось, всѣ эти гипсовые головы готовы были заговорить со мною; но пуще всѣхъ надоѣлъ мнѣ колоссальный бюстъ Демокрита: вполнѣ освѣщенный луною, онъ стоялъ на высокомъ бѣломъ пьедесталѣ, противъ самой моей постели, скадилъ зубы и глядѣлъ на меня съ такой дьявольской усмѣшкой, что я, не видя возможности отдѣлаться иначе отъ этого нахала, зажмурилъ опять глаза, повернулся къ стѣнѣ и, наконецъ, хотя съ трудомъ, но заснулъ. Проклятый Демокритъ не хотѣлъ и тутъ разстаться: мнѣ снилось, что онъ на томъ же высокомъ пьедесталѣ стоитъ попрежнему противъ меня, что глаза его вертятся ужаснымъ образомъ, что онъ щелкаетъ на меня зубами... Вотъ, гляжу — онъ зашевелился... медленно сталъ ко мнѣ подходить... зашатался... упалъ мнѣ на грудь... Я вскрикнулъ, проснулся — и чтожъ увидѣлъ передъ собою? Человѣкъ... нѣтъ! чудовище въ бѣломъ саванѣ, положи мнѣ на грудь, какъ свинецъ, тяжелую руку и нагнувшись надо мною, смотрѣло мнѣ прямо въ лицо. Оно было гигантскаго роста; глаза его сверкали. Я хотѣлъ вскочить съ постели; но въ эту самую минуту страшилище повернуло головою, и луна освѣтила лицо его. Волосы мои стали дыбомъ, я обмеръ... это былъ покойникъ. Съ полминуты, не имѣя силы тронуться ни однимъ членомъ, смотрѣлъ я молча на сего ужаснаго гостя; въ груди моей не было голоса, языкъ мой онѣмѣлъ. Наконецъ, съ величайшимъ усиленіемъ, я прокричалъ кой-какъ имя моего слуги. Афонька приподнялся, заговорилъ вздоръ, почесалъ въ головѣ и захрапѣлъ громче

прежняго; а покойникъ, какъ будто бы разсердясь за мою попытку, закрипѣлъ зубами и, продолжая одной рукою давить мнѣ грудь, схватилъ другою за горло, стиснулъ: вся кровь бросилась мнѣ въ голову, въ глазахъ потемнѣло — и я обезпамятѣлъ.

Не знаю, долго ли я пролежалъ безъ чувствъ, только когда пришелъ въ себя, то увидѣлъ, что мертвецъ, крѣпко обхвативъ меня руками, лежитъ подлѣ меня лицомъ къ лицу; какъ ледъ холодная щека его прикасается къ моей щекѣ; раскрытые глаза его неподвижны .. онъ не дышитъ. Я рвусь, хочу высвободиться изъ этихъ адскихъ объятій — невозможно... Меня обнимаетъ бездушный трупъ, и руки, которыми я обхваченъ, замерли, окостенѣли. Не приведи, Господи, испытать никому того, что было со мною въ эту ужасную минуту! Я чувствовалъ — да, господа! я чувствовалъ, какъ кровь застывала понемногу въ моихъ жилахъ, какъ холодъ смерти переливался изъ бездушнаго трупа во всѣ оледенѣвшіе мои члены... Я снова лишился чувствъ. На этотъ разъ безпамятство мое было гораздо продолжительнѣе: я очнулся уже на другой день по-утру. Подлѣ меня сидѣли докторъ и хозяйка дома съ своей дочерью. Мнѣ пустили кровь, и когда я нѣсколько пообразумился, вдова съ горькими слезами объяснила мнѣ все приключеніе. Мужъ ея былъ боленъ сильнымъ воспаленіемъ въ мозгу; по-утру, въ день моего пріѣзда въ ихъ городъ, съ нимъ сдѣлался летаргическій припадокъ, обманувшій даже медика; никто не сомнѣвался въ его смерти, но онъ былъ еще живъ. Ночью, въ то время, какъ всѣ его домашніе, утомленные безсонницей, заснули, онъ всталъ и, хотя въ совершенномъ безпамятствѣ, но по какой-то машинальной привычкѣ, отправился прямо въ свой кабинетъ и пришелъ умереть на своей постели».

— Чортъ возьми! — вскричалъ Ленскій; — это, подлинно, эпизодъ изъ удольфскихъ тайнствъ!

— И весьма поучительный, — продолжалъ Сборскій. — Этотъ случай сдѣлалъ меня снисходительнѣе къ

слабостямъ другихъ. Бывало, я смѣялся надъ трусами и презиралъ ихъ, а теперь... знаете ли, что я о нихъ думаю? Страхъ есть дѣло невольное, и безъ сомнѣнія эти несчастные чувствуютъ нерѣдко то, что я, за грѣхи мои, однажды въ жизни испыталъ надъ самимъ собою; и если ужасныя страданія возбуждаютъ въ насъ не только жалость, но даже нѣкоторый родъ почтенія къ страдальцу, то знайте, господа, что трусы народъ препочтенный: никто въ цѣломъ мірѣ не терпитъ такой муки и не страдаетъ, какъ они.

— И я скажу то-же самое, — промолвилъ Зарядевъ, закуривая новую трубку табаку. — Мнѣ случилось видѣть трусовъ въ дѣлѣ—Господи, Боже мой! какъ ихъ коробитъ, сердечныхъ! Ну, словно душа съ тѣломъ разстается. На войнѣ нашъ братъ умираетъ только однажды, а они, бѣдные, каждый день читаютъ себѣ отходную. Зато ужъ въ мирное время... тѣфу, ты пропасть! храбрятся такъ, что и Боже упаси!

— Ну, Двинскій! — сказалъ Рославлевъ, — теперь очередь за вами—разсказывайте!

— Мое приключеніе, — сказалъ Двинскій, — коротко и обыкновенно: я струсилъ не смерти; напротивъ, я испугался того, что мнѣ не удастся умереть.

— Какъ такъ?—спросилъ Сборскій.

— А вотъ, слушайте!

IV.

Аванпостъ.

«Мѣсяцевъ шесть тому назадъ, я былъ прикомандированъ, по недостатку наличныхъ офицеровъ, къ М....му пѣхотному полку, стоявшему со стороны разлива, которымъ затоплены всѣ низкія мѣста вокругъ Данцига. Въ то время мы еще не храбровали, какъ теперь: данцигскій гарнизонъ былъ вдвое сильнѣе всего нашего блокаднаго корпуса, который вдобавокъ былъ растянутъ на большомъ пространствѣ, и, слѣдовательно,

при каждой вылазкѣ французовъ долженъ былъ сражаться съ непріятелемъ, въ нѣсколько разъ его сильнѣйшимъ; положеніе полка, а въ особенности роты, къ которой я былъ прикомандированъ, было весьма незавидно: мы жили вмѣстѣ съ милліонами лягушекъ, посреди лабиринта безчисленныхъ канавъ, обсаженныхъ однообразными ивами; вся рота помѣщалась въ крестьянской избѣ, на небольшомъ островѣ, окруженномъ съ одной стороны разливомъ, а съ другой—почти непроходимой грязью. Для прогулки мы имѣли одну большую и нѣсколько проселочныхъ дорогъ, но рѣдко пользовались симъ удовольствіемъ, по той причинѣ, что, ходя черезъ день въ караулъ, имѣли случай и безъ того вязнуть довольно часто по поясъ въ грязи и почти вплавъ переправляться въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были понаты водою. Однажды, рано по-утру, отправляясь для смѣны на передовой аванпостъ, я вздумалъ понѣжиться, и выпросилъ у нашего хозяина верховую лошадь. Пока мнѣ осѣдывали превысокую клячу, я приказалъ старшему вести людей, а самъ, въ полной увѣренности, что на борзомъ моемъ конѣ догоню ихъ въ нѣсколько минутъ, остался позавтракать».

— Эхъ, Двинскій, не хорошо! — прервалъ Зарядьевъ.—Караульный офицеръ не долженъ пяди отставать отъ своихъ солдатъ. Ты поступилъ совершенно противъ дисциплины и военного порядка.

— За это-то, видно, грѣхъ меня и попуталъ, — продолжалъ Двинскій. — «Я позавтракалъ, лихо вскочилъ на моего аргамака, приударилъ его нагайкою и выѣхалъ молодцомъ на большую дорогу. Сначала все шло довольно хорошо; мой огромный конь, на которомъ я сидѣлъ, какъ на каланчѣ, сдѣлалъ даже два или три курбета и обрызгалъ меня съ ногъ до головы грязью.—Держитесь крѣпче! — кричалъ мнѣ хозяинъ, провожая меня за ворота. Я взглянулъ на него съ презрѣніемъ, гордо поправилъ фуражку, подбоченился и, вмѣсто отвѣта, перескочилъ на моемъ верблюдѣ съ

удивительною ловкостію лужу, аршина въ два шириною; но этимъ и кончились всѣ блестящіе подвиги моего парадера. При первой новой лужѣ, онъ придумался, а при второй, я долженъ былъ минуты двѣ работать нагайкою, чтобъ заставить его идти въ бродъ. Наконецъ, кой-какъ я дотащился до поворота дороги; гляжу впередъ—не тутъ-то было: мои солдаты ушли изъ виду. Тутъ вспомнилъ я, что за нѣсколько дней, именно въ этотъ же часъ, небольшой отрядъ французовъ, вышедшій изъ города для фуражировки, чуть-чуть не вырѣзалъ нашъ аванпостъ: онъ спасся только тѣмъ, что подоспѣла смѣна; то-же самое могло случиться и во второй разъ. Отъ одной этой мысли волосы стали у меня дыбомъ; я принялся погонять мою клячу, и почти выбился изъ силъ, когда подъѣхалъ къ другому повороту, гдѣ начиналась сносная дорога, продолженная по низенькому валу; въ концѣ его, за небольшимъ лѣскомъ, расположенъ былъ нашъ аванпостъ. По правую сторону вала тянулись низкія поля, изрытыя канавами; а по лѣвую — разливъ и безконечный рядъ вѣтряныхъ мельницъ. Я сталъ смотрѣть впередъ; вижу въ сторонѣ казачій ведетъ, но вдали не блестятъ штыки моихъ солдатъ: все пусто и по всему валу до самой рощи не видно ни души. Вдругъ по вѣтру долетаютъ до меня какіе-то глухіе звуки... что-то похожее... знакомое. Я боюсь вѣрить... прислушиваюсь... Боже мой! меня бросаетъ въ холодный потъ! Мнѣ кажется... такъ точно!.. я не ошибаюсь! перестрѣлка!.. Солдаты мои дерутся, а я — начальникъ ихъ!.. Вся кровь застыла въ моихъ жилахъ, страхъ придаетъ мнѣ необычайныя силы, и я начинаю колотить съ такимъ ожесточеніемъ мой лошадиный остовъ, что онъ, послѣ нѣсколькихъ траверзовъ, пускается рысью. Вотъ уже я на половинѣ дорогѣ; пальба становится ежеминутно слышнѣе: я могу считать выстрѣлы; но это не простая аванпостная перестрѣлка, а ровный батальный огонь — итакъ, дѣло завязалось не на шутку. Боже мой! Боже мой! Отчаяніе мое доходитъ до высочай-

шей степени! Какъ дикій звѣрь вливаюсь я въ беззащитную мою клячу; казацкая плеть превращается въ рукѣ моей въ барабанную палку, удары сыплются какъ дождь: мой аргамакъ чувствуетъ, наконецъ, необходимость пуститься въ галопъ, подымается на заднія ноги, хочетъ сдѣлать скачокъ, спотыкается, падаетъ—и преспокойно располагается, лежа однимъ бокомъ на правой моей ногѣ — отдохнуть отъ тяжелыхъ трудовъ своихъ. Я стараюсь высвободить мою ногу—не могу. Кричу, зову на помощь — напрасно: отчаянный вопль мой теряется въ воздухѣ; все тихо кругомъ, и только впереди раздаются непрерывные выстрѣлы... Мнѣ кажется, что они приближаются... Такъ точно!.. можетъ-быть караульный офицеръ убитъ... люди остались безъ начальника... Вдругъ я почувствовалъ—да, господа! клянусь вамъ честью — мнѣ показалось, что пахнетъ порохомъ. Итакъ, нѣтъ сомнѣнія!.. Французы сбили нашъ аванпостъ; они близко — мои солдаты бѣгутъ!.. Какъ описать вамъ, что происходило тогда въ душѣ моей? Я видѣлъ себя обезглавленнымъ, погибшимъ — да, погибшимъ навѣки! Кого могъ бы я увѣрить, что не трусость, а одинъ несчастный случай и неосторожность разлучили меня съ моими солдатами, въ ту самую минуту, когда я долженъ былъ драться и умирать вмѣстѣ съ ними? Я видѣлъ уже себя отданнымъ подъ судъ, я слышалъ уже неизбежный приговоръ судей моихъ... въ ушахъ моихъ раздавались ужасныя слова: «По сентенціи военнаго суда, подпоручикъ Двинскій, за самовольную отлучку отъ команды во время сраженія съ непріателемъ...» Милосердый Боже!.. А отецъ мой!.. этотъ заслуженный, покрытый ранами и крестами дряхлый старикъ, который, прощаясь со мною, говорилъ мнѣ: «Ну, другъ мой! пришло горе и на святую Русь! Богъ съ тобою—ступай, умирай за царя и вѣру православную. Ваня! ты у меня одинъ, какъ порохъ въ глазу; но такъ и быть—Его святая воля! Если ты умрешь съ честью, то я поплачу, а все-таки увижусь съ тобою; но если ты...

Боже тебя сохрани... тогда и *тамъ* не смѣй мнѣ на глаза казаться». И чтоже? Я сынъ этого почтеннаго воина, обезславленный, заклеянный вѣчнымъ позоромъ... Ахъ, все это представилось такъ живо моему воображенію... голова моя пылала... Еслибъ я могъ, по крайней мѣрѣ, остановить моихъ солдатъ, подраться съ непріателемъ—нѣтъ, проклятая лошадь лежала какъ мертвая! Я не могъ ни привстать, ни пошевелиться, и хотя продолжалъ кричать, но никто не слѣшилъ ко мнѣ на помощь. Отчаяніе, страхъ, непрерывныя усилія довели меня, наконецъ, до такого расслабленія, что я начиналъ уже терять чувства, какъ вдругъ вижу—ко мнѣ бѣгутъ: это былъ казакъ, который услышалъ, наконецъ, мой крикъ. Онъ принялся тащить съ меня лошадь, а я закричалъ охриплымъ голосомъ: — Гдѣ французы, гдѣ?

— Французы? — отвѣчалъ спокойно казакъ: — вонъ тамъ.

— Гдѣ?..

— За нашимъ аванпостомъ.

— Такъ наши еще отстрѣливаются!.. Слава Богу!

— Нѣтъ, ваше благородіе! все смирно. Ну, бѣсъ тебя дери, вставай! — прибавилъ онъ, стащивъ съ меня лошадь.

— Какъ, смирно? — вскричалъ я, вскочивъ на ноги; — да развѣ ты не слышишь?

Казакъ вздрогнулъ, повернулся назадъ и сталъ прислушиваться.

— Что ты — оглохъ что ль... Развѣ не слышишь перестрѣлки?

— Никакъ нѣтъ, сударь! ничего не слышно.

— Да чтожъ это такое?

— Вотъ это, что стучить-то? Это толчея.

— Какъ?

— Да, ваше благородіе! вонъ въ этой мельницѣ, подлѣ которой я стою.

«Ухъ! какая свинцовая гора свалилась съ моего

сердца! Я бросился обнимать казака, перекрестился, захохоталъ какъ сумасшедшій, потомъ заплакалъ какъ ребенокъ, отдалъ казаку послѣдній мой талеръ и пустился бѣгомъ по валу. Въ нѣсколько минутъ я добѣжалъ до роши; между деревьевъ блеснули русскіе штыки: это были мои солдаты, которые, построясь для смѣны, ожидали меня у самаго аванпоста. Весь тотъ день я чувствовалъ себя нездоровымъ, на другой слегъ въ постель и схлебнулъ такую горячку, что чуть-чуть не отправился на тотъ свѣтъ.

— По дѣломъ, братъ!—прервалъ Зарядьевъ;—впередъ наука!

— И могу васъ увѣрить,—продолжалъ Двинскій,—что эта наука пошла мнѣ въ прокъ. Теперь, когда я веду смѣну, то иду всегда впереди, какъ на ученьи, передъ моимъ взводомъ.

— Да такъ и должно: когда офицеры при своихъ мѣстахъ, такъ и солдаты дѣлаютъ свое дѣло. Ну, что? за чѣмъ?—спросилъ Зарядьевъ, обратясь къ вошедшему ефрейтору.

— Я присланъ, ваше благородіе, съ пикета,—отвѣчалъ ефрейторъ.

— Зачѣмъ?

— На плесѣ показались двѣ лодки, ваше благородіе!

— Двѣ лодки?.. съ народомъ?

— Не могу знать, ваше благородіе! Темновато; а должно быть народу ме мало: лодки большія.

— Вѣрно, опять пробираются съ провіантомъ въ городъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! онѣ идутъ прямо на насъ отъ Гданска.

— Чтобъ это значило? Ступай, скажи сейчасъ караульному офицеру, чтобъ у людей всѣ ружья были заряжены!

— Слушаю, ваше благородіе!

— Постой! часовымъ окликать каждыя двѣ минуты кругъ друга.

— Слушаю, ваше благородіе!

— И полно, братецъ! — прервалъ Сборскій, — что тебѣ за радость по пустякамъ всѣхъ тревожить. Тутъ и спрашивать нечего: это наши сторожевые баркасы или канонерскія лодки.

— А почему ты это знаешь?

— Потому, что онѣ безпрестанно разѣзжаютъ по взморью, чтобъ не пропускать никого съ провіантомъ; это ихъ дѣло, а наше перехватывать только тѣхъ, которые пробираются вдоль берега.

— А если это французы? Нѣтъ, братъ, въ военное время дремать не надобно. Ефрейторъ! скажи также дежурному по ротѣ, чтобъ люди были на всякій случай въ готовности, и при первой тревогѣ выходили бы всѣ на сборное мѣсто.

— Слушаю, ваше благородіе!

— Ступай!

Ефрейторъ сдѣлалъ налѣво кругомъ, притопнулъ ногою и вышелъ вонъ изъ избы.

— Ну, Зарядьевъ! — сказалъ Сборскій, захохотавъ во все горло, — какъ Рославлевъ пугнулъ тебя своимъ Шамбюромъ: ты, никакъ, въ самомъ дѣлѣ думаешь, что онъ ѣдетъ къ намъ въ гости.

— А чортъ его знаетъ! — отвѣчалъ Зарядьевъ, набивая спокойно свою трубку. — Онъ ли, не онъ ли, по мнѣ все равно; главное въ томъ, чтобъ насъ никто врасплохъ не засталъ.

— Добро, добро! Тебя вѣдь ничѣмъ не переувѣришь. Ну, чтожъ, Ленскій? Теперь твоя очередь каяться. Покорно просимъ рассказать, гдѣ, когда и чего ты изволилъ струсить.

— Изъ моей исторіи, — сказалъ Ленскій, — можно сдѣлать, что хочешь: и забавный водевиль, и страшную мелодраму, только должно признаться, что въ обоихъ случаяхъ роль моя была бы вовсе незавидная; но дѣлать нечего: хоть и стыдно, а пришлось рассказывать. Прошу прослушать.

V.

НОЧЛЕГЪ ВЪ ЛѢСУ.

«Въ сраженіи подъ Чашниками я получилъ сильную контузію ядромъ, и такъ же, какъ ты, Сборскій, промаялся мѣсяца два въ жидовскомъ мѣстечкѣ; но только не дразнилъ жида оттого, что моимъ хозяиномъ былъ польскій крестьянинъ, и не бесѣдовалъ съ французами, потому что квартира моя была въ глухомъ переулкѣ, по которому не проходили ни французы, ни русскіе. По выздоровленіи моемъ, я отправился догонять мою роту, и такъ же, какъ ты, встрѣчалъ вездѣ ласковый пріемъ, то-есть меня кормили, поили и называли подчасъ ясно-вельможнымъ паномъ. На третій день моего путешествія мнѣ пришлось, подъ-вечеръ, ѣхать дремучимъ сосновымъ лѣсомъ; на дворѣ было погодно, попархивалъ мелкій снѣжокъ, и холодный вѣтеръ продувалъ насквозь мой плащъ, который нѣкогда былъ подбитъ ватою, но протерся такъ на бивакахъ, что во многихъ мѣстахъ былъ *ажуръ*. Часа полтора я зябнулъ молча; наконецъ, вышелъ изъ терпѣнія и закричалъ своему проводнику:—Да скоро ли мы доѣдемъ до ночлега, разбойникъ?

— А вотъ какъ выѣдемъ изъ лѣсу, пане! — отвѣчалъ проводникъ.

— А скоро ли мы выѣдемъ изъ лѣсу?

— А вотъ какъ переѣдемъ длинный мостъ, пане!

— Да скоро ли мы доѣдемъ до моста?

— А вотъ какъ подыдемся на гору, пане!

— Чортъ тебя возьми! Да гдѣ жъ эта гора?

— Не близко, пане! Не то двѣ, не то четыре добрыхъ мили.

. Я ужаснулся. И одна *добрая миля* въ Польшѣ стоитъ нашихъ семи верстъ, а четыре!...—Да нѣтъ ли гдѣ-нибудь поблизости господской мызы?—спросилъ я.

— Якъ же, пане! вонъ въ сторонѣ, бачишь, бялу муравянку?

Я обернулся въ ту сторону, на которую проводникъ указывалъ своимъ кнутомъ, и увидѣлъ, что въ концѣ узкой просѣки что-то бѣлѣлось, и мелькалъ огонекъ.—Что это? Господскій домъ?—спросилъ я.

— Такъ есть, пане!

— Вези насъ туда.

Полякъ поворотилъ въ просѣку, и чрезъ нѣсколько минутъ мы вѣхали на обширный дворъ. Съ поддужины всякаго рода собакъ подняли ужасный лай, а на крыльцо длиннаго отштукатуреннаго флигеля высыпало человѣкъ пять или шесть дюжихъ лакеевъ. Одинъ изъ нихъ принялъ меня подъ руку изъ саней и, введя въ просторную и весьма чисто убранную столовую, побѣждалъ доложить хозяину, что приѣхалъ русскій офицеръ. Судя по вѣжливому приему слугъ, я долженъ былъ надѣяться, что хозяинъ обойдется со мною очень ласково—и не ошибся. Двери въ гостиную растворились; небольшого роста худощавый старичокъ выбѣжалъ ко мнѣ навстрѣчу съ распростертыми объятіями.—Милости просимъ, дорогой гость!—закричалъ онъ по-русски, обнимая меня съ изъясненіями живѣйшей радости. — Милости просимъ! Для меня всегда истинный праздникъ, когда русскій офицеръ заѣдетъ въ мой домъ. Прошу покорно садиться. Да скиньте вашу саблю, отдохните, успокойтесь!—Я сталъ было извиняться, но ласковый хозяинъ не далъ мнѣ выговорить ни слова, осыпалъ меня привѣтствіями и, браня безъ милосердія французовъ, твердилъ безпрестанно:—Защитники, спасители наши! Какъ намъ васъ не любить? Еслибъ не вы, мы вовсе бы погибли! Эти злодѣи французы, грабители! Ползлота въ карманѣ не оставили; все обобрали: скотъ, хлѣбъ, деньги, вещи; ну, вѣрите ль Богу?—промолвилъ онъ, вынимая изъ кармана золотую табакерку рублей въ шестьсотъ, хоть по міру ступай по милости этихъ варваровъ: въ разоръ разорили насъ, бѣдныхъ!

Все это хорошо,—думалъ я;—но нищій, который нюхаетъ табакъ изъ золотой табакерки. вѣрно найдетъ,

чѣмъ покормить своего защитника и спасителя. Прошло около часу, хозяинъ не унимался хвалить русскихъ офицеровъ, бранить французовъ, и даже нѣсколько разъ, въ восторгѣ пламенной благодарности, прижималъ меня къ своему сердцу, но объ ужинѣ и рѣчи не было. Наконецъ, я рѣшился намекнуть, что русскій офицеръ также можетъ и устать и проголодаться. — Такъ вы хотите ужинать? — вскричалъ хозяинъ. — Что же вы не говорите? Помилуйте! вы здѣсь у себя дома — приказывайте! Для кого другого, а для васъ у меня все найдется. Гей, хлопецъ! Вошелъ слуга; хозяинъ пошепталъ ему что-то на-ухо, и принялся снова осыпать меня вѣжливостями. Прошло еще съ полчаса, и, признаюсь, это словесное угощеніе начало мнѣ становиться въ тягость, тѣмъ болѣе, что въ прищуренныхъ и лукавыхъ глазахъ хозяина замѣтно было что-то такое, что совершенно противорѣчило кроткому его голосу и словамъ, исполненнымъ ласки и чувствительности. Вошелъ слуга и доложилъ, что ужинъ готовъ. Мы вышли въ столовую. Небольшой круглый столъ былъ накрытъ для одного меня; на немъ стояла дорогая серебряная миска, два покрытыхъ блюда, также серебряныхъ, два граненыхъ графина съ водою, и на фарфоровой прекрасной тарелкѣ лежалъ маленькій ломтикъ хлѣба, такъ ровно, такъ гладко и такъ красиво отрѣзанный, что можно бѣ было имъ залюбоваться, еслибъ онъ не былъ чернѣ сапожной ваксы. — Не погнѣвайтесь! — сказалъ хозяинъ, садясь насупротивъ меня; я самъ никогда не ужинаю, а, признаюсь — люблю смотрѣть, когда у меня кушаютъ другіе. Прошу покорно! — продолжалъ онъ, подавая мнѣ глубокую тарелку съ супомъ. — Вы человѣкъ военный, вамъ не всегда удастся хорошо поужинать. Милости просимъ! это нѣмецкій васеръ-супъ.

Я хлебнулъ одну ложку... Владыко живота моего! Что это!.. Подогрѣтая мутная вода, въ которой не варился даже и картофель. Кушайте, мой дорогой гость! — повторялъ хозяинъ; — подкрѣпляйте ваши

силы — на здоровье! Этотъ супъ отменно питателенъ.—Я не зналъ, что думать; въ голосѣ этого злодѣя было такое добродушіе, въ улыбкѣ такая простота; но глаза — о, глаза его блистали и вертѣлись, какъ у демона!—Я вижу,—продолжалъ онъ,—вы неохотники до горячаго, такъ милости прошу нашего польскаго ростбифа.—Онъ открылъ одно блюдо, придвинулъ его ко мнѣ, и чтожъ... въ немъ лежала фунта въ три огромная кость, около которой не было и двухъ золотниковъ мяса. Я вспыхнулъ отъ досады; но, поглядѣвъ вокругъ себя и видя, что я одинъ-одинехонекъ посреди десяти рослыхъ слугъ, которые, какъ истуканы, стояли неподвижно вокругъ стола, скрѣпился и промолчалъ.

— Чтожъ вы не кушаете, мой почтеннѣйшій? — сказалъ хозяинъ.—А, понимаю!—Надобно прежде выпить? Конечно, конечно! Хотѣлось бы мнѣ попотчевать васъ хорошимъ венгерскимъ, да проклятые французы—чортъ бы ихъ взял! — все до капельки вытянули; но зато у меня есть домашнее пиво... Не хочу хвастаться — попробуйте сами. Эй, малый! бутылку мартовскаго пива! Принесли закупоренную бутылку; хозяинъ налилъ большой серебряный стаканъ и подаль мнѣ. Желая знать, какъ долго будетъ продолжаться эта мистификація, я выпилъ полстакана какой-то микстуры, которая походила на русскій, разведенный водою, квасъ. Между тѣмъ, хозяинъ, наскобля около кости кусочекъ мяса съ грецкій орѣхъ, поставилъ передо мною. Я такъ былъ голоденъ, что, несмотря на злость мою, проглотилъ этотъ приѣмъ ростбифа, и пропустилъ вслѣдъ за нимъ кусокъ чернаго хлѣба въ одну секунду.—Теперь,—сказалъ хозяинъ, я попотчую васъ рыбою изъ моихъ прудовъ. Французы и тутъ мнѣ надѣлали пакостей: всѣхъ крупныхъ карасей выловили. Что дѣлать? Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Прощу покорно!—Онъ открылъ послѣднее блюдо и съ дьявольскою улыбкою пододвинулъ ко мнѣ... нѣтъ, чортъ возьми! это уже изъ мѣры вонъ! одинъ жарен-

ный пискарь!.. Я не вытерпѣлъ, и вскочилъ изъ-за стола.—Что это, мой почтеннѣшій, вы не хотите кушать? — сказалъ этотъ предатель. — А все, чай, отъ усталости. Когда подумаешь, что вы, господа военные, для насъ, мирныхъ гражданъ, терпите!.. И холодъ, и голодъ, и всякую нужду: подлинно, мы не должны и сами ничего для васъ жалѣть. Но я вижу, вы, точно, устали, и хотите отдохнуть.

— Да, сударь! — сказалъ я прерывающимся отъ бѣшенства голосомъ; — прошу покорно показать мнѣ мою комнату.

— Я самъ буду имѣть честь проводить васъ. Гей, малый! свѣти!

Мы прошли длиннымъ коридоромъ на другой конецъ дома; слуга отперъ дверь и ввелъ насъ въ нетопленную комнату, которую, какъ замѣтно было, превратили на скорую руку изъ кладовой въ спальню.

— Помилуйте! — вскричалъ я, — да здѣсь замерзнешь!

— Извините, почтеннѣйшія! — отвѣчалъ хозяинъ. — Не смѣю положить васъ почивать въ другой комнатѣ: у меня въ домѣ больныя дѣти — заснуть не дадутъ; а здѣсь вамъ никто не помѣшаетъ. Холода же вы, господа военные, не боитесь: кто всю зиму провелъ на бивакахъ, тому эта комната должна показаться теплѣе банн.

— Но позвольте вамъ сказать...

— Не хочу мѣшать вамъ отдохнуть. Доброго сна, господинъ офицеръ! Покойной ночи!

Сказавъ сіи слова, хозяинъ хлопнулъ дверью, и я остался одинъ съ слугой моимъ Андреемъ, у котораго постная рожа была еще длиннѣе моей.—Что это, сударь? — сказалъ онъ, поглядѣвъ вокругъ себя: — куда это мы попали? Помилуйте! — вѣдь я еще ничего не ѣлъ.

— Убирайся къ чорту! Я самъ умираю съ голода.

— Какъ, сударь! такъ и васъ не лучше моего угостили? Меня въ кухнѣ все потчевали водою, да снесли отъ васъ говяжью кость, на которой и собака ничего

бы не отыскала. Это, дескать, твой баринъ плетъ тебѣ подачку. Разбойники! Эхъ, сударь, еслибъ мы были здѣсь съ вашей ротою!..

— Еслибъ!.. еслибъ!.. Молчи, дуракъ!

Андрей замолчалъ, а я сталъ раздѣваться и, поглядывая на приготовленную для меня постель, думалъ про себя: однакожъ, этотъ палачъ хочетъ, по крайней мѣрѣ, чтобъ я соснулъ хорошенъко. Тонкое, чистое бѣлье, прекрасное одѣяло изъ бѣлаго пике; одна маленькая подушка; но съ красивыми кисейными оборками.. Такъ и быть!.. Хотя я и голоденъ, да зато дамъ славную высылку! Я поторопился лечь; со всего размаха бросился на постель, и такъ закричалъ, что Андрей присѣлъ со страха. Представьте себѣ: подъ тонкой простыней однѣ голыя доски! Я схватился за бокъ—слава Богу! всѣ ребра цѣлы. Ну, такъ и быть! Военный человѣкъ не привыкъ спать на пуховикѣ: дѣлать нечего — авось какъ-нибудь засну: къ тому жъ; одна ночь пройдетъ скоро. Андрей погасилъ свѣчу и улегся на высококомъ окованномъ сундукѣ. Не прошло двухъ минутъ, какъ вдругъ цѣлое стадо огромныхъ крысъ высыпало изъ всѣхъ угловъ; пошла стукотня, возня, бѣготня взадъ и впередъ; одна укусила за ногу Андрея, двѣ пробѣжали по моему лицу. — Нѣтъ! это уже слишкомъ! Андрюшка! — вскричалъ я какъ бѣшеный, — ступай, отыщи моего извозчика, вели закладывать; я ѣду сейчасъ изъ этого омута.

— Помилуйте, сударь! Теперь полночь; а мнѣ люди говорили, что здѣсь въ лѣсу не ловко — мародеры... бѣглые солдаты...

— Вздоръ! — ступай, спроси свѣчу, и чтобъ въ полчаса насъ здѣсь не было.

Въ самомъ дѣлѣ, черезъ полчаса я сидѣлъ въ саняхъ; двое слугъ свѣтили мнѣ на крыльцѣ, а толстый экономъ объявилъ съ низкимъ поклономъ, будто бы господинъ его до того огорчился моимъ внезапнымъ отъѣздомъ, что не въ силахъ встать съ постели, и долженъ отказать себѣ въ удовольствіи проводить меня

за ворота своего дома; но надѣяться, однакожь, что я на возвратномъ пути... Я не далъ договорить этому бездѣльнику. — Скажи своему господину, — закричалъ я, — что если мнѣ случится быть въ другой разъ его гостемъ, то это будетъ не иначе, какъ съ цѣлою ротою русскихъ солдатъ. Пошелъ!

Проводникъ ударилъ по лошадаямъ, мы выѣхали изъ воротъ, и вслѣдъ за нами пронесся громкій хохоть. — Ахъ, чортъ возьми! Негодай! осмѣять такимъ позорнымъ образомъ, одурачить русскаго офицера! — Вся кровь во мнѣ кипѣла; но свѣжій вѣтерокъ расходилъ въ нѣсколько минутъ этотъ внутренній жаръ, и я спросилъ проводника: — Нѣтъ ли поблизости другой господской мызы? — Онъ отвѣчалъ мнѣ, что съ полмили отъ большой дороги живетъ богатый панъ Селява.

— Вези жъ меня къ этому пану! — сказалъ я. Полякъ повернулъ въ сторону, и мы проселочной дорогой, проложенной сквозъ частый лѣсъ, который становился все темнѣе, выѣхали черезъ нѣсколько минутъ на перекрестокъ. Проводникъ остановилъ лошадей, призадумался, и, наконецъ, пробормотавъ себѣ что-то подъ носъ, пустился по узенькой дорожкѣ, которая шла съ полверсты влѣво, и потомъ, поворота круто въ противную сторону, дѣлилась на-двое. Полякъ остановилъ опять лошадей, снялъ шапку, почесалъ въ головѣ и, оборотясь ко мнѣ, спросилъ: — По какой дорогѣ ему ѣхать?

— Какъ по какой? — сказалъ я: — да развѣ я знаю?

— И я не знаю, пане!

— Вотъ-те разъ! — вскричалъ Андрей; — мы заплутались. Экій болванъ! не знаетъ самъ, куда ѣдетъ.

— Дали букъ такъ! Цо робить, пане?

— Ну, дѣлать нечего! — сказалъ я; — ступай прямъ по дорогѣ: авось куда-нибудь выѣдемъ.

Мы снова двинулись впередъ; лѣсъ становился все гуще, дорожка уже, кругомъ насъ были волки, я дрожалъ отъ холода и, признаюсь, жалѣлъ отъ всей души

о прежнемъ ночлегѣ. Правда, моя спальня была холодновата, но въ лѣсу еще было холоднѣе, и, вмѣсто крысъ, насъ могла атаковать цѣлая стая голодныхъ волковъ, а все оружіе мое состояло въ одной саблѣ. Я начиналъ уже не на шутку беспокоиться, какъ вдругъ мелькнулъ между деревьями огонекъ. Слава Богу! вотъ и пріютъ! Полякъ обрадовался, замахалъ кнутомъ, и мы выѣхали на обширную луговину, посреди которой стоялъ низенькій домикъ, обнесенный высокимъ частоколомъ. Ворота были отперты; мы подъѣхали къ крыльцу, и я, въ сопровожденіи моего слуги, вошелъ въ переднюю. На простомъ деревянномъ столѣ догорала сальная свѣчка и слабо освѣщала стѣны, увѣшанныя ружьями, пистолетами и ножами. На широкой скамьѣ храпѣлъ огромный мужчина въ запачканномъ нагольномъ тулупѣ. Свѣтъ отъ пылающаго огарка падалъ прямо ему на лицо. Во всю жизнь мою я не видывалъ фізіономіи столь отвратительной и безобразной. Представьте себѣ красную рожу, изрытую глубокими рябинами, ротъ до ушей, плоскій носъ, немного уже рта, невыбритую бороду и рыжіе усы, которые, несмотря на величину свою, покрывали только до половины глубокой рубецъ, или, лучше сказать, яму на правой щекѣ его, противъ самой челюсти. Все это вмѣстѣ составляло такой верхъ безобразія, что даже мой Андрей, толкая его подъ бокъ, не могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія: — экій лѣшій... дьяволъ!.. Ай да красавецъ! — При третьемъ толчкѣ, красавецъ потянулся, зѣвнулъ и поднялся на ноги. — Слушай-ка, любезный! — сказалъ Андрей: — мы съ бариномъ заплутались; нельзя ли намъ здѣсь переночевать?

Вмѣсто отвѣта, уродъ вытаращилъ на насъ свои заспаные глаза и промышалъ какъ годовалый быкъ.

— Ну, проснись, братъ! — продолжалъ Андрей. — Что ты свои буркалы-то на насъ вытаращилъ? Иль не видишь, что баринъ мой русскій офицеръ?

— Полякъ кивнулъ головою и замычалъ громче прежняго.

— Да полно мычать-то! Тебя спрашиваютъ толкомъ: можно ли намъ здѣсь переночевать?

Полякъ раскрылъ свою огромную пасть и, показывая на небольшой остатокъ языка и на свой рубецъ, провылъ жалобнымъ голосомъ.

— Развѣ не видишь, что онъ нѣмъ?—сказалъ я.— Но если онъ не можетъ говорить самъ, то, кажется, понимаетъ, что говорятъ съ нимъ другіе. Послушай, голубчикъ, нѣтъ ли здѣсь, кромѣ тебя, кого-нибудь?

Нѣмой кивнулъ головою и вышелъ вонъ. Минутъ черезъ три дверь во внутреннія комнаты стала понемногу растворяться, и къ намъ заглянула новая харя, подъ пару прежней, только безъ усовъ и въ спальномъ женскомъ чепцѣ. Я сдѣлалъ шагъ впередъ, рожа спряталась, дверь захлопнули, и мы остались опять вдвоемъ съ Андреемъ. Подождавъ нѣсколько времени, я рѣшился добиться толку, и растворилъ дверь, которую такъ невѣжливо заперли у меня подъ носомъ. Слабый свѣтъ изъ передней отразился въ одномъ углу темной комнаты, и я, хотя съ трудомъ, но разсмотрѣлъ, что онъ заваленъ рогатинами. Вошелъ опять нѣмой и, давъ намъ знакъ рукою идти за нимъ, провелъ черезъ сѣни въ небольшую горенку, въ которой стояла кровать и накрытый столъ. Нашъ молчаливый проводникъ, показавъ мнѣ на графинъ съ водкою, большое блюдо съ холоднымъ жаркимъ, поставилъ на столъ свѣчу и вышелъ.—Ого!—подумалъ я, принимаясь за жаркое,—здѣсь, видно, лучше прежняго моего хозяина знаютъ русскую пословицу: соловья баснями не кормятъ. Но что за странность?—продолжалъ я вслухъ,—куда ни взглянешь, вездѣ оружіе. Этотъ домъ настоящій арсеналъ. Вотъ и здѣсь висятъ пистолеты.

— Только безъ кремней,—прибавилъ мой слуга;—а въ передней всѣ ружья въ исправности. А ножей-то, ножей!.. Охъ, сударь!.. Мнѣ это что-то подозрительно. Куда это мы съ вами запропастились?

— Трусъ! Тебѣ все мерещатся разбойники. На,

ѣшь, да ложись спать, вонъ, кажется, тамъ и для тебя подкинута постеленка.

— А развѣ вы не изволите раздѣваться?

— Нѣтъ! я завернусь въ шинель, сосну часика три, а тамъ и въ дорогу.

Глаза мои смыкались отъ усталости, и прежде, чѣмъ Андрей окончилъ свой ужинъ, я спалъ уже крѣпкимъ сномъ. Не знаю, долго ли онъ продолжался, только вдругъ я почувствовалъ, что меня будятъ. Я проснулся—вокругъ все темно; подлѣ меня, за дощатой перегородкой, смѣшанные голоса, и кто-то шепчетъ: — тише!.. Бога ради, тише! Не говорите ни слова.—Это былъ мой Андрей, который, дрожа всѣмъ тѣломъ, продолжалъ мнѣ шептать на-ухо: ну, сударь, пропали мы!..

— Что ты говоришь?

— Тише! ради Христа, тише!.. Мы у разбойниковъ.

— Какъ у разбойниковъ?..

— Молчите и слушайте!

Я замолчалъ и, едва переводя духъ, сталъ внимательно прислушиваться.

— Да, братъ, поработали мы сегодня порядкомъ!—говорилъ кто-то за перегородкой на чистомъ польскомъ языкѣ.—Нехъ его впсесцы дѣябли везмо!.. Какъ онъ возился съ нами—насилу утомили!

— Справились бы вы съ нимъ безъ меня!—прервалъ охрипый, отвратительный баст! — Да, да, ребята! еслибъ я не подоспѣлъ въ пору, такъ вамъ бы жутко пришлось. А что? каково я хватилъ его рогатиною? Небось—не промахнулся.

— Воля ваша,—заговорилъ кто-то довольно пріятнымъ голосомъ,—смѣйтесь надо мной, если хотите, а я, право, досажую, что пошелъ къ вамъ въ товарищи. Эй, господа! повѣрьте мнѣ, рано ли, поздно ли, а намъ бѣды не миновать; и что за радость? прибыли мало...

— Да зато потѣхи много!—пропищалъ кто-то тоненькимъ голоскомъ.

— Хороша потѣха! Десятеро на одного. Вспомнить не могу—бѣдняжка! какъ онъ застоналъ, когда повалился наземь.

— Вотъ еще какой сердечкинъ,—прервалъ охрип-
лый басъ съ громкимъ хохотомъ,—небось, ты по головкѣ бы его погладилъ?

— Да я таки и приласкалъ его по головкѣ при-
кладомъ!—подхватилъ первый голосъ.—Экій живучій—
проваль бы его взять!—Двѣ пули на вылетъ, рогатина
въ боку, а все еще шевелился. Э, панъ Будинскій! по-
смотри-ка на себя! у тебя руки и все платье въ крови!
Поди, умойся.

— Постой, дай прежде выпить,—отвѣчалъ грубый
голосъ.—Гей, водки!

Можете себѣ представить, каково мнѣ было слу-
шать этотъ звѣрскій разговоръ. Послѣ минувшаго мол-
чанія, тотъ же басъ заревѣлъ:—Чтожъ водки-то? Гей,
панна Казимира, панна Казимира! ну, поворачивайся
проворнѣй!

— Тише, панъ!—заговорилъ женскій голосъ:—вы
этакъ разбудите проѣзжихъ.

Меня обдало съ головы до ногъ холодомъ.—Ну!—
подумалъ я,—доходитъ и до насъ дѣло.

— Какихъ проѣзжихъ?—спросилъ тонкій голосъ.

— Какой-то русскій офицеръ съ слугою. Они заплу-
тались и заѣхали сюда.

— Добро пожаловать!—сказалъ вполголоса охрип-
лый басъ.—Да гдѣ же они?

— Вотъ здѣсь—за стѣною.

Тутъ голоса притихли. Я приложилъ ухо къ пере-
городкѣ, и съ трудомъ вслушался въ нѣсколько отры-
вистыхъ фразъ. Казалось, тотъ же охрипый басъ го-
ворилъ вполголоса:—Да, да, Казимира! скажи, чтобъ
фурмана съ лошадьми отпустили: нашъ гость завтра
не поѣдетъ.

— Слышите ль, сударь? — шепнулъ Андрей дро-
жащимъ голосомъ.

— Мы угостимъ его по-своему! — продолжалъ

басъ.—Пойдемте отсюда, братцы. Янъ! какъ съѣдутъ со двора, ворота запереть и спустить собакъ.

— Хорошо угощенье!—подумаль я, чувствуя во всемъ тѣлѣ что-то похожее на лихорадочный ознобъ.

— Ну, сударь!—сказаль Андрей, когда все утихло за перегородкою.

— Да, мой другъ!—нѣтъ сомнѣнья: мы у разбойниковъ.

— Что намъ дѣлать?

— Спасаться, пока еще можно.

— Но какъ, сударь? Весь домъ набить людьми.

— Подождемъ, пока всѣ улягутся.

— А если ворота будутъ заперты?

— Мы перелѣземъ черезъ заборъ. Но молчи! если догадаются, что мы не спимъ...

— Боже сохрани! тутъ намъ и карачунъ.

Прошло съ полчаса; нашъ проводникъ съѣхаль со двора, ворота заперли и, казалось, кругомъ насъ все затихло. Андрей отворилъ потихоньку дверь, заглянулъ въ сѣни: въ нихъ не было никого. Я надѣлъ шинель, подпоясался шарфомъ и, держа въ рукахъ обнаженную саблю, вышелъ вмѣстѣ съ нимъ на крыльцо. Начинало уже свѣтать; окинувъ быстрымъ взглядомъ весь дворъ, я замѣтилъ, что въ одномъ углу забора не доставало нѣсколькихъ частоколинъ и можно было безъ труда пролѣзть въ отверстіе. Кругомъ дремучій лѣсъ; если успѣемъ до него добраться—мы спасены. Потихоньку, почти ползкомъ, мы прокрались вдоль стѣны къ углу дома. Заборъ отъ насъ въ пяти шагахъ... еще нѣсколько минутъ, и мы на свободѣ!.. Вдругъ двѣ огромныя медеянскія собаки бросаются къ намъ навстрѣчу... Я былъ впереди и успѣлъ выскочить въ отверстіе. Но бѣдный Андрей — ахъ! я слышалъ его отчаянный крикъ, который сливался съ лаемъ собакъ и громкими голосами людей, выбѣгающихъ изъ дома. Я могъ остаться, могъ умереть вмѣстѣ съ нимъ; но спасти его было невозможно. А если мнѣ посчастливится уйти отъ разбойниковъ, то въ первой

деревнѣ я найду помощь, ворочусь съ вооруженными людьми и, можетъ-быть, застану его еще въ живыхъ. Вотъ что думалъ я, спѣша добѣжать до лѣсу. Я былъ уже на половинѣ дороги, какъ вдругъ слышу позади себя близкій лай; оглядываюсь — о, ужасъ!.. За мной гонится одна изъ собакъ. Я собираю всѣ мои силы — не бѣгу, а лечу... страхъ — да, господа, признаюсь — страхъ придаетъ мнѣ крылья. Вотъ уже я въ лѣсу — бѣгу, куда глаза глядятъ, перепрыгиваю черезъ кусты, колодцы, валежники... Проклятая собака, какъ тѣнь, слѣдуетъ за мною, она уже въ двухъ шагахъ; я слышу ея удушливое дыханіе... Принужденный защищаться, я останавливаюсь и, прислонясь къ толстому дереву, начинаю отмахиваться моею саблею. Злобная собака вертится, прыгаетъ вокругъ меня. Ужасный ревъ ея раздался по всему лѣсу, и пѣна бьетъ клубомъ изъ ея открытой пасти. Нѣсколько разъ я пытался нападать на нее самъ, но всякій разъ безъ успѣха; казалось, она отгадывала впередъ всѣ мои движенія: то бросалась въ сторону, то отскакивала назадъ, и всѣ сабельные мои удары падали на безвинные деревья и кусты. Наконецъ, зло взяло меня... Я бѣшусь, рублю съ плеча во всѣ стороны: кругомъ меня справа и слѣва летятъ щепы, а проклятая собака цѣлехонька, и часъ отъ-часу становится неотвязчивѣе.

— Постой-ка! — прервалъ Зарядьевъ. — Посмотрите господа! Что это такое — вонъ тамъ за кустами?

— Гдѣ? — спросилъ Сборскій, взглянувъ въ окно.

— Ну, вонъ! противъ нашей квартиры.

— Я ничего не вижу.

— И я теперь не вижу ничего, а право мнѣ показалось, что тамъ мелькнуло что-то похожее на штыкъ.

— И, полно, братецъ! Тебѣ все чудятся штыки да ружья! Нужно было прервать Ленскаго въ самомъ интересномъ мѣстѣ. И тебѣ охота его слушать? Рассказывай, братецъ!

Зарядьевъ, не отвѣчая ничего, продолжалъ смотрѣть въ окно, а Ленскій началъ снова.

«Болѣе четверти часа продолжался сей неравный бой; я начиналъ уставать, сабли една держалась въ ослабѣвшей рукѣ моей. Вдругъ послышались шаги поспѣшно идущихъ людей; собака, почуявъ приближающуюся къ ней помощь, оцетинилась, заревѣла какъ тигръ и кинулась мнѣ прямо на грудь. Я опустил саблю, но ударъ пришелся плашмя и не сдѣлалъ ей никакого вреда; а собака, вцѣпясь зубами въ мою шинель, прижала меня плотно къ дереву. Вокругъ меня загремѣли голоса:—Сюда! сюда! онъ здѣсь!.. вотъ онъ! и человекъ шесть съ фонарями выбѣжали изъ-за кустовъ. Сердце у меня замерло, руки опустились, и я долженъ вамъ признаться, что въ эту рѣшительную минуту страхъ былъ единственнымъ моимъ чувствомъ. Но прошу не очень забавляться на мой счетъ: погибнуть на полѣ чести, среди своихъ товарищей, или умереть безвѣстной смертію, подъ ножами подлыхъ убійцъ... Да, господа, кто не испыталъ этой чертовской разницы, тотъ не можетъ и не долженъ смѣяться надо мною.

«Разбойники, вмѣсто того, чтобъ воспользоваться беззащитнымъ моимъ положеніемъ, стащили съ меня собаку. Чувство свободы возвратило мнѣ всю мою бодрость.—Злодѣи!—закричалъ я,—чего вы отъ меня хотите? Все, что я имѣю, осталось у васъ; а если вамъ нужна жизнь моя...

— Господинъ офицеръ! — прервалъ кто-то знакомымъ уже для меня хриплымъ басомъ:—вы ошибаетесь: мы не разбойники.

— Не разбойники?.. А мой несчастный слуга?..

— Я здѣсь, сударь!—закричалъ Андрей, выступая изъ толпы.

— Да, господинъ офицеръ!—продолжалъ тотъ же басистый незнакомецъ,—мы, точно, не разбойники; а чтобъ вѣрнѣе вамъ это доказать, честь имѣю представить вамъ здѣшняго капитанъ-исправника.

— Плохое доказательство!—подумалъ бы я въ другое время; но въ эту минуту мнѣ было не до шутокъ.

— Позвольте мнѣ рекомендовать себя, — сказалъ тоненькимъ голосомъ сухощавый и длинный мужчина.

— Чтожъ значить, — спросилъ я, не выпуская изъ рукъ моей сабли, — этотъ уединенный домъ, оружіе?..

— Это мой охотничій хуторъ, — подхватилъ толстоголосый господинъ, — а я самъ здѣшній повѣтовый маршалъ, помѣщикъ Селява; мое село въ пяти верстахъ отсюда...

— Возможно ли?.. но разговоръ, который я слышалъ: убійство... кровь...

— О, въ этомъ уголовномъ преступленіи мы записаться не станемъ, — запищалъ исправникъ: — мы нынче ночью били медвѣдя.

— Медвѣдя?..

— Да, господинъ офицеръ! — прибавилъ панъ Селява; — и если вамъ угодно на него взглянуть... диковинка! Медвѣдище аршинъ трехъ, съ просѣдью...

— А для чего вы усадили моего проводника?

— Для того, чтобъ имѣть удовольствіе удержать васъ завтра у себя, а послѣзавтра на своихъ лошадяхъ доставить на первую станцію.

Не знаю самъ, какое чувство было во мнѣ сильнѣе: радость ли, что я попалъ къ добрымъ людямъ вмѣсто разбойниковъ, или стыдъ, что ошибся такимъ глупымъ и смѣшнымъ образомъ. Я отъ всей души согласился на желаніе пана Селявы; весь этотъ день пропировалъ съ ними вмѣстѣ, и не забуду никогда его хлѣбосольства и ласковаго обхожденія. На другой день...

— Что это? — вскричалъ Зарядьевъ.

Вдругъ раздался выстрѣлъ; ружейная пуля, прорѣзавъ стекло, ударила въ мѣдный подсвѣчникъ и сшибла его со стола.

— Что это значить? — спросилъ Сборскій. — Еще!..

— Французы! французы!.. — закричала хозяйка, вбѣгая въ комнату.

Офицеры бросились опрометью вонъ изъ избы. Хозяйка кинулась вслѣдъ за ними, заперла ключомъ дверь и спряталась въ погребъ. Все это сдѣлалось въ теченіе

какой-нибудь пол-минуты и прежде, чѣмъ Зарядьевъ успѣлъ выбраться изъ подъ стола, который во время суматохи опрокинулся на его сторону. Межъ тѣмъ, французы зажгли одинъ крестьянскій домъ, рассыпались по улицѣ, и пальба безпрестанно усиливалась. Зарядьевъ старался выломать дверь, какъ полоумный бросался изъ угла въ уголъ, каждый выстрѣлъ попадалъ ему прямо въ сердце.—Боже мой! Боже мой!..—кричалъ онъ;—еслибъ я могъ!..—Онъ схватилъ стулъ, вышибъ раму и кинулся въ окно. Но бѣдный капитанъ забылъ въ суетахъ о своемъ маіорскомъ чревѣ: высунувшись до половины въ окно, онъ завязъ и, несмотря на всѣ свои усилія, не могъ пошевелиться. Пули съ визгомъ летали по улицѣ, свистѣли надъ головою, но ему было не до нихъ; при свѣтѣ пожара, онъ видѣлъ, какъ непріятельскіе стрѣлки бѣгали взадъ и впередъ, стрѣляли по домамъ, кололи штыками встрѣчающихся имъ русскихъ солдатъ, а рота не строилась... — Къ ружью! выходи! — кричалъ во все горло Зарядьевъ, стараясь высунуться какъ можно болѣе.—Я васъ, негодные!.. Завтра же фельдфебеля въ солдаты—я дамъ ему знать!.. Ну, слава Богу!.. Залпъ! другой! Живѣй, ребята!.. живѣй! Вотъ такъ! Стрѣлки впередъ!.. Катай ихъ, разбойниковъ!

Но не одинъ Зарядьевъ кричалъ, какъ сумасшедшій: французскій офицеръ въ гусарскомъ мундирѣ, съ подвязанной рукой, бѣгалъ по улицѣ и командовалъ во весь голосъ, какъ на ученьѣ:—*Feu, mes enfants, feu! visez bien!.. aux officiers! En avant!* Нѣсколько минутъ продолжалась сія ужасная суматоха; наконецъ, большая часть роты выстроилась на сборномъ мѣстѣ; Двинскій и другіе офицеры ударили съ нею на французовъ, и началась упорная перестрѣлка. Непріатели стали подаваться назадъ, вдругъ сдѣлали залпъ и бросились въ кусты. Двинскій скомандовалъ впередъ; но изъ-за кустовъ посыпались пули, онъ долженъ былъ снова пріостановиться. Перестрѣлка стала утихать, наши стрѣлки побѣжали въ кусты, мноюходомъ захватили

человѣкъ пять отсталыхъ непріятелей и, добѣжавъ до морского берега, увидѣли двѣ лодки, которыя шли назадъ въ Данцигъ, и были уже внѣ нашихъ выстрѣловъ. Офицеры поспѣшили возвратиться скорѣй въ деревню, помочь обывателямъ тушить пожаръ.

— Ахъ, чортъ возьми!—сказалъ Сборскій, подходя къ деревнѣ,—какой нечаянный визитъ, и, вѣрно, это проказникъ Шамбюръ. Однакожъ, господа! куда дѣвался нашъ капитанъ?

— Я слышалъ его голосъ,—отвѣчалъ Двинскій,—а самого не видалъ.

— Ужъ не убить ли онъ?.. Но что это за крикъ?

Офицеры и человѣкъ десять солдатъ побѣжали на голосъ, и чтожъ представилось ихъ взорамъ? Зарядевъ, въ описанномъ уже нами положеніи, блѣдный какъ смерть, кричалъ отчаяннымъ голосомъ: — Помогите, помогите!.. горю! — Офицеры кинулись въ избу, выломали дверь, и густой дымъ столбомъ погалилъ имъ навстрѣчу. Позади несчастнаго капитана пылалъ опрокинутый столъ: во время тревоги никто не замѣтилъ, что свѣча, которую сшибло пулею со стола, не погасла; отъ нея загорѣлась скатерть; а какъ тушить было некому, то вскорѣ весь столъ запылалъ. Тотчасъ залили огонь; но гораздо труднѣе было протащить назадъ въ избу Зарядева, который напугался до того, что продолжалъ ревѣть въ источникъ даже и тогда, когда огонь былъ потушенъ. Кой-какъ толстый капитанъ выбрался изъ окна; минуты двѣ смотрѣлъ онъ на всѣхъ молча, хваталъ себя за ноги и ощущивалъ подошвы, которыя почти совсѣмъ прогорѣли.

— Тьфу, батюшка!—сказалъ онъ, наконецъ;—ну, оказія! ухъ! опомниться не могу!.. Эй, трубку!

— Что, братъ? — сказалъ Сборскій; — не за тобой ли теперь очередь рассказывать исторію твоего испуга?

— Чего тутъ рассказывать: развѣ вы не видѣли?

Проваль бы его взял! Вѣдь это былъ разбойникъ Шамбюръ.

— Пѣнные говорятъ, что онъ, — сказалъ Двинскій.

— И, дурачье! не умѣли его подстрѣлить — рото-зѣи!... Гдѣ мой кисеть?

— Спасибо Шамбюру, — прервалъ Сборскій, — теперь не станешь передъ нами чваниться. Что, чай, скажешь, не струсилъ?

— Не струсилъ! — повторилъ Зарядьевъ сквозь зубы; набивая свою трубку. — Нѣтъ, братъ, струсишь поневолѣ, какъ примутся тебя жарить маленькимъ огонькомъ и начнутъ съ пятокъ. Что ты, Деминъ? — продолжалъ капитанъ, увидя вошедшаго унтеръ-офицера.

— Дежурный по ротѣ, ваше благородіе! Сейчас дѣлали переключку: убитыхъ поднято пять, да ранено двѣнадцать рядовыхъ и одинъ унтеръ-офицеръ.

— Кто? — спросилъ Зарядьевъ.

— Я, ваше благородіе!

— Во что?

— Въ правую руку.

— Ахъ, Боже мой, — вскричалъ Сборскій, — у него вся кисть раздроблена, а онъ даже и не морщится!

— Вѣрно, съ горяча не чувствуешь? — спросилъ Ленскій.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! больно мозжитъ.

— Чтожъ ты нейдешь къ лѣкару? — закричалъ Зарядьевъ. — Пошелъ скорѣй, дуракъ!

— Слушаю, ваше благородіе! — Деминъ сдѣлалъ на-лѣво кругомъ и вышелъ вонъ изъ избы.

— А гдѣ Рославлевъ? — спросилъ Сборскій.

— Я его не видѣлъ, — отвѣчалъ Ленскій.

— И я, — прибавилъ Двинскій.

— Ахъ, Боже мой! — вскричалъ Сборскій, — теперь я вспомнилъ: мы ушли задними воротами, а онъ прямо выскочилъ на улицу.

— Ужъ не убить ли онъ? — сказалъ Зарядьевъ.

— Сохрани Боже!.. Но, можетъ-быть, онъ тяжело раненъ и лежитъ теперь гдѣ-нибудь безъ всякой помощи. Эй, хозяйка! фонарь! За мной, господа! Бѣдный Рославлевъ.

Всѣ офицеры выбѣжали изъ избы; къ нимъ присоединилось человѣкъ пятьдесятъ солдатъ. Мѣсто сраженія было не слишкомъ обширно, и въ нѣсколько минутъ на улицѣ всѣ уголки были обшарены. Въ кустахъ нашли трехъ убитыхъ непріятелей, но Рославлева нигдѣ не было. Наконецъ, вся толпа вышла на морской берегъ.—Вотъ гдѣ они причаливали,—сказалъ Ленскій.—Посмотрите! второпяхъ два весла и багоръ забыли. А это что бѣлѣется подлѣ куста?

Зарядьевъ наклонился и поднялъ бѣлую фуражку.

— Кавалерійская фуражка!—закричалъ Сборскій.— Она была на Рославлевѣ, когда мы выбѣжали изъ избы; но гдѣ же онъ.

— Если живъ, — отвѣчалъ Двинскій, — такъ не далеко теперь отъ Данцига.

— Онъ въ плѣну! Бѣдный Рославлевъ!

— Эхъ, жаль!.. — сказалъ Ленскій, — въ Данцигѣ умираютъ съ голода, а онъ, бѣдняжка, не успѣлъ и перекусить съ нами! Ну, дѣлать нечего, господа, пойдемте ужинать.

VI.

Данцигскіе жители, а особливо тѣ, кои не были далѣе пограничнаго съ ними прусскаго городка Дершау, говорятъ всегда съ замѣтною гордостію о своемъ *великолѣпномъ* городѣ; есть даже нѣмецкая пѣсня, которая начинается слѣдующими словами: О, Данцигъ, о, Данцигъ, о, чудесно-красивый городъ! ¹⁾ И когда рѣчь дойдетъ до главной городской площади, называемой Лангъ-Газъ, то восторгъ ихъ превращается въ совершенное изступленіе. По ихъ словамъ, нѣтъ въ мірѣ

¹⁾ О Danzig, o Danzig! o wunderschöne Stadt!

площади, прекраснѣе и величественнѣе этой, ибо она застроена со всѣхъ сторонъ отличными зданіями, которыя хотя и походятъ на карточные домики, но зато высоки, пестры и отмѣнно фигурны. Конечно, эта обширная площадь не длиннѣе ста шаговъ, и гораздо уже всякой широкой петербургской или берлинской улицы, но въ сравненіи съ коридорами и ущелинами, которые данцигскіе жители не стыдятся называть улицами и переулками, она, дѣйствительно, походить на что-то огромное, и еслибъ середины ея не занималъ чугунный Нептунъ на дельфинахъ, изъ которыхъ льется, по праздникамъ, вода, то этотъ Лангъ-Газъ былъ бы, безъ сомнѣнія, гораздо просторнѣе—московскаго екзерциръ-гауза!

Надъ дверьми одного изъ угольныхъ домовъ сей знаменитой площади, красивая вывѣска съ надписью на французскомъ языкѣ извѣщала всѣхъ прохожихъ, что тутъ помѣщается лучшая кондитерская лавка въ городѣ, подъ названіемъ: Café Français. Внутри, за наложеннымъ орѣховымъ прилавкомъ, сидѣла худощавая мадамъ въ розовой гирляндѣ и крупномъ янтарномъ ожерельи. Она съ примѣтнымъ горемъ посматривала на пустые шкапы своей лавки, въ которыхъ, вѣроятно, также въ родѣ вывѣски, стояли два огромные паштета изъ картузной бумаги. При входѣ каждаго новаго посѣтителя, мадамъ вѣжливо привставала и спрашивала съ нѣжной улыбкою: «Ке фуле-фу, монсье? — Чего вамъ угодно, сударь?» Обыкновенно требованія ограничивались чашкой кофе или шоколада; но о хлѣбѣ, кренделяхъ, сухаряхъ, и вообще о томъ, что можетъ утолить голодъ, и въ поминѣ не было.

Въ одномъ углу комнаты, за небольшимъ столомъ пили кофе трое французскихъ офицеровъ, заѣдая его порціоннымъ хлѣбомъ, который принесли съ собою. Одинъ изъ нихъ, съ смуглымъ лицомъ, безъ руки, казался очень печальнымъ; другой, краснощекій толстякъ, прихлебывалъ съ разстановкою свой кофе, какъ человѣкъ, отдыхающій послѣ сытнаго обѣда; а третій, мо-

лодой кавалеристъ, съ веселой, открытой фізіономією, обмакивая свой хлѣбъ въ чашку, напѣвалъ сквозь зубы какіе-то куплеты. Поодоль отъ нихъ сидѣлъ задумавшись, подлѣ окна, молодой человѣкъ, закутанный въ сѣрую шинель; передъ нимъ стояла не допитая рюмка ликера и лежалъ ломоть черстватаго хлѣба.

— Перестанешь ли ты хмуриться, Мильсанъ? — сказалъ, допивъ свою чашку, краснощекій толстякъ.

— Да чему прикажете мнѣ радоваться?—отвѣчалъ безрукій офицеръ.—Не тому ли, что мнѣ, вмѣсто головы, оторвало руку?

— Ну, право, ты не французъ!—продолжалъ толстый офицеръ: — всякая бездѣлка опечалить тебя на нѣсколько мѣсяцевъ. Конечно, досадно, что отпилили твою лѣвую руку; но зато у тебя осталась правая, а сверхъ того полторы тысячи франковъ пенсіона, который тебѣ слѣдуетъ...

— И за которымъ мнѣ придется ѣхать на луну,—прервалъ Мильсанъ.

— Нѣтъ, не на луну, а въ Парижъ. Императоръ никогда не забывалъ награждать изувѣченныхъ на службѣ офицеровъ.

— Императоръ! Да! ему теперь до этого; послѣ проклятаго сраженія подъ Лейпцигомъ...

— Да что ты, Мильсанъ, вѣришь русскимъ!—вскричалъ молодой кавалеристъ;—вѣдь теперь за нихъ морозъ не станетъ дратся; а бѣдные нѣмцы такъ привыкли отъ насъ бѣгать, что имъ и въ голову не придетъ порядкомъ схватиться — и съ кѣмъ же?.. съ самимъ императоромъ! Русскіе нарочно выдумали это извѣстіе, чтобъ мы скорѣй сдались.—*Ils sont malins, ces barbares!* Не правда ли, господинъ Папилью?—продолжалъ онъ, относясь къ толстому офицеру.—Вы часто бываете у Раппа, и должны знать лучше нашего.

— Да,—отвѣчалъ Папилью,—я и сегодня обѣдалъ у его превосходительства.—Чортъ возьми! гдѣ онъ досталъ такого славнаго повара? Какой биштексъ сдѣ-

далъ намъ этотъ бездѣльникъ изъ лошадиного мяса!.. Повѣрите ли, господинъ Розенганъ...

— Не объ этомъ рѣчь, — прервалъ кавалеристъ; — что говоритъ генераль о лейпцигскомъ сраженіи?

— Онъ говоритъ, что это можетъ-быть неправда, и велѣлъ даже взять подъ арестъ флорентійскаго купца, который, дней пять тому назадъ, рассказывалъ здѣсь съ такими подробностями объ этомъ дѣлѣ.

— Какъ! Вотъ этого чудака, который ходилъ со мною на Бишефсбергъ для того только, чтобъ посмотрѣть, какъ русскіе дѣйствуютъ противъ нашихъ батарей.

— Да, его.

— Эхъ, жаль! онъ презабавный оригиналъ. Мы, кажется, съ Шамбюромъ не трусы; но не долго были на верхней батарее, которую, можно сказать, осыпало непріятельскими ядрами; а этотъ чудакъ расположился на ней, какъ дома: закурилъ трубку и пустился въ такіе разговоры съ нашими артиллеристами, что они рты разинули, и что всего забавнѣе — разсердился страхъ на русскихъ, и знаете ли за что?.. За то, что они мало дѣлаютъ намъ вреда, и не стрѣляютъ по нашимъ батареямъ навѣсными выстрѣлами. Шамбюръ, у котораго голова также немножко наизнанку, безъ памяти отъ этого оригинала и старался всячески завербовать его въ свою адскую роту; но господинъ купецъ отвѣчалъ ему преважно, что онъ мирный гражданинъ, что это не его дѣло, что у него въ отечествѣ жена и дѣти; принялся намъ изъяснять, въ чемъ состоятъ обязанности отца семейства, какъ онъ долженъ беречь себя, дорожить своею жизнію, и кончилъ тѣмъ, что пошелъ опять на батарею смотрѣть, какъ летаютъ русскія бомбы.

— А знаете ли, — сказалъ толстый офицеръ, — что этотъ храбрецъ очень подозрителенъ? Кромѣ одного здѣшняго купца Сандерса, никто его не знаетъ; и генераль Раппъ сталъ было сомнѣваться, точно ли онъ итальянскій купецъ; но когда его привели при мнѣ къ генералу, то всѣ отвѣты его были такъ ясны, такъ

положительны, онъ сталъ говорить съ однимъ итальянскимъ офицеромъ такимъ чистымъ флорентійскимъ нарѣчіемъ, описалъ ему съ такою подробностію свой домъ и родственныя свои связи, что добрый Раппъ рѣшился было выпустить его изъ-подъ ареста; но генералъ Дерикуръ пошепталъ ему что-то на-ухо, и купца отвели опять въ тюрьму.

— Жаль, если надобно будетъ его разстрѣлять,—сказалъ кавалерійскій офицеръ.

Вдругъ раздался ужасный трескъ; брошенная изъ траншеи бомба упала на кровлю дома; черепицы, какъ дождь, посыпались на улицу. Пробивъ три верхніе этажа, бомба упала на потолокъ той комнаты, гдѣ бесѣдовали офицеры. Черезъ нѣсколько секундъ раздался оглушающій взрывъ, отъ котораго, казалось, весь домъ поколебался на своемъ основаніи.

— Геръ Іезусъ!—закричала мадамъ.

— Проклятые русскіе!—сказалъ кавалерійскій офицеръ, стряхивая съ себя мелкіе куски штукатурки, которые падали ему на голову.—Пора унять этихъ варваровъ!

— Тише, Розенгантъ!—шепнулъ Мильсантъ;—зачѣмъ оскорблять этого плѣннаго офицера?

Кавалеристъ оборотился къ окну, подлѣ котораго сидѣлъ молодой человѣкъ въ сѣрой шинели; казалось, взрывъ бомбы нимало его не потревожилъ. Задумчивый и неподвижный взоръ его былъ устремленъ по-прежнему на одну изъ стѣнъ комнаты, но, повидимому, онъ вовсе не рассматривалъ повѣшеннаго на оной портрета Фридриха Великаго.

— Что вы такъ задумались?—спросилъ его кавалерійскій офицеръ. — Не хотите ли, господинъ Расъ... Росъ... Рисъ... pardon!.. никакъ не могу выговорить вашего имени; не хотите ли выпить съ нами чашку кофе?

— Да, да, monsieur Рославлевъ,—подхватилъ толстый Папилью: — милости просимъ къ намъ поближе.

Рославлевъ отвѣчалъ учтивымъ поклономъ на приглашеніе офицеровъ; но остался на прежнемъ мѣстѣ.

— Мнѣ кажется, онъ могъ бы быть повѣжливіе, — сказалъ вполголоса и съ досадою кавалеристъ; — когда мы дѣлаемъ ему честь... Impertinent!

— Фи, Розенганъ! — прервалъ безрукій офицеръ, — какъ тебѣ не стыдно! Надобно уважать несчастье во всякомъ, а особливо въ плѣнномъ непріятелѣ. Неужели ты не чувствуешь, какъ ему тяжело слушать наши разговоры; а особливо, когда ты примешься описывать безсмертные подвиги императорской гвардіи? Вчера онъ поблѣднѣлъ, слушая твой краснорѣчивый рассказъ о нашемъ переходѣ черезъ Березину. По твоимъ словамъ, на каждого французскаго гренадера было по цѣлому полку русскихъ солдатъ. Послушай, Розенганъ, когда дѣло идетъ о нашей національной славѣ, то ты настоящій гасконецъ. Конечно, намъ весело тебя слушать; а каково ему?

— А, Рено, bonjour, mon ami! — закричалъ Папилью, идя навстрѣчу къ жандармскому офицеру, который пошелъ въ кофейную лавку. — Ну, нѣтъ ли чего-нибудь новенькаго?

— Покажѣсть ничего, — отвѣчалъ жандармъ, окинувъ бѣглымъ взоромъ всю комнату. — А! онъ здѣсь, — продолжалъ Рено, увидѣвъ Рославлева. — Вѣдь, кажется, этотъ плѣнный офицеръ говоритъ по-французски?

— Да! — отвѣчалъ Папилью, — такъ чтожъ?

— А вотъ что: мнѣ дано не слишкомъ пріятное порученіе — я долженъ отвести его въ тюрьму.

— Въ тюрьму? За что?

— По городу распространились очень невыгодные для насъ слухи; говорятъ, что большая армія совершенно истреблена. Это можетъ сдѣлать весьма дурное впечатлѣніе на весь гарнизонъ.

— Да чтожъ общаго между симъ ложнымъ извѣстіемъ и этимъ плѣннымъ офицеромъ?

— Его превосходительство, генералъ Раппъ, увѣренъ, что эти слухи распространяютъ плѣнные офицеры; а какъ всего вѣроятнѣе, что тѣ изъ нихъ, кои

говорять по-французски, имѣютъ къ этому болѣе способъ...

— А, понимаю! Впрочемъ, кажется, этого плѣннаго офицера нельзя упрекнуть въ многорѣчіи: онъ почти всегда молчитъ

— Быть - можетъ, но я долженъ отвести его въ тюрьму. Впрочемъ, на это есть и другія причины, — прибавилъ жандармъ значительнымъ голосомъ.

— Право? не можете ли вы мнѣ сказать?

— Вотъ изволите видѣть: это небольшая хитрость, придуманная генераломъ Дерикуромъ, и признаюсь — выдумка прекрасная! Она сдѣлала бы честь не только начальнику штаба, но даже и нашему брату, жандарму. Вы знаете, что по приказанію Раппа сидитъ теперь въ тюрьмѣ какой-то флорентійскій купецъ; не знаю почему, генераль Дерикуръ подозрѣваетъ, что онъ русскій шпіонъ. Чтобъ какъ-нибудь увѣриться въ этомъ, онъ придумалъ запереть вмѣстѣ съ нимъ этого плѣннаго офицера, а мнѣ приказалъ подслушивать ихъ разговоры. Если купецъ дѣйствительно русскій, то не можетъ быть, чтобъ у него не вырвалось въ теченіе нѣсколькихъ часовъ слова два или три русскихъ. Желаніе поговорить на своемъ природномъ языкѣ такъ естественно; а сверхъ того ему въ голову не придетъ, что въ одномъ углу тюрьмы сдѣлано отверстіе, въ родѣ діонисьева уха, и что каждое слово, даже шопотомъ сказанное, будетъ явственно слышно въ другой комнатѣ.

— Вотъ что? Ну, въ самомъ дѣлѣ, прекрасная выдумка! Я всегда замѣчалъ въ этомъ Дерикурѣ необычайныя способности; однакожъ, не говорите ничего нашимъ молодымъ людямъ: рубиться съ непріателемъ, брать батареи — это ихъ дѣло; а всякая хитрость, какъ бы умно она ни была придумана, кажется имъ недостойною храбраго офицера. Чего добраго, пожалуй, они скажутъ, что за эту прекрасную выдумку надобно произвестъ Дерикура въ полицейскіе комиссары.

— Неужели? Знаете ли, что это отзывается ка

кимъ-то либерализмомъ, который совершенно противенъ духу нашего правленія, и если императоръ не возьметъ самыхъ строгихъ мѣръ...

— Императоръ! Да извѣстно ли вамъ, какъ эти господа о немъ поговариваютъ? Конечно, они и теперь готовы за него и въ огонь и въ воду; но, признаюсь, я ужъ давно не замѣчаю въ нихъ этой безусловной покорности, этого всегдашняго удивленія къ каждому его дѣйствию. Представьте себѣ: они даже осмѣливаются иногда осуждать его распоряженія. Вотъ нѣсколько дней тому назадъ, одинъ изъ нихъ,—я не назову его: я не доносчикъ,—имѣлъ дерзость сказать вслухъ, что императоръ дурно сдѣлалъ, ввезя въ Россію на нѣсколько милліоновъ фальшивыхъ ассигнацій, и что никакія политическія причины не могутъ оправдать поступка, за который во всѣхъ благоустроенныхъ государствахъ вѣшаютъ и ссылаютъ на галеры.

— Тише! Бога ради тише! Что вы? Я не слышалъ, что вы сказали... не хочу знать... не знаю... Боже мой! до чего мы дожили!.. какой развратъ! Ну, что послѣ этого можетъ быть священнымъ для нашей безумной молодежи? Но извините: мнѣ надобно исполнить приказаніе генерала Дерикюра. Милостивый государь!—продолжалъ жандармъ, подходя къ Рославлеву, — на меня возложена весьма непріятная обязанность; но вы сами военный человѣкъ, и знаете, что долгъ службы... не угодно ли вамъ идти со мною?

— Куда, сударь?—спросилъ спокойно Рославлевъ, вставая со стула.

— Нѣкоторые ложные слухи, распускаемые по городу врагами французовъ, вынуждаютъ генерала Раппа прибѣгнуть къ мѣрамъ строгости, весьма непріятнымъ для его добраго сердца. Всѣхъ плѣнныхъ офицеровъ приказано держать подъ карауломъ.

— Для чего не въ цѣпяхъ? — прибавилъ съ горькою улыбкою Рославлевъ:—это еще будетъ вѣрнѣе; а то, въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ перепрыгнуть черезъ городской валъ и уйти изъ крѣпости.

Въ ту самую минуту, какъ Рославлевъ собирался идти за жандармомъ, вбѣжалъ въ комнату молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-двухъ, въ богатомъ гусарскомъ мундирѣ и большой медвѣжьей шапкѣ; онъ былъ вооруженъ не саблею, а короткимъ заткнутымъ за поясъ трехграннымъ кинжаломъ; необыкновенная живость изображалась на его миловидномъ лицѣ; небольшіе закрученные кверху усы и эспаньолетка придавали воинственный видъ его выразительной, но нѣсколько женственно-образной фizioноміи. Съ перваго взгляда можно было замѣтить, что онъ дѣйствовалъ одной лѣвой рукою, а правая казалась какъ будто бы придѣланною къ плечу и была безъ всякаго движенія.—Здравствуйте, monsieur Вольдемаръ!—сказалъ онъ, переступя черезъ порогъ.—Куда вы?

— Куда вы вѣрно со мной не пойдете, Шамбюръ!—отвѣчалъ Рославлевъ, пріостановясь на минуту.—Меня ведутъ въ тюрьму.

— Какъ!—вскричалъ Шамбюръ;—въ тюрьму? Зачѣмъ?... за что?..

— Спросите у этого господина.

— Что это значитъ, Рено?—сказалъ Шамбюръ, остановивъ жандарма.—Что такое сдѣлалъ Рославлевъ?

— Надѣюсь, ничего, за что бы онъ могъ отвѣчать: это одна мѣра осторожности. Какіе-то ложные слухи тревожатъ гарнизонъ, а какъ, вѣроятно, ихъ распускаютъ по городу плѣнные офицеры...

— Почему вы это думаете?

— Такъ думаетъ генералъ Раппъ; я исполняю только его приказаніе.

— Неправда, сударь, не его! Генералъ Раппъ бьетъ безъ пощады вооруженныхъ непріятелей; но никогда не станетъ тиранить беззащитныхъ плѣнныхъ. Говорите правду: отъ кого вы получили приказаніе посадить его въ тюрьму?

— Я не обязанъ вамъ давать отчета, господинъ Шамбюръ!

— Однакожъ, дадите!—вскричалъ гусарь, и глаза

его засверкали.—Знаете ли вы, господинъ жандармъ, что этотъ офицеръ мой плѣнникъ? Я вырвалъ его изъ середины русскаго войска; онъ принадлежитъ мнѣ; онъ моя собственность, и никто въ цѣломъ мірѣ не воленъ располагать имъ безъ моего согласія.

— Что вы, Шамбюръ!—прервалъ Папилью: — господинъ Рославлевъ военноплѣнный, и начальство имѣетъ полное право...

— Нѣтъ, чортъ возьми! Нѣтъ! — вскричалъ Шамбюръ, топнувъ ногою; — я не допущу никого обижать моего плѣнника: онъ подъ моей защитой, и если бы самъ Раппъ захотѣлъ притѣснять его, то и тогда — *cent mille diables!* да, и тогда бы я не далъ его въ обиду!

— Успокойтесь, любезный Шамбюръ, — сказали Рославлевъ; — вы не должны противиться волѣ вашего начальства.

— Такъ пусть же оно докажетъ мнѣ, что вы виноваты. Вы живете со мною, я знаю васъ. Вы не станете употреблять этого низкаго средства, чтобъ беспокоить умы французскихъ солдатъ; вы офицеръ, а не шпионъ, и я рѣшительно хочу знать, въ чемъ васъ обвиняютъ.

— Это можетъ вамъ объяснить его превосходительство, г-нъ Раппъ, а не я, — сказалъ Рено; — а между тѣмъ прошу васъ не мѣшать мнѣ исполнять мою обязанность: въ противномъ случаѣ — извините! я вынужденъ буду позвать жандармовъ.

— Жандармовъ! *Sacré mille tonnerres!* Стращать Шамбюра жандармами! — проговорилъ прерывающимся отъ бѣшенства голосомъ Шамбюръ.

— Не дурачься, Шамбюръ, — подхватилъ Розенганъ, замѣтя, что вспыльчивый гусаръ схватился лѣвой рукой за рукоятку своего кинжала. Папилью и Мильсанъ подошли также къ Шамбюру и стали его уговаривать.

— Хорошо, господа, хорошо! — сказалъ онъ, наконецъ; — пускай срамятъ этой несправедливостью имъ

французскихъ солдатъ. Бросить въ тюрьму по одному подозрѣнію беззащитнаго плѣнника! *Quelle indignité!* Хорошо, возьмите его, а я сейчасъ поѣду къ Раппу: онъ не жандармскій офицеръ, и понимаетъ, что такое честь. Прощайте, Рославлевъ! Мы скоро увидимся. Извините меня! Еслибъ я зналъ, что съ вами будутъ поступать такимъ гнуснымъ образомъ, то велѣлъ бы васъ приколотъ, а не взялъ бы въ плѣнъ. До свиданія!

Рославлевъ и Рено вышли изъ кафе и пустились по Гундъ-газу, узкой улицѣ, ведущей въ предместье, или, лучше сказать, въ ту часть города, которая находится между укрѣпленнымъ валомъ и внутреннею стѣною Данцига. Они остановились у высокаго дома съ небольшими окнами. Рено застучалъ тяжелой скобкою; черезъ полминуты дверь заскрипѣла на своихъ толстыхъ петляхъ, и они вошли въ темныя сѣни, гдѣ тюремный стражъ, въ полувоенственномъ нарядѣ, отвѣсивъ жандарму низкій поклонъ, повелъ ихъ вверхъ по крутой лѣстницѣ.

— Чтобъ вамъ не было скучно, — сказалъ Рено, — я помѣщу васъ вмѣстѣ съ однимъ итальянскимъ купцомъ; онъ человѣкъ умный, много путешествовалъ, и разговоръ его весьма пріятенъ. Къ тому жъ вамъ будетъ полная свобода; въ вашей комнатѣ всѣ стѣны капитальныя: вы можете шумѣть, пѣть, кричать, однимъ словомъ: дѣлать все, что вамъ угодно; вы этимъ никого не обезпечите, и даже — еслибъ вамъ вздумалось, — прибавилъ съ улыбкою Рено, — сдѣлать этого купца повѣреннымъ какихъ-нибудь сердечныхъ тайнъ, то не бойтесь: никто не подслушаетъ имени вашей любезной.

Тюремщикъ отворилъ дубовую дверь, окованную желѣзомъ, и они вошли въ просторную комнату, съ однимъ окномъ. Въ ней стояли двѣ кровати, небольшой столъ и нѣсколько стульевъ. На одномъ изъ нихъ сидѣлъ человѣкъ лѣтъ за тридцать, въ синемъ сюртукѣ. Лицо его было блѣдно, усталость и совершенное изнуреніе силъ ясно изображались на впалыхъ

щекахъ его; но взоръ его былъ спокоенъ и всѣ черты лица выражали какое-то ледяное равнодушіе и даже безчувственность.

— Вотъ вашъ товарищъ, — сказалъ жандармъ Рославлеву; — познакомьтесь!

Рославлевъ сдѣлалъ шагъ впередъ, хотѣлъ что-то сказать; но слова замерли на устахъ его: онъ узналъ въ итальянскомъ кунцѣ артиллерійскаго офицера, съ которымъ готовъ былъ нѣкогда стрѣляться въ Царско-сельскомъ звѣринцѣ.

— Я очень радъ, что буду имѣть такого любезнаго товарища, — сказалъ купецъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на Рославлева. — Можетъ-быть мы гдѣ-нибудь и встрѣчались; но я увѣренъ, что вы меня теперь не узнаете: въ тюрьмѣ не хорошѣютъ.

Рославлеву не трудно было понять настоящій смыслъ сей фразы; онъ отвѣчалъ вѣжливо, что, кажется, видѣлъ его однажды въ французскомъ кафе, и, не продолжая разговора, расположился молча на другомъ стулѣ.

Рено, сказавъ Рославлеву, что онъ надѣется скоро видѣть его свободнымъ, вышелъ изъ комнаты; дверь захлопнулась, и черезъ нѣсколько секундъ глубокая тишина воцарилась кругомъ заключенныхъ. Рославлевъ хотѣлъ начать разговоръ съ своимъ товарищемъ; но онъ прижалъ ко рту палецъ и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ по-французски: — Если не ошибаюсь, вы офицеръ прусской службы?

— Извините! — отвѣчалъ Рославлевъ, не понимая причины сей чрезмѣрной осторожности: — я русскій офицеръ.

— Русскій? И недавно въ плѣну?

— Болѣе двухъ недѣль.

— Слѣдовательно, извѣстіе о Лейпцигскомъ сраженіи пришло послѣ васъ, и вы не знаете ничего достойнаго?

— Ничего.

— Это жаль. Если дѣйствительно сраженіе про-

играно французами, то курсъ долженъ упасть; слѣдовательно, дѣла моихъ лейпцигскихъ корреспондентовъ въ худомъ положеніи. Впрочемъ, это, можетъ-быть, одни пустые слухи. Наполеонъ не могъ сражаться съ стихіями; но тамъ, гдѣ онѣ не противъ него, гдѣ ничто не мѣшаетъ движеніямъ войскъ, можетъ ли побѣда остаться на сторонѣ его непріятелей? Не досадуйте на мою откровенность; а мнѣ кажется, что русскіе напрасно не остались дома: обширныя степи и вѣчныя льды — вотъ что составляетъ истинную силу Россіи. Ваше дѣло обороняться, а не нападать. Но извините: мнѣ необходимо кончить небольшой коммерческій расчетъ, который я дѣлаю здѣсь на просторѣ. Надобно быть готовымъ на всякій случай, и если въ самомъ дѣлѣ курсъ на итальянскіе векселя долженъ упасть въ Лейпцигѣ, то не худо взять заранѣе свои мѣры.

Купецъ вынулъ изъ кармана клочекъ бумажки, карандашъ и принялся писать. Рославлевъ глядѣлъ на него съ удивленіемъ. Онъ не могъ сомнѣваться, что видитъ передъ собою стариннаго своего знакома, того молчаливаго офицера, который дышалъ ненавистію къ французамъ; но въ то же время не постигалъ причины, побуждающей его изъясняться такимъ образомъ. — Потрудитесь взглянуть, — сказалъ этотъ чудакъ, подавая Рославлеву клочекъ бумажки: — я не слишкомъ на себя надѣюсь, голова моя что-то очень тяжела; еслибъ вы сдѣлали мнѣ милость и повѣрили мои итоги.

Рославлевъ бросилъ быстрый взглядъ на исписанную бумажку и прочелъ слѣдующее: «Будьте осторожны: насъ вѣрно подслушиваютъ. Раппъ подозрѣваетъ, что я русскій; одно слово на этомъ языкѣ можетъ погубить меня. Я не боюсь смерти, но желалъ бы умереть, не доставя ни одной минуты удовольствія французамъ, а эти негодяи очень обрадуются, когда узнаютъ, кто у нихъ въ рукахъ. Во снѣ я всегда брежу вслухъ и, разумѣется, по-русски. Вотъ ужъ три ночи я не сплю; чувствую, что не въ силахъ бороться съ самимъ собою; при васъ я могу за-

снуть. Лишь только вы замѣтите, что я хочу говорить—закните мнѣ ротъ, будите меня, толкайте, бейте, только Бога ради не дайте выговорить ни слова. Васъ вѣрно прежде моего выпустятъ изъ тюрьмы. Ступайте на театральную площадь; противъ самаго театра, въ пятомъ этажѣ высокаго краснаго дома, въ комнатѣ подъ номеромъ шестымъ, живетъ одна женщина: она была отчаянно больна. Если вы ее застаете въ живыхъ, то скажите, что итальянскій купецъ Доличини проситъ ее сжечь бумаги, которыя онъ отдалъ ей подъ сохраненіе».

Когда Рославлевъ пересталъ читать, товарищъ его взялъ назадъ бумажку, разорвалъ на мелкія части и проглотилъ; потомъ бросился на постель и въ ту же самую секунду заснулъ мертвымъ сномъ.

Болѣе трехъ часовъ сряду сидѣлъ Рославлевъ подлѣ спящаго, который нѣсколько разъ принимался бредить. Рославлевъ не будилъ его, но закрывалъ рукою ротъ и мѣшалъ явственно выговаривать слова. Вдругъ послышались скорые шаги по коридору, который велъ къ ихъ комнатѣ. Рославлевъ началъ будить своего товарища. Послѣ нѣсколькихъ напрасныхъ попытокъ, ему удалось, наконецъ, растолкать его: онъ вскочилъ и закричалъ охриплымъ голосомъ и по-русски:—Что? что такое? Французы? Рѣжь ихъ, разбойниковъ!—Глаза его блистали, волосы стояли дыбомъ, и выраженіе лица его было столь ужасно, что Рославлевъ несколько содрогнулся.

— Опомнитесь! что вы?—сказалъ онъ:—сюда идутъ!

— Сюда? Кто... Ахъ, да!...—прошепталъ купецъ, проведя рукою по глазамъ. — Нѣтъ, господинъ офицеръ! нѣтъ! — заговорилъ онъ вдругъ громкимъ голосомъ и по-французски, — я никогда не соглашусь съ вами: война не всегда вредитъ коммерціи; напротивъ, она даетъ ей нерѣдко новую жизнь. Посмотрите, какъ англичане хлопочутъ о томъ, чтобъ европейскіе государи ссорились между собою! Въ одномъ мѣстѣ жгутъ и разоряютъ фабрики, въ другомъ онѣ процвѣтаютъ.

Товары становятся дороже, капиталы переходятъ изъ рукъ въ руки; однимъ словомъ, я не сомнѣваюсь, что вѣчный миръ въ Европѣ былъ бы столь пагубенъ для коммерціи, какъ и всегдашняя тишина на морѣ, несмотря на то, что сильный вѣтеръ производитъ бури и топить корабли.

Въ продолженіе сихъ словъ лицо ложнаго купца приняло свой обыкновенный холодный видъ, глаза не выражали никакого внутренняго волненія; казалось, онъ продолжалъ спокойно давно начатый разговоръ, и когда двери комнаты отворились, онъ даже не повернулъ головы, чтобъ взглянуть на входящаго Шамбюра вмѣстѣ съ капитаномъ Рено.

— Вы свободны!—вскричалъ Шамбюръ, подбѣжавъ къ Рославлеву;—я доказалъ Раппу, что онъ не имѣетъ никакого права поступать такимъ обиднымъ образомъ съ человѣкомъ, за честь котораго я ручаюсь моею собственною честію.

— Благодарю васъ, — сказалъ Рославлевъ; — впрочемъ, вы можете быть совершенно спокойны. Шамбюръ! Я не обещаю вамъ не радоваться, если узнаю что-нибудь о побѣдахъ нашего войска; но вотъ вамъ честное слово: не стану никому пересказывать того, что услышу отъ другихъ.

— Болѣе этого я отъ васъ и требовать не могу, — сказалъ Шамбюръ. — А! господинъ Дольчини! — продолжалъ онъ, обращаясь къ товарищу Рославлева, — и вы здѣсь?

— Да, сударь! Обо мнѣ, кажется, все еще думаютъ, что я русскій... Русскій! Боже мой! да меня отъ одного этого имени морозъ подираетъ по кожѣ! Господинъ Дерикуръ хитеръ на выдумки; я боюсь, чтобъ ему не вздумалось для испытанія, точно ли я русскій или итальянецъ, посадить меня въ ледникъ. Впередъ вамъ говорю, что я въ четверть часа замерзну.

— Ага, господинъ Дольчини! — вскричалъ съ громкимъ хохотомъ Шамбюръ, — такъ есть же что-нибудь въ природѣ, чего вы боитесь?

— Хорошо, что вы не дѣлали русскую кампанію, — подхватилъ Рено. — Представьте себѣ, что когда у насъ отъ жестокаго мороза текли слезы, то онѣ замерзали на щекахъ, а глаза слипались отъ холода!

— *Santa Maria!* Что вы говорите? Знаете ли, что нашъ Данте въ своей *Divina comedia*, описывая разнородныя мученія ада, въ числѣ самыхъ ужаснѣйшихъ полагаетъ именно то, о которомъ вы говорите. И въ этой землѣ живутъ люди!

— И даже очень любезные, — прервалъ Шамбюръ, подавая лѣвую руку Рославлеву. — Пойдемте, Вольдемаръ; вы ужъ и такъ слишкомъ долго здѣсь сидѣли.

— Прощайте, господинъ офицеръ! — сказалъ Дольчини Рославлеву; — не забудьте вашего обѣщанія. Если когда-нибудь вамъ случится быть въ Лейпцигѣ, то вы можете обо мнѣ справиться на площади противъ театра, въ высокомъ красномъ домѣ, у живущаго подъ номеромъ шестымъ. До свиданья!

Шамбюръ и Рославлевъ вышли изъ тюрьмы. — Знаете ли, — сказалъ французскій партизанъ, — какой необыкновенный человѣкъ былъ вашимъ товарищемъ? Не понимаю, какъ могъ этотъ Дольчини измѣнить до такой степени своему назначенію? Во всю жизнь мою я не видывалъ человѣка безстрашнѣе этого купца. Повѣрите ли, что я, Шамбюръ, основатель и начальникъ адской роты, долженъ уступить ему первенство, если не въ храбрости, то по крайней мѣрѣ въ хладнокровіи. Онъ точно съ такимъ же равнодушіемъ смотритъ на бомбу, которая крутится у ногъ его, съ какимъ мы глядимъ на волчекъ, спущенный рукою слабаго ребенка. А еслибъ вы знали, какой онъ оригиналь! Я предлагалъ ему мѣсто старшаго сержанта въ моей ротѣ, въ ту самую минуту, какъ онъ стоялъ добровольно подъ градомъ непріятельскихъ ядеръ; онъ рѣшительно отказался, и именно потому, что онъ отецъ семейства, и долженъ беречь жизнь свою. *Avouez, que c'est délicieux!* Но вотъ наша квартира. Я думаю, вы сегодня не расположены прогуливаться.

Ступайте домой; а мнѣ надобно взглянуть на мою роту. Можетъ-быть сегодня ночью я побываю вмѣстѣ съ нею за городомъ.

— Отъ всей души желаю, — сказалъ Рославлевъ, принимаясь за дверную скобу, — чтобъ вы...

— Чтобъ я, наконецъ сломилъ себѣ шею? — прервалъ съ улыбкой Шамбюръ.

— Нѣтъ, чтобъ васъ оставили погостить подолѣе въ нашемъ лагерѣ.

— Покорно благодарю! Я люблю самъ угощать; и если завтра поутру вы не будете пить у меня кофе, то можете быть увѣрены, что я остался на вѣчное житье въ вашихъ траншеяхъ.

VII.

На другой день, часу въ девятомъ утра, Шамбюръ, допивая свою чашку кофе, сказалъ съ принужденною улыбкою Рославлеву: — Ну, вотъ видите! желаніе ваше не сбылось; я не остался гостить въ русскомъ лагерѣ.

— Но, кажется, не привели и гостей съ собою, — отвѣчалъ Рославлевъ. — Если правда, что мнѣ говорили, то ваша рота...

— Да! ее надобно укомплектовать, — прервалъ Шамбюръ, и что-то похожее на грусть изобразилась на лицѣ его. — Чортъ возьми! — продолжалъ онъ, — какъ эти русскіе стали осторожны! Изъ ста пятидесяти человѣкъ, только тридцать воротились со мною; но зато всѣ эти тридцать солдатъ — герои... да, герои! Бѣдный Леклеръ!.. Вы знали этого гренадера, этого байарда моей роты? Его убили подлѣ меня! Видите ли эти пятна на груди моей? Это его кровь! Но вы расплатитесь со мною, господа русскіе! Его похороны будутъ дорого вамъ стоить!.. Клянусь этимъ кинжаломъ, что цѣлая сотня русскихъ...

— Не угодно ли вамъ начать съ меня? — прервалъ улыбаясь Рославлевъ.

Шамбюръ засмѣялся. — Нѣтъ! — сказалъ онъ, — я ни-

когда не нарушалъ правъ гостепріимства; но не совѣтую и вамъ встрѣтиться со мною въ русскихъ траншеяхъ. Я васъ люблю, а непремѣнно зарѣжу, если вы вздумаете со мною церемониться и не постараетесь меня предупредить. Ну, что вы намѣрены теперь дѣлать?

— Я пойду погулять.

— А я отправлюсь къ Раппу. Мнѣ сказывали, что у него сегодня военный совѣтъ; и хотя я не приглашенъ, но это все равно: гдѣ толкуютъ о военныхъ дѣйствіяхъ, тамъ Шамбюръ лишнимъ быть не можетъ. Прощайте.

Шамбюръ и Рославлевъ вышли изъ дома въ одно время; первый пустился скорымъ шагомъ къ квартирѣ генерала Раппа, а послѣдній отправился на театральную площадь. Рославлевъ тотчасъ узналъ красный домъ, о которомъ говорилъ ему наканунѣ Дольчини. Взойдя въ пятый этажъ, который у насъ въ Россіи называли бы просто чердакомъ, онъ увидѣлъ на низенькой двери прибитую дощечку съ номеромъ шестымъ. Дверь была только притворена. Рославлевъ долженъ былъ согнуться, чтобъ войти въ небольшую комнату, которая въ то же время служила кухнею; подлѣ очага, на которомъ курился догорающій торѣзъ, сидѣла старуха лѣтъ пятидесяти, довольно опрятно одѣтая, но худая и блѣдная, какъ тѣнь. — Что угодно господину?—спросила она, увидя входящаго Рославлева.

— Я присланъ отъ господина Дольчини, — отвѣчалъ Рославлевъ.

— Отъ господина Дольчини! — повторила радостнымъ голосомъ старуха, вскочивъ со стула. — Итакъ, Господь Богъ не совсѣмъ еще насъ покинулъ!.. Сударыня, сударыня!.. — продолжала она, оборотясь къ перегородкѣ, которая отдѣляла другую комнату отъ кухни, — слава Богу! Господинъ Дольчини прислалъ къ вамъ своего пріятеля. Войдите, сударь, къ ней. Она очень слаба; но ваше посѣщеніе вѣрно ее обрадуетъ. — Рославлеву нерѣдко случалось видѣть все, что нищета

заклучаетъ въ себѣ ужаснаго: онъ не разъ посѣщалъ убогую хижину бѣднаго; но никогда грудь его не волновалась такимъ горестнымъ чувствомъ, душа не тосковала такъ, какъ въ ту минуту, когда, подходя къ дверямъ другой комнаты, онъ услышалъ болѣзненный вздохъ, который, казалось, проникъ до глубины его сердца. Въ небольшой горенкѣ, слабо освѣщенной однимъ слуховымъ окномъ, на постели съ изорваннымъ пологомъ, лежала, оборотясь къ стѣнѣ, больная женщина; не перемѣняя положенія, она сказала тихимъ, но довольно твердымъ голосомъ.—Скажите, что сдѣлалось съ Дольчини? Скоро ли я его увижу!

Лихорадочная дрожь пробѣжала по всѣмъ членамъ Рославлева; онъ хотѣлъ что-то сказать, но онѣмѣвшій языкъ его не повиновался. Этотъ голосъ!.. эти знакомые звуки!.. Нѣтъ, нѣтъ! онъ не желалъ, не смѣлъ вѣрить...

— Бога ради, скажите скорѣе, — продолжала больная, повернувшись лицомъ къ Рославлеву, — скоро ли я его увижу?

— Полина!.. — вскричалъ Рославлевъ.

Больная содрогнулась, приподнялась до половины и, устремивъ свой полумертвый взглядъ на Рославлева, повторила:—Полина!.. Кто вы?.. Я почти ничего не вижу... Полина!.. Такъ называлъ меня лишь онъ... но его нѣтъ уже на свѣтѣ... Ахъ!.. такъ называлъ меня еще... Боже мой, Боже мой!.. О, Господь правосуденъ! Я должна была слышать его проклятія въ послѣднія мои минуты... это онъ!

— Полина! — вскричалъ Рославлевъ, схвативъ за руку больную, такъ это я — другъ твой! Но, Бога ради, успокойся! Несчастная! я оплакивалъ тебя какъ умершую; но никогда — нѣтъ, никогда не проклиналъ моей Полины! И если бы твое земное счастье зависѣло отъ меня, то, клянусь тебѣ Богомъ, мой другъ, ты была бы счастлива вездѣ... да, вездѣ — даже въ самой Франціи, — прибавилъ тихимъ голосомъ Рославлевъ, и слезы его закапали на руку Полины, которую онъ прижималъ къ груди своей.

Больная, молча, смотрѣла на Рославлева; взоры ея понемногу оживлялись; вдругъ они заблистали, легкій румянецъ пробѣжалъ по блѣднымъ щекамъ ея; она схватила руку Рославлева и покрыла ее поцѣлуями. Итакъ, я могу умереть спокойно! — проговорила она рыдая: — ты простилъ меня; но ты долженъ проклинать... — Ахъ, не проклинай и его, мой другъ!.. Его ужъ нѣтъ на свѣтѣ...

— Несчастная!

— Но я скоро съ нимъ увижусь, да, мой другъ! — продолжала больная, понизивъ голосъ: — вотъ ужъ третью ночь, каждый разъ, когда на городской башнѣ пробьетъ полночь, онъ является вотъ здѣсь у моего изголовья и зоветъ меня къ себѣ.

— Это одинъ бредъ, Полина! Ты больна; твое разстроенное воображеніе...

— Нѣтъ, нѣтъ! Это ужъ не въ первый разъ, мой другъ! Онъ точно также приходилъ и за моимъ сыномъ: они оба ждутъ меня.

— За твоимъ сыномъ?

— Да! у меня былъ сынъ. Ахъ, какъ я его любила, мой другъ! Я называла его Вольдемаромъ.

— И твой мужъ...

— Тсъ! тише! Бога ради не называй его моимъ мужемъ: надъ тобой станутъ всѣ смѣяться. Что ты на меня такъ смотришь? Ты думаешь, что я брежу?.. О, нѣтъ, мой другъ! Послушай: я чувствую въ себѣ довольно силы, чтобъ рассказать тебѣ все.

— Нѣтъ, Полина! зачѣмъ вспоминать прошедшее. Богъ милостивъ: здоровье твое поправится, ты возвратишься въ отечество...

— Въ отечество? Но развѣ у меня есть отечество?.. Развѣ несчастная Полина не отказалась навсегда отъ своей родины?.. Развѣ найдется во всей Россіи уголокъ, гдѣ бъ дали пріютъ русской, вдовѣ плѣннаго француза?.. Отечество!.. О, если бы прошедшее было въ нашей волѣ, я не стала бы тогда заботиться о моемъ спасеніи! Съ какою бъ радостью я

обрѣкла себя на смерть, чтобъ только умереть въ моемъ отечествѣ. Безумная! Я думала, что могу сказать ему: твой Богъ будетъ моимъ Богомъ, твоя земля — моею землею. О нѣтъ, мой другъ! кто покидаетъ навсегда свою родину, тотъ рано или поздно, а умретъ по ней съ тоски... Но пока я еще могу — я должна тебѣ рассказать все.

— Зачѣмъ, Полина?..

— Ахъ, не мѣшай мнѣ: это облегчитъ мою душу. Я хочу, чтобъ ты зналъ, какъ я была наказана за мое вѣроломство. Ты читалъ письмо мое; ты знаешь, какъ онъ встрѣтился опять со мною. Рука его была свободна, сердце принадлежало мнѣ; ты самъ прислалъ его въ нашъ домъ. Все это казалось мнѣ волею самихъ небесъ; я думала, что не измѣню тебѣ, но покоряюсь только какому-то предопредѣленію, отъ котораго ничто не могло спасти меня, или лучше сказать, я ничего не думала. Моя свадьба, первый шагъ отъ алтаря, свадебный подарокъ, который ожидалъ меня у самаго церковнаго порога... Ахъ, Рославлевъ! я едва не потеряла разсудка; но ты уѣхалъ; меня увѣрили, что горестъ твоя уменьшилась, и я стала спокойнѣе. Скоро французы заняли нашу деревню. Мужъ мой сдѣлался свободнымъ, и мы отправились въ Москву. Первый мѣсяцъ прошелъ довольно спокойно. Сеникуръ любилъ меня. Ужасныя бѣдствія моихъ согражданъ, пожаръ Москвы, безпрестанные слухи о покореніи всей Россіи — все это казалось мнѣ какимъ-то смутнымъ, невѣроятнымъ сновидѣніемъ! Я жила только для него, видѣла одного его, и точно такъ же, какъ человекъ въ сильной горячкѣ воображаетъ себя здоровымъ, я думала, что я счастлива. Къ концу мѣсяца, нравъ моего мужа примѣтно измѣнился: онъ сталъ задумчивъ, безпокоенъ, иногда поглядывалъ на меня съ состраданіемъ, и когда я спрашивала о причинѣ его грусти, онъ отвѣчалъ всякій разъ:—Дѣла наши идутъ дурно. — Повѣришь ли, мой другъ! до какой степени разсудокъ мой былъ ослѣпленъ? Я не понимала даже настоящаго

смысла этихъ словъ: мнѣ казалось, что онъ говоритъ о Россіи. Однимъ утромъ онъ вбѣжалъ ко мнѣ блѣдный, съ отчаяніемъ на лицѣ. — Полина! — вскричалъ онъ, — наши дѣла идутъ часъ-отъ-часу хуже: Мюратъ разбитъ! — Такъ чтожь? — спросила я, не понимая совершенно, какое участіе я должна была принимать въ судьбѣ Мюрата. Лицо Сеникура сдѣлалось еще блѣднѣе; помолчавъ нѣсколько минутъ, онъ продолжалъ прерывающимся голосомъ: — Да, сударыня! мы погибли: русскіе торжествуютъ; но извините! я имѣлъ глупость забыть на минуту, что вы русская. — Вдругъ какъ будто бы завѣса спала съ глазъ моихъ. — Мы погибли! *русскіе* торжествуютъ! Эти слова раздавались безпрестанно въ ушахъ моихъ. Праведный Боже! Итакъ, съ избавленіемъ моего отечества неравлучна гибель того, кто былъ для меня всѣмъ на свѣтѣ! Итакъ, въ молитвахъ моихъ я должна была говорить передъ Господомъ: — Боже! спаси моего супруга и погуби Россію!

Спустя нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ Сеникуръ почти не говорилъ со мною, онъ сказалъ мнѣ однимъ утромъ: — Полина! черезъ часъ уже меня въ Москвѣ не будетъ: отступленіе нашего войска не обѣщаетъ ничего хорошаго; я не хочу подвергать тебя опасности; ты можешь возвратиться къ твоей матери, можешь даже навсегда остаться въ Россіи; ты свободна. Я не дала договорить ему. — Адольфъ! — вскричала я, — мое отечество тамъ, гдѣ ты; я забыла его для тебя, и должна терпѣть все!.. Страдать, умереть вмѣстѣ съ тобою — вотъ одно, что можетъ оправдать меня въ собственныхъ глазахъ моихъ. — Адольфъ обнялъ меня съ прежней нѣжностію, и я отправилась вслѣдъ за французскимъ войскомъ. Не стану рассказывать тебѣ, что я должна была переносить. Ахъ, мой другъ! я не призывала смерти для того только, что не могла уже умереть одна. Голодъ, кучи мертвыхъ тѣлъ, казаки — все это перемѣшалось въ моей головѣ... Я помню только, что при переправѣ черезъ какую-то

рѣку, моя карета и множество другихъ остановились на одномъ берегу, а на другомъ дрались; вдругъ позади насъ началась стрѣльба, поднялся ужасный крикъ и вой; что-то поминутно свистѣло въ воздухѣ; стекла моей кареты разлетѣлись вдребезги, и лошади попадали. Не знаю, долго ли это продолжалось; одно только я не забыла: я помню, что гусарскій офицеръ, пріятель Адольфа, выхватилъ меня изъ кареты, посадилъ передъ собою на лошадь и вмѣстѣ со мною кинулся въ рѣку. Мнѣ помнится также, что вода была очень холодна, что мы долго плыли, что огромныя льдины безпрестанно отталкивали насъ назадъ; наконецъ, мы выбрались на другой берегъ, и черезъ нѣсколько минутъ догнали французскую гвардію. Потомъ, кажется, меня везли въ санихъ; а тамъ вдругъ я очутилась въ какомъ-то не-русскомъ городѣ; изъ него мы проѣхали въ другой, тамъ въ третій, и, наконецъ, остановились въ этомъ. Во все это время я была очень больна. Обо мнѣ заботился все тотъ же гусарскій офицеръ; но Адольфа я не видѣла. Долго скрывали отъ меня истину; наконецъ, когда послѣдній защитникъ мой занемогъ сильной горячкою и почувствовалъ приближеніе смерти, то объявилъ мнѣ, что мужа моего нѣтъ въ свѣтѣ. Но къ чему высчитывать тебѣ всѣ мои несчастія? Я родила сына. Пріятель моего Адольфа умеръ, и мы, вмѣстѣ съ бѣднымъ сиротою, остались одни въ цѣломъ мірѣ. Пока у меня были деньги, я жила весьма уединенно, почти никуда не выходила и ни съ кѣмъ не была знакома; но когда русскіе стали осаждать городъ, когда хлѣбъ сдѣлался вдесятеро дороже, и всѣ деньги мои вышли, я рѣшилась прибѣгнуть къ великодушію единоземцевъ покойнаго моего мужа. Мнѣ не отказывали въ помощи; но я замѣчала, что жены французскихъ чиновниковъ и даже обывателей обходились со мною весьма холодно; а мужья ихъ—съ какою-то обидною ласкою, отъ которой я нерѣдко плакала. Однимъ утромъ, когда у меня не осталось уже хлѣба, я вошла въ домъ, занимаемый французскимъ генераломъ. Слуга

пошелъ доложить обо мнѣ его женѣ, и я черезъ растворенную дверь могла ясно слышать разговоръ ея съ другой дамою, которая была у нея въ гостяхъ. — Вдова полковника Сеникура!—вскричала хозяйка, выслушавъ слова слуги. — Какой вздоръ! Представьте себѣ, моя милая!—продолжала она:—это какая-то русская, которую графъ Сеникуръ увезъ изъ Москвы. Она, конечно, жалка; но, признаюсь, я не могу видѣть хладнокровно, съ какою дерзостію каждая нищая старается насъ обманывать. Весь городъ знаетъ, что эта русская была просто любовницею Сеникура, и, несмотря на то, она смѣетъ называть себя его женою! *Comme ces créatures sont impudentes!*—Боже мой!.. Я измѣнила тебѣ, оставила семью, отечество, пожертвовала всѣмъ, чтобы быть его женою, и меня называютъ его любовницею!.. О, мой другъ! у меня не было пристанища, мнѣ нечѣмъ было накормить моего сына; но за минуту до этого я могла назваться счастливою!.. Безъ памяти, прижимая къ груди плачущаго ребенка, я выбѣжала на улицу. У ногъ моихъ текла рѣка; но я не могла умереть: сынъ мой былъ еще живъ! Не зная сама, что дѣлаю, я вѣшалась въ толпу бѣдныхъ жителей, которыхъ французы выгоняли изъ Данцига. Когда я вышла изъ города, сердце мое нѣсколько облегчилось. Насъ выпроводили за французскіе аванпосты и сказали, что никого не пропустятъ назадъ въ городъ. Вдали стояли русскіе часовые и разъѣзжали казаки. Вся толпа кинулась впередъ; но къ намъ подскакалъ казакъ и объявилъ, что насъ не велѣно пропускать на русскую сторону. Кругомъ меня поднялись громкіе вопли и рыданія; я одна не плакала. Я видѣла русскихъ и не жила уже съ французами; но когда прошелъ весь день и вся ночь въ тщетномъ ожиданіи, что намъ позволятъ идти далѣе, когда сынъ мой ослабѣлъ до того, что пересталъ даже плакать, когда я напрасно прикладывала его къ изсохшей груди моей, то чувство матери подавило всѣ прочія; дитя мое умирало съ голода, и я не могла помочь ему!..

Полина перестала говорить; щеки ея пылали; замѣтно было, что сильная горячка начинала свирѣпствовать въ груди ея... — Да, да!.. это точно было наяву,—продолжала она съ ужасною улыбкою;—точно!.. Мое дитя, при мнѣ, на моихъ колѣняхъ умирало съ голода! Кажется... да, вдругъ закричали: русскій офицеръ! — Русскій! — подумала я;—о! вѣрно онъ накормитъ моего сына, — и бросились вмѣстѣ съ другими къ валу, по которому онъ ѣхалъ. Не понимаю сама, какъ могла я пробиться сквозь толпу, влѣзть на валъ и упасть къ ногамъ офицера, который, не слушая моихъ воплей, поскакалъ далѣе...

— Возможно ли?—вскричалъ съ ужасомъ Рославлевъ;—это была ты, Полина? и я не узналъ тебя...

Больная остановилась, устремивъ дикій взоръ на Рославлева; она повторила:—Я не узналъ тебя!.. Такъ это былъ ты, мой другъ? Какъ я рада!.. Теперь ты не можешь ни въ чемъ упрекать меня... Не правда ли, мы поровнялись съ тобою?.. Ты также, покрытый кровью, лежалъ у ногъ моихъ—помнишь, когда я шла отъ вѣнца съ моимъ мужемъ?..

— Бога ради, Полина!—прервалъ Рославлевъ,—не говори объ этомъ.

— Да, да. Ты правъ, мой другъ! Голова моя начинаетъ кружиться... а я не все еще тебѣ рассказала... Кажется... точно!.. Я помню, что очутилась опять подлѣ французскихъ солдатъ; не знаю, какъ это сдѣлалось... помню только, что я просилась опять въ городъ, что меня не пускали, что кто-то сказалъ подлѣ меня, что я русская, что Дольчини былъ тутъ же вмѣстѣ съ французскими офицерами; онъ уговорилъ ихъ пропустить меня; привелъ сюда, и если я еще не умерла съ голода, то за это обязана ему... да, мой другъ! я просила милостыню для моего сына, а онъ умеръ... Дольчини сказалъ мнѣ однажды... Но что это?.. тсъ! тише, мой другъ, тише!.. Такъ точно—громъ!

— Это не громъ, Полина,—прервалъ Рославлевъ,—а сильная пушечная пальба...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. это громъ,—повторила съ безпокойствомъ больная. — Чувствуешь ли, какъ дрожитъ весь полъ?.. Это всегда бываетъ за нѣсколько минутъ передъ его приходомъ... Ахъ! какъ время идетъ скоро! Вотъ ужъ и полночь!.. Чу!.. Боже мой!.. Первый ударъ колокола!.. Ступай, мой другъ, ступай!..

— Успокойся, Полина! ты ошибаешься...

— О, Бога ради! оставь меня... еще... еще... Бѣги, мой другъ, бѣги!.. Нѣтъ я не могу, я не хочу васъ видѣть вмѣстѣ... Это было бы ужасно... да, ужасно!.. Ступай, Рославлевъ, ступай!.. Прошу тебя, заклинаю!..

Полина хотѣла приподняться, но силы ей измѣнили, и она, почти безъ чувствъ, опустилась на свое изголовье. Рославлевъ вышелъ изъ ея комнаты и, пославъ къ ней старуху, сказалъ, что черезъ нѣсколько часовъ зайдетъ опять навѣстить больную. Сердце его было такъ растерзано, онъ былъ такъ разстроенъ сей неожиданной встрѣчей, что когда вышелъ на улицу, то не замѣтилъ сначала необыкновеннаго движенія въ народѣ. Въ русскихъ траншеяхъ открыли новую батарею въ самомъ близкомъ разстояніи отъ города, двадцати-четырехъ фунтовыхъ ядра съ ужаснымъ визгомъ прыгали по кровлямъ домовъ; камни, доски, черепицы сыпались какъ градъ на улицу, и всѣ проходящіе спѣшили укрыться по домамъ. Не заботясь нимало о своей безопасности, Рославлевъ шелъ подлѣ самыхъ стѣнъ домовъ — вдругъ одинъ каменный обломокъ, оторванный ядромъ, ударилъ его въ голову; кровь брызнула изъ нея ручьемъ, онъ зашатался и упалъ безъ памяти на мостовую.

VIII.

Болѣе двухъ недѣль Рославлевъ былъ на краю могилы; нѣсколько разъ онъ приходилъ въ себя и видѣлъ, какъ сквозь сонъ, то пріятеля своего Шамбюра, то какого-то незнакомаго человѣка, который перевязывалъ ему голову. Раза два ему казалось, что подлѣ его

постели сидить Дольчини; но все это представлялось въ такомъ смѣшанномъ и неясномъ видѣ, что когда воспаленіе въ мозгу, отъ котораго онъ едва не умеръ, совершенно миновалось, то все прошедшее представилось ему какимъ-то длиннымъ и безпорядочнымъ сномъ. Въ ту самую минуту, какъ Рославлевъ старался припомнить, когда онъ легъ спать, и изъяснить себѣ, отчего онъ спалъ такъ долго, вошелъ въ комнату Шамбюръ.

— Ахъ! какъ я радъ, что васъ вижу!—сказалъ Рославлевъ. — Растолкуйте мнѣ, что со мной дѣлается? Мнѣ кажется, я спалъ нѣсколько сутокъ сряду.

— Такъ вы, наконецъ, проснулись? — прервалъ Шамбюръ, сядясь подлѣ постели Рославлева. — Слава Богу! Поглядите-ка на меня. Ну, вотъ и глаза ваши совсѣмъ не тѣ, и цвѣтъ лица гораздо лучше.

— Но отчего я такъ долго спалъ?

— Да, чуть было вы не заснули такимъ крѣпкимъ сномъ, что не проснулись бы и тогда, еслибъ мы взорвали на воздухъ весь Данцигъ. Вспомните хорошенько—недѣли двѣ тому назадъ...

— Двѣ недѣли... постойте!...

— То-есть на другой день, какъ васъ выпустили изъ тюрьмы...

— Изъ тюрьмы... помню! точно, я былъ въ тюрьмѣ...

— Вы пошли прогуляться по городу—это было поутру; а около обѣда васъ нашли недалеко отъ театральной площади, съ проломленной головой и безъ памяти. Кажется, за это вы должны благодарить вашихъ соотечественниковъ: они въ этотъ день засыпали насъ ядрами. И за что они разсердились на кровли бѣдныхъ домовъ? Повѣрите ль, около театра не осталось почти ни одного чердака, который не былъ бы совсѣмъ исковерканъ.

— Подлѣ театра, — повторилъ Рославлевъ. — Постойте!.. Боже мой!.. мнѣ помнится... такъ точно, противъ самаго театра, красный домъ...

— Красный домъ? выше всѣхъ другихъ?

— Да, да!

— Третьяго дня, — продолжалъ спокойно Шамбюръ, — досталось и ему отъ русскихъ: на него упала бомба; впрочемъ, бѣдъ немного надѣлала — я самъ ходилъ смотрѣть. Во всемъ домѣ никто не раненъ, и только убило одну больную женщину, которая и безъ него должна была скоро умереть.

— Больную женщину!..

— Да; мнѣ сказывали, что она называла себя вдовою какого-то французскаго полковника; да это неправда... но что съ вами дѣлается?

— Несчастливая Полина! — вскричалъ Рославлевъ.

— Такъ вы были съ ней знакомы? Ахъ! какъ досадно, что я не зналъ этого! Впрочемъ, много грустить нечего: я ужъ вамъ сказалъ, что она и безъ этого была при смерти: минутой прежде, минутой послѣ...

— Да, Шамбюръ, вы правы: кто зналъ эту несчастную, тотъ долженъ не горевать, а радоваться; но, несмотря на это, еслибъ я могъ воскресить ее...

— Да вѣдь это невозможно, такъ о чемъ же и хлопотать? Къ тому жъ, если въ самомъ дѣлѣ она была вдовою французскаго полковника, то не могла не желать такого завиднаго конца — *être coiffé d'une bombe*, или умереть глупымъ образомъ на своей постели — какая разница! Я помню, мнѣ сказалъ однажды Дольчини... А, кстати! Знаете ли, какъ одурачилъ насъ всѣхъ этотъ господинъ флорентійскій купецъ?..

— А что такое?..

— Да только: онъ вовсе не купецъ, не итальянецъ, а русскій партизанъ.

— Что вы говорите!.. И такъ, все открылось, и онъ?..

— Растрѣлянъ, думаете вы? Вотъ то-то и бѣда, что нѣтъ. Вскорѣ послѣ васъ и его выпустили изъ тюрьмы, и въ нѣсколько дней этотъ Дольчини такъ поладилъ съ генераломъ Дерикуромъ, что онъ поручилъ ему доставить Наполеону преважныя депеши.

Рено, который также съ нимъ очень подружился, взялся выпроводить его за наши аванпосты. Когда они подошли къ Лангфуртскому предмѣстью, то господинъ Дольчини, въ виду вашихъ казаковъ, распрощавшись очень вѣжливо съ Рено, сказалъ ему:—Поблагодарите генерала Раппа за его ласку и довѣренность; да не забудѣте ему сказать, что я не итальянскій купецъ Дольчини, а русскій партизанъ...—Тутъ назвалъ онъ себя по имени, которое я никакъ не могу выговорить, хотя и тысячу разъ его слышалъ. Бѣдный Рено простоялъ съ полчаса, разиня ротъ, на одномъ мѣстѣ, и когда, возвратясь въ Данцигъ, доложилъ объ этомъ Раппу, то едва унесъ ноги: генералъ взбѣсился; съ Дерикуромъ чуть не сдѣлалось удара, а толстый Папилью, вспомя, что онъ нѣсколько разъ дружески разговаривалъ съ этимъ Дольчини, до того перепугался, что слегъ въ постель. Домъ, въ которомъ жилъ сидевантъ итальянскій купецъ, обшарили сверху до низу, пересмотрѣли всѣ щелки, забрали всѣ бумаги, и еслибъ онъ наканунѣ не отдалъ мнѣ письма на ваше имя, то врядъ ли бы оно дошло когда-нибудь по адресу.

— Какъ! У васъ есть ко мнѣ письмо?

— Да, есть. И хотя по настоящему мнѣ, какъ партизану, должно перехватывать всякую непріятельскую переписку,—промолвилъ съ улыбкою Шамбюръ, — но я обѣщался доставить вамъ это письмо, а Шамбюръ во всю жизнь не измѣнялъ своему слову. Вотъ оно: читайте на просторѣ. Мнѣ надобно теперь отправиться къ генералу Раппу: у него, кажется, будутъ толковать о сдачѣ Данцига; но мы еще увидимъ, кто кого перекричитъ. Прощайте!

Рославлевъ не отвѣчалъ ни слова; все вниманіе его было устремлено на адресъ письма, написанный рукой, которая нѣкогда была ему такъ знакома и мила. Онъ распечаталъ пакетъ; первый предметъ, поразившій его взоры, былъ локонъ свѣтлорусыхъ волосъ. Рославлевъ прижалъ его къ губамъ своимъ. — Бѣдная Полина!—сказалъ онъ всхлипывая;—вотъ все что отъ

тебя осталось!—Когда душа его нѣсколько поуспокоилась, онъ началъ читать слѣдующее: «Другъ мой! Дольчини сказалъ мнѣ, что ты боленъ и не можешь меня видѣть. Итакъ, я умру, не простясь съ тобою! Я не думаю дожить до будущаго утра. Выслушай послѣднее мое желаніе. Сестра моя тебя любитъ — да, мой другъ! Оленька любитъ тебя такъ же пламенно, какъ я люблю его... Ахъ, для чего не она была твоей невѣстою? Тогда я была бы одна несчастлива! Другъ мой! она достойна быть твоей женою—твоей женою! О, эта мысль такъ утѣшительна! Когда-нибудь и ты переселишься въ тотъ міръ, въ которомъ мы отдохнемъ отъ нашихъ земныхъ бѣдствій! Тогда и я могла бы видѣть его и тебя вмѣстѣ—любить въ одно время: ты былъ бы моимъ братомъ, Вольдемаръ!.. Еще одна просьба: въ этомъ письмѣ ты получишь мои волосы. Прошу тебя, мой другъ! зарой ихъ подъ самой той черемухой, гдѣ нѣкогда твоя доброта и великодушіе едва не изгладили его изъ моего сердца. Можетъ-быть, ты назовешь меня мечтательницей, сумасшедшей—о, мой другъ! еслибъ ты зналъ, какъ горько умирать на чужой сторонѣ! Пусть хоть что-нибудь мое истлѣетъ въ землѣ русской. Прощай, Вольдемаръ! Я боюсь, что проживу долѣе, чѣмъ думаю; русскія ядра летаютъ безпрестанно мимо, и ни одно изъ нихъ не прекратитъ моихъ страданій! Ахъ! я почла бы это не местию, но знакомъ примиренія, и умерла бы съ радостію. Прощай, мой другъ!...»

Рославлевъ едва могъ дочитать письмо: все прошедшее оживилось въ его памяти. — Бѣдная Полина! несчастная Полина!...—повторялъ онъ рыдая.—О! какъ сердце твое умѣло любить! Да, я свято исполню твои послѣднія желанія—я буду твоимъ братомъ... Но если Оленька принадлежитъ уже другому? Если Полина принимала любимыя мечты свои за истину? Если сестра ея чувствуетъ ко мнѣ одну только дружбу... Тутъ вспомнилъ Рославлевъ невольное восклицаніе, которое вырвалось изъ устъ Оленьки, когда ему удалось спасти

ее отъ смерти. Да!.. въ этомъ порывѣ благодарности было что-то болѣе простой, обыкновенной дружбы... но кто желалъ съ такимъ нетерпѣніемъ, чтобъ онъ женился на Полинѣ? Кто употреблялъ всѣ способы, чтобъ склонить ее къ сему браку?..

Рославлевъ терялся въ своихъ догадкахъ: онъ не зналъ, къ чему способно сердце женщины, истинно доброй и чувствительной. Какихъ жертвъ не принесетъ она, чтобъ видѣть счастливымъ того, кого любить? Можетъ-быть, мы умѣемъ сильнѣе чувствовать, но мы слишкомъ много разсуждаемъ, слишкомъ *положительны*, вездѣ ищемъ здраваго смысла, и, можетъ-быть, подчасъ *больны чужимъ здоровьемъ*¹⁾; но очень рѣдко бываемъ счастливы благополучіемъ другихъ. Любить всю жизнь, безъ всякой надежды; наслаждаться не своимъ счастіемъ, но счастіемъ того, кого выбрало наше сердце; любить съ такимъ самоотверженіемъ—о, это умѣютъ однѣ только женщины!.. и если эта безкорыстная, неземная любовь бываетъ иногда недоступна, то, по крайней мѣрѣ, она всегда понятна для души каждой женщины.

Рославлевъ нѣсколько разъ перечитывалъ письмо; каждое слово, начертанное рукою умирающей Полины, возбуждало въ душѣ его тысячу противоположныхъ чувствъ. Онъ попеременно то рѣшался выполнить ея волю, то вѣчно не принадлежать никому. Иногда образъ кроткой, доброй Оленьки являлся ему въ самомъ плѣнительномъ видѣ; но въ то же время, покрытое смертной блѣдностію лицо Полины представлялось его разстроенному воображенію, и мысль о будущемъ счастьи сливалась безпрестанно съ воспоминаніемъ, раздирающимъ его душу. Приходъ Шамбюра прервалъ его размышленія; онъ вбѣжалъ въ комнату какъ бѣшеный, и сказалъ прерывающимся голосомъ:

— Прощайте, Рославлевъ!—Я сейчасъ иду вонъ изъ города.

¹⁾ Выраженіе одного русскаго поэта.

— Съ вашей ротою?—спросилъ Рославлевъ.

— Нѣтъ, одинъ.

— Одни? Чтожъ вы хотите дѣлать?

— Дезертировать.

— Дезертировать!—повторилъ съ удивленіемъ Рославлевъ.

— Да! mille tonnerres! Я не хочу ни минуты оставаться съ этими трусами, съ этими подлецами, съ этими... Представьте себѣ! Я сейчасъ изъ военнаго совѣта: весь гарнизонъ сдается военноплѣннымъ.

— Въ самомъ дѣлѣ!—вскричалъ съ радостію Рославлевъ.

— Да, сударь, да! И какъ вы думаете, отчего?—Оттого? что у насъ осталось на одинъ день провіанта—les misérables! Но развѣ у насъ нѣтъ оружія? Развѣ восемнадцать тысячъ французовъ не могутъ очистить себѣ вездѣ дорогу, и пробиться, если надобно, до самаго центра земли?.. Мнѣнія моего никто не спрашивалъ; но когда я услышалъ, что генераль Раппъ соглашается подписать эту постыдную капитуляцію, то всталъ съ своего мѣста. Мерзавецъ Дерикуръ хотѣлъ было помѣшать мнѣ говорить... но, чортъ возьми! Я закричалъ такъ, что онъ поневолѣ прикусилъ язычекъ.—Господа,—сказалъ я,—если мы, точно, французы, то вотъ что должны сдѣлать: отвергнуть съ презрѣніемъ обидное предложеніе непріятеля, подорвать всѣ данцигскія укрѣпленія, свернуть войско въ одну густую колонну, ударить въ непріятеля, смять его, идти на Гамбургъ и соединиться съ маршаломъ Даву.—Но,—возразилъ Дерикуръ,—осаждающіе вдвое насъ сильнѣе.—Что нужды!—отвѣчалъ я:—они не французы!—Мы окружены врагами,—прибавилъ Раппъ:—вся Пруссія возстала противъ Наполеона.—Какое дѣло!—закричалъ я;—мы пойдемъ впередъ; при видѣ побѣдоносныхъ орловъ нашихъ, всѣ побѣгутъ; мы раздавимъ русскій осадный корпусъ, сожжемъ Берлинъ, истребимъ прусскую армію...—Онъ сумасшедшій,—закричали всѣ генералы. — Молчите или ступайте вонъ! — заревѣлъ

Раппъ.—О! если такъ, чортъ возьми!—отвѣчалъ я весьма спокойно, я пойду—да! cent mille diables! я пойду; но только не домой, а въ непріятельскій лагерь. Пусть кто хочетъ сдается военнопленнымъ, пусть проходить парадомъ мимо этихъ скинскихъ ордъ и кладетъ оружіе къ ногамъ тѣхъ самыхъ солдатъ, которыхъ я заставлялъ трепетать съ одной моей ротой! Чтожъ касается до меня, то я объявляю здѣсь при всѣхъ, что не служу болѣе, и сей же часъ перехожу къ непріятелю. — Убирайтесь хоть къ чорту! только ступайте вонъ,—сказалъ Раппъ.—Я посмотрѣлъ на него съ сожалѣніемъ, бросилъ презрительный взглядъ на толпу трусовъ, его окружающихъ, и побѣждалъ проститься съ вами. Впрочемъ, надѣюсь, мы скоро увидимся: если капитуляція подписана, то вы свободны, и найдете меня въ своемъ лагерьѣ. Прощайте!

Въ самомъ дѣлѣ, когда черезъ нѣсколько дней Рославлевъ выѣхалъ изъ города, то повстрѣчался съ Шамбюромъ на нашихъ аванпостахъ; они обнялись какъ старинные пріатели. Дежурнымъ по аванпостамъ былъ Зарядьевъ. Онъ очень обрадовался, увидя Рославлева.—Ну, братецъ!—сказалъ онъ,—мы было отчаялись тебя и видѣть! Какъ ты похудѣлъ!.. Да полно! отцѣпись отъ этого француза! Поди-ка сюда!..

— Что, Зарядьевъ?—прервалъ Рославлевъ съ улыбкою:—видно, ты еще не забылъ, какъ онъ пугнулъ тебя на Нерунгѣ?

— Пугнулъ!.. Эка фигура!—подкрался втихомолку; а какъ моя рота выстроилась, да пошла катать, такъ и давай Богъ ноги! Что это за офицеръ? дрянъ! Прежде былъ разбойникомъ, а теперь бѣглый.

— Ну, что, какъ вы съ нимъ ладите?

— Съ нимъ? Да не приведи, Господи! Этотъ Шамбюръ надоѣлъ намъ всѣмъ какъ горькая рѣдька—этакій безрукій чортъ! Покою нѣтъ! Лепечеть, шумить, кричить съ утра до вечера. До него дошелъ слухъ, что въ Данцигѣ всѣ его пожитки продали съ публичнаго торга—да и какъ иначе? Вѣдь онъ дезертиръ. Чтожъ

ты думаешь? Рвется теперь опять въ Данцигъ—пусти его, да и только! Хочетъ тамъ всѣхъ приколотить до смерти. Эхъ! не умѣютъ съ нимъ справиться! Дали бы мнѣ его недѣлки на двѣ, такъ я бы его вышколилъ! У меня бъ онъ не сошелъ съ палочнаго караула, а чуть забурлилъ, такъ на хлѣбъ и на воду. Несось, сталъ бы шелковый!

Черезъ недѣлю, Рославлевъ совсѣмъ выздоровѣлъ, и когда наступилъ день сдачи крѣпости, то онъ отправился, вмѣстѣ со всѣмъ штабомъ, вслѣдъ за главнокомандующимъ, къ Оливскимъ воротамъ, которыми должны были выходить изъ Данцига военнопленные французы. Шестнадцать тысячъ нашихъ и прусскихъ войскъ были поставлены въ двѣ линіи вдоль по гласису Гагельсбергскихъ укрѣпленій. Сперва явился, въ зеленой бархатной шубѣ, надѣтой сверхъ богатаго мундира, генералъ Раппъ; на лицѣ его изображалась глубокая горестъ. Сей храбрый воинъ Наполеона, одинъ изъ героев Аустерлицкаго сраженія, въ первый разъ еще преклонялъ отягченную лаврами главу свою передъ мечомъ побѣдителя. Вскорѣ показались французскія колонны; наблюдая глубокое молчаніе, онѣ проходили дивизіями посреди нашихъ линій. Рославлевъ не могъ безъ сердечнаго соболѣзнованія глядѣть на сихъ безстрашныхъ воиновъ, когда, при звукѣ полковой музыки, пройдя церемоніальнымъ маршемъ мимо нашихъ войскъ, они снимали съ себя оружіе, и съ поникшими главами продолжали идти далѣе. Многіе изъ французскихъ офицеровъ плакали; другіе, стараясь показывать совершенное равнодушіе, курили трубки, идя передъ своими взводами. Это послѣднее обстоятельство не укрылось отъ зоркихъ глазъ капитана Зарядьева. Когда кончилось сіе торжественное шествіе, напоминающее блестящія похороны знаменитаго военачальника, которому у самой могилы отдають въ послѣдній разъ всѣ военныя почести, нашъ строгій ротный командиръ подошелъ къ Рославлеву и спросилъ его:—Какъ ему кажется, хорошо ли прошли церемоніальнымъ маршемъ французы?

— Я, право, этого не замѣтилъ, — отвѣчалъ Рославлевъ.

— Такъ я тебѣ скажу: они понятія не имѣютъ о фронтовой службѣ. Всѣ взводы заваливали, замыкающіе шли по флангамъ, а что всего хуже—замѣтилъ ли ты двухъ взводныхъ начальниковъ, которые во фронтѣ курили трубки? Ну, братецъ! Я думалъ всегда, что они вольница—да ужъ это изъ рукъ вонъ!..

— Эхъ, Зарядьевъ! до того ли имъ, чтобъ думать о порядкѣ? Посмотрѣлъ бы я на тебя, если бы ты долженъ былъ проходить мимо непріятеля церемоніальнымъ маршемъ для того, чтобъ положить оружіе?

— Оно, конечно, братецъ, кто и говорить—обидно! Статься можетъ, что и я не повелъ бы въ ногу мою роту, а все-таки не сталъ бы курить трубки во фронтѣ—воля твоя, любезный!.. Какъ хочешь, а не хорошо: дурной примѣръ для солдатъ.

Мы не станемъ описывать торжественнаго входа нашихъ войскъ въ Данцигъ ¹⁾; не будемъ также говорить о слѣдствіяхъ сей колоссальной войны всей Европы съ французами. Кому не извѣстны даже всѣ мелкія происшествія сей чудной эпохи, ознаменованной паденіемъ величайшаго военнаго генія нашего времени? Мы предувѣдомимъ только читателей, что различныя обстоятельства не допустили Рославлева увидѣться съ пріателемъ его, Зарѣцкимъ. Во вторую французскую кампанію, полкъ, въ которомъ служилъ сей послѣдній, попалъ въ число войскъ, кои должны были оставаться до извѣстнаго времени во Франціи. Въ теченіе сего времени, остальная часть арміи возвратилась въ Россію, и Рославлевъ вышелъ опять въ отставку.

Нѣсколько лѣтъ уже продолжался общій миръ во всей Европѣ; торговля процвѣтала, всѣ народы каза-

¹⁾ Онъ описанъ весьма подробно въ книгѣ подъ названіемъ: «Записки касательно похода С.-Петербургскаго ополченія».

лись спокойными, и Россія, забывая понемногу прошедшія бѣдствія, начинала уже пользоваться плодами своихъ побѣдъ и неимоверныхъ жертвованій; мы отдохнули, и русскіе полуфранцузы появились снова въ обществахъ, снова начинали бредить Парижемъ и добиваться почетнаго названія — обезьянъ вертляваго народа, который продолжалъ кричать попрежнему, что мы варвары, а французы первая нація въ свѣтѣ, вѣроятно, потому, что русскіе сами сожгли Москву, а Парижъ остался цѣлымъ. Въ тысячѣ политическихъ книжонокъ наперерывъ доказывали, что мы никогда не были побѣдителями, что за насъ дрался холодъ, что французы насъ всегда били, и, благодаря нашему смиренію и русскому обычаю — вѣрить всему печатному, а особливо на французскомъ языкѣ, эти письменныя ополченія, противъ нашей военной славы, начинали уже понемножку находить отголоски въ гостинныхъ комнатахъ большого свѣта. Мы стали нѣсколько постарѣе, поумиѣе; но все еще не смѣли ходить безъ помочей, которыхъ концы держали въ своихъ рукахъ господа французы. Кажется, теперь, благодаря Бога, мы вступили въ юношескій возрастъ и начинаемъ чувствовать, что можемъ прожить и безъ этихъ наставниковъ, которые не хотѣли даже никогда ни приласкать, ни похвалить своихъ покорныхъ учениковъ, а всегда забавлялись на ихъ счетъ, несмотря на то, что улучшение нашихъ фабрикъ, быстрые успѣхи народной промышленности, незамѣтной только для тѣхъ, кои не хотятъ ихъ видѣть, все доказываетъ, что мы ученики довольно понятливые. Теперь мы привыкаемъ любить свое, не стыдимся уже говорить по-русски, и мнѣ даже на разъ удавалось слышать (куда, подумаешь, времена переходчивы!) въ самыхъ блестящихъ дамскихъ обществахъ — цѣлыя фразы на русскомъ языкѣ, безъ всякой примѣси французскаго.

Въ 1818 году, ровно черезъ шесть лѣтъ послѣ нашествія французовъ, въ одинъ прекрасный майскій вечеръ, въ густой липовой рощѣ, подъ тѣнью вѣтвистой

черемухи, отдыхалъ, послѣ продолжительной прогулки, съ гостями своими, помѣщикъ села Утѣшина. За большимъ чайнымъ столомъ сидѣла хозяйка, молодая, прекрасная женщина. Въ исполненныхъ неизъяснимой любви голубыхъ глазахъ ея, устремленныхъ на двухъ прелестныхъ малютокъ, которые играли на коврѣ, разостланномъ у ея ногъ, можно было ясно прочесть все счастье доброй матери и нѣжной супруги. Мужъ ея, молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, разговаривалъ со старикомъ, который, опираясь на трость съ прекурьезнымъ сердоликовымъ набалдашникомъ, смотрѣлъ также, не спуская глазъ, на дѣтей. Ихъ слушалъ, по видимому, съ большимъ вниманіемъ пожилой человѣкъ, въ сѣромъ ополченскомъ кафтанѣ съ золотыми погончиками; немного поодоль, развалился на широкой дерновой скамьѣ, курилъ, изъ огромной пѣнковой трубки, мужчина лѣтъ за сорокъ, высокій и дородный, въ полевомъ кафтанѣ и зеленомъ кожаномъ картузѣ. Подлѣ самаго стола, прислонясь спиною къ дереву, стоялъ въ форменномъ сюртукѣ кавалерійскій штабъ-офицеръ, съ веселымъ румянымъ лицомъ и видный собою; онъ перелистывалъ небольшую книжку и безпрестанно улыбался.

— Какъ хочешь, племянникъ, — сказалъ старикъ, приставивъ къ дереву свою трость и вынимая изъ кармана рѣзную табакерку изъ слоновой кости, — я не согласенъ съ тобою: мнѣ кажется, не сынъ походить на тебя, а дочь; а сынъ весь въ матушку. Неправда ли Оленька?

— Нѣтъ, дядюшка, — отвѣчала молодая женщина: — они оба походятъ на Вольдемара.

— Такъ, такъ, сударыня! — продолжалъ старикъ, улыбаясь. — Какъ бишь у васъ эта пѣсня-то поется: *во всемъ я вижу образъ твой?*.. Да что это за новая игрушка у твоего Николеньки? Ба! ружье, со штыкомъ!

— Это подарокъ нашего добраго городничаго.

— Зарядьева? Ну, что, Ильменевъ, ты вчера былъ въ городѣ — здоровъ ли онъ?

— Слава Богу, батюшка Николай Степановичъ! — отвѣчалъ господинъ въ ополченномъ кафтанѣ; — здоровъ, да только въ большихъ горяхъ. Ему прислали изъ губерніи, въ добавокъ къ его инвалидной командѣ, такихъ уродовъ, что онъ не знаетъ, что съ ними дѣлать. Ужъ ставилъ, ставилъ ихъ по ранжиру — никакъ не уладить! У этого лѣвое плечо выше праваго, у того одна нога короче другой, кривобокіе да горбатые — ну, срамъ взглянуть! Вчера, сердечный, пробился съ ними все утро, да такъ и бросилъ.

— Полно читать, Зарѣцкій, — сказалъ хозяинъ, обращаясь къ кавалеристу, который продолжалъ перелистывать книгу; — въ первый день, послѣ шестилѣтней разлуки, намъ, кажется, есть о чемъ поговорить.

— Сейчасъ, mon cher, сейчасъ! Ты не можешь себя представить, какія забавныя вещи я нашелъ въ этой книжкѣ.

— Да что это такое?

— Guide des voyageurs 1817 года.

— А! книга для путешественниковъ. Я вынулъ ее сегодня изъ шкапа, чтобы посмотрѣть, сколько считается жителей въ Лондонѣ. Да чтожъ ты нашелъ забавнаго въ этой статистикѣ?

— Кто-жъ виноватъ, если ты не читалъ въ ней ни особенныхъ замѣчаній, ни наставленій, на примѣръ, какъ обращаться съ русскими дамами... А! вотъ нѣсколько словъ о Москвѣ... Ого!.. вотъ что! Ну, видно, мои друзья, французы, не отстанутъ никогда отъ старой привычки мѣшаться въ чужія дѣла. Послушай: *Enfin Moscou renaît de sa cendre, grâce aux français qui président à sa reconstruction.*

— А по нашему-то, сударь, что это значитъ, осмѣлюсь спросить? — сказалъ гость въ полевомъ кафтанѣ, приостановясь курить свою трубку.

— Это значитъ, сударь, что по милости французовъ и подъ ихъ надзоромъ Москва начинаетъ отстраиваться.

— Что, что, батюшка? по милости французов?.. Какъ такъ? И это тутъ написано?

— Да, сударь.

— Ну, исполать этимъ французамъ!.. Ахъ, они хвастунишки, чортъ ихъ возьми! Да вотъ хоть мой домъ на Прѣснѣ—что я на ихъ деньги чтоль его выстроилъ

— Можетъ статья, — сказалъ хозяинъ, — сочинитель разумѣлъ подъ этомъ французскихъ архитекторовъ.

— Французскихъ! Да есть ли хоть одинъ французскій архитекторъ въ Москвѣ? Помилуйте, батюшка Владиміръ Сергѣевичъ! мало ли у насъ своихъ, доморощенныхъ архитекторовъ? Что вы, сударь?

— Конечно, Буркинъ правъ,—прервалъ старикъ;—да и на что намъ иноземныхъ архитекторовъ? Посмотрите на мой домъ! Что, дурно чтоль выстроено? А строилъ-то его не французъ, не нѣмецъ, а просто я, русскій дворянинъ—Николай Степановичъ Ижорскій. Покойница сестра, вотъ ея матушка — не тѣмъ будь помянута, бредила французами. Ну, чтожъ? и отдала строить свой московскій домъ какому-то пріѣзжему мусью, а онъ какъ понадѣлалъ ей во всемъ домѣ каминовъ, такъ она, въ первую зиму, чуть-чуть бѣдняжка совсѣмъ не замерзла.

— Дѣйствительно, такъ, — промолвилъ Ильменевъ:—мало ли у насъ своихъ архитекторовъ, и губернскихъ, и уѣздныхъ, и всякихъ другихъ. Вотъ кабы, сударь, у насъ развели также своихъ мусьювъ, да мадамовъ, а то ищешь, ищешь по всей Москвѣ—цѣну ломаютъ необъятную; а что будешь дѣлать? Народъ привозный, а вѣдь извѣстное дѣло: и товаръ заморскій дороже нашего.

— По милости французовъ!..—повторилъ Буркинъ, вытряхая свою трубку. — Видишь, какіе благодѣтели! Да врутъ они! Мы безъ нихъ жгли Москву, такъ безъ нихъ и выстроимъ.

— А что, Владиміръ,—спросилъ Зарѣдкій: — Москва въ самомъ дѣлѣ поправляется?

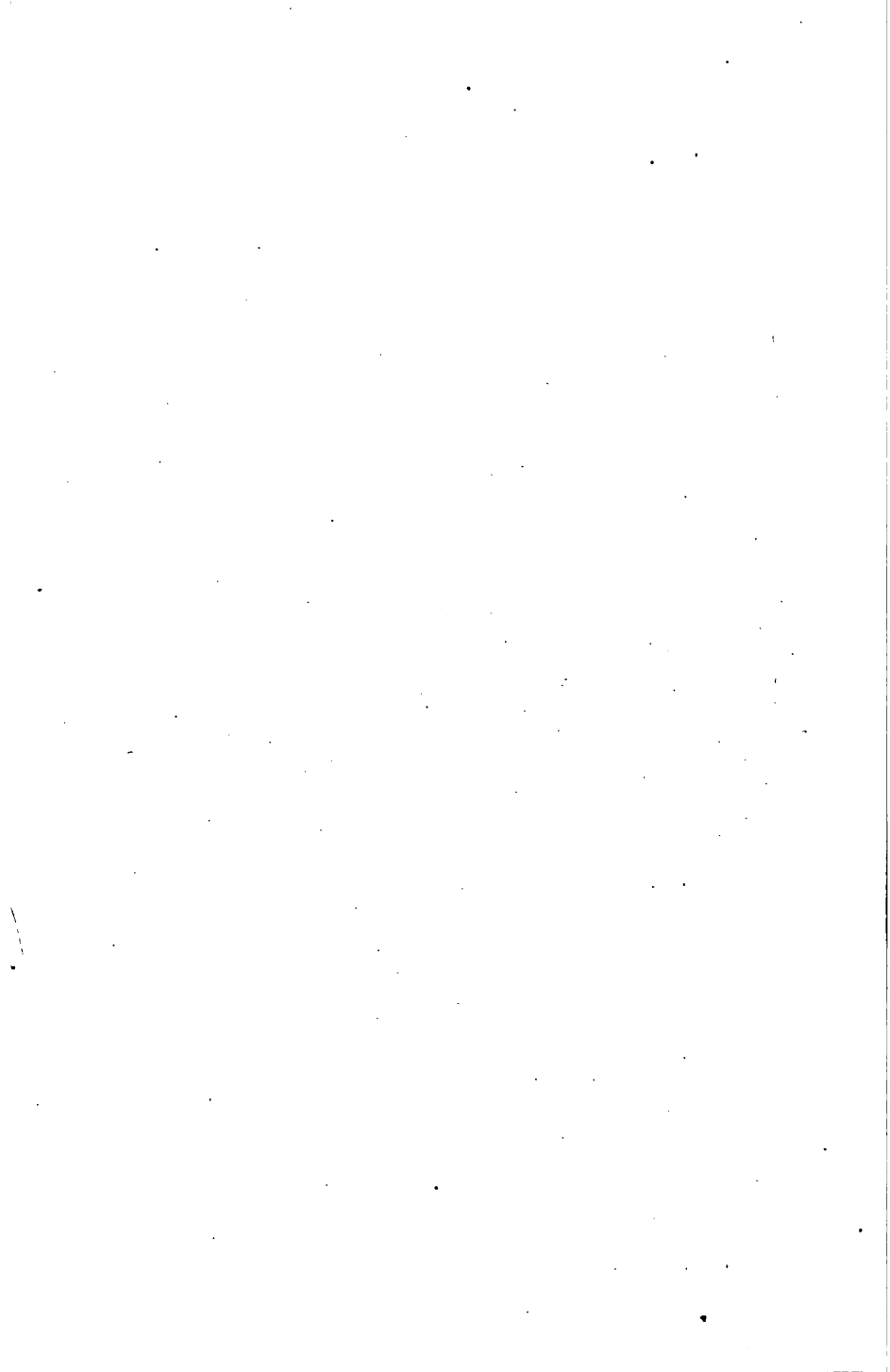
— Да, мой другъ; но на каждомъ шагѣ замѣтны еще слѣды ужаснаго опустошенія.

— Вспомнить не могу, — прервалъ Зарѣцкій, — въ какомъ жалкомъ видѣ была наша древняя столица, когда мы — помнишь, Рославлевъ, — я — одѣтый французскимъ офицеромъ, а ты — московскимъ мѣщаниномъ, пробирались къ Калужской заставѣ? Помнишь ли, какъ ты, взглянувъ на окно одного дома... Виноватъ, мой другъ! Я не долженъ бы былъ вспоминать тебѣ объ этомъ... Но ужъ если я проболтался, такъ скажи мнѣ, что сдѣлалось съ этой несчастной?.. Гдѣ она теперь?

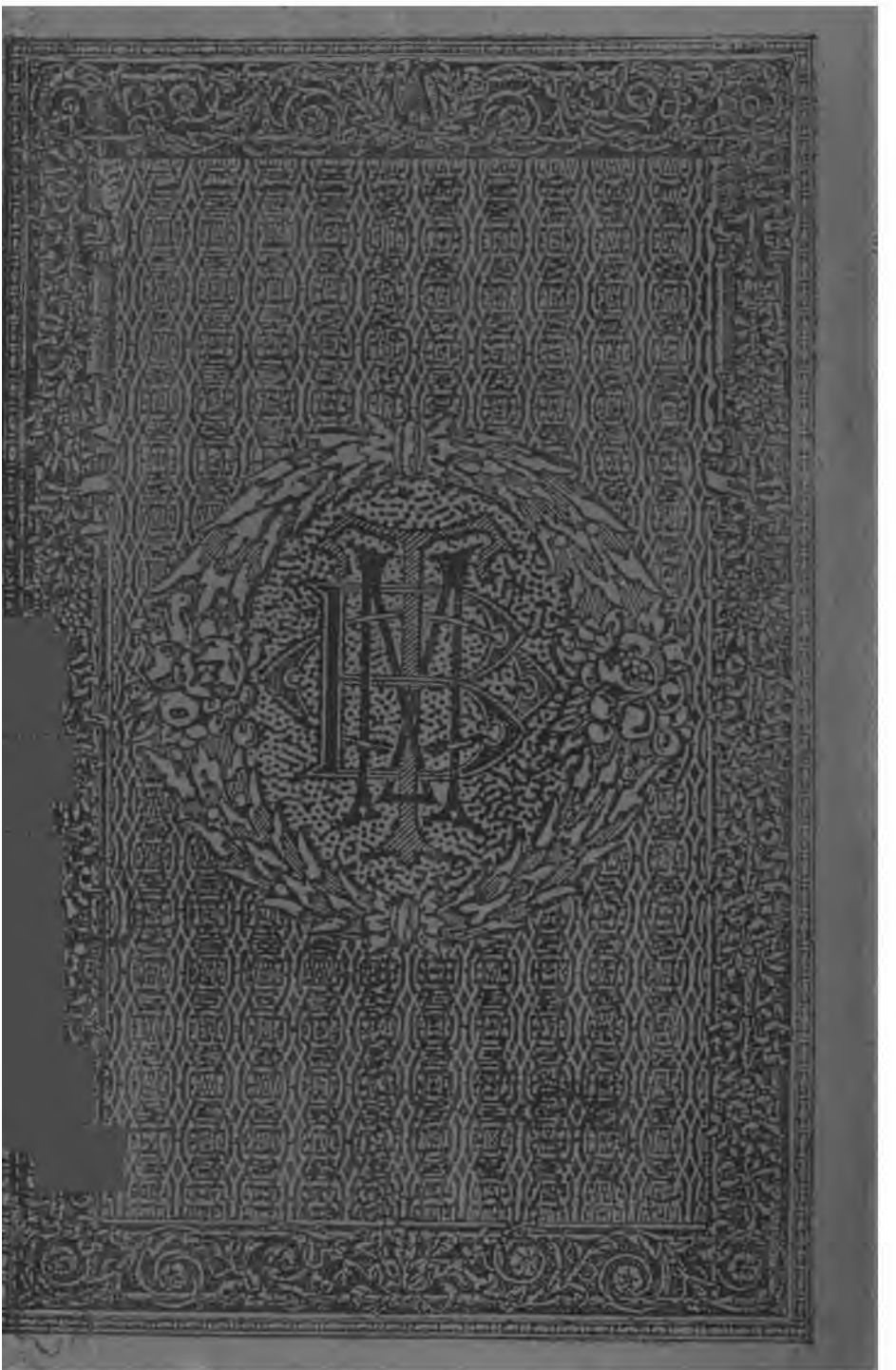
— Гдѣ она? — повторилъ Рославлевъ, взглянувъ печально на бѣлый мраморный памятникъ, почти закрытый вѣтвями развѣсистой черемухи. На глазахъ Оленьки навернулись слезы, а старикъ Ижорскій, опустивъ задумчиво голову, принялся чертить по песку своей тростью. — Гдѣ она? — продолжалъ Рославлевъ. — Ахъ, Александръ! Участь ея была почти предсказана. Шесть лѣтъ тому назадъ, въ этотъ же самый часъ, въ ту минуту, когда она на самомъ этомъ мѣстѣ сказала мнѣ: — Мы будемъ счастливы, да, другъ мой, совершенно счастливы! — сумасшедшая Федора...

Охрипый дикій смѣхъ прервалъ слова Рославлева. Густыя вѣтви черемухи раздвинулись, изъ-за мраморной урны выглянуло худое, отвратительное лицо Федоры, и громкій хохотъ ея раздался по всему лѣсу.

КОНЕЦЪ ПЯТАГО ТОМА.







Stanford University Libraries

3 6105 015 009 181

22
1901
v. 5

[illegible]

JUL 30 1977

